Варлен
СТРОНГИН
КУМИРЫ
Истории Великой Любви
Михаил Булгаков
Морфий. Женщины. Любовь

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каким был человек, создавший самый загадочный и чувственный роман в русской литературе? У Булгакова было три жены, два развода и одна страсть. Преданная Лаппа, экстравагантная Белозерская и отчаянная Шиловская – кто же из них была той, единственной?

Его биография могла бы походить на биографию обычного земского врача тех лет: правильная семья, служба, белогвардейство, скитания и мучения русского интеллигента… Если бы не два обстоятельства. Его невероятная оглушающая литературная гениальность и… морфий.

Автор книги – известный писатель и исследователь Варлен Стронгин, изучив практически каждый день из жизни Михаила Афанасьвевича, сумел настолько захватывающе изложить историю жизни и любви Булгакова на бумаге, что, поверьте, эта рукопись не сгорит…

- Варлен Стронгин
- Всему сущему на земле есть начало Вместо предисловия
- Глава первая Классная дама из Саратова
-
- Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев
-
-
- Глава третья Жена земского врача
-
-
- Глава четвертая Кавказские и другие мотивы
-
-
- Глава пятая Революционное буйство на берегах Терека
-
-
-
-
-
- Глава шестая Памятный Владикавказ
-
-
- Глава седьмая Расставание с Кавказом
-
-

- Глава восьмая «Таськина помощь для меня не поддается учету…»
- Глава девятая Секрет развода
- Глава десятая Новое знакомство
- Глава одиннадцатая Жизнь в теремке
- Глава двенадцатая Налет на голубятню
- Глава тринадцатая Крымские каникулы
- Глава четырнадцатая Травля продолжается
- Глава пятнадцатая Почему не арестовали Булгакова. Второй развод
- Глава шестнадцатая В погоне за счастьем
- Глава семнадцатая Будни счастья
- Глава восемнадцатая Неродившийся шедевр
- Глава девятнадцатая Смелое решение. Последние и последующие дни
- Глава двадцатая Почерк дьявола
- Глава двадцать первая Вечная любовь
- Эпилог

Варлен Стронгин
Михаил Булгаков. Морфий. Женщины. Любовь

© Стронгин В.Л., 2010
© ООО «Издательство Астрель», 2010
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Посвящается Елене Мальковой

Всему сущему на земле есть начало
Вместо предисловия

Я многие годы сетовал на судьбу автора эстрады и актера, разъезжающего по городам и весям нашей страны с сольными концертами.

На фоне великих стоило ли мне печалиться тому, что я не могу существовать на литературный труд, тем более я любил выходить на сцену, медленно, скромно подходя к микрофону и начиная ироничное повествование о нашей жизни, разнообразя его рассказами, фрагментами из повестей, фельетонами, монологами, показывая образы людей разных национальностей и профессий, даже напевая сатирические песенки и куплеты.

Меня ждали встречи и разговоры с интереснейшими людьми, рождавшие поток нового сознания и сопереживания трудной борьбе человека за существование на земле, иногда даже не подозревающего об этом, считающего, что он живет, как и все, а значит, нормально. К тому же ни одна реформа, даже беда не могла выбить из моей копилки массу увиденного во время поездок, понятого и переосмысленного, не могла помешать созданию новых рассказов, повестей, романов… Я не кляну время своих частых гастролей, череду маленьких несовершенных рассказов, наоборот, оно сейчас, в уже немолодые годы, видится мне романтическим, когда каждый следующий день готовил сюрпризы, когда я верил, что вся жизнь еще впереди и силы, бушевавшие в моем организме, никогда не станут сходить на нет. И я удивлен, что происшедшее со мною во Владикавказе двадцать лет тому назад, все встречи и беседы почти до мельчайших подробностей сохранились в моей памяти, подточенной склерозом и тысячами проглоченных таблеток снотворного, без которых моя душа не могла найти успокоение даже ночью. Объяснение этому простое. Я приехал на древнюю землю Осетии, в долину, окаймленную извилистой цепью гор с поразительной красоты ущельями, в не похожий на города-новостройки Орджоникидзе, и судьба подарила мне незабываемую встречу с женщиной – председателем местного отделения Всероссийского театрального общества Марией Антоновной Литвиненко. Сначала я принял ее за обыкновенную зрительницу, зашедшую ко мне за кулисы после концерта, чтобы сказать слова благодарности. Я выступал в приспособленной под филармонический зал бывшей немецкой кирхе, где великолепная акустика позволяла работать без микрофона. Вечера сатиры в те годы были редким явлением,

потому что всего лишь нескольким исполнителям в этом жанре, в том числе и мне, Министерством культуры было дано право на сольный концерт в двух отделениях.

Красивая статная женщина средних лет, с умными глазами, одетая скромно, но элегантно, без излишнего женского кокетства и стремления выделиться именно одеждой или косметическими ухищрениями, прямо смотрела мне в глаза, что свойственно честным, искренним людям.

– Спасибо за концерт, – мило улыбнувшись, сказала она и протянула мне небольшую голубоватую книжку, прочитав название которой я ощутил сердцебиение, какое, наверное, испытывает человек, узнавший что-то новое и поразившее его воображение.

Впервые напечатанный в журнале «Москва» роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», изданный с купюрами, иногда рвущими нить событий, даже в таком виде был неожидан для советского читателя, изумил его буйной фантазией автора, магией истинного и волшебного искусства. Впереди еще было издание «Белой гвардии», «Собачьего сердца», «Театрального романа», а Булгаков сразу получил, как говорят ныне, высший писательский рейтинг.

Я дважды перечитал название полученной книги: Девлет Гиреев, «Михаил Булгаков на берегах Терека» – и радость встречи с первой книгой о любимом и боготворимом писателе, радость оттого, что я нахожусь сейчас там, где жил Булгаков, в сотнях метров от вечно бурлящего Терека, берущего начало в родниковых горных источниках, реки, которую он ежедневно не раз пересекал по тому же мостику, по которому хожу я, мимо поблекшего кирпичного здания бывшей табачной фабрики, принадлежавшей отцу великого режиссера Рубена Багратионовича Вахтангова и выпускавшей фирменные сигареты «Флора». Говорят, что отец резко противился увлечению сына сценой, но частенько к концу его любительских спектаклей незаметно появлялся в последних рядах зала, слушал, как неистово аплодируют зрители артистам и режиссеру, отворачивался от сцены, смотрел в окно или потолок и о чем-то размышлял. Возможно, грустил о том, что Рубен не сможет продолжить его табачное дело, что у него другое призвание; но прокормит ли оно его в жизни, тем более в Москве, куда тот собирался переехать? Он уже не раз грозился сыну лишить его наследства, пугал нищетой, но натиск постепенно ослабевал – слишком громко и отчаянно аплодировали зрители сыну; может, людям нужно его дело не меньше, чем сигареты? Об этом думал табачный фабрикант Вахтангов, но видел ничтожно малое число

поклонников сына в зале по сравнению с числом курящих, и сердце его трепетало от гнева за глупое увлечение сына, которое с каждым годом нарастало, и в то же время он гордился Рубеном, пожалуй, одним из самых популярных и уважаемых юношей в городе.

– Это мне?! – удивленно спросил я у женщины, протянувшей книгу.

– Конечно, вам, – как само собой разумеющееся, произнесла она.

Я осторожно взял книгу в руки, не в силах оторвать взгляд от обложки с портретом Булгакова, лицо которого казалось живым, глядящим в вечность и одновременно скульптурным, как лик памятника, у подножия которого по красной земле, обагренной кровью революции и Гражданской войны, скакал черный всадник с флагом в руке, несший смерть буржуям и свободу бедноте. Это одно из моих толкований рисунка. Но по всей видимости, художник книги Третьякова думала иначе, и красная земля и всадник были фоном славной революции, делающим первую книгу о «буржуазном» писателе Булгакове более приемлемой. Но ни алая земля, ни национальный колорит обложки в виде трех пятен – черного, на котором был изображен Булгаков, затем более крупного голубого и третьего над ними – пятна небесного цвета, все три пятна с изгибами, символизирующими горы Осетии, – не спасли создателей книги от наказания: директор издательства «ИР» Орджоникидзе был снят с работы, выговоры получили редактор Бойцова, художник Третьякова. Книга была выпущена тиражом 5000 экземпляров и раскуплена во Владикавказе и Грозном. В Москве, в Ленинской библиотеке, хранился обязательный экземпляр, и когда позже я рассказал об этой книге коллегам-писателям, за нею выстроилась очередь.

Я перевернул первую страницу книги и прочитал дарственную надпись: «Москвичу Варлену Львовичу Стронгину от застрявшей с 1944 года в Осетии москвички на память, с уважением и благодарностью. Мария Литвиненко, февраль 1981 года, Орджоникидзе, ВТО». Мария Антоновна сказала, что завтра меня хотел бы послушать автор книги, профессор местного университета Девлет Азаматович Гиреев, она приведет его, и мы еще увидимся.

Я не уснул, находясь в радостной эйфории, пока не поглотил книгу, и, размышляя о ней, провалялся в кровати до полудня. Многое о Булгакове я впервые вычитал из этой книги, а если говорить честно, то за редким исключением я мало что ведал о его биографии, даже о его первой жене. Вот как описывает Девлет Гиреев ее приезд во Владикавказ:

«Уже стемнело, когда раздался звонок в парадной двери. На пороге стояла Татьяна Николаевна (Таисия, Тася, как называл ее муж). Будто с неба свалилась. Измученная, худая, грязная, с мешочком, перевязанным веревкой, с маленьким узелком, в котором оказался кусок черствого хлеба, сухари, две луковицы и несколько огурцов. У Булгакова язык онемел. Долго не мог шевельнуться и слова сказать. Потом вскочил и, обнимая жену, засыпал вопросами.

Проговорили всю ночь. На рассвете она шептала:

– Как измучилась без тебя. Думала, погиб. Только получила весточку, сразу собралась. Мне повезло: в Харькове взяли в эшелон голодающих с Поволжья. Быстро доехали. О тебе Костя в письме сообщил. Он в Москве. В Киев возвращаться боится. Ивана-то забрали белые. Еще в декабре. Говорят, в Чехословакию подались, а мать все плачет… А где же Николай?»

Говорила ли именно эти слова Татьяна? И приезжала ли она во Владикавказ вместе с Михаилом? Или сама добиралась туда? Об этом расскажу позже.

И разумеется, разговор мужа и жены был сфантазирован автором, но мог состояться в действительности.

Увы, встретиться с Гиреевым мне не пришлось. Он задержался в университете, а через день я уезжал из города.

– Жаль, конечно, что встреча не состоялась, – сказал я Марии Антоновне.

– Вы еще увидитесь с Девлетом Азаматовичем, – заметила Мария Антоновна, – ваши концерты понравились владикавказцам… Надеюсь, что вы у нас не в последний раз.

– Приеду обязательно, – пообещал я, – и потому, что не видел другого подобного города, он сохранил своеобразие, в нем витает дух доброй уникальной старины, и люди здесь интересные, гостеприимные.

Я знал, что в самые жесткие времена запретов на правдивые слова сюда приезжал Владимир Высоцкий и пел на стадионе. Этот город был всегда открыт для него. Позже директор местной филармонии предложил мне штатную концертную работу, но она надолго оторвала бы меня от литературы, и я вежливо отказался. Я подбирался к мысли написать книгу о Михаиле Булгакове, но интуитивно чувствовал, что время для этого еще не наступило. Выходили фундаментальные биографические работы о жизни и творчестве великого писателя, а я ждал своего часа, искал свою тему, пока она отчетливо не вырисовалась в моем сознании. Я еще трижды приезжал во Владикавказ. С десяти утра до пяти вечера просиживал в местном архиве, потом давал два концерта в зале филармонии. А по субботам и воскресеньям встречался с

людьми, способными рассказать мне о тех временах, когда в городе находился Булгаков. Это были счастливые дни поисков и открытий. Я помню, какое радостное волнение охватило меня, когда под одним из документов Подотдела искусств местного ревкома увидел собственноручную подпись Булгакова. На минуту я оторвался от работы, глядя на подпись как на божественное чудо, пришедшее из давнего времени в наше. Получилась своеобразная минута молчания – и грустная, и торжественная, и счастливая, подтверждающая переиначенные мною слова гения о том, что даже подписи великих не стирает время. Подпись была сделана красными чернилами. И это не случайность – еще очень долго такого цвета чернила не исчезали из обихода владикавказцев. Видимо, местная фабрика, производящая чернила, не выпускала ни синих, ни черных. И в архитектурном плане прошедшие десятилетия мало изменили город с булгаковских времен. Сохранился дом на Слепцовской улице, где жили Михаил с Тасей, и другой, куда их переселили в порядке уплотнения. Изумителен по своеобразию зданий небольшой, но редкий по красоте Александровский проспект, переименованный в Ленинский, но называемый людьми по-прежнему – Александровским. Здесь и в местном парке, именуемом Треком, гуляли молодые Тася и Михаил. Цел-целехонек, хотя и внешне постарел, поубавил лоску Русский драматический театр, где ставились первые пьесы Булгакова и в кордебалете танцевала Тася. В кинотеатрах, где перед началом сеансов выступал с лекциями Михаил Афанасьевич, сохранились парадные лестницы, в конце которых установлены громадные, едва ли не во всю стену зеркала, глядя в которые дамы и кавалеры могли поправить свои наряды. Когда-то кино было в новинку, и посещали кинозалы с не меньшим энтузиазмом, чем театры. А театров было несколько, по меньшей мере четыре-пять, не считая гастрольных, а сейчас, как положено областному республиканскому городу, три: Русский драматический, Осетинский оперы и балета и кукольный. Я заглянул в узкие гримерки Русского театра, где в тот вечер шла «Зойкина квартира» Булгакова, зашел в одну ложу, потом – в другую… В какой из них сиживал молодой Булгаков, следя за действом своих пьес и ожидая появления на сцене в ролях статистки или в составе кордебалета своей жены? Закончился спектакль, а я неохотно покидал этот театр, оглядывая его желто-серые стены, поблекшие кресла, в любом из которых мог сидеть мой любимый писатель. Я представлял, как Михаил ждал Тасю у служебного входа и они вместе добирались по темным улицам до своего дома. Он держал ее под руку или она его? Меня интересовал любой момент их отношений, за разгадку которых я

в конце концов взялся. К этому было немало оснований. Третья и, как утверждают булгаковеды, любимая жена писателя, Елена Сергеевна, пробивала издание его произведений, не скрывала своих намерений, была на виду. Вторая – Любовь Евгеньевна Белозерская – принимала у себя дома всех почитателей таланта бывшего мужа, рассказывала о нем, и только первая, Татьяна Николаевна Лаппа, долгие годы ни словом не обмолвилась о том, что была женой Булгакова, пока ее не разыскали булгаковеды и не взяли у нее интервью. А ей было о чем им поведать – о едва ли не самых важных и тревожных событиях в его жизни, о том, что она сделала для него… Но она ничего не выделяла в своем рассказе, вспоминала то, что удержалось в памяти.

Впрочем, не будем забегать вперед в рассказе о сложном клубке их отношений, который я попытался распутать в меру своих сил и прибегая к довольно скудному, как оказалось, биографическому материалу, оставленному историей. Мой путь к разгадке судеб Михаила и Таси, точнее к версии их развода, был длинен по времени, и к своему решению я пришел почти через двадцать лет после встречи с Марией Антоновной Литвиненко. Не сомневаюсь, что мне мог бы помочь своим советом, поделиться со мной знаниями о жизни Булгакова Девлет Азаматович Гиреев, но наша встреча не состоялась, хотя я приезжал во Владикавказ еще трижды.

О Гирееве мне рассказывали Мария Антоновна и его коллега по кафедре в университете Мина Алибековна Тахогоди. До войны Девлет Азаматович учился в пединституте на кафедре литературы у Леонида Петровича Семенова – известного лермонтоведа, этнографа, археолога, фольклориста. Выпускник сорок первого года, Гиреев воевал, затем работал экскурсоводом, вечерами писал диссертацию, которую успешно защитил, став кандидатом филологических наук, а затем доцентом пединститута, получившего значительно позже статус университета.

По рассказам моих собеседниц, Девлет Азаматович был любимцем студентов. Одаренный неповторимой кавказской красотой и мудростью, вежливый, демократичный и мягкий по натуре, внимательный к своим ученикам, он не мог не нравиться им. Его называли осетинским Андрониковым, так как он с успехом выступал по телевидению, находя разнообразные и увлекательные литературные темы.

Однажды в летние каникулы он отправился вместе со студентами на уборку урожая в далекий от города совхоз. Работали на жаре. Студенты попросили его отвезти их на несколько часов в город – помыться и сменить одежду. Он повез

их на своей легковушке, в которую набилось восемь человек. На одном из крутых поворотов горной дороги машину бросило в кювет… Ушел из жизни прекрасный человек. Осталась его книга «Михаил Булгаков на берегу Терека», в ней описана не только жизнь Михаила и Таси и их окружения во Владикавказе, а целая эпоха, и будет не в обиду сказано другим булгаковедам – авторам солидных научных монографий о жизни и творчестве великого писателя, что книга Гиреева не столь полновесна, как их творения, не столь солидна, но живее, динамичнее, читается легко, так как написана на одном дыхании. В ней могут быть биографические неточности, в которых, видимо, справедливо упрекали Гиреева коллеги, но он был первым, кто решился рассказать о писателе, рукописи которого хотя и не сгорели, но тщательно скрывались от народа. И он, взявшись за эту книгу, знал, на что идет, рисковал карьерой, но, обладая бесценными материалами, не мог не обнародовать их. Вместо эпиграфа он написал: «Светлой памяти Константина Михайловича Симонова – первого читателя рукописи этой книги и доброго советчика – посвящаю».

Я могу лишь утверждать, констатировать, что без книги Девлета Азаматовича Гиреева никогда бы не появилось мое повествование о Михаиле и Татьяне Булгаковых.

Мария Антоновна Литвиненко после войны работала начальником Управления культуры города Орджоникидзе, которому впоследствии вернули его первоначальное имя, а в 1944 году задержал здесь ее, москвичку, находящуюся в эвакуации, полюбил красивый и незаурядный человек – Хазби Саввич Черджиев, и они поженились. Он начинал работу экскурсоводом в пятигорском домике Лермонтова, затем преподавал русскую литературу, создал из осетин группу первых критиков. Я познакомился с ним случайно, подсев за столик в ресторане «Владикавказ» к Марии Антоновне. Высокий седоватый человек с умными глазами внимательно посмотрел на меня, пытаясь понять, что я за личность, чем интересуюсь и почему приезжаю во Владикавказ. Хазби Саввич знал, что я интересуюсь Булгаковым, но, видимо, ничем не мог помочь мне в этом вопросе и рассказывал интересные случаи, известные ему.

– Помню, как в наш город приезжала жена Орджоникидзе – Зинаида Ивановна, с которой он обручился в ссылке, приезжала на открытие памятника своему мужу, чьим именем, как вам известно, назывался город. Полная достоинства женщина, дочь священника. В горкоме партии возник переполох. Там знали, что Серго в опале у Сталина. Не знали, кого послать на встречу с гостьей. Судили, рядили и выбрали меня как самого молодого

работника. Но что я мог сделать? Как встретить? Купил цветы и подарил их жене Орджоникидзе на вокзале. Отвез в гостиницу на трамвае. Я извинился перед нею за неподготовленность встречи. Она насупилась, сжала губы и сразу после формального открытия памятника, почувствовав к себе и покойному мужу явное неуважение и даже недоброжелательство, потребовала немедленно отправить ее в Москву. Мне было стыдно…

– Хазби Саввич вас заговорил совсем, – заметила мне Мария Антоновна, – но пока он развлекал вас своими историями, я вспомнила, что еще до сих пор жива машинистка, печатавшая первые пьесы Булгакова. Она работала вместе с ним в Подотделе искусств. Потом переехала в Грозный. Тамара Тонтовна Мальсагова. У кого бы достать ее телефон? Кажется, он есть у Мины Алибековны Тахогоди.

Я не верил своим ушам. Я был счастлив, что жив человек, не только знавший Михаила Афанасьевича, но и печатавший его пьесы, считающиеся пропавшими. Мальсагова должна помнить его жену. Ведь та с Михаилом мало разлучалась. Вместе с ним работала в театре… И город был сравнительно маленький. Многие жители, особенно из числа интеллигенции, знали друг друга. Я звоню Мине Алибековне.

– А вы лично что-нибудь помните из тех времен, времен вашего детства? – с надеждой на удачу интересуюсь я.

– Помню, – вздыхает Мина Алибековна, – помню, как нас выселяли красноармейцы. Из нашего дома. Выбрасывали вещи на улицу. Хохотали. Особенно когда увидели комнатку, приспособленную под небольшой неглубокий бассейн, нашу детскую утеху в жаркие дни. Стали киркой и лопатами рушить кафель. Это мне запомнилось, а в театр я не ходила. Была еще очень маленькой. Позвоните Тамаре Тонтовне и передайте привет от меня. Надеюсь, не забыла. Фамилию Тахогоди хорошо знали во Владикавказе. Брат мой был блестящим офицером. Остался на родине. Любил город, людей. Первые годы после революции его не трогали. Он только ходил отмечаться в ЧК, каждый месяц. Один его друг не выдержал и сказал чекистам все, что о них думает, и вообще о новой власти. Чекисты со вниманием выслушали его, поблагодарили за откровенность, проводили в подъезд и застрелили выстрелом в затылок. После этого случая отношение чекистов к бывшим белым офицерам явно ухудшилось. Опасаясь ареста, брат уехал, и о судьбе его я ничего не знаю. – Голос ее задрожал, и я, поблагодарив Мину Алибековну, попрощался с нею.

Я шел к гостинице и не верил, что мне привалило счастье: жив человек, едва ли не ежедневно встречавшийся с Булгаковым,

часами не отходивший от пишущей машинки и печатавший его первые пьесы. Может, Тамара Тонтовна помнит их, хотя бы одну из пьес, ее фабулу? Ведь Михаил Афанасьевич уничтожил их как несовершенные произведения, даже потребовал от сестры Надежды, живущей в Киеве, сжечь вторые экземпляры. А что, если Тамара Тонтовна Мальсагова восстановит по памяти хотя бы частично их содержание или фрагменты? Я очень надеялся на это, спеша к гостинице по мостику, переброшенному через Терек, рокочущий на этот раз не сердито, а радостно. Я был готов лететь к Мальсаговой самолетом, в ближайший день, который она укажет. Гастроли мои заканчивались… Тем более от Владикавказа до Грозного значительно ближе, чем от Москвы. Но дело было не в расстоянии. Жив человек, работавший с Булгаковым.

В гостиницу я вернулся поздновато и не решился звонить пожилой женщине после десяти вечера.

В этот вечер я долго не мог уснуть, взбудораженный рассказом соседа по номеру и мыслями о предстоящей беседе с Мальсаговой.

В Москве я был хорошо знаком с писателем Александром Рейжевским, не раз обедавшим с Михаилом Афанасьевичем. Писатель был известен как эпиграммист и драматург. В детском возрасте был взят приемышем в семью заведующего литературной частью Художественного театра Василия Григорьевича Сахновского, писавшего с Булгаковым пьесу по «Мертвым душам» Гоголя. К Сахновскому он попал из беспризорников, и Булгакова раздражало, как неумело этот мальчик ведет себя за столом: чавкает, берет пищу рукой вместо вилки, от жадности посапывает носом. Булгаков хмурился, но показывал мальчику, как надо правильно есть, терпеливо делал это день за днем. И навыки этикета, приобретенные от Булгакова в детстве, потом очень пригодились Рейжевскому. Одно время он работал директором ансамбля «Березка» у балетмейстера Надеждиной и с этим коллективом не раз выезжал за границу. Увы, он знал о Булгакове мало. Помимо замечаний Михаила Афанасьевича он запомнил его громкий и четкий голос, доносящийся из кабинета, где писалась пьеса.

На следующий день я с трудом дождался полудня и набрал номер Мальсаговой.

В трубке раздался пожилой голос, походящий на мужской, перебиваемый детским криком.

– Кто говорит? – нервно поинтересовалась Мальсагова. – Я сейчас угомоню правнука!

Я представился и сказал, что интересуюсь Булгаковым,

подготовил вопросы и, если можно, приеду к ней.

– Я больна, никого не принимаю, – искренне вымолвила она. – Вы напишите мне письмо, и я вам отвечу. У вас есть мой адрес?

– Да. Я собираюсь написать книгу о Булгакове.

– Очень хорошо. Пришлите письмо, я отвечу обязательно, – смягчился, стал дружелюбнее и женственнее ее голос.

Вооруженный выписками из материалов местных архивов и музеев, я составил обстоятельное письмо Мальсаговой с дюжиной вопросов, в том числе спрашивал, помнит ли она жену Булгакова – Тасю, почти что ее ровесницу.

Я не ждал скорого ответа от Мальсаговой, но буквально через пару недель получаю письмо, написанное все теми же владикавказскими красными чернилами. Дрожащими от волнения руками вскрываю конверт, пришедший из Грозного, с проспекта Революции, дом 24, квартира 6. Привожу полностью это письмо от 19 января 1986 года:

«Уважаемый товарищ Стронгин! Получила Ваше письмо и спешу Вам ответить – приезжать ко мне бессмысленно!

Все Ваши друзья, знакомые, даже просто интересующие Вас всякие люди уже мертвы!

Приезжала сюда писательница, автор статьи о Булгакове в «Юности», была у меня. Ничего нового узнать ей не пришлось!

Я моложе других, поэтому еще жива!

Сообщаю, что помню. Я работала совсем юной в Секции просвещения и культуры секретарем-машинисткой. Участвовала в художественной самодеятельности, занималась в Клубе. Почти каждый день появлялся у нас в Клубе мужчина в форме военного врача – М. Булгаков. Он интересовался нашим кружком, бытом горцев, помогал сотрудникам.

Однажды он обратился ко мне: «Тамара, ты можешь под диктовку напечатать на машинке мои пьесы?» Я согласилась, и после работы он стал диктовать мне «Дни Турбиных». Я удивленно спросила: «Вы пишете пьесы? Напишите что-нибудь для нас, для нашего кружка!» Он обещал. И раз привел своего друга – инженера-горца (его фамилию я забыла). Булгаков написал нам две пьесы: «Сыновья муллы» (совместно с горцем) и «Самооборону». Он помогал нам ставить эти пьесы. Потом он уехал.

Кто были его друзья? Адвокат Беме и инженер-горец – давно умерли!

Только уже будучи доцентом Пединститута, затем Университета, я узнала, что Булгаков – известный писатель, и вспомнила, осознала, что я с ним работала. Я очень горда, что

была с ним знакома!

Сейчас я пенсионер. Сильно болею. Уже пять месяцев лежу в постели, еле хожу с палкой по комнате. Муж – Заурбек Мальсагов – работал на ниве народного просвещения республики. Умер в 1938 г. Мучают узлы на ногах, тоскую одна. Сестра живет отдельно. Днем ее дети у меня. Желаю Вам больше книг, бодрости и радостей.

Т. Мальсагова».

Позже я познакомился с актером, жившим в одном доме с Тамарой Тонтовной. Он рассказывал мне, что даже в преклонные годы она выглядела стройной, горделивой женщиной. Я прикинул, что с тех времен, о которых я у нее спрашивал, миновало шестьдесят с лишним лет. Но тем не менее одно ценное замечание в письме было – Булгаков ходил по городу в форме военного врача Добровольческой армии. Желал этим показать, что он не убивал, а только лечил людей, но и это тогда было небезопасно.

Жаль, что в письме нет ни слова о его жене. Она, впрочем, как и более яркие личности, не осталась в памяти Мальсаговой. Она – скромная в общении с людьми женщина. Она по меньшей мере дважды спасала его от верной гибели, но он развелся с нею. Осталась ли она в его памяти? Осталась… Об этом я расскажу подробнее тогда, когда в моем повествовании этому придет черед. Булгаков на редкость автобиографический писатель. «Мастера и Маргариту» – свой гениальный роман – он творил до последних дней жизни. Откроем его страницы. Булгаковеды уверенно считают, что прообразом Маргариты была Елена Сергеевна – третья и прекрасная жена писателя.

Откроем роман на части второй, главе 19-й, названной «Маргарита». Глава начинается такими словами: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» И далее через пару строк читаем: «Прежде откроем тайну… Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной». И хотя затем в романе Михаил Афанасьевич рассказывает о своей возлюбленной, жизнь которой походила на бытие Елены Сергеевны, дальнейшие детали… О них говорить еще рано. Они станут понятны читателю, когда он узнает о том, как сложились любовь и жизнь Татьяны Николаевны и Михаила Афанасьевича. Заметим пока, что отчество Маргариты совпадает с отчеством первой жены Булгакова. Может, оно возникло в уме писателя случайно, подвернулось знакомое отчество, он и прицепил его к имени героини. Но… но в творчестве Булгакова очень малая вероятность случайности, когда дело касается его личной жизни,

жизни Мастера в романе. И о какой вечной любви можно говорить, вспоминая третью жену? Настоящая, верная и вечная (!) любовь бывает одна. Я не спешу делать какие-либо выводы из мною сказанного, не призываю: «За мной, читатель!» Это право гения. Но даже гений литературы не сразу вырос до высот творчества. Он был мальчиком, студентом, молодым человеком… Он мог влюбиться и увлечься, даже в чем-то ошибиться, проявить легкомысленность… А кто из великих не ошибался в жизни? Примеров тому множество. В юности Булгаков был одержим одною мечтою – написать роман. И он создал «Белую гвардию» – первое свое совершенное произведение, начал писать его именно в то время, когда был безумно влюблен в Татьяну Николаевну Лаппу. Не потому ли в конце жизни, обожествляя Елену Сергеевну, он считает таинственным раскрытие имени героини романа?!

В своих дневниках Елена Сергеевна замечала, что Михаил Афанасьевич никогда словом плохим не обмолвился о Тасе… Может, в конце романа, в конце жизни, ему захотелось отдать должное той женщине, которая этого заслуживала если не более его других жен, то никак не менее.

Я приглашаю подумать об этом вместе со мною, читая повествование о необычайном и трагическом союзе Михаила Афанасьевича Булгакова и Татьяны Николаевны Лаппы.

Глава первая Классная дама из Саратова

Многим запомнилась грибоедовская фраза из «Горя от ума», вложенная в уста героя: «В деревню! К тетке! В глушь! В Саратов!» Поскольку слова «глушь» и «Саратов» стоят рядом, увы, в сознании некоторых читателей этот город запечатлелся как глухомань, хотя автор подразумевал саратовскую деревню, где и жила вышеупомянутая тетка.

В начале девятнадцатого века, когда в Саратове обосновалась семья Татьяны Николаевны Лаппы, город был третьим после Москвы и Петербурга по величине и значению культурным и промышленным центром России. Стоял он на красавице Волге, в ту пору еще не загрязненной промышленными отходами, и летом отдохнуть здесь можно было не хуже, чем на ином курорте, – всласть накупаться в чистейшей воде, позагорать на песчаных пляжах, где песчинки точно отборные зернышки пшеницы. Речной и торговый порты Саратова славились на всю Россию объемами перевозок и царившим там порядком. Увы, нынешний Саратов очень изменился с тех пор, архитектурно состарились, поблекли его дома, замерли порты, и Волга с середины июля покрывается неприятной зеленоватой плесенью, отбивающей желание окунуться в воду. Старожилы предлагают гостям города посмотреть радищевскую галерею и домик-музей Чернышевского. Старые купеческие дома, осевшие в землю, покосившиеся, кажутся местным жителям древностью, пригодной не столь для жилья, сколь для съемок фильмов о России конца девятнадцатого века.

В Саратов я приехал работать: вечерами выступал в развлекательной программе во Дворце спорта «Кристалл», а днем старался найти следы пребывания в городе героини моей повести. В помощники себе я привлек очень известного и уважаемого в городе человека, народного артиста РСФСР Льва Горелика. Он связался с литературоведческой профессурой местного университета, но так ничего и не смог узнать ни о Татьяне Лаппе, ни о ее родителях, ни о приездах сюда Михаила Булгакова. А может, ученые не хотели поведать об этом чужаку? Зато охотно и с гордостью говорили, что фамилия Бендер, прославленная Ильфом и Петровым, найдена писателями не в Одессе, а в Саратове. Во время поездки на тиражном теплоходе по Волге они останавливались в городе и не могли не увидеть на центральной улице яркую вывеску магазина, принадлежавшего братьям

Бендер.

Я сумел разжиться в библиотеке местного университета увесистыми сборниками «Весь Саратов» за 1908–1910 годы, где обнаружил фамилию жителя города Николая Николаевича Лаппы и адрес, по которому проживал он и его семья.

Мне любезно сделали ксерокопию с небольшого интервью Татьяны Николаевны, данного ею корреспондентке одной из центральных газет. Небогатые находки, но я не унывал. Передо мною лежал разбросанный вдоль Волги город с его историей, его людьми, были книги о Саратове, а с годами трудная и кропотливая работа булгаковедов позволила мне узнать много интересного о детстве и юности Татьяны Николаевны Лаппы. Объяснялась ее странная фамилия, несущая в себе пусть давние, но прибалтийские корни, возможно, литовские и эстонские. Очень жаль, что в своих ранних произведениях и письмах родным Михаил Афанасьевич очень редко упоминает Татьяну Николаевну, хотя у его многочисленных героев есть, как правило, прототипы, и это весьма известные в свое время люди. К примеру, барон Майгель из «Мастера и Маргариты» – это, по всей вероятности, барон Штейгель, владелец кирпичного завода во Владикавказе, кожевенного в Беслане и еще одного в Ростове. Видимо, молодой Булгаков считал неэтичным описывать жену, которую любил беззаветно. Михаила Афанасьевича можно понять и отметить душевное, искреннее расположение к ней. Он старался не обидеть Таню, думал об этом, а не о трудностях будущих историков и исследователей его творчества. «Я никогда не собиралась публиковать свои воспоминания», – писала Татьяна Николаевна в предисловии к книге одного из них.

Бабушка Татьяны, мать Николая Николаевича, была из небогатой семьи, замуж она вышла за человека более состоятельного, но супруг, как говорят, в один прекрасный день уехал неизвестно куда и больше родных не навещал. Бабушке пришлось подрабатывать шитьем, жить очень экономно, но она сумела дать всем детям образование. И мальчики и девочки закончили гимназии, кто министерские (7 классов общеобразовательных и 8-й педагогический), кто Мариинские – ведомства императрицы Марии (7 классов). В их учебных планах не было древних языков. В России лишь в четырех женских гимназиях эти языки преподавали, причем без ущерба для русского языка, математики и физики. Отец Татьяны Николаевны учился в Москве, в университете, где и познакомился с ее матерью, Евгенией Викторовной. Однажды он привез маленькую Таню в Москву, показывал ей город и привел в одну из лучших женских гимназий России, расположенную в доме № 46 по

Большой Никитской, на полпути от Никитских Ворот до Кудринской площади. Таню поразил прекрасный особняк с небольшим двориком, защищавшим гимназию от уличного шума и суеты, и главное – лица гимназисток, серьезные и просветленные. Таня даже позавидовала их ученической форме – строгой, но элегантной, но удивилась их разговорам. Девушки, выйдя из гимназии, увлеченно обсуждали только что прослушанную лекцию, с нескрываемым интересом рассуждали о науке. Отец объяснил это Тане тем, что хозяйка гимназии собрала у себя плеяду блестящих преподавателей, по-настоящему любящих свои предметы и ведущих лекции так интересно, что у гимназисток после занятий светятся глаза и становятся одухотворенными лица.

– У хозяйки гимназии лучшие в Москве специалисты, – сказал Николай Николаевич дочери, – и средства находятся для достойной оплаты их работы. Помогают попечители.

– Ведь у нас в городе тоже есть попечительский совет, – заметила Таня, – неужели нельзя создать такую гимназию?

– Наши попечители – не чета столичным, – вздохнул отец и провел Таню на параллельную Большой Никитской Поварскую улицу и показал шикарный четырехэтажный особняк, построенный из неизвестного Тане камня, на взгляд и ощупь похожего на гранит. Таню поразили высокие, окованные металлом красного дерева двери с буквой «Ш», выдавленной ближе к основанию.

– Что это значит? – поинтересовалась Таня.

– Шлосберг, – объяснил отец. – Здесь живет Шлосберг – богатейший человек и щедрейший попечитель.

Тогда Таня еще не могла даже предположить, что́ случится с увиденными ею зданиями. Разумеется, они были реквизированы советской властью, как и расположенный на Кудринской площади двухэтажный домик Шаляпина. Великий певец от души недоумевал, почему у него отняли дом, ведь он никого не грабил, не эксплуатировал, зарабатывал деньги своим трудом – пением высочайшего класса, покорившим мир. Таня читала у известного писателя и журналиста Власа Дорошевича рассказ о первом приезде Федора Шаляпина в Италию. Местные знатоки пения собирали клакеров, которые – разумеется, за плату – должны были освистать русского певца. Обычно спокойный и выдержанный Влас Дорошевич возмутился, узнав об этом.

– Как можно готовить провал певцу, которого вы никогда не слышали?! – удивленно заметил он местным журналистам.

– А как можно вообще направлять певца в Италию – родину пения? – возражали итальянцы. – Это сравнимо с тем, что мы

привезли бы в Россию пшеницу!

Кстати, концерт Шаляпина прошел очень успешно, певцу аплодировали даже клакеры, нанятые с прямо противоположной целью. Потом Таня узнала из газет, что Шаляпин, возмущенный отношением к нему, покинул родину, его лишили ордена, звания заслуженного артиста республики, но, видимо, для него важнее этих наград была достойная и уважительная жизнь. По-видимому, пытаясь приспособиться к новому социалистическому бытию, первым за лишение Шаляпина звания и ордена выступил молодой поэт Владимир Маяковский.

Куда умчался Шлосберг, захваченный врасплох революцией, никому не известно. Ему тоже, наверное, прежняя жизнь была важнее шикарного особняка, и опекать в России стало некого – одно за другим закрывались учебные заведения. Не моргнув глазом, большевики ликвидировали женскую гимназию как один из оплотов буржуазии, где не преподавалось учение Маркса и Энгельса. Но кое-кто из сохранившихся культурных людей, вспоминая эту гимназию, и о самом здании позаботился, объявив его памятником архитектуры, охраняемым государством, о чем вещает прикрепленная к фасаду металлическая табличка.

…Таня вдруг вспомнила, что училась она отвратительно, прогуливала занятия, за это получала нагоняи от отца, а мама однажды даже оттаскала ее за волосы.

– Не дергай так сильно, – поморщившись, прошептал Николай Николаевич жене, – она еще так молода, с кем в ее возрасте такого не случается.

– Надо вовремя взяться за ум! Уверена, твой отец держал тебя в строгости, приучал к порядку!

– Спасибо ему за это, вечное спасибо, – соглашался Николай Николаевич, – но я верю в Таню. По-моему, она прогуливает гимназию не столько от лени, сколько из озорства, хочет показать, что она смелая, не такая, как все. Эта дурь у нее пройдет. Дочка управляющего Казенной палатой не имеет права учиться плохо. У податного инспектора, человека аккуратного и добросовестного, не может вырасти непутевая дочь!

После этих слов Евгения Викторовна краснела. В отличие от мужа, она оставляла свою одежду где попало, надеясь, что ее уберет прислуга.

И следуя ее примеру, Таня поступала так же. Собираясь на каток, разбрасывала одежду по комнате, пытаясь отыскать свитер, спортивную юбку и теплые чулки.

Единственным местом, где она чувствовала себя привольно и весело, был слегка припорошенный снегом лед катка. Кочевая жизнь семьи Николая Николаевича, начавшего карьеру податного

инспектора в Екатеринославе, не способствовала здоровью Тани. Рязань, где она родилась, потом несколько лет жизни в Екатеринославе. Катание на качелях, которое она очень любила, вызывало головокружение. И летом ей пришлось ограничиться гулянием в Потемкинском саду. А еще в летнюю пору она объедалась арбузами. Мать говорила, что они полезны, очищают организм, и зимой Таня будет краснощекой под цвет арбузной мякоти. Хотя бы этим быть похожей на здоровых малявинских баб, изображенных на картинах. Эти рязанские тетки были толстые, румяные, а Таня по сравнению с ними выглядела тонкой, как хворостинка. Они часто всей семьей гуляли по Потемкинскому саду, и Таня прижималась к матери, очень красивой женщине. Нет, она вовсе не старалась разделить с нею излучение женской красоты, а просто хотела показать окружающим, что она дочка этой красавицы, когда вырастет, тоже будет привлекательной. Вскоре самые почтенные горожане стали здороваться с Николаем Николаевичем и его родными. И в Рязани, где начинал работу, и в Москве, живя в районе Сивцева Вражка, он не раз ссорился с женой из-за своего чрезмерно долгого ежедневного пребывания в Казенной палате, отдавая предпочтение работе. Он считал должность податного инспектора одной из самых важных в стране. И где бы ни работал – везде строил новую Казенную палату, не только здание, которое соответствовало бы столь авторитетному в стране финансовому учреждению, но и внутренне перестраивая службу, подбирая честных и преданных делу сотрудников. В первую очередь – честных и понимающих, что от их искусства собирать налоги в городской бюджет зависит благосостояние всех сограждан. Николай Николаевич не случайно называл работу податных инспекторов искусством, сам не лишенный дара артистизма, он требовал точного и блестящего исполнения роли каждым сослуживцем.

– Казенная палата, как и театр, начинается с вешалки, – говорил он. – В Казенной палате и работнику и посетителю должно быть приятно и комфортно, как в хорошем театре. В Муроме местный купец построил для горожан театр на триста мест, соорудил маленькую, но искусную копию московского Большого театра. С партером, амфитеатром, балконами и ложами. Поэтому, наверное, в этом театре каждый вечер полно зрителей. И лучшие московские артисты не отказывались от выступлений там.

Николай Николаевич играл в городском театре Екатеринослава, в пьесах Островского. Участвовал в любительских спектаклях, и именно его игра собирала на них

немало зрителей. Был выпущен и продавался перед началом спектаклей портрет Николая Николаевича. «Артист Лаппа – пять копеек!» – предлагали зрителям билетерши. Таня безумно гордилась театральными успехами отца, у нее замирало сердце, когда он обольщал в одной из пьес дородную и богатую купчиху, невольно оглядываясь на жену, когда приходилось обнимать партнершу по сцене. Мама наблюдала за этим действом с хмурым лицом. Однажды Николай Николаевич объявил ей, что ему предложено стать профессиональным артистом.

– И ты что, – на мгновение потеряла дар речи Евгения Викторовна, – ты дал согласие?!

– Палату я уже построил, навел там порядок, – сказал ей муж, – живешь один раз, Женя, почему бы не попробовать себя в качестве артиста?

– Если перейдешь в театр, я уйду от тебя, – заключила Евгения Викторовна, и Николай Николаевич ее послушался. Наверное, не хотел рушить семью и окончательно бросать свою работу, в которую вкладывал душу.

– Я понимаю тебя, Женя, – сказал он, – ты любишь меня и ревнуешь к поклонницам, которые непременно появятся, если я стану артистом, да еще играя любовников. Но ты учительница, разбираешься в характере людей. Неужели не уверена в моей порядочности?

Евгения Викторовна положила руки на колени и опустила голову.

– Ни я, ни дети не видим тебя. Днем ты на работе, вечером играешь в своих спектаклях, а после них – в карты. Этот чертов винт. Ты помешался на нем. Тебе безразлично даже здоровье детей. Таня бледна, страдает от мигреней.

– Это сейчас очень популярная болезнь. Ходит по городу даже анекдот об этом. Один горожанин спрашивает у приехавшей из деревни женщины: «У вас бывает мигрень?» – «Что вы! – отвечает она. – У нас никто не бывает! Скучища скучищей!»

Таня случайно подслушала этот разговор и была в споре на стороне отца. Ей очень хотелось, чтобы он стал настоящим артистом.

Иногда Таня отправлялась в Москву, погостить у родственников, и тетки – заядлые театралки водили ее в Большой театр на «Фауста», «Аиду», «Травиату»… Чтобы попасть на Шаляпина, выстаивали очередь, даже ночью. Смотрели «Три сестры», «Вишневый сад» Чехова. Тетки сидели на этих спектаклях с покрасневшими от слез глазами, вспоминая свои поместья, давно заложенные в банк, а потом проданные. Там прошло их детство. Таня сочувствовала теткам и, хотя не все в

этих спектаклях было ей понятно, сидела в кресле как вкопанная и не шелестела программкой, как другие дети, уставшие от сложного для них драматического сюжета. Таня мечтала, чтобы отец выходил на сцену вместе с артистами, которых она обожала. Но мама в одну минуту разрушила ее надежды, и по-своему была права. Порой у Тани действительно раскалывалась голова от мигрени. Ничем эту болезнь тогда вылечить не могли. Однажды она случайно приложила к вискам платок, смоченный эфирным спиртом, и мигрень отступила. Таня была безумно счастлива от своей находчивости и подумала, что в жизни, наверное, нет места безысходности, нет такого положения, из которого нельзя было бы найти выход, и от этого жизнь показалась ей радостной и беспечной.

Если поклонники театрального искусства в Екатеринославе заметили способности самодеятельного артиста Николая Николаевича Лаппы, то финансовое начальство в Москве обратило внимание на трудолюбие и верность службе своего податного инспектора. Из Екатеринослава его переводят управляющим Казенной палатой в Омск. Переезд занимает неделю. За окном поезда перед Таней тянутся бесконечные снежные поля, мелькают замерзшие речки и пруды. «Вот где будет раздолье для катания на коньках», – думает она. Новые норвежские «снегурки» с загнутыми носами упакованы в специальную корзинку, и Таня проверяет, на месте ли она. На катке она не только испытывает радость от быстрого скольжения, но и чувствует, что ее организму необходима физическая нагрузка, свежий воздух бодрит ее. С катка не хочется уходить домой, и чтобы лишний раз оказаться на катке, Таня готова пропустить занятия в гимназии, ее не страшит даже неотвратимое наказание: могут поставить в угол и даже оттаскать за волосы, что больно и унизительно. Но вот оно в очередной раз забыто: лед расстилается перед нею, открывая дорогу, кажется, в новую жизнь, еще неизведанную и прекрасную. Мелочи быта блекнут перед Таниными мечтами о будущем. Ее не утомляет длительный переезд в Омск, она старается не думать о поездной тесноте. На вокзале в Омске им подали возок.

– Ничего другого нет? – спрашивает мама у встречающего семью работника местной Казенной палаты. – Хотя бы тарантаса? Или пролетки?

– Зима-с сейчас! Снег по колено-с! Мороз! – улыбается работник. – Только на возке и проедешь в наших условиях-с!

Возок скрипит, подпрыгивает на снежных ухабах, Тася держит отца за руку, и их обоих мотает из стороны в сторону.

– Куда поедем-с? – интересуется работник. – Прямо в

Казенную палату изволите-с?

Николай Николаевич кивает, но, увидев свое будущее учреждение, суровеет.

– Это не Казенная палата, а сарай! – гневно замечает он. – Есть ли поблизости какая-нибудь приличная гостиница?

– А как же-с?! – вновь расплывается в улыбке сопровождающий. – Прекрасная гостиница господина Зайцева. Трогай! – обращается он к вознице.

Тот резко трогает с места лошадей, и возок, проскользив по накатанной улице, кренится налево. На возке вскрикивает от страха Евгения Викторовна. Тане и Женьке тоже страшновато, но эту необычную поездку они принимают за развлечение.

Гостиница оказалась грязной, с маленькими номерами. Гостей вышел встречать сам господин Зайцев – мужичок в тулупе, с большими усищами и курносым носом на глуповатом лице.

– Да, типаж… – тихо говорит Николай Николаевич. – Но больше жить пока негде.

Евгения Викторовна еще больше распаляется, когда узнает, что в гостинице нет воды, ее приносят.

– Откуда? – интересуется она.

– Из Иртыша – реки-с! – объясняет работник палаты. – Чистейшая вода-с, Николай Николаевич. А мы вам комнаты подмели в палате. Думали, вы жить там изволите.

– Будем строить новую Казенную палату! – говорит Николай Николаевич.

Работник широко открывает глаза:

– А с этой что делать будем-с?

– Сносить, – уверенно произносит Николай Николаевич.

– Ну и в дыру мы угодили! – не стесняясь работника, восклицает Евгения Викторовна.

– А мы здесь живем-с! – смущенно улыбается работник и разводит руками.

– Успокойся, Евгения! – обращается к жене Николай Николаевич. – Мы знали, куда едем. Здесь я смогу проявить себя как нигде больше.

– А у нас есть хорошие и большие особняки! – не унимается работник, обиженный за родной город. – Особенно поближе к набережной.

– Спасибо, милейший, – смягчается отец. – А у вас хорошие строители есть?

– А как же-с! Самому губернатору дом строили! На Аннинской улице. Названа в честь его дочери. Хорошая нежная девушка, любила гулять по этой улице. Сейчас заканчивает в Петербурге учебу-с!

Таня быстро освоилась в небольшом городке. Бродила возле красивой усадьбы, не ведая, что через некоторое время она станет исторической – здесь чехи задержат адмирала Колчака и передадут его новой власти, которая незамедлительно, после формального суда, расстреляет этого замечательного ученого и флотоводца – гордость России. И уже на склоне лет Татьяна Николаевна познакомится на черноморском пляже с красивой девушкой, узнает, что та родом из Омска, выступает в эстрадной программе «На эстраде – омичи», разговорится с нею, выяснит, что зовут ее Любовью Полищук, что она теперь живет в Москве, мечтает уйти с эстрады в театр, хотя заработки в театрах мизерные, но работа сложная и интересная, и самое для себя любопытное выяснит, что отец Любы до сих пор работает в Омске маляром, что он потомственный рабочий, дед и прадед его тоже малярничали.

– А Казенную палату не они строили? – поинтересуется Татьяна Николаевна.

– Это что такое? – наморщит лоб Люба. – Не знаю. Вот посмотрите журнал мод из Японии. На обложке – я. Узнаете?

– Еще бы! Вы очень красивая девушка! – похвалит ее Татьяна Николаевна, но вернется к воспоминаниям об Омске: – Я там жила в те годы, когда была моложе вас. Не все, но Казенная палата должна сохраниться, строилась на века. Неужели не помните красивое здание на площади?

– Слева от обкома? – спросит Люба. – С резными наличниками?

– С резными, – подтвердит Татьяна Николаевна.

– Так сразу бы и сказали, – улыбается Люба. – Это здание мой дедушка строил, пусть земля ему будет пухом! А отец с матерью, слава богу, живы. Отец крепкий. Еще работает. А вы кто по профессии будете? Похожи на учительницу!

– Вы почти угадали, – скажет Татьяна Николаевна, – я работала в реальном училище классной дамой.

– До революции, что ли? – спросит Люба.

– До нее, – кивнет Татьяна Николаевна. – Мне уже знаете сколько?

– Душа у вас молодая. Глаза живые, блестят, значит, молодая. Сейчас таких профессий нет. Слова-то какие: «дама», к тому же еще «классная». Обалдеть можно! Я люблю Омск, при пятнадцати градусах мороза хожу без шапки. Не мерзну. Но искусство у нас еще развито слабо. До московского – далеко. Я на многое пошла, но в Москве осталась и найду свое место, пробьюсь! Такая теплынь, как тут, для Омска в дефиците. Я здесь научилась плавать!

– А я впервые на коньки по-настоящему встала в Омске, – улыбнулась Татьяна Николаевна. – Раньше еле плелась по льду, а в Омске раскаталась.

– Чего-чего, а льда у нас хватает! – вздохнула Люба и повернулась на другой бок.

А Татьяна Николаевна мысленно вернулась в город юности, где училась в гимназии и без устали могла часами резать коньками лед, набирая силу и женскую привлекательность. Кататься ее учил мальчик Кеша. Она запомнила только его имя и настойчивость, с которой он требовал не держаться за него, ехать на коньках одной и не бояться упасть.

– Не разобьетесь, барышня! – говорил он Тане. – Сначала сильно не разбегайтесь. Двигайтесь размеренно.

– А я хочу кататься быстро! – решительно произнесла Таня и рванулась от Кеши, быстро засеменила по льду мелкими шажками, интуитивно чувствуя, что следует кататься более плавно, едва не упала и испугалась, когда один из коньков намного разминулся с другим, но удержалась на ногах. Через неделю Кеша с трудом догнал ее, но она прибавила скорость, и он отстал.

Отец закончил строительство новой Казенной палаты, и семья Лаппа перебралась в отведенные ей на втором этаже комнаты.

Воспоминания прервет Люба:

– Вы знаете, дедушка мне рассказывал, что до революции получал денег больше, чем после нее. Это могло быть?

– Могло, – ответила Татьяна Николаевна.

– А вы из богатой семьи?

– Ну, не скажу, что мы были богачами, но отец зарабатывал прилично, на свадьбу подарил мне большую золотую цепь.

– Богачка! А у меня в Москве нет даже комнаты! Красота, правда, тоже своего рода богатство. Многие мужчины на меня заглядываются, а вот замуж не зовут. Конечно, без квартиры, родители – рядовые люди, без связей… Вы-то, наверное, вышли замуж за ровню себе? За состоятельного человека?

– За самостоятельного: в своих суждениях, – скажет Татьяна Николаевна. – А о деньгах мы не думали.

– Значит, все-таки были богачами, – нахмурится Люба.

– Мы любили друг друга, – дрогнет голос у Татьяны Николаевны, – временами и бедствовали, и голодали, и жили где удастся, где примут добрые люди.

– Теперь я понимаю, почему судьба занесла вас не в Сочи, не в Ялту, а в этот черноморский, но захолустный город, – скажет Люба. – Завидую вам – вы любили. Вы не подумайте обо мне

плохо, я не легкомысленная. И вообще мечтаю играть спектакли с самыми лучшими артистами, самые интересные пьесы.

– Наверное, мечтаете сыграть Любовь Яровую? – иронично заметит Татьяна Николаевна.

Вдруг Люба приподнимется с песка, присядет поближе к Татьяне Николаевне и доверительно посмотрит ей в глаза:

– Мне рассказывал один старый театральный актер, а ему еще до войны говорил преподаватель театрального института, что самый лучший драматург в стране – это Михаил Булгаков! Я ничего из его произведений не читала, не печатают, но артист сказал, что для меня есть интересная роль в его пьесе «Зойкина квартира». Не слышали о такой?

Татьяна Николаевна побледнеет. С моря налетит свежий ветерок, но ей все равно станет трудно дышать, перехватит горло.

– Что с вами? – забеспокоится Люба. – Давайте переберемся под тент! Или поискать врача?

– Не надо, голубушка. Мне скоро полегчает. Это оттого, что я редко выбираюсь к морю, на солнце. Местные жители в большинстве вообще не загорают. Зачем, когда это можно сделать когда захочется. И считают солнце вредным.

– Выходит, что вы не местная жительница. Вы мне про Омск рассказывали. Как я сразу не догадалась? Интересно, как вы здесь очутились?

Татьяна Николаевна справится с волнением и уверенным голосом скажет Любе:

– Мне уже легче, голубушка, а моя жизнь вряд ли кого интересует, даже меня. Была любовь… но слишком давно… Самой верится с трудом. Правда, одна женщина мне написала письмо о том, что хочет навестить меня. Может, скоро начнут печатать Мишу…

– Какого Мишу? – полюбопытствует Люба. – Извините, но вы не назовете вашу фамилию?

– Чего скрывать, я жила честно, – произнесет Татьяна Николаевна, – моя фамилия – Кисельгоф.

– А я думала, когда вы сказали, что начнут печатать Мишу… Я подумала, что вы имеете отношение к Михаилу Булгакову. Бывают в жизни самые невероятные совпадения! Ведь бывают!

– Случаются, – усмехнется Татьяна Николаевна и отвернется от девушки, чтобы она не заметила навернувшиеся на глаза слезы.

Этот разговор состоится почти через полвека после времени, когда мы прервали повествование о жизни Татьяны Лаппы. А тогда ее отец построил новую Казенную палату, торжественно открыл ее, и податные инспекторы заняли свои места за

свежевыкрашенными столами в просторных светлых комнатах. Казенная палата выглядела солидно, как и подобает серьезному учреждению, призванному работать для благоденствия страны. Вечером этому важному событию был посвящен банкет с торжественными речами, идущими от сердца тостами, с обильной едой и выпивкой. Тасю, конечно, на банкет не пустили, но она знала, что на нем хвалили отца. Они с братом, принаряженные по случаю праздника, пошли гулять по Аннинской улице.

Они гордо ступали по центральной улице, ведя на поводке подаренного им породистого ирландского сеттера по кличке Рамзес. Жизнь была спокойной и чудесной.

Вскоре началась война с Японией. Дети смотрели с балкона своей квартиры военный парад, казачьи скачки. Немного подорожали продукты. Но война была далеко от Омска, почти не повлияла на привычный ход жизни, если не считать проводы солдат на войну, сопутствующие им рыдания родных и пьяные объятия новобранцев, громкие победные речи офицеров.

У Тани с Женькой в Омске прибавились два братика – Костя и Коля. Евгения Викторовна и нянька занимались ими, меньше внимания уделяя старшим детям, которые уже ходили в гимназию. За Таней стал ухаживать один бойкий гимназист и подарил ей свой гимназический герб с бантом. Таня смутилась – с таким проявлением чувств к себе, да еще от чужого мальчика, она столкнулась впервые – и не нашла ничего лучшего, как отшвырнуть герб в сторону. После этого Таню обругал и даже ударил Женька, так как он обещал этому мальчику, что сестра примет от него герб и поблагодарит за подарок. Но ссора вскоре забылась. Запомнилось, что зимой, в жестокие морозы, когда серело небо, мрачная дымка наступала с горизонта и хрустел под ногами снег, на Таню и Женьку напяливали теплые эскимоски с капюшонами. Дети смеялись, с радостью облачались в эти наряды.

Николай Николаевич старался дать почувствовать близким, что живут они не в дыре, что всякое место имеет свои прелести и от человека зависит, как он устроит свою жизнь где угодно. Он разбил цветник, где летом полыхали гвоздики и радовали глаз левкои. Однажды усадил семью в два тарантаса и повез по голой степи. Домочадцы не скрывали удивления, пока их взорам не открылись два чудесных оазиса – два озера, Рыбачье и Тихое, в одном из которых плавали лебеди. Посреди озера Тихого возвышалась тонкая в основании, похожая на бокал гора Синюха. Они стали приезжать сюда часто. Останавливались на самом берегу озера в доме у знакомого землемера. Неподалеку ставили свои живописные юрты киргизы.

Таня застала киргизов такими, какими они были в начале девятнадцатого века, – соблюдающими национальные традиции и обычаи. В загоне киргизы держали лошадей. А когда выпускали их на пастбище, Таня с Женькой гладили им гривы и удивлялись, что дикие животные совсем не боятся людей.

– Чувствуют, что мы их не обидим, – объяснял поведение лошадей Женька, – к тому же они полезные – дают кумыс. Смотри, как мама от него располнела.

И действительно, худенькая Евгения Викторовна заметно набрала вес. Николай Николаевич добродушно подшучивал над чрезмерным увлечением жены новым для нее и «пользительным» напитком.

– Не все же время мы будем жить рядом с этими чудесными лошадьми, – говорил он ей, – так что набирай вес впрок. Я не против!

Николай Николаевич Лаппа был не только деловым казначеем. Просиживая допоздна за работой, он улучал момент полюбоваться природой, приучал к общению с нею детей. Любил, когда в доме царило веселье, считал, что оно разнообразит и продлевает жизнь. Он часто вывозил семью на пикники, приглашал в гости друзей и родных. Лето проводил с семьей на даче в деревне Захламино и местечке, называемом Боровое, считая, что закалка, полученная в нежном возрасте, пригодится детям позднее. Возможно, она действительно помогла Тане выжить в труднейшие холодные и нищие годы, о скором наступлении которых тогда, слава богу, еще не думали.

Отец столь блестяще наладил дело в Казенной палате Омска, что его повысили по службе и перевели в Саратов. На прощание сослуживцы подарили ему набор столового серебра на двенадцать персон, а еще раньше, на съездах податных инспекторов, где по окончании слушаний накрывался стол на сто человек, Николай Николаевич получил в подарок две дорогие китайские вазы и серебряный самовар. Таню с Женькой, уже повзрослевших, пускали на эти вечера, и там для них было раздолье. Они бегали вдоль столов, и никто из гостей не бранил их. Таня понимала, что такое отношение к ним – заслуга отца, безупречной службой добившегося высокого звания действительного статского советника.

От Омска Евгения Викторовна с детьми поездом добралась до Самары. На вокзале их встретил отец и преподнес матери букетик ландышей, искренне нежно, что было для Тани выражением настоящей любви, которая не проходит ни со временем, ни под влиянием обстоятельств, если семья крепкая и зиждется не на расчете, а на уважении и любви, возникших с юных лет. Таня

радовалась за родителей и мечтала встретить такого человека, с которым могла прожить всю жизнь в любви и согласии, избегая споров и конфликтов, а если они все-таки возникли бы, то немедленно гасить их, уметь прощать слабости друг друга.

Из Самары до Саратова плыли на большом и удобном пароходе. Таня и Женька быстро его обжили, однажды пробрались даже в машинное отделение и увидели людей с грязными закопченными лицами, перепачканных мазутом. Их вид произвел на Таню сильное впечатление. Она понимала, что кто-то должен работать в машинном отделении, но от этого не становилось легче на душе. И неожиданно страх овладел ею при мысли о том, что эти и подобные им люди когда-нибудь захотят изменить свое положение, прогуливаться и отдыхать на палубе, как родные Тани и другие господа. «Может, рабочим стоит больше платить за тяжелый труд, чтобы потом они могли отдохнуть достойно и хорошо», – подумалось ей. В гимназиях того времени уже бродили революционные настроения, но Таня не вникала в их суть.

В Саратове была иная жизнь, чем в Омске. Волга поражала красотой и задушевностью, в отличие от сурового Иртыша. Лучшие артисты и театры приезжали в город. Отец не отступал от своих убеждений и традиций. Он и в Саратове стал строить новую Казенную палату с квартирой для семьи управляющего. До этого они жили в Немецкой гостинице – лучшей в городе. В квартире при палате у Тани была своя комната, скромная, но удобная. Гостиная в квартире была увешана коврами – увлечение отца. Он особенно ценил привезенные из окрестностей Омска киргизские ковры ручной работы, немного грубовато сотканные, но поражающие своеобразием рисунка и удивительной прочностью.

– Они нас переживут, – как-то заметил он жене.

– Не говори такое при детях, у них еще вся жизнь впереди.

– Ты права, Женя, – согласился Николай Николаевич, – но я долго не проживу. – Он опустил голову и вздохнул. – Слишком много сделал добра, а таких людей Бог любит и старается, чтобы они были рядом с ним.

– Чушь мелешь! – возмутилась Евгения Викторовна. – Не слушайте его, дети! Идите поиграйте. А ты, Таня, помузицируй. Я люблю слушать твою игру на рояле…

Она умолкла, размышляя над словами мужа. Хотя внешне жизнь текла по-прежнему плавно, но даже в воздухе ощущалось напряжение, люди стали более нервными, нетерпимыми друг к другу.

По свидетельству писателя Константина Федина, «в городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским

сквером, с павильонами, где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и йогурт. Аллеи, засаженные сиренями и липами, вязами и тополями, вели к деревянной эстраде, построенной в виде раковины. По воскресеньям в раковине играл полковой оркестр. Весь город ходил сюда гулять, все сословия, все возрасты. Бульвар назывался Липками и под этим именем входил в биографию любого горожанина, как бы велик или мал он ни был… В аллеях продвигались медленными встречными потоками гуляющие пары, зажатые друг другом, шлифуя подошвами дорожки и наблюдая, как откупоривают в павильонах лимонад…»

В первые дни после приезда в Саратов Таня и Женька рвались в этот парк, но здесь им вскоре стало тесно, особенно на аллеях, где степенно прогуливались горожане. Рассматривать их день за днем скучно.

На площади возле университета по воскресеньям и праздникам шло народное гулянье, собиралась публика попроще, голосили парни под задорные саратовские гармошки: «Плыл я верхом, плыл я низом. У Мотани дом с карнизом…» Площадь шумела, клокотала, увлекая толпу в далекий мир, где все подкрашено, все поддельно, все придумано, в мир, которого нет и который существует тем прочнее, чем меньше похож на жизнь. Там был и паноптикум, где лежала восковая Клеопатра и живая змейка то припадала к ее шикарной пышной груди, то отстранялась. Была и панорама, показывающая потопление отважного крейсера «Варяг» в пучине океана. Были здесь Женщина-паук, Женщина-рыба, Человек-аквариум, театр превращений мужчин в женщин, а также обратно, театр лилипутов, хиромант, или предсказатель прошлого, настоящего и будущего, американский биомкоп, орангутанг, факир…

Таня, увлеченная красочностью зрелища и криками зазывал, никак не могла решить, на что истратить деньги – на Клеопатру, крейсер или орангутанга, но чем больше думала об этом, тем фальшивее и примитивнее казалось ей все происходящее на площади, и в конце концов она без сожаления покинула ее.

Внимание Тани привлек стоящий в стороне от балаганной суеты статный молодой человек. На плечи его была накинута куртка, что отличало мужественных взрослых техников от гимназистов, реалистов и коммерсантов. Таня подошла к нему и без всякого иного умысла, кроме интереса к истории Саратова, спросила:

– Я не здешняя. Рассказывают, что Саратов сначала был на левом берегу Волги, а потом перенесен на правый. По какой причине? Вы не знаете?

– Нет, – пожал плечами парень. – Саратов всегда благоволил бунтовщикам. И Степану Разину жители сдались без боя, и Пугачеву сразу подчинился гарнизон. У нас родился и жил Чернышевский. В 1893 году вернулся в Саратов из ссылки и в том же году помер. Кстати, я вам покажу каторжную тюрьму. Там в основном сидят политические!

– Мне всех заключенных жалко, – призналась Таня.

– А вы откуда родом? – поинтересовался парень.

– Из Рязани.

– Рязанская, – пренебрежительно заметил он.

– Я жила там, когда была совсем маленькой, – не оправдываясь, спокойно ответила Таня. – Знаю по рассказам мамы, что город был небольшой, но поражал обилием красивых церквей. Там сохранились остатки кремля, построенного в тринадцатом веке. Фрагменты стен, зубцы. В центре города располагалась церковь двенадцатого века. Подле нее стоял надмогильный памятник – княжеская усыпальница. Еще есть Архангельский собор. Но самый красивый и большой – Успенский кафедральный собор, чудо архитектурного искусства, построен мастером Яковом Бухвостовым. Вам, наверное, неинтересен мой рассказ?

– Отчего, – усмехнулся парень, – серьезно говорите, как взрослая девушка.

– Я скоро заканчиваю гимназию, – обиделась Таня, – буду классной дамой.

– Значит, тянете на медаль.

– Учусь так себе, но к экзаменам готовлюсь день и ночь. А в Рязани венчались мама и папа. Я не помню этот город, но люблю его. Мне нравятся рязанские друзья папы. Они часто навещают его. Люди спокойные, покладистые.

– А откуда быть у них гонору? Их веками давили татары, даже крымские, потом присоединили к Москве без особых усилий. Они исторически не привыкли жить свободно, самостоятельно, без чьей-либо опеки.

– Вы много знаете, – похвалила парня Таня.

– Кое-что, – небрежно заметил он. – Значит, не пойдете со мною к каторжной тюрьме?

– Не пойду, – уверенно произнесла Таня, – сегодня надо пораньше быть дома, папа сказал, что вечером возможен погром, опасно быть на улице.

– Ну, ступай, ря-а-азанская! – усмехнулся парень и, поправив куртку на плече, зашагал по мостовой.

Парень вызывал у Тани интерес внешне небрежным видом и необычными мыслями, она не прочь была еще раз увидеться с

ним, ей показалось, что даже в толчее Липок ей не было бы скучно с ним и вообще не стыдно показаться вместе.

Погром состоялся на следующий день. По улице шла толпа хулиганов в нахлобученных на лоб кепках, в руках – у кого иконы, у кого палки или железные прутья. Громили еврейские квартиры, видимо, заранее вызнали адреса, грабили еврейские магазины, били евреев… Таня вышла из гимназии с подругой, еврейкой по фамилии Мейерович. Та сжалась от страха:

– Убить могут, Таня. В лучшем случае – изнасиловать или покалечить. В Саратове, конечно, погромы не чета кишиневским, так, больше для устрашения евреев и самовыражения русского духа. В Кишиневе никому пощады не бывает, здесь могут только попугать, но все равно страшно!

Таня пригласила подругу к себе домой, благо жила недалеко от гимназии. Они пробежали пару сот метров и захлопнули за собой заветные двери.

А когда на улицах утихло, Танина подруга пошла к себе. Таню обрадовало, что в Саратове организовываются дружины по сопротивлению погромщикам, состоящие сплошь из русских людей, но кое-что удивило: почему полиция не на стороне этих дружин. Позднее, в октябре 1905 года, во время крупного еврейского погрома был задержан податной инспектор Казначейской палаты ее отца, с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам. Оружия полицейские у него не обнаружили, но нашелся свидетель, который утверждал, что видел, как податной инспектор стрелял и ранил в толпе ломового извозчика. Полиция ничего не имела против инспектора, кроме этих показаний, да и дружинники на допросах утверждали, что он к их числу не принадлежал. Отец Тани ходил на прием к городовому полицмейстеру, ходатайствовал за своего подчиненного. Полицмейстеру просьба отца пришлась не по вкусу, но он все-таки обещал разобраться. За недоказанностью причастности к боевым действиям инспектора обвинили в уличных беспорядках и на три года отправили в ссылку. Таня была поражена этим решением. Годы спустя она расскажет будущему мужу эту историю, когда он начнет пьесу «Самооборона», Однако вышла у него не трагическая, а комическая история.

При доме, где жила семья Лаппа, был двор. Там, как и в Омске, Николай Николаевич разводил цветы. Старался привить детям любовь к природе, чувство красоты. В самом дальнем конце их участка стоял небольшой флигель. В нем жил человек, тихий и незаметный. И вдруг однажды, в 1905 году, флигель едва не взлетел на воздух от сильного взрыва. В доме Лаппа посыпались

стекла, вылетела даже одна рама, а Евгения Викторовна едва не упала в обморок от страха и еле удержала на руках маленького брата Тани, недавно родившегося Владимира. Флигель загорелся. Тихий сосед оказался революционером и начинял порохом бомбы для своих друзей, которых называли в народе бомбистами. Николай Николаевич резко отрицательно относился к бомбистам, считая, что кровью и смертями человеческими жизнь не улучшишь. Он решил отвлечь детей от воспоминаний об этой истории и на лето повез их отдыхать подальше от города, в деревню со странным названием Разбойщина. Деревня им не понравилась. Место неухоженное, дикое. На следующее лето Николай Николаевич поехал в немецкую колонию, что располагалась за мостом. Там жил немец Шмидт, очень деятельный и толковый человек. У него был роскошный дом с цветником и фруктовым садом. Шмидт купил землю около Разбойщины – большой участок с прудом, построил там купальню, дачи и сдавал их в аренду, даже давал лошадей для поездок в город и обратно. Николай Николаевич арендовал у Шмидта хорошую дачу. Это было чудесное место для гуляния на чистейшем воздухе. И от станции близко – два километра. В гости каждое лето стали приезжать сестры Николая Николаевича: Соня и Катя. Они после Рязани переехали в Москву с дедушкой и бабушкой. Тетя Катя вышла замуж за Сергея Язева, адвоката. У них родилась дочь Ирина.

Из различных переплетений человеческих судеб состоит жизнь, и нечего удивляться, что это случилось. Рано или поздно Таня должна была приехать в Киев. Тетя Соня вышла замуж за полковника Давидовича. Они перебрались в Киев вместе с бабушкой и дедушкой, который вскоре умер. Жили в хорошей просторной квартире на Большой Житомирской улице. Житомир – самый близкий к Киеву из больших украинских городов, и, видимо, поэтому в его честь назвали улицу и еще потому, что там доживали свой век офицеры-отставники; кстати, и после Великой Отечественной войны уходящим в отставку офицерам было разрешено селиться в Житомире. Не знаю, продолжение это традиции или совпадение – наверное, последнее. Потом и тетя Катя вместе с Ирой перебрались в Киев. Там собралась вся семья, кроме саратовских Лаппа. Не навестить родных, хотя бы однажды, Таня не могла. Она приехала в Киев после окончания гимназии на встречу со своей судьбой.

Татьяна росла ершистой, непокорной. Разбаловала мама – будучи родом из бедной семьи, она считала великим благом не заниматься тем, что за нее могли бы сделать другие. Придет Таня из гимназии, бросит верхнюю одежду на диван, и мать говорит:

не подбирай, горничная уберет; неизвестно, как сложится жизнь, пока позволяют обстоятельства – ничего не делай.

Вспомните письмо Тамары Тонтовны Мальсаговой. По сути, она не ответила ни на один мой вопрос. Увы, старость заставляет видеть детство таким, каким оно позже представляется, и отдельные оставшиеся в памяти случаи зачастую обобщаются и дают неверную картину поведения и времени. Спроси у Татьяны Николаевны, когда она, уже в преклонном возрасте, давала первое интервью, о судьбе немца Шмидта, у которого их семья арендовала дачу, вряд ли ответила бы. Просто не помнит. Выселили ли его из Саратова, как всех немцев Поволжья? Умер ли он? И своей ли смертью? Память отсекает случаи и встречи, со временем становящиеся незначительными. Зато оставляет яркие личные моменты. Как прогуливала гимназию, как отец приходил за нею на каток в Коммерческий клуб и потом наказывал. Она не спорила и покорно становилась в углу на колени. На это не было для нее уроком. Оставаясь вечером дома, она читала то, что запрещал отец: «Ключи счастья» Вербицкой, повести Арцыбашева, а из разрешенных – Гоголя, Тургенева. Отец полагал, что ей рано читать романы о любви. Он был очень строгим, но отходчивым. И причиной тому, наверное, была актерская жилка, крепко сидевшая в нем. Он по-прежнему много работал, но и в Саратове играл в любительском спектакле в театре Чернышевского. Таня там тоже участвовала в массовке, в спектакле «Василиса Мелентьева» восклицала: «Царь идет! Царь идет!», срываясь на крик, от страха перед царем и публикой.

А мать, по характеру незлобивая, тем не менее частенько давала дочери шлепки.

– За что, мама? – притворно изображая раскаяние, сквозь слезы спрашивала Таня.

– У тебя глаза порочные! Так и буравишь ими мужчин! – сердилась Евгения Викторовна.

– Я просто подросла, мама, – оправдывалась Таня.

– И отца не слушаешься. Он запретил тебе бегать в театр, а ты пропадаешь там!

– Но ведь бесплатно хожу, с подругой. Она дочь хозяина театра Очкина. Сколько я опер пересмотрела! Разве это плохо?

– Отцу виднее, – не отступала Евгения Викторовна, – дочь действительного статского могла бы брать билеты!

Таня закончила министерскую гимназию в Саратове и, будучи награждена медалью, получила звание домашней учительницы и домашней наставницы, при желании продолжать образование ей был открыт доступ на Высшие женские курсы. Для поступления в женский медицинский институт требовалось сдать

дополнительный экзамен при мужской гимназии. Она пошла работать классной дамой в реальное училище.

Классную даму Татьяну Николаевну реалистки училища считали ведьмой – разве что не летала на метле, а знала о них столько, сколько под силу знать только нечистой силе. Но дело было вовсе не в колдовстве. Просто иногда заходила она в туалет для преподавателей, разделенный с общим туалетом стеной, не доходящей до потолка. Поэтому невольно слышала разговоры реалисток, в перерыве между занятиями, и удивлялась, что девушки могут обсуждать такие подробности, которые взрослым гимназистам не придет в голову оглашать. Госпожа Елизова с упоением рассказывала, как учила любви неопытного гимназиста, как он смущался и пугался всякого ее предложения. Ее рассказ вызывал всеобщий хохот девушек. Госпожа Куркина хвасталась своим кавалером, который опрокинул ее в кустах и так быстро и ловко раздел, что она не заметила, как осталась в чем мать родила, что он всю ночь не слезал с нее, и она летала в облаках, счастливая, и ей казалось, будто до ближайшей звезды рукой подать и она достала бы эту звезду, если бы не мешал взгромоздившийся на нее кавалер.

Две реалистки – Наседкина и Орлова, брюнетка и блондинка – смеялись над родителями, которые отпускают их вместе куда угодно, а им только этого и надо. Они довольны, научились делать друг другу приятное не хуже, чем юноши девушкам, и при этом спокойны – не забеременеют, в отличие от госпожи Нечаевой, которая находится в положении, уже на втором месяце. В ответ госпожа Нечаева рассмеялась и сказала, что аборта не боится, а пока получает удовольствие с кем хочет и сколько и как пожелает и она, и партнер.

Поначалу реалистки не боялись классной дамы, обязанной следить за порядком на занятиях. Совсем еще девчонка, многие ученицы были едва ли не вдвое крупнее ее. Преподаватель Закона Божьего однажды спросил у учениц: «Где же ваша классная дама?» – и увидев Таню, хрупкую, молоденькую, рассмеялся: «Как же она справляется с вами?!»

Но Таня вскоре проявила характер, и это произошло бы независимо от подслушанных в преподавательском туалете ученических откровений.

Волевое лицо, окаймленное густыми, коротко подстриженными волосами, большие серо-зеленые глаза, мягко очерченные полные губы, целеустремленный взгляд, женственный земной облик. Она поняла, что закончилась беспечная домашняя жизнь, началась работа с людьми, которых она не знает и морали которых не исповедует. Зря родители считают ее ребенком. Она

уже взрослая настолько, что готова полюбить, но лишь человека достойного, интеллектуального, умного и, разумеется, любящего ее.

На ближайшем уроке она рассаживает за разные парты Наседкину и Орлову, те в смятении меняют места, и из их уст до нее доносится проклятие: «Ведьма! Чистая ведьма!» Она заставляет проснуться прикрывшую руками глаза госпожу Куркину. «Идите домой и выспитесь! – приказывает Таня. – Чаще занимайтесь, вам это необходимо больше, чем другим ученицам. Вы не хватаете звезд с неба!» Нечаева просится в туалет, ее подташнивает. «Что-нибудь не то съела», – объясняет реалистка классной даме, но Таня не сочувствует ей. «Обратитесь к гинекологу!» – советует она. Госпожа Нечаева сначала от удивления открывает рот, а потом зло проговаривает: «Ведьма! Чистая ведьма! До всего докапывается!»

Тем не менее в классе устанавливается порядок, реалистки боятся «ведьмы» и ведут себя в рамках приличия. Таня, довольная девочками, радушно улыбается им. «Вроде и не ведьма», – шепчет Наседкина Орловой, но не решается снова сесть с подругой за одну парту.

Наступают каникулы. В своем рассказе мы забежали на год вперед. В Киеве Таня была прошлым летом, в 1908 году. Пришло приглашение от тети Сони навестить ее в Киеве. Не имея своих детей, она очень любила племянницу, просила брата: «Отпусти ко мне Таню». Отец спросил у дочери:

– Хочешь поехать?

– Хочу, – уверенно сказала Таня. И вот первый раз в жизни она отправилась в самостоятельное путешествие, с двумя пересадками – в Тамбове и Воронеже. Николай Николаевич, конечно, волновался, но, подумав, сказал дочери:

– Ты уже взрослая. Можешь ехать.

Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев

Лето 1908 года. Каникулы. Таня впервые ехала в другой город одна, и ей хотелось выглядеть в глазах окружающих взрослой девушкой, для которой это путешествие обычно и нисколько не страшит ее. Она вспомнила рассказ одного из подчиненных отцу податных инспекторов о том, как он перевозил по железной дороге большую сумму денег. Уложил их в обычный холщовый мешок, в вагоне поезда закинул его на верхнюю полку и сделал вид, что забыл о нем, что этот мешок не представляет для него никакой ценности. И все попутчики так посчитали, и хотя среди них были люди внешне не очень надежные и, возможно, нечистые на руку, они тоже забыли об этом мешке. Только устраиваясь спать, инспектор достал мешок, помял его, как подушку, и положил под голову. Приблизительно так же поступила со своим чемоданчиком Таня. Она небрежно задвинула его под лавку, сделав вид, что нисколько не дорожит им, словно он набит не дорогими вещами, а соломой. При пересадке для его переноса она наняла носильщика, гордо вышагивала впереди него с уверенностью, что носильщик не улизнет с вещами. У кондуктора она запросила чаю со сливками.

«Чай слишком жидкий», – строго заметила она ему, и он принес ей другой стакан, где сливок было достаточно. Вела она себя смело, охотно вступала в разговоры, говорила твердым голосом, но давалось это все ей с трудом, и иногда сердце замирало от страха. Больше всего девушку страшило, что ее не встретит на вокзале муж тети Сони – перепутает вагон или опоздает. Но дядя Витя оказался на редкость пунктуальным человеком и, когда Таня выходила из вагона, перехватил из ее рук багаж. Они наняли извозчика и поехали на Большую Житомирскую. Тетя Соня была несказанно рада приезду племянницы. Приготовила праздничный обед, расспрашивала о делах Николая Николаевича и Евгении Викторовны, интересовалась здоровьем их детей. Таня еле успевала отвечать на вопросы. В разгар беседы в комнату вошел юноша, внешне ничем не приметный, поздоровался с гостьей.

– Познакомься, Танечка. Это – Миша. Мы с его мамой, Варварой Михайловной, занимались во Фребелевском институте и с той поры дружим.

– Что-то слышала о нем, – вяло заметила уставшая от двух суток пути Таня.

– Неужели ты не знаешь о Фребелевском институте? – удивилась тетя Соня. – Там изучали новые пути дошкольного образования. У Варвары Михайловны очень хорошая и веселая семья. Миша – старший из ее детей. Он тоже окончил гимназию. Куда собираешься поступать, Миша?

– На медицинский факультет императорского университета. На первый курс, – промямлил юноша, – университет Святого Владимира!

Он был слегка ошарашен самостоятельностью и уверенностью в себе юной гостьи. Девушка понравилась ему своей необычностью. Отнюдь не кукольной примитивной красотой, а неисчерпаемой женственностью, своеобразно приятным магнетического свойства лицом, от которого он не мог оторвать взгляда.

После обеда тетя Соня проводила Таню в спальню, отдохнуть с дороги. Там они продолжили разговор о семейных новостях. А когда вернулись в гостиную, застали там Мишу. Казалось, что он все это время не покидал комнату, даже не поднимался со стула.

– Ты поздравь Мишу, – сказала тетя Соня, – он получил сегодня пятерку!

– На последнем экзамене, – оживленно добавил юноша.

– Поздравляю, – улыбнулась Таня, не формально, но милостиво, словно сделала одолжение. Она боялась выглядеть перед юношей из такого огромного города, как Киев, неуклюжей провинциалкой.

– Ты не поедешь сегодня на дачу? – поинтересовалась у гостя хозяйка дома.

– Поздно уже, – почему-то покраснел Миша.

– Вот и хорошо! – улыбнулась тетя Соня. – Тогда покажи Тане город!

Михаил тут же вскочил со стула, изъявляя готовность и показать Тане город, и вообще, если потребуется, защитить ее. Он еще не отдавал себе отчета, что пленен ею, но интуитивно чувствовал, что встретил девушку из своей мечты.

– Всем гостям нашего города сначала показывают Киевско-Печерскую лавру, – сказал он, – пойдем, Тася?

– Пойдем, – согласилась девушка, удивленная столь официальным предложением, звучащим из уст юноши, и тем, что он назвал ее не Таней, а Тасей. Потом она привыкла, что его близкие и друзья, все, кроме тети Сони, стали звать ее Тасей.

– Если бы меня попросили угадать твое имя, то я бы сказал – Тася, – позже объяснил он ей. – Не знаю почему, но когда впервые увидел тебя, то подумал, что такая интересная девушка непременно зовется Тася, именно Тася, Тасенька, а не Таня.

Показывая Лавру, Михаил то походил на гида, то на друга-собеседника. Надолго они задержались у росписи в трансепте Владимирского собора, где перед римским прокуратором Пилатом стоял Христос. Он выглядел нетрадиционно, с отнюдь не божественным, а простым мужским лицом. Холщовая одежда, подпоясанная веревкой, спадала до его пят. Поверх виднелась темная накидка. На возвышении, в белом прокураторском одеянии, скрывающем, по-видимому, хилую фигуру, восседал Пилат. Рядом с ним сидел слуга, может, один из друзей Христа или летописец, введенный в сюжет росписи художником, и записывал то, что говорили Христос и Пилат. За спиной Пилата расположились стражник, палач с топором, прочая свита. Поражала маленькая седая головка Пилата, пугали темные глаза. Величественный Христос и рядом с ним ничтожный человек, но, судя по мутным глазам, смертельно злой и, будучи облеченным властью, способный покуситься на жизнь святого.

– Христу не хватает боли в лице, – заметил Михаил Тане, – он еще не прошел Голгофу, но уже пострадал за людей. А Пилата я представлял себе более грозным и крупным, но, пожалуй, художник изобразил его реалистично. У человека с физическими недостатками возможен комплекс неполноценности, неистощимая злоба ко всем, кто умнее и красивее его.

Тане было интересно слушать Михаила, но, замолчав, он еще долго не отходил от этой росписи. И она тактично не торопила его. «Он о чем-то размышляет, значит, ему нужно вникнуть в суть сюжета». И потом, когда они прогуливались по Купеческому саду, Михаил еще долго находился под впечатлением увиденного.

Молодые люди стали много времени проводить вместе. Тетя Соня успела вкратце рассказать Тане о семье Булгаковых, чувствуя, что племянница проявляет интерес к новому знакомому.

Отец Михаила, Афанасий Иванович Булгаков – старший сын священника Ивана Абрамовича и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковых. Уроженец Орла. В 1885 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Кроме древних языков знал немецкий, французский, английский. Затем защитил диссертацию в академии и получил степень магистра. И наконец стал доктором богословия, ординарным профессором.

Мать, Варвара Михайловна Булгакова, урожденная Покровская, – дочь соборного протоиерея города Карачева Орловской области. Окончила Орловскую женскую гимназию с программой мужских гимназий. До замужества два года учительствовала. Свадьба состоялась в Карачеве, затем молодожены переехали в Киев.

– Миша безумно влюблен в тебя, но ты можешь не понравиться Варваре Михайловне, – однажды серьезно заметила тетя Соня. – У тебя слишком самостоятельный характер, а она хотела бы иметь послушную невестку.

– Миша увлечен мною, я это чувствую. Но, по-моему, до предложения руки и сердца еще далековато!

– Ближе, чем ты думаешь, – загадочно улыбнулась тетя Соня, – он сгорает от чувства к тебе, я-то вижу, Танечка, меня не обманешь! Он даже стал меньше времени уделять братьям и сестрам, хотя семья у них очень дружная. Варвара Михайловна это заметила и недовольна. Наконец, она может просто ревновать Мишу к тебе.

– Как это? – удивилась Тася.

– Как женщина, родившая сына, которого может у нее хотя бы частично отнять другая женщина. Миша прочитал массу книг. Уже в девять лет он прочитал «Собор Парижской Богоматери». Трудолюбив в отца. Ты знаешь, что сказала Варвара детям, когда они подросли? «Я хочу всем вам дать настоящее образование. Я не могу оставить вам богатое наследство. Но могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование». И еще – она не терпела, когда дети бездельничали. Миша хочет стать врачом, но он уже пишет стихи, пока шуточные, но Чехов тоже поначалу был врачом и писал юморески. Я хочу, Танечка, чтобы у вас с Мишей хорошо сложилась жизнь. Поэтому терпи, не перечь Варваре Михайловне, если даже она будет не права.

Таня зарделась:

– Я не бездельничаю. Работаю классной дамой. Столько вожусь с реалистками, что к концу дня срываю голос. Деньгами мне поможет папа. Я никому не буду обузой. Но я не уверена, что Миша так сильно любит меня, как вы говорите.

– Не спеши, Танечка, у вас еще все впереди, – потрепала ее по плечу тетя Соня. – Миша очень любит маленьких детей. В свободное время играет с ними, рассказывает веселые истории. Им так интересно, что они ходят за ним с открытыми от удивления ртами. Он непременно захочет иметь своих детей… Значит, нормальную семью… Ты меня понимаешь, Таня?

После разговора с тетей Соней Таня решила серьезнее отнестись к встречам с Михаилом. Но серьезнее не получалось. Устроили пикник на берегу Днепра. Михаил взял лодку. Тася села на весла, а он стал ее раскачивать, чуть не перевернул и смеется: «Нет, грести ты не умеешь», пересел на весла, чтобы не утруждать Тасю. Вечерами часто ходили в Купеческий парк, где играл симфонический оркестр – из «Руслана и Людмилы», Вторую Венгерскую рапсодию Листа. Миша потом наигрывал ее на рояле,

хотя музыке не учился. Напевал арии из «Фауста», «Аиды», «Травиаты». Радовался и удивлялся тому, что Тася знает много опер. «Ты что, из оперного театра не вылезала? – однажды спросил он у нее. – А когда занималась?» «Успевала делать и то и другое», – хвасталась Тася, скрывая, какой нагоняй получала от матери за ежевечерние посещения театра. За Купеческим был Царский сад. Один незаметно переходил в другой, становясь лесом с громадными деревьями. Там Михаил набрался смелости впервые поцеловать Тасю, и она обвила его голову руками, прильнула к его груди. Было темно, но Тасе показалось, что у Миши от радости светятся глаза. Она сказала ему об этом.

– А у тебя блестят зеленым цветом, как у кошки! – весело заметил он. – Ты – ведьма. Ты свела меня с ума! Тебе не страшно в этом лесу? Сюда могут нагрянуть разбойники!

– С тобою я никого не боюсь! – вымолвила Тася, и они опустились на траву.

Об этом времени Михаил Булгаков потом восторженно написал в зарисовке «Киев-город», назвав его «экскурсом в область истории», очень близкую и памятную ему: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Вырубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Святого Владимира, висящий в высоте…

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег… А вышло наоборот».

Но до этого «наоборот» у Таси и Михаила было еще несколько лет. Много это или мало? Вопрос чисто риторический. Счастье не измеряется временем. Можно прожить в любви и согласии всю жизнь, годы, месяцы, дни… Лично я однажды был счастлив три года, однажды два дня, каждый раз понимая, что счастье было обманчивым, но уверен, что находился в земном раю.

У Михаила была счастливая семья. Позднее Булгаков говорил: «…Образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений – образа моего отца, пишущего за столом». Михаил обожал мать.

«Мама, светлая королева», – сказал о ней он. Она располнела после семи родов, но осталась подвижной, ловкой и, даже овдовев, с увлечением играла в теннис. Она обладала сильным, властным характером и умело управляла своим сонным королевством. С этим вскоре пришлось столкнуться Тасе и терпеть, как учила тетя Соня. Тем не менее общаться с такой семьей, тем более жить в ней было интересно и радостно. В доме царила музыка и жили книги. Надежда, сестра Михаила, рассказывала: «По вечерам, уложив детей спать, мать играла на рояле Шопена. На скрипке играл отец. Он пел, и чаще всего «Нелюдимо наше море».

Вся семья, от мала до велика, ходила в Купеческий сад, на симфонические концерты. Почти каждую весну в Киев приезжал Шаляпин и пел в «Фаусте», популярнейшей опере начала века. Читали Пушкина и Льва Толстого, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Фенимора Купера и Бунина. Именно об этом времени вспоминал позже писатель Михаил Булгаков в «Белой гвардии»: «…И весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульварах, каштаны и май и, главное, вечный маяк впереди – университет…»

Кажется удивительным, что такой автобиографический писатель, как Булгаков, нигде в своем творчестве не упоминает Тасю. Видимо, он считает нескромным писать о своей любви, боится «сглазить» свое счастье, и поэтому она выступает в обобщенном образе «гимназисток в зеленых передниках». Михаил старался чаще бывать на Большой Житомирской, у тети Сони. Жил на даче, в Буче, но почти каждый день приезжал, чтобы погулять с Тасей. Тетя Соня спрашивала: «Тебе нужно ехать в Бучу?» – «Не надо». – «Ну и оставайся ночевать. А завтра с утра снова гулять пойдете». Михаил ценил каждый час, каждую минуту пребывания с Тасей, а может, уже так любил ее, что разлука с нею даже на непродолжительное время была для него тягостной и мучительной.

Родители Михаила были людьми богобоязненными, а его тянуло к светской жизни. Он выделывал на велосипеде невероятные трюки и зигзаги, не только стараясь поразить своей смелостью воображение Таси, но и просто из озорства, из желания сделать невозможное, недоступное другим. В Киеве организовалась первая футбольная команда, и одним из ее лучших игроков стал Михаил Булгаков. Вовлек в команду братьев – Колю и Ваню. Есть их фотография в спортивной форме. В советское время, возможно, возникла бы знаменитая футбольная троица – братья Булгаковы. И Тася, между прочим, со своей тонкой фигурой, выносливостью, волевым характером

могла стать профессиональной гимнасткой. И не было бы у них времени и сил слушать оперы и читать серьезные книги, то, что создала мировая культура.

Тайная любовь рано или поздно становится явной для людей, окружающих влюбленных. И Варвара Михайловна, вопреки своему мнению о том, что сыну еще слишком рано думать о женитьбе (а в том, что он влюблен, у нее не было сомнения), решается пригласить Тасю в Бучу. Она видит, что Миша счастлив, когда рядом эта девушка, отнюдь не нахальная, воспитанная, любящая, как и Миша, музыку, книги, совершенно бескорыстно увлеченная ее сыном, но своенравная, с характером, и может влиять на Михаила не меньше, если не больше, чем мать. Это не устраивает Варвару Михайловну, но она не хочет рушить счастье сына и лишь словесно изредка намекает ему, что о женитьбе думать рано.

Тася отправляет домой обстоятельное письмо о том, что встретила прекрасного юношу, трепетно ее любящего, что их чувства взаимны. Николай Николаевич и Евгения Викторовна сдержанны в своем ответе дочери, предлагают ей еще год поработать в Саратове классной дамой, надеясь, что за год улягутся страсти первой любви, что молодые трезво разберутся в своих чувствах.

Ближе к осени Тася возвращается в Саратов. Ей кажется, что оборвалась ниточка к прекрасной жизни, связывающей ее с Мишей. И она не могла не оборваться, ведь они живут в разных городах, в приличных, морально нравственных, но все-таки разных по характеру семьях: служилой – у Тани, более светской – у Миши. Таня чаще ходит в театр, хотя безумно устает в училище. Она уверена, что походы в театр, столь любимый Мишей, сближают их души, и этому не могут препятствовать никакие семейные разногласия, никакие расстояния. Они переписываются. Ее письма нежны и чувствительны, его – полны страсти и неодолимого желания быть вместе, без чего он не мыслит свою жизнь. Михаил пишет, что она нравится его сестрам, они считают ее милой, славной девушкой. Они договариваются о встрече в будущем году. Тася обещала приехать в Киев на Рождество, но у брата Жени были неприятности в гимназии, и его послали в Киев к тете Соне, чтобы развеялся, пришел в себя. Тетя добра, благоразумна, хорошо подействует на него. А Тасю направили в Москву, к бабушке. Во всем этом не было умысла разлучить Тасю и Михаила. Их отношения пока не принимали всерьез. Неожиданно из Киева приходит депеша от близкого друга Михаила Саши Гдешинского: «Телеграфируйте обманом приезд. Миша стреляется». Отец Таси посчитал телеграмму

мальчишеской шалостью и отослал ее в письме своей сестре в Киев, сопроводив подписью: «Передай своей приятельнице Варе». Позже Николай Николаевич понял, что поступил легкомысленно. Чувства влюбленных были настолько глубоки, что выставлять их на обозрение даже родственников было нетактично. А между тем телеграмме предшествовал такой разговор Михаила с приятелем.

– Я без нее жить не могу. Хожу по местам наших встреч. Читаю-перечитываю ее письма – не помогает. Болит душа. Бесконечно. Как будто часть ее, живую, оторвали и увезли в Саратов, и пока обе части не соединятся, страдания не кончатся.

– Ты преувеличиваешь, Миша, – утешал его Гдешинский, – просто ты тоскуешь. Время лечит. Посмотришь, скоро тоска утихнет.

– Саша, ты же музыкант и должен понимать, что одна половина оперы не может звучать без другой. Только вместе они целое произведение! Гармоничное!

– Но оперы бывают разные, – замечал Саша, – трагедийные, комические, можно спеть арию, одну, другую, они полновесно звучат и вне опер.

– Я пою одну арию – «Арию разбитого сердца». Ее не знает никто, кроме меня. Но поверь мне, это ария разорванной души!

– Так что делать, Миша?

– Напиши Тасе, что если она не приедет, я застрелюсь.

– Ты серьезно, Миша? Возьмешь пистолет, приставишь дуло к виску и…

– Да, – без раздумий ответил Миша. Испуганный Саша поспешил на телеграф.

В ответ пришла от Таси большущая телеграмма с уверениями в любви, верности, в том, что их разлучили временно и он, когда захочет, может приехать к ней в Саратов. Михаил перечитал эту телеграмму десяток раз, выучил наизусть и почувствовал, как затихает боль в душе, не проходит совсем, но уже не так пронзительна и мучительна, как раньше. Он не подозревал, что тогда Тася спасла ему жизнь. В первый раз… Впрочем, он не осознавал это и в других случаях, разговор о них еще впереди. Он читал «Сатирикон», юмористов Аверченко, Тэффи, Дона Аминадо… На минуты отвлекался, но потом снова возвращался мыслями к Тасе. Целый год он не учится, едва не доходит до умопомешательства. Жизнь без Таси кажется ненужной, но он вспоминает ее телеграмму, последующие полные любви письма и продолжает жить как в тумане, но когда он временно рассеивается, ищет пути к дальнейшей жизни. Переживания вызвали у него поток сознания, он начинает глубже вникать в судьбы родных, друзей, в происходящее вокруг него. Неожиданно

он говорит сестре Надежде: «Вот увидишь, я буду писателем».

Лишь через несколько лет Михаил Булгаков понял, в каком опасном для жизни состоянии находился, понял, когда застрелился его близкий друг Борис Богданов. Летом он бывал у Булгаковых почти ежедневно, да и зимою частенько заходил. Борис ухаживал за Варей, сестрой Михаила. Это ни для кого не было секретом. Но по хмурому виду Бориса можно было догадаться, что его сердечные порывы ответа не находят. Варя принимала Бориса, как и других товарищей брата, но особых чувств к нему не испытывала. Они несколько раз уединялись. Наверное, для серьезных разговоров. Однажды Борис пришел к Булгаковым с большим букетом цветов, поставил его в вазу, стоящую на столе. У Михаила мелькнула мысль, что он решил добиться от Вари согласия на свадьбу и, чтобы поставить точку в их отношениях, пришел с букетом делать предложение сестре и получил отказ. Иначе цветы стояли бы в комнате Вари, а не в гостиной. Чувствуя, что с другом творится неладное, Михаил на следующий день зашел к нему. Борис лежал на постели. Они поговорили о службе Бориса в инженерных войсках. Потом Борис попросил Мишу посмотреть, нет ли денег в кармане пальто, висевшего у двери на вешалке. Едва Михаил отошел к двери, Борис выстрелил себе в голову. На стуле, у постели, лежала папиросная коробка, на крышке которой было написано: «В смерти моей прошу никого не винить». Он смотрел на лужицу крови у головы Бориса, потрясенный случившимся и тем, что уже не может помочь другу, а еще тем, что несколько лет назад сам мог лежать где-нибудь бездыханным, если бы не верил в любовь к нему Таси. Наверное, не в постели, а в Царском саду, где они впервые с Тасей познали близость и поклялись в вечной любви. Тася… Ее телеграмма… Ее искренние слова и чувства спасли его тогда от рокового шага. Борису Богданову не для кого было жить, а у Миши была Тася, пусть далеко, в Саратове, но была. И вот он все это прошел.

Он выберет самую блестящую профессию, самую достойную Таси. Он станет врачом. А там… будет видно. В его сознании рождаются мысли, образы людей, вырастающие в необычные судьбы. Не обязательно выдуманные. Иногда их рождает сама жизнь. Счастье, что они с Тасей любят друг друга беззаветно, беспечально, что настроены на одну душевную волну. Они много переписываются. Тася первая из семьи рано утром бросается к почтовому ящику, чтобы никто не перехватил письма от ее Миши. Смерть Льва Толстого, отлученного от Церкви, взволновала, и до глубины души, их обоих. Миша с болью в сердце внимал словам одного из своих современников: «Гр. Л. Н. Толстой – это живой

укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести… Усыпляется совесть этим мнимо христианским бытом, и сладко сознание, что можно считать себя последователем Христа, сделав Его Крест украшением своей жизни, но не нося на себе тяжести этого Креста».

Тася в Саратове ловит в газетах каждую строчку о судьбе великого писателя и философа. Под стеклом у окна с местной газетой «Листок» столпились люди. Тася медленно, но упорно пробивается к стеклу. Бросается в глаза заголовок: «Исчезновение Л. Н. Толстого». И строчки дальше: «Потрясающую весть принес телеграф. Исчез из дома неизвестно куда великий писатель земли Русской. Видимо, тяготился тем, что ему приходилось жить в некотором противоречии со своим учением, на что многие довольно бесцеремонно ему и указывали. Чуткая душа Толстого не могла не страдать от этого…»

Чье-то грубое плечо оттеснило Тасю от газеты, но она снова пробралась к ней. Толкаются люди, перед глазами мелькают отдельные строчки: «Местопребывание неизвестно. Первые шаги безрезультатны. Графиня Софья Андреевна покушалась на самоубийство…»

Тася вздрогнула, подумав, как бы она перенесла потерю Миши, и не удивительно, что он безумно страдал, расставшись с нею.

«Один землевладелец Одоевского уезда видел Толстого в поезде Рязанской дороги, между Горбачевой и Белево, на пути в Оптину пустынь…» На следующий день газета писала: «Не только великие люди, а самые обыкновенные, чувствуя приближение смерти, часто ищут одиночества. Они отворачиваются к стене от семьи, от друзей и просят оставить в покое… Не ищите же его! Разве не долг наш свято исполнять волю уходящих от нас в путешествие, из которого нет возврата? Толстой недаром сказал, что он не вернется. Он ушел, но не старайтесь найти след старческих ног. Не бойтесь. Он не умрет. Не погибнет. Дайте ему покой, а жить он будет вечно».

Тася почувствовала демагогию и фальшь в этих словах и в поисках места, где могла бы успокоиться, собраться с мыслями, прошла по взводу на пристань, к самой реке. Тьма опускалась на Волгу. Бледнели под густым дождем сигналы бакенов. «Как это дать погибнуть великому человеку, если его еще можно спасти? – лихорадочно работало сознание. – Толстой все свое творчество посвятил устройству человеческой жизни. Человечество обязано спасти Льва Николаевича в минуты его отчаяния или безрассудства, а не смаковать в газетах, что он ушел, ушел, ушел…»

Тася возвращалась по улице, где была вывешена газета.

И вдруг чей-то печальный, но громкий голос известил:

– Граждане! Скончался Лев Николаевич Толстой!

Люди замерли в оцепенении, спазм сжал горло Таси, и перед ее глазами качнулись дома, наклонилась пристань и заколыхалась в туманной дымке толпа. В полуобморочном состоянии Тася присела на парапет набережной – с уходом из жизни Льва Николаевича Толстого должна была измениться эпоха. Тася еле добралась до дому, легла в постель и, проснувшись ночью, обретя немного сил, села за письменный стол, чтобы рассказать о своих чувствах Мише, и подумала о большом счастье, пришедшем к ней, ведь у нее есть человек, с которым можно поделиться самым сокровенным.

Неоценимы для объяснения событий того и последующего времени краткие записи сестры Михаила Надежды, в замужестве Булгаковой-Земской, сделанные в Буче. Она наиболее объективна в оценке семейных отношений и достаточно строга к своему старшему брату, хотя очень любила его, и он доверял ей многое из того, о чем думал, мечтал. И такие в лучшем смысле слова родственные отношения у них сохранились почти на всю жизнь. Впечатления описаны по горячим следам, а в 1940 году к ним сделаны примечания, не искажающие, а уточняющие события, более правильно понятые ею со временем. Видимо, после смерти брата.

«27 июля 1911 г. Миша доволен: приехала Тася <…> и мама во избежание Мишиных поездок через день в Киев хочет пригласить Тасю на дачу…» «Буча. 31 июля 1911 г. Приехала на эти последние летние дни к нам Тася Лаппа: живет у нас с 29-го. Я ей рада. Она славная. <…> Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит, жуков собирает, ужей маринует». «На рождественские каникулы 1911/12 г. Миша уехал в Саратов: Миша у знакомых гостит в Саратове (в семье Лаппа. – *В. С* .)». «Вернулся Миша из Саратова» (15.1.1912). 30.V. 1912: «Миша уехал на урок в Саратовскую губернию». «Летом 1912 г. служит контролером на дачных поездах (студенческий приработок). Бывает у Лаппы в Саратове». Приписка к записи 11 августа 1912 года: «Разъехалась наша дача на это лето. Жорж давно вычеркнут из нашей компании. Миша – и говорить нечего…» Сделана приписка в 1940 году: «Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он все время стремится в Саратов, где она живет, забросил занятия в университете, не перешел на 3-й курс». 20 августа 1912 года: «Миша вернулся en deux с Тасей; она поступает на курсы в Киеве. Как они оба подходят по безалаберности натур! (В 1940 году исправлено: «по вкусам и

стилю».) Любят они друг друга очень, вернее – не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит…» (16 октября 1916 года сделано примечание: «Теперь бы я написала наоборот».) И дано пояснение: «Мишин отъезд в село Никольское – Тася едет с ним».

Обогнав ход развития событий, я хочу обратить внимание на уточнение Надежды от 16 октября 1916 года о любви Миши к Тасе: «Теперь бы я написала наоборот». Очень важное замечание, но в нашем повествовании оно станет понятным после описания весьма не банальных отношений молодых супругов после войны, смутного времени, а затем Октябрьского переворота, порушивших многие судьбы. Возможно, в 1916 году Надежда почувствовала, что в любви Михаила к Тасе наступило некоторое охлаждение. Но вернемся к ее воспоминаниям в самый разгар любви молодых: «В Киеве я зашла в нашу квартиру за книгами, Тася в большой шляпе. У Миши экзамены – последний срок, или он летит из университета: что-то будет, что-то будет (пояснение 1940 года: «Иначе его исключат, университет ему больше отсрочки не даст»). Миша много со мною говорил в тот день (вставка 1940 года: «Беспокойная он натура, и беспокойная у него жизнь, которую он сам по своему характеру себе устраивает»). Изломала его жизнь, но доброта и ласковость, остроумие блестящее, веселость незлобивая, когда его не раздражают, остаются его привлекательными чертами. (Вставка 1940 года: «Он бывает обаятелен и этим покоряет окружающих».) Теперь он понимает свое положение (пояснение 1940 года: «речь идет об экзаменах»), но скрывает свою тревогу, не хочет об этом говорить, гаерничает и напевает веселые куплеты из оперетт, аккомпанируя себе бравурно на пианино… Хотя готовится, готовится… Грустно, в общем». (Примечание 1940 года: «Экзамены в ту осень; гостившие у нас два дня Миша и Тася привезли много шуму, гаму и хохоту… Дело идет к свадьбе».)

Доставив и себе и семье немало волнений, Михаил все-таки продолжает учебу в университете. Тася рада за него. Варвара Михайловна теперь не бросает на нее, как еще недавно, косые осуждающие взгляды. Миша уже хорошо знаком с Николаем Николаевичем и Евгенией Викторовной – Тасиными родителями. И в жизни Михаила Булгакова наступают волнительные, порою грустные, но, в общем, благодатные времена. Звезда любви освещает по-новому и делает не таким печальным и безнадежным убийство в городском театре на глазах всей публики председателя Совета министров П. А. Столыпина, человека неоднозначного, умного реформатора и жесткого начальника, создавшего жуткие по условиям нахождения в них вагоны для перевозки заключенных, до сих пор используемые в системе КГБ

(ФСБ) и носящие имя «столыпинских». Но реформы его были глубоки и эффективны, и жаль, что не воплотились в жизнь.

Миша очень переживал последовавшую вскоре смерть отца, но сам не заметил, как после этого изменилась жизнь в семье, при отце более строгая, с непременным воскресным чтением Евангелия. В доме Булгаковых царило оживление, Мише не хотелось грустить, когда рядом была Тася. По нечетным субботам устраивались журфиксы – собиралась молодежь. Коля играл на гитаре, Ваня – на балалайке. Пели, шутили, танцевали. Веселье нарушил отъезд Таси. Миша пишет ей, что готов приехать в Саратов, чтобы увидеть ее на несколько минут, увидеть и тут же сесть в обратный поезд. Накал его чувств к Тасе невероятен. Брат матери, дядя Коля, дарит ему двадцать пять рублей, и на Рождество Миша приезжает в Саратов. Трогательная встреча на вокзале. Миша осыпает лицо Таси поцелуями, обнимает ее, держа букет цветов за ее спиной. На влюбленных обращают внимание прохожие, удивленно качают головами: «Это же надо, чтобы в наше время так любили! Открыто! Никого не стесняясь! Как безумные! Значит, есть еще на свете настоящая любовь!» Родители Таси встречают Михаила приветливо и любезно. И хотя жизнь в семье Лаппа не столь весела и разнообразна, как в доме Булгаковых, Миша этого не замечает. Его благодарят за то, что он привез из Киева бабушку Таси – Елизавету Николаевну.

На Рождество устроили елку, пели, танцевали, но больше сидели, говорили о житейских делах. Миша даже не пытался шутить или лицедействовать, он был полностью поглощен Тасей. Евгения Викторовна выделила Мише отдельную комнату, но он больше времени проводил в Тасиной спальне, куда никто и никогда в их присутствии не заходил. И без объяснений было ясно, что Тася скоро уедет в Киев.

Евгения Викторовна, в знак расположения к будущему дочери, дарит ей золотую браслетку шириной с палец, состоящую из мелких колечек. Браслетка была очень красивой, удобно лежала на руке. У замка на пластинке была выгравирована буква «Т». Михаил часто брал у Таси эту браслетку как амулет, приносящий счастье. И что интересно, через десяток лет Тасина браслетка спасла их от голода. О ней через шесть десятков лет Татьяна Николаевна рассказывала первому своему интервьюеру. В преклонном возрасте человек иногда выдает желаемое за действительное. Тем более ни в одном из своих произведений, даже в самых ранних, Булгаков не вспоминает об этой чудесной и спасительной для них драгоценной вещице. Существовала ли она? Да! Михаил пишет из Владикавказа двоюродному брату Константину: «Узнай у дяди Коли, целы ли мои вещи? Кстати,

сообщи, жив ли Таськин браслет?» 16 февраля повторяет свой вопрос брату: «Сообщи мне, целы ли мои вещи и Тасин браслет?»

В это время молодая семья жила во Владикавказе и очень нуждалась. Судя по воспоминаниям Татьяны Николаевны, браслет вскоре прибыл к хозяевам, и о его судьбе я поведаю позже.

Первый же Мишин приезд в Саратов едва не поломал планы родителей Таси. Они не спешили с браком дочери, хотели, чтобы она освоила профессию классной дамы, но Тася, заранее договорившись с Мишей, настаивала на поездке в Киев, для дальнейшей учебы. Николай Николаевич, посоветовавшись с женой, предложил дочери посетить Париж, думал, что она не устоит перед соблазном увидеть волшебный и притягательный город. Обиделся брат Таси. Женька заладил: «Хочу учиться у Пикассо». Отец не растерялся и сказал Тасе: «Хорошо, и ты поезжай с братом». Но Тася наотрез отказалась. «Отказалась от Парижа!» – воскликнула Евгения Викторовна и с удивлением посмотрела на Мишу, как на факира, заколдовавшего дочь.

Отец задумался, почесал бородку и прямо посмотрел в глаза Тасе.

– Ладно, только сначала поработай год. Хочу посмотреть, можешь ты работать или нет.

Миша растерялся, стал говорить, что Тасе не стоит пропускать год учебы. Николай Николаевич понимал его состояние и не стал с ним ни спорить, ни соглашаться. Но Тасе потихоньку и не без укора заметил:

– Поработаешь год, тогда, пожалуйста, катись! – И решил с женой лишь на лето отпустить дочь в Киев, чтобы к осени она вернулась на работу.

В 1911 году Тася снова прибыла в Киев, но на вокзале ее никто не встретил. У тети Сони незадолго до этого умер муж, и у Варвары Михайловны тоже. Горе сблизило их еще больше. Но в отношении Таси мнения у них расходились. Тетя Соня мечтала, чтобы у ее племянницы с Мишей все устроилось хорошо. Варвара Михайловна противилась их союзу. Тася сама добралась до Большой Житомирской, где ее поджидал Миша. Признался, что страшился идти на вокзал, хотя знал о приезде Таси. Боялся: вдруг она не приедет, что тогда станет делать? А вместе с тетей Соней, верным другом его и Таси, легче будет принять решение. Сразу повез Тасю на дачу. Ехал хмурый.

– Ты не рад, что я приехала? – удивилась Тася. Миша в ответ покачал головой:

– Рад. Очень. Но мама…

– Она настроена против меня? – опечалилась Тася.

– Да нет, во всяком случае, об этом помалкивает, –

засмущался Миша. – Мама завела роман с доктором Воскресенским. Он мне не симпатичен, вот и все. А ты считаешь, что вскоре, почти сразу после смерти отца она имела право заводить роман с другим мужчиной? Он даже остается ночевать на даче. Где-то отдельно… Но это не играет роли. Я помню отца как живого, помню наши разговоры, его голос, жесты… А тут заявляется другой мужчина. Может, хороший человек, но другой. Я не осуждаю маму. Только удивляюсь, что она так быстро забыла отца…

Видимо, огорчительный поступок матери настолько врезался в память Михаила Афанасьевича Булгакова, что в романе «Белая гвардия» похороны матери Турбина по времени, с точностью до дня, совпадают с началом романа Варвары Михайловны и доктора Воскресенского.

Позже в своем дневнике сестра Михаила Надежда напишет: «Миша стал терпимее с мамой – дай Бог. Но принять его эгоизма я не могу». В той же записи от 28 декабря 1912-го говорится, что у Миши «созрело желание стать писателем…» Далее, 8 января 1913 года: «Миша жаждет личной жизни и осуществления своей цели… Мне хотелось бы, чтобы исполнились его планы, чтобы он счастливо и спокойно зажил с Тасей… Хочется посмотреть, как закончится близкая к развязке их эпопея – дай Бог, чтобы вышло по их, по-хорошему…»

Надежда думает о предстоящей свадьбе Миши и Таси, хотя, как покажет жизнь, до развязки их эпопеи еще очень далеко, и неизвестно, наступит ли когда-нибудь она… В полном смысле слова. Когда чужими становятся души…

Надя и впоследствии младший брат Михаила – Ваня – наиболее благожелательны к невесте Михаила, и она отвечает им взаимностью и вниманием. Сохранилось письмо Таси к Надежде Афанасьевне Земской от 3 апреля 1914 года. С 1912 года та жила в Москве и училась на филологическом факультете Высших женских курсов. Домой, в Киев, обычно приезжала на рождественские каникулы и летом.

«Дорогая Надя!

Поздравляю тебя с праздником. Шлю тебе самые лучшие пожелания. Желаю весело провести Пасху, очень жалею, что ты не в Киеве. Целую.

Тася».

Было бы преувеличением сказать, что с отъездом Нади положение Таси в семье Булгаковых ухудшилось. Дружная и сплоченная семья Булгаковых не могла не принять Тасю как невесту, а тем более – как жену Михаила. Просто не стало рядом близкого задушевного друга, которому можно поведать женские

тайны.

Очень интересные и нетрафаретные мысли о семье Булгаковых высказывает в своих воспоминаниях писатель Константин Паустовский, учившийся с Михаилом в одной гимназии: «Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве – огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское от «Трех сестер» и что-то театральное. Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви – в очень живописном киевском закоулке. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли. Не знаю, почему не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города – Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры».

Паустовский упускает из виду, что такими были дворянские семьи, и писать о них в эпоху советской власти было делом безнадежным и опасным. Однако есть подробный фактический материал в России – история семьи Булгаковых. О творчестве и жизни писателя издано немало книг, и весьма нетрудно сложить из них роман «Семья Булгаковых». Ведь сейчас появились новые сведения и о самом Михаиле Афанасьевиче, включая допросы его в ГПУ, и истории жизни в Париже его братьев: биолога Николая Афанасьевича и балалаечника, таксиста, поэта (в одном лице) Ивана Афанасьевича. Даже нашлись его стихи, напечатанные в белогвардейском журнале «Константиновец» за 1922 год, стихи незаурядные, написанные в местах поселения белогвардейцев – в Галлиполи и Горном Джумае: «Почему так грустно, тяжко мне среди развалин? Почему в сугробах мысли нет живых проталин? Почему не бьется сердце, как бывало прежде? Не болит оно, сжимаясь, в сладостной надежде? Почему живу я только старым и забытым? Почему сегодня завтра для меня закрыто? Неужель бесцельно, глупо жизнь моя прожита и сижу я, словно баба в сказке у корыта?»

Октябрьский переворот разбросал эту уникальную семью по России и миру, и не будь ее члены дворянского происхождения, им, без сомнения, удалось бы добиться значительных успехов и в прежней России, и за ее рубежом. Но, к сожалению, не мог приспособиться к эмигрантской жизни младший брат Ваня, полностью не раскрывшийся как поэт и заглушавший тоску

вином.

Но Тасе, можно сказать, повезло: она входила в дружную, бурлящую мыслями, импровизациями и весельем интеллигентную семью Булгаковых, где часто шелестели страницы читаемых книг, чего, конечно, не мог услышать Константин Паустовский, о чем только догадывался. Михаила и его родных поразил рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско», читан был по нескольку раз, и не случайно в романе «Белая гвардия» свое внимание на нем заостряет Елена. Михаил считал, что этот рассказ гармонически совершенен, поэтичен – подлинный шедевр русской, а может, и мировой литературы. Но молодой Булгаков, в будущем писатель, часто использующий в своем творчестве, особенно в раннем, реалии, не заметил, а может, почувствовал, но не сказал о том, что герой действительно был далеко не полностью выдуманным. Вспомним начало рассказа, о котором Тася сказала уверенно: «Читаешь, и кажется, что видишь этого господина, его семейство, даже известно, откуда он нажил деньги». Она была права. «Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два года, с женою и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагал все надежды на будущее. Он работал не покладая рук – китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! – и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть».

Ивану Алексеевичу Бунину в этом рассказе хотелось показать трагедию человека, достигшего неимоверным трудом богатства, но не сумевшего даже воспользоваться им для отдыха, хотелось показать своеобразный срез человеческой жизни. Герой умирает в пути. «Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, тело мертвого старика из Сан-Франциско снова попало на тот же самый знаменитый корабль, на котором еще недавно с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых – глубоко опустили в просмоленном гробе в черный трюм… Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь».

Жизнь и смерть соседствуют, и человечество, зная, что оно смертно, старается не упустить ни дня для бурного веселья. И помогает ему развеять возможную возникшую тоску от длительного путешествия специально нанятая пара влюбленных, для развлечения пассажиров разыгрывающая целый спектакль из ярких чувств, темпераментных желаний и горящих огнем страсти взглядов, бросаемых друг на друга. «И никто не знал ни того, что давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что́ стоит глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и злостными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…»

– Он или его предки были родом из России, не обязательно русскими, но родившимися здесь, – заметила Тася, когда Михаил, вслух перечитывавший рассказ, дошел до места, где приводилось описание господина из Сан-Франциско: «Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова». – Кажется, что он давно перебрался из нашей черты оседлости евреев в Америку. Золотыми пломбами и сейчас гордятся евреи. И жена его по описанию внешне похожа на еврейку – «женщина крупная, широкая и спокойная». Спокойная оттого, что обеспечена, а муж успел американизироваться и вместе с другими американцами, задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривался гаванскими сигарами и напивался ликерами в баре…

Миша внимательно посмотрел на Тасю, словно впервые открыл в ней склонность к анализу.

Он и не подозревал, насколько она тогда была права.

В 1989 году, очутившись в гостях у двоюродной сестры Елены Буровой в городке Монте-Вью под Сан-Франциско, я не преминул воспользоваться возможностью посещения Колма – именно здесь на местном мемориальном кладбище для богатых мог быть похоронен прототип бунинского господина из Сан-Франциско. В конторе кладбища переговоры с его служителями вели моя сестра, ее муж Геннадий и сын Саша. Им удалось выяснить, что действительно в одном из склепов кладбища хранится просмоленный гроб с покойником, привезенный на корабле из Европы. И если мы назовем фамилию усопшего, то нам покажут склеп, где он находится. Увы, Бунин не оставил людям имени своего героя, и художнически поступил правильно, господин из Сан-Франциско – обобщенный образ богача, измученного достижением богатства, и настолько, что у него не хватило даже сил для отдыха.

Я обошел все четыре почерневших склепа, постоял у каждого, отсчитывая год похорон от времени написания рассказа – 1915 года, но к точному решению не пришел. Были захоронения 1903, 1907, 1913 годов, и где покоится бунинский господин из Сан-Франциско, я не обнаружил, но почти не сомневаюсь, что стоял у его могилы.

Один известный писатель назвал литературу кладбищем прообразов, и возможно, был редкий случай, когда я находился не у литературной, а у натуральной могилы литературного героя.

Потом Тася снова вернулась к этому рассказу, к моменту, когда «вежливый и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою».

– Это, похоже, продолжение невероятной истории, – таинственно прошептала Тася. – Один из папиных сослуживцев был отправлен в Америку для ознакомления с системой местного сбора налогов, и он рассказывал, что видел наиболее близкий к пирсу Сан-Франциско остров Алькатрас (остров пеликанов), где находится самая страшная в Америке тюрьма для опасных преступников. Она почти не охраняется, так как со всех сторон остров омывает океан, где обычная температура воды четыре градуса по Цельсию. Преодолеть до города водное расстояние в две мили не может ни один человек. Преступникам специально подавали подогретую воду, чтобы они не привыкли к холодной. Но нашлось восемь человек, рискнувших вплавь добраться до берега. Шестеро погибли в пути, и их тела выловили полицейские, а двоих не обнаружили ни мертвыми, ни живыми. По всему городу расклеили портреты беглецов и пообещали за указание места их нахождения миллионную премию. Я думаю, что господину из Сан-Франциско мог ночью привидеться один из бежавших, но не пойманных преступников, и, встретив его наяву, он поразился. Посмотрим, что дальше пишет о герое Бунин: «Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но так как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове…»

– Ну и придумщица ты, Тася, настоящий мистик! Беглец-то

этот, наверное, не был из России, – сказал Миша, чтобы рассеять гнетущее настроение, и все засмеялись, даже Тася улыбнулась.

В семье Булгаковых читали и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина, и Гюго, и Мопассана, и символистов… Михаил и Тася жадно впитывали прочитанное, но Тасина цель состояла в том, чтобы больше узнать нового и интересного, а Михаил проходил школу писательства в разных жанрах, направлениях, течениях, мысленно выделяя то, что ближе его душе, движению мыслей… На первом плане у него были Гоголь и Салтыков-Щедрин.

Его поездки в Саратов не прекращались. Однажды они с Тасей, спустившись по взводу к Волге, увидели дым на пароходе, а затем огонь, быстро прыгавший с нижней палубы на верхнюю, из каюты в каюту. Потушить огонь не удавалось, и тогда раздался зычный голос, приказавший:

– Поднять якорь! Рубить веревки!

Освобожденное от оков судно отошло от стоянки, но поплыло не к центру реки, а по течению, вдоль пристани, поджигая все, что встречалось на пути, – лодки, склады, амбары, трактиры…

Люди метались по пристани, растерянные и ошарашенные случившимся, но никто не догадался подогнать буксир к судну и увести его подальше от портовых строений. А тем временем охваченная пламенем пристань гудела от раздуваемого ветром огня, трещали горящие столбы, стены, крыши… Загорались даже деревянные ступеньки взводов, отрезая людям путь к спасительным улицам города. Началась паника. Миша тащил Тасю наверх, крепко держа за руку. Лицо его пылало от близости огня, душа – от возмущения. Впервые Тася услышала от него слова резкого негодования. Потом она прочитает их в рассказе «№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна», где героиня Пыляева Аннушка в холодные дни отрывала паркет от пола, бросала его в печку и устроила пожар, спаливший дом. «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков…» – впервые в жизни причитала, размыслив над происходящим. Об этом Михаил думал еще тогда, на Волге, наблюдая людскую глупость, пустившую горящий пароход по течению, вдоль саратовской пристани.

Тася вспоминала, как Миша вглядывался в горизонт, где Волга сливалась с небом, мечтая увидеть другие страны, другую жизнь.

– Завидую Бунину, – сказал он, – повидал многие страны. Наверняка заезжал в Сан-Франциско. Говорят, что интереснейший город и вполне европейский.

Увы, так сложится жизнь Михаила Булгакова, что он, кроме рассказа Бунина, ничего не узнает о Сан-Франциско. Здесь 27 мая 1878 года родилась гениальная танцовщица Айседора Дункан,

создательница новых форм свободного танца, далеких от стиля американских шоу, поэтому не нашла признания в Америке и, как некоторые американцы, искренне поверила в рабоче-крестьянскую победу в далекой и суровой России, которая с восторгом приняла ее. Здесь она вышла замуж за Сергея Есенина – признанного певца земли Русской. Но постепенно начинала понимать фальшь и утопию идей коммунизма, видя разрушенную голодную страну. Ее случайная и трагическая смерть, возможно, была не так страшна по сравнению с той, что, очень вероятно, ожидала бы ее, если бы она осталась в Советской России. В Сан-Франциско жил Марк Твен, в конце девятнадцатого века здесь нередко проводил время будущий писатель Джек Лондон.

В центре города, напротив художественной галереи, находится уникальный памятник жертвам холокоста.

На земле, за колючей проволокой, лежат фигуры мертвых людей, покрытые пропитанными гипсом бинтами, и стоит, протянув руку к проволоке, лишь одна фигура, как надежда на жизнь целого народа.

За сквером по Филберт-стрит стоит церковь Святого Петра, строительство которой длилось пятнадцать лет. Неподалеку от нее на Русском холме ставили свои постройки первые русские в Сан-Франциско. Церковь эту часто и справедливо называют собором, ибо роскошно ее внутреннее убранство и ошеломляет своим величественным видом святилище, созданное из многочисленных видов оникса и мрамора. Справа перед святилищем расположена копия «Пьеты» (Оплакивание Христа), скульптуры Микеланджело, хранящейся в Ватикане.

Во множестве частных галерей можно увидеть скульптуры русских художников: Шемякина, Медведева, Межберга…

Одно из главных строений города – Сити-холл, на мраморных ступенях которого стоял Никита Сергеевич Хрущев, приехавший сюда на открытие Организации Объединенных Наций. Увидев запруженную машинами площадь, он подумал, что американцы специально нагнали сюда много машин, чтобы поразить его воображение. Но скрыть свое восхищение городом он не мог, увидев старинные трамвайчики, собранные со всего мира, исполняющие роль фуникулеров и всегда облепленные туристами, увидев стадо бизонов, пасущихся в центре одного из парков, где за небольшую плату можно снять часть зеленого газона и устроить семейный пикник; заглянув в единственный в Америке Театр оперы и балета с постоянной труппой и узнав, что билеты сюда проданы на сезон вперед, Никита Сергеевич обещал американцам превратить в русский Сан-Франциско Владивосток,

будучи в этой возможности искренно уверен не меньше, чем в построении в России коммунизма через двадцать лет.

В Сан-Франциско находится самый большой в городе зал на десять тысяч мест. Концерт открытия обычно заканчивается увертюрой Чайковского «1812 год». Кстати, исполнением этой увертюры дирижировал сам Чайковский при открытии Карнеги-холл в Нью-Йорке. Другой руководитель России, Михаил Сергеевич Горбачев, часто бывает в Сан-Франциско. На территории бывшей военной базы стоят два домика его фонда, сотрудники которого договариваются о лекциях Горбачева в университетах, в том числе о лекции, где рассказывается об экологической угрозе со стороны России другим странам. Один анонимный житель города сказал: «Мне жаль детей, родившихся в Сан-Франциско. Как грустно, что они вырастут и узнают, что все другие города не такие, как их город». Очень жаль, что здесь не побывали Булгаковы. Память о них наверняка осталась бы в городе. Здесь пели Аделина Патти и великий Карузо, выступала знаменитая театральная актриса Сара Бернар. В 1933-м сюда приехал из Санкт-Петербурга танцор и балетмейстер Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе). Здесь гастролировала знаменитая русская балерина Анна Павлова, ставили оперу Бородина «Князь Игорь», балеты Чайковского.

В течение пятнадцати лет консерваторию Сан-Франциско возглавлял выходец из России композитор Эрнст Блох. В возрасте трех лет сюда из России был привезен ставший потом известным скрипачом и дирижером Иегуди Менухин. Здесь обретали вдохновение скрипач Исаак Стерн, пианист Владимир Горовиц. Симфоническим оркестром Сан-Франциско дирижировал Юрий Темирканов. Многие широко известные певцы, композиторы, актеры, родившиеся в России, работали в Сан-Франциско и принесли славу Америке: Софи Такер, Эл Джонсон, Джек Бенни, Эдди Контор, Майкл Тилсон Томас, художник Антон Рефриджер и те, о которых я писал выше. Сюда приезжали и выступали с громадным успехом Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович…

К счастью, для настоящего таланта нет границ, и пусть Михаил Булгаков, мечтавший вырваться из страны, которая не признавала его, не печатала, мог более широко раскрыть свой талант за границей и вообще продлить там жизнь, заслужил признание именно в Америке, где впервые было выпущено полное собрание его сочинений. Это победа гения и… скромной, умной, верной ему и отважной спутницы его жизни Татьяны Николаевны Лаппы, о чем многие не знают, а кое-кто не хочет отказываться от иного мнения. Но до этого времени, как говорят, утечет немало

воды, а мы оставили наших юных героев на пороге важнейшего события в их жизни – на пороге свадьбы. Впрочем, перешагнуть этот порог было им не так просто. Родители не советовали дочери спешить со свадьбой. Наступали нестабильные времена, страну сотрясали волнения и беспорядки, не за горами была война с Германией. Николай Николаевич и Евгения Викторовна понимали, что только истинное чувство сохранит в такое напряженное и смутное время молодую семью. Они, конечно, не могли предвидеть, насколько страшны будут предстоящие события в стране, не могли знать, что отец невесты, действительный статский советник Николай Николаевич Лаппа трагически погибнет в 1918 году, но опасения их имели под собою реальную почву.

30 марта 1913 года Варвара Михайловна пишет Наде в Москву о предполагаемой свадьбе сына: «Миша совершенно измочалил меня. В результате я должна предоставить ему все последствия безумного шага: на 26 апреля намечена свадьба. Дело обстоит так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными. Пошла к о. Александру Александровичу (можешь представить, как Миша с Тасей меня выпроваживали скорее на этот визит!), поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что «Бог устроит все к лучшему…». Бабушка и сейчас не хочет слышать о свадьбе. Сонечка же старается принимать самое активное участие. Но самая симпатичная роль была Кати. Она старалась все привести к благополучному концу, и все время ее симпатии были на стороне «безумцев…».

Никаких свидетельств о том, что Булгаковым не нравилась Тася, а Лаппа-Давидовичам не по душе был Михаил, в переписке и дневниках нет. Очевидно, что бабушка и мать Михаила считали опрометчивым шагом свадьбу студента с девушкой, только что окончившей гимназию.

Об отношении к этой свадьбе младших Булгаковых говорит письмо старшей сестры Веры к Наде: «Вся молодежь, конечно, очень довольна и подшучивает над Тасей и Мишей. Я рада в конце концов за них, а то они совершенно издергались, избеспокоились, изволновались и извелись. Теперь же может наступить некоторое успокоение… После свадьбы Миша и Тася поселятся в Тасиной комнате, до Бучи, а в Буче будут вместе с нами…»

Перед свадьбой Михаил сочиняет шуточную пьесу. Значительно позже, в интервью журналисту, Татьяна Николаевна станет упорно отрицать ее существование, даже назовет Надиной фантазией, вымыслом. Даже если это был вымысел, то стоило его

придумать. Шуточная пьеса могла только поднять настроение молодым. И в этом случае хочется верить Надежде Афанасьевне, женщине честной и благородной, правдивой даже в мелочах. Будем считать, что предсвадебная пьеса выпала из памяти Татьяны Николаевны, а может, в юные годы, занятая свадебными хлопотами, она не придала ей значения, и пьеса забылась. Называлась она «С миру по нитке – голому шиш». В ней участвовали: Бабушка – Елизавета Николаевна Лаппа, Доброжелательница солидная – мать (Варвара Михайловна), Доброжелательница ехидная – тетя Ириша (Ирина Лукинична Булгакова), Доброжелательница – тетка Таси (Софья Николаевна Лаппа-Давидович). Хор молодых доброжелателей – братья, сестры и друзья. В пьесе был такой диалог: « *Бабушка* : Но где же они будут жить? *Доброжелательница* : Жить они могут вполне спокойно в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике».

Осень 1912-го и зиму 1912/13 года Миша и Тася провели вместе, почти не расставались. Ходили в театр, раз десять слушали «Фауста», знали наизусть, а каждый раз получали удовольствие. Мать Михаила вызвала Тасю к себе:

– Не женитесь, ему еще рано.

– Но мы любим друг друга.

– Это не ответ, – стояла на своем Варвара Михайловна. – Пусть сначала закончит университет.

– Я ему не мешаю учиться, – покраснела Тася, что смутило Варвару Михайловну. Она задумалась, устремив взгляд в окно, потом спросила:

– Что-нибудь случилось?

– Ничего, – тихо ответила Тася.

– А где деньги, что прислал тебе отец на свадьбу, на подвенечное платье?

– Разошлись. Сама не знаю куда.

– Не знаешь, – вздохнула Варвара Михайловна и не решилась продолжать разговор.

Она боялась услышать от Таси то, о чем подозревала, и не без оснований. Тася была беременна. Это чувствовалось по особенному вниманию Михаила к невесте, когда он старался вести ее под руку, особенно спускаясь или поднимаясь по ступенькам. К тому же значительная сумма, присланная Николаем Николаевичем из Саратова, не могла разойтись так быстро. Даже в пожилом возрасте Татьяна Николаевна тактично сказала, что деньги ушли на врачебное вмешательство. Она пошла на аборт без раздумий, чтобы Мишина мама не обвинила ее в том, что, забеременев, она таким образом принуждает сына к

свадьбе или что ребенок будет мешать его занятиям. А это, возможно, был единственный шанс у Михаила Афанасьевича Булгакова стать отцом, иметь своего ребенка. Ведь он потом болезненно любил детей. Ребенок мог стать тем стержневым человеком в семье, который бы скрепил ее навеки. Но молодые тогда не думали об этом. Поляк Голомбек открыл бильярдный зал с восемью столами. Недалеко от зала была пивная. Студенты, в том числе и Михаил, пропадали там почти все свободное время.

Перед свадьбой, еще из Саратова, Тася послала в Киев заявление о приеме на Высшие женские курсы, на историко-филологическое отделение. Ответ пришел положительный. Заявление, конечно, было предлогом приехать в Киев. Николай Николаевич Лаппа понял это и сказал, что будет присылать дочери пятьдесят рублей в месяц. За ней приехал Михаил. Помогал одному из Тасиных братьев по математике. Потом где-то купил обручальное кольцо и напугал Евгению Викторовну. «Вы что, обвенчались? Скрытно? Тайком от всех?!» Тася еле успокоила ее.

В залах городской аудитории открылась выставка, и Тася с Михаилом были в числе первых ее посетителей. Саратов гордился одним из старейших и крупнейших в России Радищевским музеем и хорошим училищем живописи. Музей существует до сих пор, хотя теперь называется Радищевской галереей, а училище за годы советской власти не вырастило ни одного сносного художника, так как воспитывало учеников в стиле социалистического реализма. А до революции художники воспитывались на западных образцах. Набор красок некоторым землякам казался чересчур ярким. Лицей славился барбизонцами и любителями боголюбовской иконы. Тут были представлены даже супрематисты, смущавшие иных саратовцев загадочными геометрическими начертаниями, сделанными из сурика и сажи. Мише и Тасе выставка понравилась.

– Есть движение мысли, – заметил Михаил, – есть новаторство – хорошее или плохое, точно пока мне непонятное, но новаторство.

Таня была горда за своих земляков, даже разрумянилась после слов Миши. Несколько раз они гуляли по саду Онегина. В саду росли пальмы, они обрамляли фонтан, бассейн которого подсвечивался красными лампочками. Медленно плавали по кругу жирные стерляди. По аллеям гуляли принарядившиеся саратовцы – мужчины в строгих костюмах, пышнотелые дамы в декольтированных платьях, с брошками и веерами на длинных золотых цепочках. В олеандрах горели бумажные фонарики. В гротах из ноздреватого камня, обвитого плющом, на диванчиках

флиртовали парочки. Струнный оркестр играл попурри из «Травиаты». Михаил подпевал ему, и Тасе показалось, что таким счастливым и спокойным она прежде видела его очень редко. Его состояние передавалось ей, и верилось, что эта благодать продлится, но долго ли? Она старалась об этом не думать. А свадьбе Тася не придавала особого значения – они давно были близки с Михаилом, и физически и духовно, и их союз не разрушить никому. Они повенчались 26 апреля 1913 года, когда страна праздновала трехсотлетие основания дома Романовых. Михаил хотел купить какой-нибудь сувенир, выпущенный к юбилею, но потом раздумал – лишних денег не было.

Описание свадьбы предоставим своеобразным «оппонентам» – Тасе и Мишиной маме. «Фаты у меня, конечно, не было, подвенечного платья тоже, – вспоминала Татьяна Николаевна, – я куда-то дела все деньги, что отец прислал. (Мы уже знаем – куда. – *В. С.*) Мама приехала на венчание – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку. Мама купила блузку. Венчал нас о. Александр. Почему-то под венцом хохотали ужасно. (Наверное, от счастья, пройдя через немало препятствий, и от формальности происходящего. – *В. С.*) Домой после церкви ехали в карете. Помню, много было цветов…» А вот что написала Варвара Михайловна сестре Наде: «…Только что поднялась с одра болезни, куда меня уложила Мишина свадьба. У меня еще хватило сил с честью проводить их к венцу и встретить с хлебом-солью и вообще не испортить семейного торжества. Свадьба вышла приличная. Приехала мать Таси, была бабушка, Сонечка, Катя с Ирочкой (тетка Таси и ее двоюродная сестра), Иван Павлович, 2 брата Богдановых, 2 брата Гдешинских и Миша Клинович (это все близкие друзья Михаила), который попал случайно, и вся наша фамилия в торжественном виде. Встретили цветами и хлебом-солью, выпили шампанского (конечно, донского), читали телеграммы, которых с обеих сторон оказалось штук пятнадцать, а потом пошли пить чай. А потом у меня поднялась температура до 39 градусов, и я уже не помню, как упала в постель». Опасения Варвары Михайловны насчет учебы оказались напрасными. После свадьбы Михаил не пропускал занятия. Ходил в библиотеку – в конце Крещатика у Купеческого сада тогда открылась новая общественная библиотека с хорошим читальным залом. Булгаков эту библиотеку очень любил. Он брал Тасю с собой, и она читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и как считала Тася, он бы был врачом хорошим. Она рассказывает о первых послесвадебных месяцах: «Мы ходили с ним в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан

«Ратце». Вообще он к деньгам так относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. (Не был транжирой, хотел доставить удовольствие Тасе. – *В. С.*) Если последний рубль и стоит тут лихач – сядем и поедем! Или один скажет: «Так хочется прокатиться на авто!» – тут же другой говорит: «Так в чем же дело – давай поедем!» Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать – ни колец, ни цепи моей. «Ну, значит, все в ломбарде!» – «Зато мы никому не должны!..» На что жили? Михаил давал уроки… А мне отец присылал 50 рублей в месяц. 10–15 рублей платили за квартиру, а остальное все сразу тратили… Зимой катались по извилистым горкам на специальных санях – занимались бобслеем».

Тася училась только первую половину года, затем бросила. Говорила, что эта учеба была ей не нужна, а на самом деле не хватало денег, чтобы платить за нее.

Мальчики из семьи Булгаковых нежно относились к Тасе. Младший – Иван – говорил ей: «Тася, ну сделай мне ребенка, я его нянчить буду». Николка закончил гимназию, а Ваня не успел. Замечательный, душевный был парнишка. У него доброта на лице была прописана и глаза притягательные, располагающие к себе. Когда в 1919 году Миша с Тасей оказались во Владикавказе, оба брата ушли с белыми. Николай попал в Загреб, выучился там на врача, затем они с Иваном оказались в Париже. Николай долго переписывался с Михаилом, хотя для последнего это было чревато крупными неприятностями, старался помочь Мише в продвижении его произведений на Запад. А Ваня пристрастился к выпивке, играл на балалайке во второсортных русских кабаках. Опустился, перестал писать стихи, а они у него были весьма недурными. Неожиданно пропал, больше не дал о себе знать. Николай, ставший известным врачом, на время бросил работу, чтобы разыскать брата. Ходил по кафе, трущобам, ночлежным домам и даже притонам. Не мог бросить брата на произвол судьбы. Не щадил себя, не прекратил поиски даже зимой, сильно простудился и умер. Наверное, не только от простуды, но от щемящего душу чувства одиночества. Мать скончалась в 1922 году. Михаил был далеко и недосягаем. Иван пропал. Жить Николаю стало тоскливо и не для кого. Организм не хотел сопротивляться болезни. И знания врача он не использовал. Наверное, сам хотел уйти из жизни и умер. Распалась дружнейшая семья. Мужей Нади и Лили репрессировали, а позже, посмертно, реабилитировали. Каждый доживал свою жизнь с трудом и в одиночестве. Лишь у Михаила была Тася – вернейшая и преданная ему подруга. Она вспоминает, что еще в 1913 году Михаил принес домой кокаин и сказал, что надо попробовать.

– Зачем? – спросила она.

– Нужно. Я будущий врач и должен знать, как действует этот препарат на больного, – серьезно произнес Миша.

«Я по молодости лет, по глупости согласилась, – призналась много лет спустя Татьяна Николаевна, – вместо того чтобы устроить скандал. Мы жили мирно, никогда сильно не ссорились, но тут я должна была проявить характер, а вместо этого сама попробовала наркотик, зная, какие от него бывают беды. После кокаина у меня возникло отвратительное чувство, тошнить стало. Спрашиваю у Миши:

– Ну, как ты?

– А я спать хочу, – неопределенно ответил он и уснул.

Утром я к нему снова бросаюсь с вопросом:

– Как ты себя чувствуешь?

– Да так себе, – отвечает он, – не совсем хорошо.

– Не понравилось?

– Нет, – говорит, и тут я успокоилась, а зря.

В том же году одна поехала на Рождество в Саратов. На поездку обоих не хватило денег. Миша сказал: «Поезжай одна, а я буду сидеть и заниматься. Никуда без тебя ходить не буду, даже бриться». Я поехала. В Саратове была уже тетя Катя с маленькой дочкой Ирой. Помню, как Ира подходит к отцу и спрашивает: «Дядя Коля, ты о деле Бейлиса читаешь?» Этот Бейлис был евреем, и его обвиняли в убийстве мальчика Ющинского в ритуальных целях. Показания давала некая Вера Чибиряк. В Киев, где проходил суд, приехал писатель Владимир Галактионович Короленко. Он защищал подсудимого. Писателя поддержали другие деятели культуры. И когда Бейлиса оправдали, то в городе был праздник, которого до и после этого не было. Украинцы, русские, евреи обнимались, поздравляли друг друга, даже целовались, но не потому, что был оправдан именно Бейлис, а потому, что победила правда и справедливость.

Моему приезду родные очень обрадовались. Дело в том, что в 1913 году застрелился мой брат Константин. Оставил записку, что потерял веру в жизнь, в ее ценности. Видимо, одним из первых заметил, что они стали блекнуть. Родители не отходили от меня. Накупили мне всяких хороших вещей, а мать подарила золотую цепь, очень длинную и толстую, как веревка, в палец толщиной. Ее отец привез из Германии, где лечился от подагры. Приехала я в Киев с массой еды, смотрю – Михаил без меня действительно не брился. У него выросла смешная рыжая бороденка. Он тут же побрился, и мы пошли к Варваре Михайловне. А потом дома пировали.

Как началась Первая мировая война – я не помню. Цены на

продукты сразу не изменились. А вот Миша увидел идущих на вокзал солдат и пригорюнился, наверное, думал, что не все из них вернутся домой. Я стала волноваться, понимая его мысли и сочувствуя им».

Здесь мы прервем воспоминания Татьяны Николаевны и обратимся к рассказу Михаила Булгакова «Киев-город», где он точно указывает дату окончания спокойной благодатной жизни: «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история». 1917 год был началом ее апогея, а у всякой истории есть предыстория, и началась она значительно раньше.

Глава третья Жена земского врача

Киев жил прежней жизнью, хотя война набирала темпы. Этому нечего удивляться. Запасы продовольствия, одежды и медикаментов были столь велики, что не могли исчезнуть сразу и дать населению повод для паники.

Тася ходила в маленький магазин «Лизель» на Крещатике. Там были ветчина, колбасы, сосиски, масло – и все в богатом ассортименте. Она покупала московскую колбасу, а масло – мекковское.

Неожиданно исчезла из саратовского дома Таси ее сестра Софья. Познакомилась с красивым офицером и, никого не предупредив об уходе, сбежала из дому. Устроилась медицинской сестрой и служила в госпитале, желая быть рядом с офицером-любовником. Николай Николаевич узнал об этом и страшно разгневался. Хотел отказаться от дочери, но она написала письмо, в котором искренне просила прощения. И когда вернулась в Саратов, то дома шума не было. Сестра была красива, оригинальна и смела в поступках.

– Ты своего добилась, вышла замуж, – сказала она Тасе. – А я познала, что такое любовь, познала без венчания… Ну и что?

– Но вы поженитесь? – спросила Тася.

– Кто с кем? За мною теперь ухаживает командир полка! Я женщина заметная, не пропаду! – уверенно заявила Софья.

В Киев к Тасе она приезжала в 1915 году шикарно одетой, остановилась в лучшей гостинице, привезла рассыпчатое и очень вкусное печенье «Каплетэн», большую коробку шоколада «Гола-Петэр» и бутылку рома. Старалась богатыми подарками поразить воображение Таси.

– Ты напиши родителям, что я живу прекрасно, – попросила она Тасю, сказала развязным тоном, а у самой на ресницах слеза. Это была первая травма, нанесенная войною семье Лаппа. За год до этого Тася и Миша провели лето в Саратове. Экзамены за третий курс он сдал успешно, ну а здесь его поджидала своеобразная врачебная практика. В Саратов стали поступать с фронтов первые раненые. Евгения Викторовна организовала на свои и общественные средства госпиталь небольшой – всего на двенадцать коек. Михаил был оформлен в госпиталь медбратом, и, возможно, это спасло его от мобилизации на фронт. Работал каждый день, делал перевязки, принимал раненых и размещал их по палатам. Исполнял и другие поручения врачей. Тася помогала матери в организационных делах. Вернувшись в Киев, она работала в подобном госпитале у тети Кати. Кормила раненых.

Повара давали ей два огромных ведра с едой, и она тащила их на пятый этаж. Поначалу было очень тяжело, потом немного привыкла. Она нравилась больным приветливым отношением, вниманием к ним. Они просили ее написать письмо домой, любили поговорить с ней, раскрыть душу, посоветоваться. Возвращалась домой уставшая до предела. Михаил не раз говорил: «Поработала, и хватит». Но на следующий день она снова тащила наверх тяжеленные ведра.

Наступал 1916 год, пора заключительных экзаменов. Число экзаменов сократили с четырех до одного. Отправляясь на него, Михаил надел Тасин браслет, на счастье. Университет он закончил с отличием, с золотой медалью. Выпускники закатили грандиозное празднество. Тася рассказывала, что Михаил никогда не был пьян, пил мало. Один раз только она видела его нетрезвым – после того, как он со студентами отмечал окончание учебы. «Знаешь, я пьян», – сказал он, придя домой. «Тогда ложись». – «Нет, пойдем гулять».

Они с Тасей пошли вверх по Владимирской и вернулись только под утро. Утром, протрезвев, Михаил задумался о будущем. Оно виделось ему весьма расплывчатым. На фронте русская армия не добилась успеха. Военный министр Сухомлинов был арестован и обвинен в противозаконном бездействии. Булгаков записался в Красный Крест, то есть добровольно поступил в один из киевских госпиталей, подчиненных Красному Кресту. Вскоре госпиталь перевели поближе к передовой, в Каменец-Подольский. Михаил поехал один, а потом прислал телеграмму: «Приезжай». Тася взяла немного вещей и тронулась в путь. Муж встретил ее и привез в маленький домик, расположенный в саду, где росли чудесные розы. И городок понравился ей, старый, но опрятный, чистый. Тася впервые увидела Михаила в военной форме зауряд-врача, и ей показалось, что он возмужал. Дом, где они снимали комнату, находился неподалеку от госпиталя. И фронт был недалеко – всего в пятидесяти километрах. В госпиталь приезжал Николай Второй. Произвел хорошее впечатление своей выдержкой. Он беседовал с больными, серьезно, внимательно выслушивал и давал подчиненным указания исполнить их просьбы. Наиболее отличившимся в боях вручал боевые награды – кресты. Жалел тяжело раненных, переживал, но старался этого не показывать.

И не спешил покинуть госпиталь, хотя адъютант напоминал ему о том, что надо куда-то ехать. В царской свите выделялся офицер в чалме. Рассказывали, что это бухарский эмир. Он построил два дворца в восточном стиле в Ялте и еще один – в Феодосии. Царь однажды приехал к нему в ялтинский дворец.

Эмир был счастлив. Как-то раз, прогуливаясь по ялтинской набережной, он заглянул в шляпную лавку и с первого взгляда влюбился в мастерицу. Потом построил для нее каретный двор, что-то вроде конки или современного таксопарка. Когда началась революция, следы эмира затерялись.

Приезд царя в госпиталь был своеобразным сеансом психотерапии.

– Сегодня у многих больных нормализовалась температура, – заметил Михаил Тасе.

– И я чувствую себя лучше, – улыбаясь, сказала она.

Пришло сообщение, что наши войска заняли Черновцы, и госпиталь перевели туда. Но положение на фронте было шатким, и военный начальник сказал Булгакову: «Зачем вызвал жену? Будет эвакуация». Тасе пришлось уехать в Киев, а когда госпиталь прочно обосновался в Черновцах, она вернулась туда. Квартирмейстер позаботился о хорошей комнате для них. Михаил устроил Тасю медсестрой в свой госпиталь, который специализировался на лечении гангренозных больных. Он почти что целый день ампутировал им ноги. А Тася эти ноги держала.

– Держи крепче, – говорил он ей.

– Стараюсь, – отвечала она, хотя ей становилось дурно и от вида крови, и от самого жуткого для нее процесса операции, и от сознания, что после этой операции больной станет калекой. Михаил, видимо, прочитал ее мысли:

– Ничего. Станет калекой, зато будет жить. Добрые люди помогут!

Наверное, он думал о себе, так как всегда подавал деньги нищим, не скупился. Работы было много, и Тася постепенно привыкала к адскому труду. Почувствует себя плохо, понюхает нашатырного спирта и снова идет к операционному столу. Михаил научился так быстро резать ноги, что она еле успевала за ним. Он опережал даже опытных хирургов. Когда работы стало меньше, Михаил послал Тасю в Киев, навестить мать, узнать, как живут родные, и отдохнуть, хоть немного. Но долго без нее оставаться не мог, вызвал к себе. Он встречал ее в Орше, где был пропускной пункт. А у него для Таси пропуска не было – не разыскал нужного человека, который эти пропуска выдавал. На счастье, попался неграмотный дежурный солдат. Миша подсунул ему рецепт, и солдат согласно кивнул, мол, проходите. В начале июля 1916 года война отодвинулась от Черновиц благодаря успешным действиям генерала Брусилова. В тридцатых годах о нем напишет роман известный писатель Юрий Львович Слезкин, с которым Булгакова и Тасю, начиная с жизни во Владикавказе, надолго свяжет судьба. Роман будет называться «Брусиловский

прорыв».

Устав за день в госпитале, Тася вечерами размышляла, как замотала, закрутила ее семейная жизнь. Жила бы себе в Саратове, дома, под опекой отца и матери, ходила бы в театр Очкина, в Липки, на набережную Волги… И все-таки ни на мгновение не пожалела, что жизнь свела ее с Мишей, с ее любовью. Она готова была пойти с ним на край света. И не только потому, что так положено верной, преданной жене, но и по зову сердца.

Неожиданно в середине сентября Михаила вызвали в Москву.

Сестра Надя позже вспоминала: «Весь выпуск медицинского факультета университета получил звание ратников ополчения 2-го разряда – именно с той целью, чтобы они не были призваны на военную службу, а использовались в земствах. Опытные земские врачи были взяты на фронт, в полевые госпитали, а молодые выпускники заменили их в тылу, в земских больницах». Пробыв месяц в Черновцах, Михаил и Тася отправились за новым назначением в Москву. Успели сходить в Малый театр, в ресторан «Прага»… Михаил хотел доставить Тасе удовольствие, пусть на несколько часов пребывания в шикарном ресторане, отвлечь ее от крови, стонов раненых, нервной больничной обстановки.

Но где он раздобыл деньги на посещение «Праги»? Наверное, ответ на этот вопрос можно найти в письме сестре Наде от 3 декабря 1917 года, где есть параграф под номером три:

«В Тверском отделении Московского городского ломбарда заложена золотая цепь под № Д111491 (ссуда 70 руб., срок, включая льготные месяцы, был 6 сентября). Я послал своевременно переводом и в заказном проценты и билет в ломбард, прося вернуть билет по адресу дяди Коли (брат матери – Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, у которого в Москве останавливались киевские Булгаковы. – *В. С.*) после того, как ломбард погасит проценты и сделает отметку. Однако до сих пор билет еще не вернулся. Тася страшно беспокоится об участи дорогой для нее вещи. Если найдешь время, наведи справку у заведующего Тверским отделением… Тася и я целуем тебя крепко.

Михаил».

Позже Татьяна Николаевна вспомнит давние события тех лет: «В Москве Михаила срочно отправили в Смоленск; в Москве мы даже не зашли к дядьке (Николаю Михайловичу Покровскому. – *В. С.*)».

Михаил в военной форме прошелся с Тасей по центру Смоленска, мимо торговых рядов, остатков стен бывшего кремля, зашли в самое высокое и красивое здание города – чудесный Успенский собор. Полюбовались его росписями, великолепием

убранства… и сразу пошли в военную управу. Переночевав в убогой гостинице, утром отправились поездом в Сычевку, крошечный уездный городишко, где находилось Управление земскими больницами. Пожилой управляющий посмотрел на них поверх очков и вздохнул:

– Извините, господа, идет война, выбора нет. Будете работать в Сычевском уезде, в селе Никольском. Там отнюдь не самая худшая больница в наших краях. Желаю успехов.

Управляющий не отходил от них ни на шаг, подобрал для поездки пару лошадей и рессорную пролетку, чтобы не слишком трясло в пути.

– Должны добраться, – поразмыслив, заключил он.

Был конец сентября, шли дожди, бурые листья покрыли булыжные мостовые, и красивая даже осенью среднерусская природа не радовала глаз. Михаил с жалостью смотрел на Тасю, когда она, скользя по сырой земле, пыталась взобраться в пролетку. Он помог ей подняться на сиденье, устроился рядом, обнял за плечи. Пролетка тронулась с места. Ехали по еле различимой дороге, едва не увязая в грязи. Унылая картина тяготила душу. Сорок верст одолели лишь к концу дня. В Никольское приехали поздно. Никто их не встретил.

Далее я цитирую воспоминания Татьяны Николаевны: «Там был двухэтажный дом врачей. Фельдшер пришел, принес ключи. Наверху была спальня, кабинет, внизу – столовая и кухня. Мы заняли две комнаты, стали устраиваться. И в первые же дни привезли роженицу. Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной, конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. И я искала в учебнике медицинском нужные слова, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне, что искать».

В рассказе Михаила Булгакова «Крещение поворотом» участие Таси в операции не упоминается, возможно, по причинам литературного свойства, возможно, и по другим. Но ее участие легко угадать. И мы представили себе, что в ее руках книга Додерляйна «Оперативное акушерство».

«…Поворот всегда представляет опасную для матери операцию», – читает Тася.

Холодок пополз у нее по спине вдоль позвоночника.

– «…Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки». Булгаков повторяет вслед за Тасей:

– Само-про-из-воль-но-го…

– «Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки

встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота…» – четко, но быстро читает Тася, чувствуя волнение Михаила, у которого на счету каждая минута.

– Дальше, дальше, – торопит он.

– «…Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода…» – продолжает Тася.

– Примем к сведению, – бормочет Михаил.

– «Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, которая… может дать повод… к самым печальным последствиям», – взволнованно произносит Тася.

– Немного неопределенные, но какие внушительные слова.

И в виде заключительного аккорда Тася громко читает:

– «…С каждым часом промедления возрастает опасность…»

– С каждым часом промедления, – повторяет Михаил.

Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено.

Даже фрагменты этого рассказа показывают, насколько трудно приходилось неискушенному в работе врачу и его жене в первое время пребывания в Никольской больнице. Более понятными становятся последующие воспоминания Татьяны Николаевны, хотя с описываемой поры минуло шесть десятков лет. «Потом, в следующие дни, – четко, не сомневаясь в своих словах, произносит она, – стали приезжать больные, сначала немного, потом до ста человек в день… Кстати, муж роженицы увидел Булгакова и говорит: «Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу». Вот, думаю, здорово. Первое приветствие. Принимал он очень много. Знаете, как пойдет утром… не помню, с какого часа, не помню даже, чай ли пили, ели ли чего… И, значит, идет принимать. Потом я что-то готовила, какой-то обед, он приходил, наскоро обедал и до самого вечера принимал, покамест не примет всех. Вызовов тоже было много. Если от больного приезжали, Михаил с ними уезжает, а потом его привозят. А если ему нужно было куда-то ехать, лошадей ему приводили, бричка или там сани подъезжали к дому, он садился и ехал. Диагнозы он замечательно ставил. Прекрасно ориентировался… В Вязьме, куда мы потом попали, я хотела помогать ему в больнице, но персонал был против. Мне было тяжело, одиноко, часто плакала…»

Можно понять настроение молодой женщины, попавшей после Саратова и Киева в глухомань, где не то что сходить в театр – поговорить с образованным городским человеком – проблема. Муж, мечтавший о славе и деньгах, с утра до ночи занят адовой работой. Но это не должно было сломить дух Таси, женщины отважной и целеустремленной, а главное – преданной мужу,

любимому мужу, с которым она начала жить еще задолго до свадьбы, от которого ждала ребенка, но сделала аборт, чтобы не усугублять и без того неважные отношения с его матерью. Гинеколог предупреждал ее, что первый аборт в молодом возрасте опасен для здоровья, что потом она может не иметь детей, но даже такая опасность ее тогда не остановила. Она готова помогать мужу в работе, но ее лишают даже этого – не желает младший персонал! Тася понимает, что одно слово Михаила, одно твердое его приказание заставило бы замолчать медсестер и акушерок, но он почему-то не стал с ними даже спорить, согласился молча, не обсудив с нею ничего, даже не посоветовавшись. Поставил перед фактом, и точка. Тоска и крах прежних нежных и уважительных отношений с мужем мучают ее. Она пишет в Москву Наде небольшое письмецо, в котором скрыт крик ее больной, измученной души:

«Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся, и состояние ужасное. Как ты и дядя Коля себя чувствуете? Жду от тебя известий. Привет дяде Коле. Целуем тебя крепко.

Твоя Тася».

«Твоя Тася», а подписи Михаила нет. Возможно, он не знал даже об этом письме, хотя написано оно вроде бы от обоих. Примерно в это же время Наде пишет Михаил: «Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А еще в большем отчаянии я оттого, что никак не могу получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как бы мне пригодились эти две тысячи!

В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, с чем приехал, с тем и уехал (пытался демобилизоваться по диагнозу «истощение нервной системы», но безуспешно. – *В. С.*). И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных людей. Мое окружение настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве…» А где же Тася? Любимая жена? О ней в письме ни слова. На первый взгляд, очень странным выглядит его чересчур резкое охлаждение к ней, к своему единственному и верному другу, делающему все возможное в этой глуши для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Она готова терпеть любые трудности, делает все, чтобы Михаил не замечал их: «Баня была в стороне от дома, ее по-черному топили. Там такая жара была и… дым. Я потом долго кашляла… Но старалась, чтобы Миша не видел этого». Он что-то

пишет. Тася просит дать ей прочитать, заранее зная, что в любом случае – понравится ей его труд или нет – она похвалит его, поддержит мужа, замученного тяжелой работой, о которой он позже написал в рассказе «Вьюга». «Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут… пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И кроме того, у меня стационарное отделение на 30 человек. И кроме того, я делал операции».

Обычно в трудные времена любящие сердца тянутся друг к другу, находят друг у друга отдохновение. Но что же происходит между Мишей и Тасей? Она спрашивает у него: «Что ты пишешь?» – «Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная, скажешь, что я болен…» Сказал только название – «Зеленый змий».

Михаил мечтал стать врачом, хорошим, известным, и случай набраться медицинского опыта для него, несмотря на все трудности, выдался необыкновенный. Он признается: «Я успел обойти больницу и с совершенной ясностью убедился, что инструментарий в ней богатейший… Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока». Это фрагмент из его рассказа «Полотенце с петухом». Он узнает, что все это добыто стараниями его предшественника Леопольда Леопольдовича Смерчека, чеха, выпускника Московского университета, проработавшего в Никольском более десяти лет с не меньшей нагрузкой, чем Булгаков.

Что же томит, разрывает его душу? Это мы в некоторой степени узнаем из уже цитировавшегося его письма Наде: «Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего не родился сто лет назад. Но конечно, это исправить невозможно! Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву или Киев, туда, где хоть и замирая, но все еще идет жизнь. Придет ли старое время? Настоящее таково, что стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать.

Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть. (В феврале 1918 года он ездил в Москву и был там демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись в Вязьму, он немедленно уехал с женой в Киев. А в декабре 1917 года – именно этим месяцем датировано письмо – он по пути в Москву заехал в Саратов, чтобы по поручению жены навестить ее отца и мать. – *В. С.*) Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в

Москве… Тупые и зверские лица… Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию увидел и понял окончательно, что произошло».

Михаил Афанасьевич понял, что мир, тот его мир, в котором он старался себя проявить, разрушен навсегда. Мимо него прошла Февральская революция, когда Россия, даже по признанию Ленина, «за четыре месяца вошла в число самых цивилизованных держав мира», когда первый демократ, ставший во главе страны, умнейший и интеллигентнейший министр Временного правительства Александр Федорович Керенский не отдал под суд своего бывшего соученика по гимназии Владимира Ульянова, имея на руках документы о получении им денег от немцев на расшатывание России при помощи революции, на ослабление своего противника по войне. Пощадил коварного и словоблудного человека, считая, что по законам демократии правительство должно быть коалиционным и в него должны войти большевики, пощадил Ленина и был жестоко предан им, обещавшим народу землю, которая ему не принадлежала и не была отдана, а страна стала обреченной на разруху и голод.

Во время Февральской революции даже до Таси дошли отзвуки знаменитого приказа № 1, по которому в войсках отменялось прежнее обращение к офицерам, и вместо «ваше благородие» следовало говорить: «господин офицер», и солдатам разрешалось ездить в одном транспорте с офицерами, даже в железнодорожных поездах. Прислуга предупредила Тасю: «Я вас буду теперь называть не барыня, а Татьяна Николаевна, а вы меня – Агафья Ивановна».

Авторы-булгаковеды, наверное находясь под влиянием величия писателя, стараясь даже не бросить тень на гения, очень мягко, а иногда и как бы между прочим, описывают этот период его жизни. Даже Татьяна Николаевна в своих воспоминаниях вскользь замечает, что «годы в Никольском и Вязьме были омрачены возникшей по несчастной случайности привычкой к морфию. Он чувствовал себя все хуже, избавиться от болезни не удавалось вплоть до 1918 года». И лишь в своем последнем интервью Леониду Паршину она более правдиво и несколько иначе объясняет происшедшее с Булгаковым – земским врачом – и то, что пришлось испытать ей – жене земского врача: «Это полоса была ужасная. Отчего мы и сбежали из земства… Он был такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий был… Я знаю, что там у него было ужасное настроение… Да, не дай бог такое…»

Самой Тасе тоже приходилось нелегко, в ее семью пришло горе. Летом 1917 года в Никольском гостила ее мать с младшими братьями – Колей и Вовой. В это время старшего из братьев – Евгения – отправили на фронт, и он погиб в первом же бою. В детстве Тася часто ссорилась с Женькой, но любила его больше других братьев, ценила за увлечение живописью. Ведь он побывал в Париже и брал уроки у Пикассо. И если бы не революция, остался во Франции. Считал, что в трудную годину должен быть дома, помогать семье. Привез из Парижа свои оригинальные эскизы. Не хвастался тем, что его хвалил известный художник. Лишь сказал, что Пикассо обещал заниматься с ним. Узнав о гибели сына, Евгения Викторовна упала в обморок. Михаил долго приводил ее в сознание. Она плакала до самого отъезда и боялась, что ей станет еще хуже, когда она увидит вещи сына, которые привез его денщик. Не могла удержаться от рыданий и Тася. Миша был взволнован, переживал гибель Евгения и чувствовал себя неважно, жаловался, что во время операций теряет контроль над собой. Плохим самочувствием объяснил то, что в эти дни произошло с ним. Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Надрезал горло и вставил в него трубку. Ему помогал фельдшер, которому вдруг стало дурно. Он сказал: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Медсестра Степанида успела перехватить трубку.

Михаил отсасывает из горла пленки и вдруг спокойно говорит Тасе: «Знаешь, мне кажется, пленка в рот попала. Надо срочно сделать прививку». Тася предупредила, что у него распухнут губы, лицо, начнется зуд в руках и ногах. Но он стоит на своем: «Делайте». А когда и в самом деле возник зуд и опухло лицо, он крикнул Тасе: «Сейчас же зови Степаниду!» Приходит медсестра. Он ей: «Принесите быстрее шприц и морфий!» Тася знала, что Михаил человек сильный, терпеливый. Думала, что выдержит боли, хотя бы в дальнейшем. Степанида ему впрыснула морфий, и он сразу уснул. Ему это понравилось. И в последующие дни, как только становилось неважно, он опять вызывал фельдшерицу. Тасе стало страшно. Что-то с Михаилом случилось неладное? Такую слабость он никогда раньше не проявлял. Может, расстроился оттого, что она забеременела, но ей казалось, что больше всего на него подействовало крушение мира, в котором он жил, хотел стать блестящим врачом, но почувствовал всю безысходность бытия, пытался при помощи морфия уйти от действительности, хотя бы на время забыться. На нее не смотрел. Только отдавал распоряжения фельдшерице. Та не может ослушаться врача. Опять впрыскивает. Но малую дозу. Он чувствует это и требует сделать еще один укол. Вот так все

началось.

Я специально включил в воспоминания Татьяны Николаевны вторую версию о том, на основе чего у Михаила Афанасьевича наступило привыкание к морфию. Возможно, об этом она не решалась сказать интервьюеру, но письмо к Наде в Москву о разбитом вдребезги прошлом, мысли об этом могли привести к изменению в психике, и ему на какое-то время стало безразлично, что с ним будет, тем более что он не родился сто лет назад и прошлого уже не вернуть. А возможно, он, испытавший прежде действие кокаина, находясь в сильном нервном расстройстве, решил выйти из него с помощью другого наркотика. Обо всем этом остается только догадываться. Дадим слово самому Михаилу Афанасьевичу, приведя фрагмент из его рассказа «Морфий»: «Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием».

Но есть в этом рассказе эпизод, где не упоминается имя Таси, имя человека, решившегося на неравную и почти безнадежную борьбу с наркоманией, борьбу за спасение своего мужа. Булгаков, как, впрочем, и в других произведениях, не упоминает имя жены. Но в рассказе «Морфий» это она, Тася. Вчитайтесь в эпизод, где действуют герой рассказа и фельдшерица. «Я слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

– Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, – все равно, мол, – и тихо ответила:

– Давайте сделаю.

Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

– Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. И себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с

завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

– Сколько вы сейчас впрыснули?

– Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.

Она сжала голову и замолчала.

– Да не волнуйтесь вы!

…В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство.

Привычка к морфию создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

…По правде говоря, эта женщина единственно верный настоящий мой человек. И в сущности, она и должна быть моей женой…»

Рассказ написан в 1927 году, но сюжетом его стали события десятилетней давности, когда была в разгаре болезнь Булгакова.

Поначалу Тася растерялась. Она знала, что Михаил болен, но как лечить его? К кому обращаться? Он понимал ее сомнения и однажды жалостливо произнес: «Ведь ты не отдашь меня в больницу? Не отдашь?» Вид был у него настолько несчастный, что у Таси сжалось сердце. Но все-таки он боялся, что она отправит его лечиться. И однажды он воспользовался сильными болями у нее под ложечкой и почти что насильно впрыснул ей морфий. Видимо, считал, что, будучи больна сама, она никогда не донесет на него. К тому же он знал, что она ждет ребенка. Не хотел его. То ли из эгоизма, то ли из-за трудностей, связанных с его рождением. У него была одна забота – достать опиум. Детей он любил, но чужих. Тася думала, что так не бывает, что свой ребенок ему будет ближе и любимее, чем другие. Одно его слово – и она оставила бы ребенка, несмотря на революцию, на неизвестное будущее. Она понимала, что и у Михаила, и, возможно, у нее это последний шанс иметь ребенка, создать крепкую полноценную семью. Миша часто впадал в угнетенное состояние и молча лежал на диване или садился за стол, подперев голову руками. Не отговаривал Тасю оставить ребенка, но и не хотел его рождения. Тася, видя его состояние, ревела, как маленькая девочка, вспоминая, что и отец и мать очень хотели нянчиться с внуками. И она мечтала о ребенке, тем более от Миши. В воображении рисовала себе крепкого улыбающегося малыша, поднятого вверх руками Миши. От этой картины, от счастья замирало сердце. Но радостное видение вскоре исчезало. Однажды Миша намекнул, мол, какой ребенок может родиться у морфиниста.

– Но я здорова, совершенно здорова! – возразила Тася. – На меня и кокаин и морфий подействовали одинаково отвратительно. После них была рвота и неприятное ощущение.

Михаил недовольно скривил лицо. Запас морфия в аптеке,

оставленной Леопольдом Леопольдовичем, уже кончался. Михаил дважды в день впрыскивал себе морфий. Тася боялась, что состояние его ухудшится, и попросила сделать ей аборт. На минуту он замешкался, наверное, осознал, на что идет, лишает себя потомства. Ведь у него семья была больше, чем у Таси. Понимал, сколько радости принесет его ребенок матери, сестрам и братьям. Потом лицо его стало жестоким. Тася уже ничему не удивлялась. Она понимала, что Миша теперь не тот, кто был раньше, когда нежно и неудержимо ухаживал за ней. Она заплакала. Он сделал вид, что не замечает ее слез, приказал идти в операционную. Кажется, аборт он делал первый раз в жизни. Крестьяне не обращались к нему с подобной просьбой, считая прекращение деторождения делом богопротивным. Полистал медицинскую книгу и натянул на руки резиновые перчатки…

После аборта не разговаривал с Тасей.

– Ну как? – спросила она.

Он ничего не ответил. Сел за стол, подперев голову руками. Сидел дольше обычного. Потом засуетился, поднялся из-за стола. Видимо, организм требовал очередной порции наркотика. Тася надеялась, что кончатся запасы морфия в аптеке бывшего врача и отвыкание от наркотика начнется само собой. Но этого не случилось. Однажды она сама предложила сделать укол и вместо наркотика впрыснула ему дистиллированную воду. Он неподвижно просидел минуту, другую, а потом, поняв, что его обманули, разразился руганью. Тася никогда не видела его таким раздраженным и злым. Видимо, привыкание к наркотику усилилось, и требовались все бóльшие дозы. Летом, когда в Никольском гостила Мишина мама с младшими детьми, она заметила, что Миша похудел, стал нервным, но Тася успокоила ее, объяснив его состояние усталостью и недомоганием. Сейчас уже ничего скрыть было нельзя. Михаил поехал в Вязьму с просьбой о демобилизации, но ему отказали. Зато по своим рецептам он набрал немалое количество опиума. Вернулся веселым, даже бодрым. Тася решила воспользоваться его хорошим расположением и повторила трюк с дистиллированной водой. Михаил разъярился, схватил со столика горящий примус и швырнул его в сторону Таси. К счастью, пока он разворачивался с примусом, она успела скользнуть за дверь комнаты. Долго не возвращалась, прикладывая ухо к двери, пока не услышала характерный звук надломленной ампулы, а затем и легкое похрапывание. Примус валялся на полу в болотце керосина. Чудо, что не начался пожар.

После приема наркотика Михаил чувствовал успокоение. Даже пробовал писать. Тася просила показать написанное, но он

только отшучивался: «Нет. Ты после этого спать не будешь. Бред сумасшедшего».

18 сентября 1917 года, после долгих просьб и хлопот, Булгакова переводят в Вяземскую городскую земскую больницу. С одной стороны, этот перевод поднимает ему настроение. Читаем в рассказе «Морфий»: «Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки!.. На перекрестке стоял живой милиционер <…> сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское… В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только!.. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь во тьму на опасность и неизбежность».

А с другой стороны, страшный недуг продолжал преследовать его. Наркотическое заболевание заметила медсестра Степанида, потом другие в Никольской больнице. Михаил понял, что оставаться здесь нельзя. Он просил отпустить его – не разрешили. А тут именно в Вязьме потребовался врач, и его перевели туда. В рассказе «Морфий» описывается сценка, которая, наверное, произошла между Тасей (в рассказе Анной) и Булгаковым.

«Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд… Достал еще в одной аптеке на окраине – 15 граммов однопроцентного раствора, вещь для меня бесполезная и нудная… И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать и посмотрел на меня хмуро и подозрительно…

Анна . Фельдшер знает.

Я . Неужели? Все равно. Пустяки.

Анна . Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь?»

Возможно, подобные разговоры происходили между Тасей и Михаилом. В своих воспоминаниях Татьяна Николаевна характеризует это время «ужасной полосой», не раскрывая подробностей своих мучений. Не хочет выглядеть несчастной, унижать любимого человека даже после шестидесяти лет разлуки. Но все-таки вспоминает: «В Вязьме нам дали комнату. Как только

проснусь – «иди ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть – «иди в другую аптеку, ищи». И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был… Вот помните его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала… Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, – как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была».

Татьяна Николаевна недоговаривает о том, что аптекари все реже и реже отпускали ей опиум.

Фармацевт самой большой аптеки в центре города, в очередной раз рассматривая Мишин рецепт, усмехнулся в усы:

– Кого же он лечит, доктор Булгаков? Почему не указана фамилия больного? Пусть перепишет рецепт!

Тася бежит домой, Миша переписывает рецепт, ставит первую пришедшую на ум фамилию. Но фармацевт, разглядывая рецепт, не спешит отпускать опиум. Берет пачку старых рецептов, вытаскивает из нее Мишины рецепты и вскидывает брови.

– Милейшая! Бог с ними, с фамилиями. Но дозы все время увеличиваются! Разве так лечат? Что это за болезнь, требующая роста доз? Если это рак, то больной должен находиться в больнице. А тут похоже не на самолечение рака, а на развитие у больного наркомании! Не плачьте, милейшая. Я вижу ваше бледное измученное лицо, мне искренне жаль вас, но я не могу способствовать развитию болезни. Поймите и извините меня, милейшая! – говорит он и возвращает Тасе рецепт. – Скажите доктору Булгакову, что опиум – штука опасная. Хотя он это и без меня знает. Надо лечиться!

Тася в слезах прибегает домой. Михаил встречает ее нервный, с горящими глазами:

– Принесла?

– Нет. Фармацевт сказал, что увеличивается доза, что он не может отпустить опиум.

Неожиданно Михаил достает из-под подушки наган и нацеливает его на Тасю:

– Вы все против меня. Беги в другие аптеки. Не принесешь – убью.

Тася от страха не может слова вымолвить и, пятясь, покидает комнату. В двух других аптеках ей тоже отказывают. Видимо, фармацевт из центральной аптеки успел предупредить коллег. В четвертой, самой дальней аптеке, ей отпускают лишь

однопроцентный раствор. Чтобы он дал эффект, его надо впрыскивать десяток раз. И сдачу фармацевт не дает, опустив глаза. Он понимает, зачем ей опиум. Пусть раскошеливается.

Михаил по ее ошарашенному виду понимает, что она принесла не то, что он хотел. Разворачивает пакет и бросается на Тасю с кулаками. Она увертывается от его ударов, но не всегда удачно, и думает про себя: «Борьба так борьба! Я буду уменьшать дозу! Все равно буду!»

На трое суток Миша исчезает из дома. Наверное, ездил в Москву, к коллеге-товарищу, специалисту по наркологии, ездил советоваться. А Тася за эти дни буквально постарела: на лбу появились первые морщины, впали щеки, поникли плечи. Она думала только о Мише – где он, не случилось ли с ним самое страшное?

Сердце ее радостно забилось, когда она услышала в передней его шаги. Он медленно снимает пальто:

– Я не голоден, а ты? Чем питалась без меня?

– Ничем.

– Трое суток? Ты – сумасшедшая! Сделай мне укол. – И называет дозу меньше прежней.

Тася в душе ликует и мысленно благодарит его коллегу. Все-таки наставил на ум. Вместе бороться легче. Потом с ней начинается истерика. Все накопленные за эти страшные времена отрицательные эмоции выплескиваются. Михаил стоит рядом с нею, но она уткнулась в подушку, боится посмотреть ему в лицо. Вдруг там, вместо сострадания к ней, ненависть или равнодушие.

– Женька погиб! – вдруг вскрикивает она, впервые и глубоко осознав гибель брата. – Что с мамой, отцом? Они могут не пережить это! – рыдая, голосит она. И снова слезы, слезы… До полной вымотанности, усталости. До расслабления.

Потом она хочет спросить у Михаила, будет ли у нее еще ребенок, не потеряла ли возможность рожать детей – ведь он делал операцию, находясь под действием наркотика, – но боится задать ему этот вопрос, боится не столько за себя, сколько за него: как бы отрицательный ответ не изменил желание покончить с болезнью. Достаточно маленького срыва, и все ее старания, советы товарища-коллеги пойдут прахом. Потом, выйдя замуж вторично, она узнает жестокую правду, узнает, какую цену заплатила за свою первую любовь. Сначала огорчится, а затем успокоится. Поймет, что настоящая любовь бывает одна, а потому стоит любых лишений и жертв. И не покажется ей чем-то выдающимся желание Михаила застрелиться из-за ее неприезда в Киев. Тогда ей, по сути еще девчонке, с громадным трудом удалось подобрать слова вечной любви, слова умудренной

любовью женщины, которые остановили Михаила от рокового поступка. И борьба с его наркоманией покажется нормальной обязанностью жены, несмотря на угрозы, избиения. Кстати, его наган она потом выбросила в глубокую канаву, за чертой города. Было страшно, но она спасла мужа, человека. Она вовсе тогда не думала, что спасает для мировой литературы жизнь великого в скором будущем писателя и что за это ей должны быть бесконечно благодарны люди. Она не думала об этом даже тогда, когда Михаил Булгаков стал гордостью русской литературы. Она беспокоилась в Вязьме, что он сорвется, и сказала: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили». А он в ответ: «Мне тут нравится». Она доказывает свое: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?» В общем, скандалили, скандалили, наконец Михаил поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале они с Тасей уехали.

Потом он подтвердит это в рассказе «Морфий»: «Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил четыре пуда, теперь три пуда пятнадцать фунтов. Испугался, взглянув на стрелку… Анна приехала. Она желта, бледна. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уедем в середине февраля».

Тася несказанно рада, что в Вязьме он стал что-то писать. Это явный симптом выздоровления, хотя неизвестно, когда оно наступит окончательно. Отвыкание, и полное, наступило где-то после 1918 года.

19 февраля 1918 года сестра Варя пишет Наде из Москвы:

«У нас Миша. Его комиссия освободила от военной службы… 22 февраля выдала ему удостоверение, что он в Вяземской городской земской больнице «выполнял свои обязанности безупречно». И этому можно и должно верить. Болел, но лечил, иногда через силу, в полузабытьи, но честно, как мог, используя неоценимый опыт, полученный в Никольской больнице…»

В Москве Михаил и Тася успели на последний поезд, уходящий в Киев.

– Ну и везет нам, Тася! – впервые за долгие месяцы мучительной болезни улыбнулся он, а ей показалось, что в его зрачках загорелась красная лампочка под зеленым абажуром.

Он ехал домой насколько мог счастливый, обнимал Тасю и не подозревал, что их ожидают трудности не меньшие, чем уже пережитые. Ночь затемнила окна, а он смотрел в стекло, где отражались его и Тасина тени.

Поезд был теплый, чистый, проводники аккуратны, вежливы –

наверное, потому, что этому составу выпала участь стать последним посланцем России на Украине. В Киеве уже были немцы или вот-вот должны были занять его. Тася легла на нижнюю полку, потом привстала и просидела до утра. Непонятное волнение охватывало ее: вдруг Миша еще не полностью вылечился. Врачи предупреждали, что его болезнь, в общем-то, неизлечима, единицам удается вырваться из ее цепких губительных объятий, проявив неимоверную силу воли. Тася боялась встречи с Варварой Михайловной. Миша еще выглядел худо. Как поведет он себя в Киеве? Не дай бог, вернется прошлое, и Варвара Михайловна упрекнет: «Я говорила, что вам не надо жениться». Тася страшилась ее укоров. Она любила Мишу даже в минуту, когда он был страшен; ревела, оплакивая свою судьбу, но любила. Она ревновала его к молодой помещице, жившей напротив Никольской больницы в полуразвалившемся доме, когда Михаил уезжал по вызову. Тася иногда посматривала в окно, минует он дом помещицы или остановится у его покосившейся калитки. Однажды остановился. Тася думала, что сойдет с ума. Но, к счастью, он вскоре вернулся. Видимо, передавал какие-то лекарства. Потом Тася приказала себе просто не смотреть в сторону этого дома, если Михаил шел или ехал мимо него. И вскоре ревность исчезла, по велению души. И когда помещица заходила к ним в гости, Тася, сославшись на занятость, выходила из комнаты, где находились ее муж и соседка. Но другая боль поселилась в душе – вдруг не разорившаяся помещица окажется на пути Миши, а более богатая и обольстительная женщина? Устоит ли он против ее чар? Она гнала от себя эту мысль.

Как-то на одном из заброшенных кладбищ, на дальней окраине Саратова, она обнаружила надгробную плиту, которую муж поставил жене, с которой прожил в любви и согласии сорок два года, четыре месяца и два дня. На дни считал счастье, проведенное с супругой. «Сейчас такая любовь редка», – услышала она за своей спиной кряхтенье старика. «Почему? – возразила она. – И сейчас есть верная, настоящая любовь». Старик попытался засмеяться, но вместо этого закашлялся и, махнув рукой, зашагал прочь от Таси. И еще вспомнился случай, когда Тасе отказали нервы, на мгновение она готова была без сожаления расстаться с жизнью. Это было в феврале 1917 года. Михаилу дали отпуск, и они провели его в Саратове. Гуляли мало. Миша играл с отцом в шахматы, ждал, когда тот вернется с работы, поужинает, и тянул его к шахматной доске, где были уже расставлены фигуры. Тасе нравилась Мишина спортивная разносторонность, причем всюду успешная. Он ловко гонял

футбольный мяч, точно бил по воротам, но после забитого гола шел от ворот понурый – ему жалко было и противников, и вратаря, достающего мяч из сетки. Зато радовался, когда сани неслись по бобслейной трассе, не задевая ограждений, набирая скорость, и говорил Тасе, обнимавшей его: «Покрепче обнимай, будет меньшим сопротивление воздуха». Тогда соревнования по бобслею не проводились, и время прохождения ими трассы никто не замерял, но среди катающихся непререкаемым было мнение, что Михаил и Тася – самая быстрая пара. Отца в шахматы Михаил обыгрывал, но не слишком часто. «Вы устали после работы, Николай Николаевич», – говорил Михаил и возвращал слабый ход.

Из отпуска ехали в Никольское уже в марте, озеро перед ним оттаяло, а другого пути, как перебраться через него на лошадях, не было. Лошади неохотно вошли в ледяную воду, двигались медленно. И вдруг Тася почувствовала, что ее лошадь погружается в воду, все глубже и глубже. Михаил уехал далеко. Спасения в холодной воде нет. Обувь уже промокла, вода просачивается под одежду. Вспомнились неожиданно все несчастья: и Мишина болезнь, и бесконечная беготня за опиумом по зимним вяземским улицам, в шубе и валенках, потом унылое возвращение домой. Злой, чужой взгляд Миши – принесла или нет? И думы о ребенке, который мог бы у них быть, но теперь его не будет. Не для кого жить. Мише она сейчас нужна больше как медсестра. Отец и мама живут хорошо, а она вдалеке от них гибнет и плачет ночами. Зачем ей такая жизнь? Лошадь перестала сопротивляться и уже коснулась мордой воды. Но тут Тася увидела сгорбленную спину Михаила. Он тяжело ступал по пожухлой траве, выходил на берег. Бледный. Шатающийся. Никому не нужный. «Как? – вдруг возмутилась ее душа. – А мне? Я его жена! Я люблю его и спасу, сделаю для этого все, хотя выздоровление случается очень редко!» Тася рванула повод с такой силой, что не ожидавшая этого лошадь вырвалась из ила и, испуганно от напряжения раздувая ноздри, поплелась к берегу. Тасю охватил такой прилив чувств к Михаилу, такая досада на себя за слабость, которую она едва не проявила, что защитная система организма спасла ее от заболевания, неминуемого, наверное, в других условиях, в другом состоянии души. А Михаил простудился, хотя и натирал ноги и грудь спиртом.

«Дохтур захворал, – говорила больным Степанида. – Он тоже человек. Не каменный. Приезжайте через три дня. Должен оправиться. Жена его чаем поит. С малиной. Приезжайте».

Поезд прибыл в Киев по расписанию, но Тасю и Мишу никто не встречал. В городе уже были немцы, но вели себя спокойно.

Местные красотки нацепили широкополые шляпы, стараясь современно выглядеть перед иностранцами, вели себя гостеприимно, но достойно, и немцы, знакомясь, целовали им руки. Но ночами было тревожно: под немцев работали местные мародеры и распоясавшиеся грабители. В семье Булгаковых не знали, когда прибудет поезд. Немцы, оккупировавшие вокзал, на вопросы не отвечали. Тася и Михаил наняли извозчика. Киев их встретил первым теплом. Был март 1918 года. Первые дни ушли на разговоры о годах разлуки, о том, что с ним произошло. Михаил о своей болезни помалкивал, но его бледность и нервозность не могли ускользнуть от взгляда Варвары Михайловны.

– Чего это с ним такое?! – спросила она, грозно посмотрев на Тасю. Этого разговора Тася ждала давно, готовилась к нему, но вдруг все доводы и объяснения выскочили из головы. Она вспомнила наставления Евгении Викторовны: «Если не знаешь, что сказать, то говори правду, дочка». И Тася поведала Варваре Михайловне свою печальную историю. Варвара Михайловна не поверила в случайность заболевания и назидательно изрекла:

– Время сложное. Меняется жизнь. И неокрепшие души с нею не справляются. У кого роман с кокаином, у кого с морфием… Но это еще никого не спасало от реалий жизни. Слава Богу, вас, Тася, это не коснулось. – Мать Михаила перешла на «вы», для того, чтобы, наверное, подчеркнуть опасность и неординарность ситуации. – Я ведь предупреждала, что вы чересчур молоды для брака с моим сыном, но вы меня не послушались. Теперь сами расхлебывайте эту историю. И не просите у меня помощи. Все, что произошло с Михаилом, было без меня. Я вас с ним, конечно, не оставлю в беде. И очень надеюсь, что вы ему поможете. Я по вашим глазам вижу, что вы его любите до сих пор. Похвально.

– А разве могло быть иначе? – удивилась Тася. – Миша выздоровел. Почти. Он резко уменьшил дозы наркотика.

Варвара Михайловна усмехнулась:

– Это там, в глубинке, было тяжело с опиумом. В Киеве он продается в любой аптеке. Боритесь за мужа и моего сына. – Голос у Варвары Михайловны неожиданно дрогнул. – Я тебе сочувствую, Тася…

Тася не ожидала, что в Киеве ее ждет повторение вяземского ужаса с Михаилом. Она думала, что его нервирует присутствие немцев, ведущих себя как дома. Позднее он напишет в «Белой гвардии»: «Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. <…> Когда

же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае… на фронт, потому что на фронте им делать нечего. <…> Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте (перед приездом Михаила и Таси в Киев. – *В. С.*), пришли в город серыми шеренгами немцы, а на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни».

Михаил считал, что приход немцев в Киев связан с большевиками, в них корни, и это какой-то сговор между ними. Михаил не любил большевиков за их несбыточные обещания людям охватить весь мир революцией и сделать его счастливым. Может, от этого у него сдали нервы, и он вернулся к прежней скверной привычке, от которой почти избавился в Вязьме. Тася не знала, что с ним делать. Бросить – ни в коем случае. Но как спасти? Василий Павлович, муж Варвары Михайловны, высказался твердо: «Надо, конечно, действовать!» И Тася, не имея сил ослушаться, снова начала ходить по аптекам. Опиум продавали без рецепта, и можно было взять несколько пузырьков в разных местах. Миша сливал их содержимое в стакан и выпивал разом, потом мучился желудком. Потом, как и в Вязьме, попробовала через шприц вместо опиума впрыснуть ему дистиллированную воду. Он бросил в нее этот шприц. В другой раз – горящую лампу. В Вязьме – примус, здесь – лампу. Неожиданно нацелил на Тасю браунинг. Где он его взял? Нашел? Снял с убитого? Или на что-то выменял у шароварников? Тася браунинг у него выкрала и отдала братьям: «Девайте куда хотите. Но чтобы в нашем доме его не было!» Милый Ваня, он, кажется, больше других в семье сочувствовал Тасе и унес оружие. А потом Тася, собрав волю в кулак, заявила Михаилу: «Я больше в аптеки ходить не буду. Там записали твой адрес, фамилию, звонили в другие аптеки, мол, не брала ли я у них морфий. Они сказали,

что брала, что собираются у тебя отнять печать». Тут Миша побледнел, как умирающий. Он больше всего на свете боялся потерять печать. Без нее он не смог бы практиковать. И тут случилось чудо: постепенно он стал осознавать, что с наркотиками шутки плохи, надо кончать. Трудно ему приходилось, но он терпел. Тася была уверена, что принудил его к этому не только страх потерять практику. Рядом была мать, братья, сестры. Перед ними, считавшими его надеждой семьи, было стыдно. И еще спасло его неодолимое предначертание Божье, или называйте его как хотите, давнее предначертание совершить в жизни такое, чего еще никто не сотворил. Оно незримо поселилось в нем и вело его к спасению. Тася чувствовала это, но успокоилась только тогда, когда над дверями его кабинета появилась табличка о том, что доктор Булгаков лечит венерические болезни. Тася была уверена, что он станет известным в Киеве врачом. Быть может, его великое предначертание в другом, она не знала, но была безумно рада, что вернула его к жизни. Вспомнив все унижения, страхи, обиды, испытанные за последние годы, она расплакалась, но быстро вытерла слезы. «Самое страшное не длится вечно», – подумала она и улыбнулась, спокойно и радостно, как в старое беспечальное время.

Мишин кабинет посещали люди небогатые, но это не беспокоило Тасю, она считала, что теперь ее муж занят важным делом: составляет графики приема лекарств, следит за состоянием здоровья пациентов. Он – ответствен перед ними, как перед своей семьей, перед женой, даже более внимателен к их нуждам, так как родные могут простить огрех или забывчивость, но платные больные – никогда. Одно или два-три грубых слова, не говоря об ошибках или неправильном диагнозе, – и прощай практика, к которой он стремился. Раздражительное отношение Миши к себе она объясняла исключительно его тяжелым болезненным состоянием, она помнила, как нежен и щедр он был к ней, глаза его сияли от любви. Все это должно вернуться рано или поздно, надо только дождаться, чтобы Миша стал прежним. Она сделала все, чтобы он мог работать.

Татьяна Николаевна вспоминает: «Когда мы весною 17-го года уезжали из Саратова, отец дал мне ящик столового серебра – мое приданое. Мы и в этот раз не хотели брать его, тащить, но отец настоял – пригодится. Теперь я решила его продать… Мы купили все необходимое для приема больных. Я помогала Михаилу во время приема – держала за руки больных, когда он впрыскивал им неосальварсан. Кипятила воду… Горничной в доме уже не было. Обед готовили сами – по очереди. После

обеда – груда тарелок. Как наступает моя очередь мыть, Ваня надевает фартук: «Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только мы потом с тобою в кино сходим, хорошо?» И с Михаилом ходили в кино – даже при петлюровцах ходили все равно. Раз шли – пули свистели под ногами, а шли».

Михаил в заботах преодолевал заболевание, и Тася отходила от переживаний. Она помнила высказывание известного врача, с которым она тогда советовалась, что наркомания неизлечима и от нее вылечиваются единицы, и это бывает чудо. Тася внутренне гордилась собою, что этот единичный случай произошел при ее участии.

В доме Булгаковых снова собиралась молодежь. Шутили. Пели. Николай Леонидович Гладыревский как старый друг семьи помогал Булгакову принимать больных. Бывал в доме и его брат – Юрий. «Пел «Эпиталаму», ухаживал за Варей, – вспоминал Николай Гладыревский, – они пропадали где-то вместе с Михаилом, у них были какие-то общие дела, думаю, что дамские… Но я ничего об этом не знал, и никто не знал…» Николай ошибается. Тася была в курсе их «общих дел», но заранее дала себе зарок не упрекать Михаила за его похождения – боялась погубить отношения с мужем, она просто решила подождать, когда они восстановятся полностью.

Татьяна Николаевна помнит, что «когда Михаил вел прием, мы с ним (Юрием) часто болтали в соседней комнате, смеялись. Михаил выходил, спрашивал подозрительно: «Что вы тут делаете?» А мы смеялись еще больше… Пели, играли на гитаре… Михаил аккомпанировал и дирижировал даже… В это время у нас жил Судзиловский – такой потешный. У него все из рук падало, говорил невпопад. Лариосик на него похож».

Поскольку Татьяна Николаевна заговорила об одном из героев пьесы «Дни Турбиных» – Лариосике, роли, моментально сделавшей популярным в Москве артиста МХАТа Михаила Яншина, то уместно будет заметить, что в трудные для Михаила Афанасьевича времена Яншин, завидев его на улице, переходил на другую сторону, чем очень раздражал драматурга, принесшего ему широкую известность.

Вероятно, Тася преувеличивала, говоря о возвращении былых отношений с Михаилом. Она его любила беззаветно, еще больше, как больного ребенка, которого выходила. Возможно, есть преувеличение и в том, как описывала дочь Вариного мужа – Ирина Леонидовна Карум – мнение своего отца об отношениях Михаила с женой: «Он (отец) очень жалел тетю Тасю, к которой М. А. относился высокомерно, с постоянной иронией и как к обслуживающему персоналу…» Учитывая натянутые отношения

между Булгаковым и Карумом, следует считать эти слова лишь частично правдивыми, но не обращать на них внимания нельзя. Татьяна Николаевна рассказывала, как в 1919 году Михаил опоздал на Пасху к заутрене, прошатавшись где-то, и сказал матери, жившей отдельно от детей: «Ну, меня за тебя Бог накажет». Он частенько потом это повторял. И чаще всего – в адрес Таси. Кстати, Карум, в каких-то своих чертах, станет прообразом Тальберга в «Белой гвардии», как и многие другие люди и родные, окружавшие молодого Булгакова. Казалось, и особенно внешне, что жизнь семьи на Андреевском спуске, чем-то напоминавшем Тасе саратовский спуск к Волге, называемый взводом, но более живописном и благоустроенном, потекла ровно и не без благоденствия. И в это время на семью Таси посыпались несчастья. Отец ее собрался в Саратове выйти на пенсию, он уже отслужил двадцать пять лет, но руководство не хотело терять опытного аккуратнейшего работника, и его упросили остаться – перевели в Москву. Мать Таси с Володей остались в Саратове. В это время выяснилось, что отношения Евгении Викторовны с Николаем Николаевичем разладились – оказывается, у него была любимая женщина и связь с нею зашла так далеко, что он собрался уйти из семьи. Узнав об этом, Евгения Викторовна с Володей поспешили в Москву. Произошел скандал, и сердце отца не выдержало. Тася потом думала, что, возможно, мать сама подтолкнула мужа к измене. Напрасно она запрещала ему участвовать в благотворительных концертах, тем более – стать артистом. Человеку нужна в жизни отдушина. Напряженная канцелярская работа и привела Николая Николаевича к разрыву с семьей. Он сделал блестящую карьеру в Казенной палате, но был артистичен по натуре, душа его изнывала от казенщины. Запрет свой Евгения Викторовна обосновывала тем, что в театральных кругах у обаятельного мужа могут появиться поклонницы, а нашлась женщина и вне театра, но, наверное, душою созвучная его артистичной натуре. Говорят, что на похоронах она, стоя возле гроба, буквально заходилась в рыданиях, а Евгения Викторовна, хотя и в траурном одеянии, но осталась дома и молилась за упокой души мужа.

Евгения Викторовна после смерти мужа бросила квартиру в Саратове, забрала все вещи и уехала с Володей к дочке Соне в Петроград. Высокая и красивая сестра Таси Соня, в свое время бежавшая из семьи с неизвестным офицером, бросила своего военного и с помощью другого поклонника выехала в Петроград, где поступила в театральное училище. Познакомилась там с актером Александринского театра Вертышевым и вышла за него замуж. Там, в Петрограде, Володя устроился в военное училище.

В одно из воскресений он пошел на базар и не вернулся. Поиски его оказались тщетными. А вскоре от сыпного тифа умер Николай – последний брат Таси. Успел проститься с матерью. Евгения Викторовна осталась с Вертышевым и Соней, ездила с ними на гастроли, помогала Вертышеву в гримерской работе. По сути, Тася осталась без родных. Михаил сочувствовал ей, но особой теплоты не проявил.

Тася, глотая слезы, как-то у него спросила:

– Ты помнишь, как играл с папой в шахматы?

– Помню, – отозвался Миша, – он средне играл, я ему иногда проигрывал, чтобы не расстраивать.

– А он тебя очень любил. Цепь подарил, столовое серебро, а мама – золотой браслет. Они хотели, чтобы мы жили хорошо, в достатке.

– Хорошие люди, – согласился Михаил, но даже не подошел к плачущей жене, не утешил ее.

Тася стала чаще задумываться о таком сложнейшем чувстве, как любовь. Не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Вроде бы ругань между влюбленными – последнее дело, а может, и нет. Отойдут люди, освободятся от накопившихся претензий и обид и снова мирно живут. Тася удивлялась, почему всю жизнь нельзя прожить в любви и согласии. Ведь еще совсем недавно Михаил, узнав, что его встреча с Тасей переносится, хотел застрелиться. Она поверила в его любовь, безмерную, как тогда говорили – до гроба. И любовь отца с матерью казалась Тасе вечной. И тут Тася ошиблась. Не хотелось бы брать пример с Сони – бежала из дому, потом кто-то покровительствовал ей, но в конце концов устроила жизнь и ею довольна. «Все решает судьба, и она у каждого своя, – подумала Тася, – я Мишина жена и останусь ею, что бы с ним ни случилось. Страшнее того, что пережила с Мишей, уже не должно быть. А сейчас в доме Булгаковых становится веселее, почти как в те годы, когда я впервые появилась там».

Тася весьма наивно полагала, что никто в жизни не причинит ей зла, лишь потому, что она сама его никому не причиняла. Постоянно открывала дверь незнакомым больным, не спрашивая, кто идет, и у нее с шеи могли сорвать золотую цепь, подаренную отцом. Людям, прошедшим Вторую мировую войну, странно сейчас принимать слова Татьяны Николаевны, что при немцах порядок в Киеве был идеальный. Продукты были любые. И модницы одевались шикарно. У Таси не было каких-либо политических предубеждений. Турбин в «Белой гвардии» говорит Малышеву: «Я – монархист», но это не значит, что взгляды Булгакова совпадали с мыслями одного из героев повести. Михаил был суеверен, часто спрашивал, даже по

незначительному поводу: «Клянешься смертью?!» Тася вздрагивала от этих слов, ей казалось, что она всегда говорила и говорит правду, кроме тех случаев, когда шло лечение. Зачем ей, даже по пустякам, обманывать любимого мужа? И требование от нее такой страшной клятвы обижало, а иногда пугало. Она думала, что какие-то люди часто подводили Мишу в жизни, поэтому он требует от всех клятвенного подтверждения своих слов. Но она здесь при чем? Неужели он в чем-то обманывал ее и теперь не верит ей сам? Наверное, все его суеверия есть не что иное, как побочные рецидивы перенесенной им страшной болезни. И у нее наблюдается смещение понятий, наверное, тоже от немыслимых переживаний. Кому-то она сказала, что мама была дамой-патронессой небольшого госпиталя, а на самом деле – города, госпиталь она только организовала, и еще Тася забыла, что любила играть в винт… Но когда забываешь о мелочах, можешь не вспомнить о главном и важном. А вот случай, позднее описанный в «Белой гвардии». Михаил рассказывал о нем Тасе, что, впрочем, делал редко, не желая то, что еще не увидело бумагу, произносить вслух. Но потрясенный увиденным, Михаил в этом случае не удержался, рассказал жене. В «Белой гвардии» этот эпизод выглядел так: «В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным, в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, только ухал… «А, жидовская морда! – исступленно кричал пан куренной. – К штабелям его, на расстрел!»

В глазах Михаила было столько беды и разочарования, что, окончив чтение, он тяжело вздохнул:

– Человек ни за что убивает человека. Иногда мне кажется, что самое страшное на земле чудовище – это человек. Он может быть умным, гуманным, благородным, но если дает волю своим звериным инстинктам, то может превратиться в чудовище.

Тася поведала Михаилу, как они с матерью в Саратове спасли от погрома еврейку-гимназистку, напомнила ему суд над Бейлисом, на защиту которого, независимо от национальности, встали честные люди.

– Всех не спасешь, – вздохнул Михаил, – твердых, принципиальных людей немного. Сегодня он честный человек, а завтра – большевик! А послезавтра, если будут угрожать его жизни, станет под знамена Петлюры. На честных людях должен держаться мир, но как заметил еще Эразм Роттердамский: «Иногда побеждает не лучшая часть человечества, а бóльшая».

Неожиданно глаза Михаила холодно заблестели, что бывало с ним в период болезни. Тася испугалась и поспешила перевести разговор на другую тему, как-то развеселить мужа, и рассказала случай о том, как она с его сестрами ходила по селам, обменивала старые вещи на крупу.

– Одна из покупательниц мне говорит: «Я о це хочу», – и показывает на золотую браслетку. Мы даже оторопели от неожиданности и не знали – смеяться или нет. Потом на обратном пути хохотали до упада, вспоминая эту женщину и ее слова: «Я о це хочу!»

– Губа не дура, – заметил Михаил, но не прекратил раздумий.

Тася, чтобы не мешать ему, тихо вышла из комнаты. Он даже не заметил этого, погруженный в свои мысли. Его должны были мобилизовать, врачом, в военное время издается приказ, и изволь ему подчиняться. В Киеве часто менялась власть, и, наверное, Михаил думал о том, как избежать очередной мобилизации, объявленной новоиспеченными руководителями Украины. Он не был монархистом, но считал, что власть для него существует одна, та, при которой он и его родители получили специальность, работу, при которой он и Тася закончили гимназии, он стал врачом; этой власти он подчинится беспрекословно. Он взял в руки газету с заметкой об организации Добровольческой армии – на последней странице газеты «Последние вести» в отделе «Хроника» 14 декабря 1918 года привели приказ генерала Деникина о подчинении ему всех войск на территории России и мобилизации всех офицеров. 15 ноября утренняя киевская газета «Последние известия» в статье «Вчерашний день» сообщала: «На улицах обращало на себя внимание необычное передвижение небольших отрядов, среди которых преобладали офицеры добровольческих частей». События развертывались с ужасающей быстротой, со сменой декораций и кровопролитием.

Татьяна Николаевна вспоминает об очередном захвате города Петлюрой, после того, как гетман бежал с немцами: «…Михаил вернулся на извозчике, сказал, что петлюровцы уже вошли в город. А ребята – Коля и Ваня – остались в гимназии. Мы все их ждали, а они к петлюровцам попали в ловушку».

Соседка Булгаковых по Андреевскому спуску рассказывает: «Часовня была против гастронома нынешнего – туда отнесли офицеров убитых… Около Андреевского спуска была небольшая церковь, там тоже масса трупов… И на улицах лежали».

19 декабря во всех церквах Киева с утра звучали колокола. Днем приехала Директория: «Винниченко, Петлюра, Швец, Андриевский… Всюду национальные флаги, всюду народ… Слышится почти исключительно украинская речь…» И потом в

«Белой гвардии» Булгаков донесет до нас голоса из тех ныне далеких времен, голоса двух прапоров, за которыми шагали, «мирно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно». «Я на ваший мови не розмовляю». «Тримай их! Офицеры, офицеры, офицеры… Я их бачив в погонах!»

Дочь соседа Булгаковых потом вспоминала: «Как-то у Булгаковых были гости; вдруг слышим, поют: «Боже, царя храни…» А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал: «Михаил, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка: «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!» А вообще-то Николай был у них самый тактичный…»

Несмотря на смену властей, город не казался сильно разгромленным. И при немцах, и при белых, и при красных мусор убирался. Кто был ничем, еще не стал всем. Свалок не было. Летом работали кафе, рестораны. Особенно много появилось польских кафе. Пел Вертинский. Уводил от мирских забот.

При Петлюре было страшнее, чем при немцах. Начались погромы. Татьяна Николаевна вспоминает, что «при красных на улице совсем было пусто, все по домам сидели, никто не показывался. Потом уже потихонечку вылезать стали. Облавы устраивали, чтобы на работу шли, но у меня было удостоверение о туберкулезе (Мишенька постарался), потом и другие удостоверения, освобождающие от работ, появились у людей. По вечерам ходили в кино».

Татьяна Николаевна утверждает, что интеллигенция в основном ждала белых. Генерала Бредова, гордо восседавшего на белом коне, встретили хлебом-солью. Обстановка была торжественная. Вернулась законная власть.

Тася рассказывала Михаилу об Александре Федоровиче Керенском, какой это был культурный, образованный человек, как старался в России привить демократию. Частную собственность считал неприкосновенной. Издал указ о постепенном переходе земли к крестьянам. Антон Иванович Деникин позже распорядился, чтобы крестьяне отдавали владельцам земли одну пятую урожая. Это было справедливо.

А брать в свои руки чужую землю незаконно. Потом у Ивана Алексеевича Бунина в эссе «Окаянные дни» появилась отличная фраза о том, что Ленин в Петрограде поселился в особняке Кшесинской, который ему никогда не принадлежал. Земли свои многие помещики заложили в банки и даже перезаложили. Нельзя было рушить банковскую систему. А Ленин заманивал народ свободой, бесплатной раздачей землицы, обещал передать

рабочим фабрики и заводы… Александр Федорович, юрист по профессии, разумеется, на такое пойти не смел, тем более обманывать народ. Тасе казалось, что одна из его ошибок заключалась в том, что в июле 1917 года, когда большевистские ячейки во многих городах самоликвидировались, не внимали своему «заграничному» вождю, Керенский не запретил партию большевиков, считал, что она должна, как и любая другая партия, присутствовать в Учредительном собрании, а до него – во Временном правительстве, за что и поплатился. Поспешил уравнять солдат в правах с офицерами, в светских взаимоотношениях, а русское офицерство не было готово относиться к бывшим своим вестовым как к равным им людям. Объявил «Заем свободы», но он провалился. Генерал Юденич, приближаясь к Петрограду, отдавал земли и усадьбы бывшим помещикам. Крестьяне смекнули, что тут свободой не пахнет. И в закон Керенского не вникли. Даже стали постреливать в спины белых. А его правление было умным и на удивление демократичным, не хуже, чем в самых цивилизованных странах. Спасенный им от законного ареста Ленин как предатель России, получивший от немцев деньги на ее расшатывание, был им спасен как друг детства из Симбирска, а потом предан им и осыпан громкими и подлыми оскорблениями. Ленин чувствовал, что Керенский понимает его планы – захватить мир при помощи мировой пролетарской революции.

И тут я замечу, как автор книги, что Керенский ненавидел любой тоталитарный режим и прямо говорил, что Гитлер хочет утвердить за Германией мировое господство «на основе расы, а Ленин и Сталин – на основе класса».

Татьяна Николаевна подтверждает некоторые из этих мыслей: «…Боялись Петлюру. И страшно боялись большевиков тем паче. Но когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты… Спрашивали, кто у кого работал… (Наученные опытом Февральской революции, белые опасались большевиков как чумы. – *В. С.*) Когда красные во второй раз пришли, их уже не так ненавидели. Белые пытали допросами, Петлюра чуть свет гнал людей на работу. Люди ходили сонные как мухи. И еще все подделывались под украинцев».

– Неужели я был в таком состоянии, что пропустил правление Керенского?! – Михаил обхватил голову руками и задумался.

– Неудивительно, газет не было, – тактично успокоила его Тася.

– А ты откуда узнала?!

– Я… я… Ты думаешь, я ветреная, политикой не интересуюсь.

Мне соседи рассказывали, даже некоторые больные…

– А, понимаю, – смягчился Миша и затем рассердился на себя – наверное, за то, что целый слой жизни упустил из-за своей болезни.

Тасю удивляло и даже раздражало, что он никогда не показывает ей даже малого из того, что тогда писал, вроде не доверял ее вкусам, литературным взглядам или стеснялся, считая свои тогдашние произведения далекими от совершенства. Но она – его друг и жена, она никогда не высмеяла бы их, какими бы неважными они ни были. Даже плохие похвалила бы. Лучше писать как угодно плохо, чем возвращаться к опиуму или тянуться к выпивке. Михаил врач и понимает, что и то и другое для него губительно, но он человек, со своими сильными сторонами и слабостями. Слабости поддаться легче. Быть всю жизнь сильным, волевым, целеустремленным – удел единиц. Тася, видя Михаила за письменным столом, все чаще и чаще ловила себя на мысли о его высоком предназначении. Может, оно обяжет его быть сильным, хотя бы в рамках этого предназначения. Она даже не знала, как была права тогда. И это неудивительно. Они были молодые и неопытные, хотя немало уже пережили, но детскость, наивность еще не исчезли из их душ…

В 1919 году, когда в Киев пришли белые, Булгаков получил бумагу о мобилизации на фронт в качестве врача. Тася провожала его на вокзале и по глупости или для того, чтобы он ее помнил, для ревности, попросила разрешения сходить в кафе, которое пользовалось в Киеве не самой приличной репутацией. Михаил обиделся: «Я на фронт ухожу, а ей, видите ли, кафе понадобилось! Какая ты легкомысленная!»

Потом, перед отходом поезда, они целовались, и Михаил буквально впивался губами в ее губы. Ей это было приятно. Значит, он по-прежнему любит ее и даже ревнует. И вдруг у Таси стало печально и тревожно на душе. Миша уезжает на фронт. Даже когда он болел, а это было ужасно, она знала, что он живой, что он рядом с нею, а теперь он уезжал на войну, в самую страшную неизвестность. И еще жалела, что разлетелась из своего гнезда прекрасная жизнерадостная семья, и не по своей доброй воле, а по злой судьбе. Николка и Ваня ушли к белым и пока не дали о себе весточку.

Дальнейшую жизнь Тася плохо себе представляла. Единственным светлым пятном был ее Миша. Она – жена военного врача, и на возвращение к прежнему укладу жизни, к земству, надеяться не приходилось.

– Но не может же война продолжаться вечно? – в отчаянии спросила Тася.

– Что значит – вечно? – удивился Миша. – Ты спрашиваешь, когда она закончится, в каком году? Этого, по-моему, не знает даже Бог. Может, виднее генералу Деникину? Или твоему любимому Александру Федоровичу Керенскому? Сомневаюсь… Он сейчас где-то на юге, кажется, у генерала Краснова. Наше офицерство научилось сражаться с чужестранными врагами, а как получится со своим народом… Посмотрим… Ты меня жди, Тася!

Глава четвертая Кавказские и другие мотивы

Удивительно, что в такой дружнейшей семье, как Булгаковы, где дети – разумеется, помимо любимого брата – относились к Тасе с уважением и нежностью, особенно Надя и Ваня, холодность, если не сказать суровость, к ней сохранилась у Варвары Михайловны. Тому причиной была изначальная неприязнь к невестке из инспекторской чиновничьей среды. Возможно, Варвара Михайловна прочила в жены своему любимому и талантливому сыну более подходящую подругу. Ведь есть матери, которые непреклонно считают, что их сын достоин лучшей спутницы в жизни, чем та, что он избирает, и все старания Таси, не только верностью и любовью, но и силой духа вытащившей Михаила из тяжелейшего и почти неизлечимого заболевания, не смягчили сердце Варвары Михайловны. В Киеве молодые снимали комнату недалеко от булгаковской квартиры, а к родителям ходили на обеды, Тася своим присутствием не докучала свекрови, но снискать ее любви, даже теплого отношения, не смогла. Между женщинами, особенно между свекровью и невесткой, такое случается. Единственное, в чем можно обвинить Тасю, так это в расточительстве, особенно в первые месяцы семейной жизни, но не она, а Михаил нанимал пролетку или такси при каждом удобном случае, желая сделать приятное молодой и красивой жене. Возможно, неудовольствие Варвары Михайловны Тасей складывалось из мелочей. Например, Тася привыкла к тому, что в доме всегда была прислуга. Это сейчас можно только предполагать, но первоначальное решение Варвары Михайловны не женить Михаила на Тасе, еще перед венчанием высказанное ей, не изменило их отношения даже в нелегкие годы, которые обычно сплачивают семьи. А положение в Киеве, не видевшем за свою историю столь быстрых смен властей и количества убийств, когда человеческая жизнь не стоила ничего, кроме выпущенной пули или удара штыком, усложнялось. Но все же любовь Таси к сыну Варвара Михайловна признаеть в письме к дочери Надежде: «У меня обедают Миша с Тасей, которая вернулась еще 1 октября, не будучи в силах вынести дольше разлуку с Мишей» (18 октября 1915 года). Позже Надя записывает: «Татьяна Николаевна пережила с М. А. все трудности вступления в самостоятельную жизнь, годы империалистической войны (работа в Красном Кресте. – *В. С.*), затем скитания, жизнь в с. Никольском (в 40 км от г. Сычевки Смоленской губернии) и

Вязьме, переезды, материальные недостатки, каторжную работу в начале литературной деятельности…»

Михаил Афанасьевич высоко оценивал помощь жены. В письме к матери от 12 ноября 1922 года из Москвы в Киев он пишет: «Таськина помощь для меня не поддается учету…»

Хотя Михаил Афанасьевич закончил Киевский университет с дипломом детского врача, столкнувшись в Смоленской губернии с невероятным распространением сифилиса, он решает менять медицинскую специальность и открывает в Киеве частный кабинет врача-венеролога. И снова рядом с ним помогающая ему при лечении больных Тася. Татьяна Николаевна вспоминает: «Когда осенью 1919 г. пришла повестка от белых – он нигде не служил, занимался практикой. Ему дали френч, шинель…»

Очень характерно и точно о положении в Киеве тех лет пишет Илья Эренбург в своей знаменитой книге «Люди, годы, жизнь»: «…Никто не знал, кто кого будет завтра расстреливать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать, а какие постараться вручить простофиле». И нет сомнения, что виденные в Киеве многочисленные и, по глубокому разумению, не вынужденные обороной убийства, объясняемые борьбой за власть, потрясли юную душу Михаила и позднее отразились без всяких сантиментов.

История менялась так быстро, что на самом деле то, что вчера казалось незыблемым на века, очень скоро превращалось во время одномоментно прошедшее. В газете «Киевлянин» передовая статья вещала: «В настоящее время исход борьбы Добровольческой армии с большевиками решен: большевистская сила окончательно сломлена, бандиты Ленина и Троцкого более не в состоянии оказывать Добровольческой армии мало-мальски серьезного сопротивления, а руководимым А. И. Деникиным армиям… остается только преодолевать пространство и налаживать тыл и гражданское управление в стране».

Журналист газеты Василевский – Не-Буква, бывшей жене которого Любови Евгеньевне Белозерской предстоит оказать немалое и не самое благотворное влияние на судьбу Михаила и Таси, сообщает, что «регистрация офицеров, чиновников и врачей у Киевской комендатуры продолжается… Ежедневно записываются не менее ста человек…» Видимо, в эту регистрацию попал Михаил, а Тася, дружившая в саратовской гимназии с еврейкой Мейерович, доброй и отзывчивой девушкой, разделявшей ее взгляды на жизнь, такой же, как и она, любительницей театра, с ужасом наблюдает, что недалеко от Бессарабской площади, где жили евреи, деникинцы устраивали дикие погромы. «Каждую ночь слышались исступленные крики,

плач, били в металлические вещи, ведра, тазы – подлинный шабаш ведьм. По утрам вся Бессарабская площадь была покрыта пухом, перьями, ломаной посудой и другими атрибутами человеческого боя». Именно после таких погромов покинул Киев великий еврейский писатель Шолом-Алейхем, увидев утром из окна подвала, где он прятался с семьей, землю, «как снегом покрытую пухом из вспоротых еврейских перин». В России пока оставалась живущая под Одессой его дочь, выросшая позднее свое чадо – ныне известную американскую писательницу Бэл Кауфман, автора популярной у нас книги и киноповести «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Очевидец тех событий оставил дневник, из которого явствует, что «большинство временных властей, приходя в Киев, занималось мародерством, спекуляцией и грабежом населения». И вот когда, по мнению Михаила и большинства киевлян, в городе установилась, и надолго, крепкая и нерушимая власть Добровольии, Булгаков как врач направляется на регистрационный пункт, собирающий офицеров на войну, где он увидит новые и многочисленные смерти и постарается спасти от гибели раненых. Но большевистские лидеры, и среди них Николай Щорс, впоследствии ставший комиссаром Киева, были иного мнения о судьбе города и Украины, сделанных совдеповскими. Но разве можно было тогда разобраться в происходящих событиях, предугадать их окончательную судьбу, хотя бы на несколько десятков лет вперед? И Булгаков следует на мобилизационный пункт не только по повестке, но и по велению сердца. Тасе снова провожать его в опасную дорогу. И поймем ее, молодую девушку, что тогда она ни в чем не перечила матери мужа, и потом, в преклонные годы, не восхваляла ее, но и не обмолвилась о ней ни одним недоброжелательным и обидным словом. Она не делает этого не только как женщина опытная, понимающая взаимоотношения людей, тем более семейные, но и зная, как Михаил обожал свою мать. Надя вспоминает, что в разговорах Миши с мамой «затрагивались житейские и весьма широкие мировоззренческие вопросы науки, искусства. Михаил любил поражать мать, как и других своих собеседников, парадоксальностью, оригинальностью суждений, едкой иронией…»

Несомненно, что в числе этих собеседников, и наиболее часто, бывала Тася. Михаил раскрывался ей как человек незаурядный, мыслящий, и весьма оригинально! Надя уверена в любви Таси к Мише, в неимоверном ее интересе к нему, она знает слова Таси и приводит их дословно так: «Она сказала, что будет там, где он, и не иначе». Миша, в свою очередь, счастлив с юной супругой в Никольском, он, даже будучи тяжелобольным, часто

ссорился с женою, пытающейся отучить его от вредной привычки, по воспоминаниям одного из лучших друзей детства и всей жизни скрипача Саши Гдешинского, «сетовал на кулацкую черствую натуру туземных жителей (в Никольском. – *В. С.),* которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже «полфунта масла, когда заболела жена…»

При каких обстоятельствах стала рваться нить их любви, по крайней мере в первые годы соединявшая истинно и пылко любящие сердца, мы попытаемся предположить дальше, хотя до этих событий еще весьма далеко, и была ли нарушена связь их сердец, порассуждаем позднее, на основе фактов и реальных выводов. А пока Тася отправилась провожать мужа на фронт, на Кавказ.

В сердце Таси тревога за мужа. Забыты мучения и стрессы, испытанные ею во время болезни Михаила.

Человеческая память избирательна, она отсеивает малозначимые в жизни факты, но некоторые из них продолжают храниться в глубине сознания и неожиданно всплывают на поверхность. Одному из интервьюеров Татьяна Николаевна поведала, как они с Булгаковым боролись с обнаглевшими крысами, бросавшимися на них, травили их сулемой. И тут же она рассказывает момент из своей жизни, который забыть невозможно, говорит внешне спокойно, но с внутренним необычайным волнением, о чем свидетельствуют ее вспыхнувшие страдальческие глаза. Татьяна Николаевна вспоминает случай, когда братья Михаила – Коля и Ваня – выбили из его рук браунинг, которым он целился в нее. И вслед за этим немедленно оправдывает мужа – он пугал, убивать не собирался. Она любит Михаила, хотя со времени их женитьбы утекло немало разнохарактерных лет.

Тася боялась одурманенного наркотиком сознания мужа и не случайно называет это время в их жизни ужасным, страшным. Она мучилась и претерпела все невзгоды его болезни, она страдала, но любила его. Говорят, что любовь творит чудеса, и я этому верю. Тася провожала на фронт Гражданской войны исцеленного ею молодого врача Михаила Афанасьевича Булгакова.

«Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй», – писал Михаил Булгаков в начале двадцатых годов, писал, что пережил и думал, и только спустя более полувека, с вершины конца столетия, мы можем утверждать, что был тот год более страшен, чем велик, и неслыханно кровав.

Булгаков садится в поезд, направляющийся на Кавказ, и не

случайно. За несколько дней до отъезда в дом Булгаковых приносят записку от двоюродного брата Константина: «Николка жив, хотя и не совсем здоров. У него сыпной тиф. Кризис миновал. Поправляется. Лежит в пятигорском госпитале…»

С этого момента волнения о судьбе брата поселяются в семье Булгаковых, возникает мысль лично помочь ему. К тому же свои услуги в этом предлагает товарищ Константина, капитан Корецкий, принесший Булгакову записку от него.

Через неделю Михаил Афанасьевич, благодаря заботам капитана, получил предписание киевского коменданта, в котором говорилось, что «М. А. Булгаков, врач военного резерва, направляется для прохождения службы в город Пятигорск».

Еще неделя ушла на дорогу до Пятигорска, в лермонтовские места, для нас связанные с именем великого поэта, а для горцев – их исконные места проживания, и чем ближе приближался поезд к линии фронта, тем понятнее и рельефнее вырисовывались в сознании молодого врача стихи великого поэта: «Кавказ! Далекая страна! Жилище вольности простой. И ты несчастьями полна и окровавлена войной!»

Штаб Терского казачьего войска размещался в одном из лучших зданий Пятигорска – бывшей гостинице «Бристоль», кстати, сохранившейся до наших дней в почти первозданном виде, с прежними, не улучшенными номерами, с высокими лестницами, с большим, едва ли не доходящим до потолка зеркалом, расположенным в пролете второго этажа, со старой картиной в вестибюле, изображающей дуэль Лермонтова с Мартыновым, их секундантов, и подтверждающей покорение Кавказа Россией еще в давние времена.

В штабе Михаилу Афанасьевичу пообещали разыскать братьев, а самого направили в город Грозный, на должность начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка.

Здесь мы временно прервем повествование. И еще раз воздадим должное автору книги «Михаил Булгаков на берегах Терека», вышедшей в то время, когда произведения великого писателя мариновались в спецхране и ни лучший исследователь жизни Булгакова Мариэтта Омаровна Чудакова, ни Лидия Яновская, никто из других будущих булгаковедов не осмелились написать подобную гиреевской книгу. Да ее, кстати, в то время и не издали бы в Москве.

Книга Гиреева не во всем понравилась Татьяне Николаевне, о некоторых местах она отзывалась даже с гневом и возмущением, и порой ее замечания, особенно касающиеся быта, справедливы. Мне было бы совершенно непонятно столь явное неприятие этой книги, если бы… Если бы я не встретился в жизни с подобным

явлением. У нашей семьи было немало друзей – к примеру, известный экономист доктор наук Козлов, чью первую книгу выпустил отец, руководя «Гострудиздатом», еще перед началом войны, издал, несмотря на то, что старший брат Козлова был репрессирован. Врагов числом поболее отец заимел после того, как стал в 1939 году во главе Государственного издательства еврейской литературы «Дер Эмес» («Правда»). Некий Гофман регулярно писал клеветнические письма в ЦК. А потом отца осудили за издание якобы. Но с давних пор с нашей семьей дружила семья Александра Гурштейна, единственного критика еврейской литературы на языке идиш. Гурштейн геройски воевал, был не раз награжден, но не дождался Дня Победы. В 1968 году умер и мой отец, вернувшийся из лагеря в Коми АССР реабилитированным и страдающим болезнью Паркинсона. Живущая неподалеку от нас вдова Гурштейна Александра Васильевна часто заходила к моей маме и однажды принесла радостную весть: Театр на Таганке, сам Любимов ставит спектакль о войне, и одна из его новелл будет посвящена Александру Гурштейну. Но после премьеры пьесы вдова героя новеллы вернулась обескураженной и недовольно сказала маме, что они все переврали, что она говорила об этом с Любимовым, но он не хочет ничего менять, и пересказала свой разговор с художественным руководителем театра.

Вдова Гурштейна . Вы исказили образ моего мужа!

Любимов (растерянно). В чем именно? Новелла взята из жизни. Мне говорил автор, которому я полностью доверяю. Эпизод, где ваш муж вынес с поля боя тяжело раненного воина-татарина, бывшего едва ли не вдвое тяжелее его, был на самом деле!

Вдова Гурштейна . Я не об этом. Такой факт был и описан в газете.

Любимов (вскинув брови). Так в чем же погрешили мы против правды?!

Вдова Гурштейна . В очень многом. Гурштейн не носил очков, а в спектакле они даже сверкают под прожекторами. Я уже не говорю о том, что, кроме роста и веса, артист ничем не похож на моего мужа.

Любимов . Извините…

Вдова Гурштейна . Не могу. Герой этой новеллы не Гурштейн!

Любимов . Почему? Я вас не понимаю!

Вдова Гурштейна . Александр говорил совершенно другим языком. Любил шутить. А ваш герой? Хмурый донельзя. Он добрый человек, каким и был мой муж, но в остальном – в привычках, в манере поведения – это совершенно не Александр! Я

требую снятия новеллы с репертуара! Вы же не станете полностью переделывать ее?!

Любимов (ошеломленно). Переписывать?! Заново ставить?! Принятый Министерством культуры спектакль?! Не чей-нибудь, а нашего театра! Объявленный в репертуаре еще два месяца назад? Вы шутите, разыгрываете меня?

Вдова Гурштейна . Я говорю совершенно серьезно! Я требую…

Любимов (смягчаясь через силу). Но ведь мы не ушли от реального события, мы показали подвиг вашего мужа!

Вдова Гурштейна . Налицо подвиг, но не моего мужа. Искажены, и сильно, черты его характера. Есть слова, целые фразы, которые он никогда бы не произнес.

Любимов (бледнея). Извините, но я не могу с вами согласиться.

После этого разговора вдова Гурштейна обратилась с жалобой к тогдашнему министру культуры Екатерине Алексеевне Фурцевой. Министр пошла на компромисс, договорившись с Любимовым о замене фамилии героя оспариваемой новеллы.

Мне казалось, что наша знакомая в данном случае не права, придирается к мелочам, и в результате новелла о подвиге ее мужа теперь посвящена выдуманному автором человеку. Лишь потом я понял, что, безмерно любя мужа, к тому же мужа, потерянного на войне, она в своей памяти хранит каждое его слово, каждый жест, действие, и все это стало для нее святым, не подлежащим изменению.

Однажды знаменитому писателю Юрию Олеше заказали – а в СССР литзаказ был делом обычным – написать повесть об оккупированном немцами Киеве, разумеется, во время Великой Отечественной войны. Олеша отказался, сославшись на незнание киевского быта. К примеру, была ли горячая вода в водопроводе или нет. Татьяна Николаевна в одном из интервью делает более или менее справедливый упрек Гирееву. Он пишет о том, как в 1918 году Булгаковы возвращались через Москву в Киев: «Наконец в самом конце снежного и холодного февраля супруги Булгаковы вернулись, измученные долгой и трудной ездой в теплушках, в родной город». Татьяна Николаевна в ответ негодует: «Ничего подобного. Мы прекрасно ехали, в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне. И питались прилично. Это Гирееву так казалось: раз время такое тревожное, то и ехали плохо».

Сложна работа автора, пишущего на исторические темы. Он может ошибиться в подробностях быта, но не имеет нрава искажать суть событий и отношения героев, нарушать историческую правду. Здесь ошибка, коли существует, столь

незначительна, что и упрек Татьяны Николаевны Гирееву, по сути, малозначимый, но это еще прелюдия к общей оценке книги и причины отъезда Михаила Булгакова на Кавказ. Вот что по этому поводу заявила интервьюеру Татьяна Николаевна: «Да что вы! Брехня какая. Во-первых, никакого Корецкого не было, во-вторых, Николай в это время преспокойно жил в Киеве». А перед этим в книге Гиреева есть такой эпизод. Пишет Костя: «Дорогие мои, милая Варвара Михайловна! Случайная встреча с капитаном Корецким, который в ближайшие дни направляется в Екатеринослав, подает мне надежду, что эта записка найдет вас. Николка жив, хотя и не совсем здоров. У него сыпной тиф. Кризис миновал. Поправляется. Лежит в пятигорском госпитале. Я имею возможность его навещать. Бог даст, все обойдется, канут в Лету наши страдания, и мы вновь соберемся за круглым столом… Да хранит вас Бог. Остальное расскажет капитан. Очень тороплюсь. Всегда ваш Константин Булгаков». Далее Гиреев пишет, что «Варвара Михайловна дрожащей рукой ищет носовой платок». Далее, по Гирееву, собирается семейный совет Булгаковых. Варвара Михайловна обращается к сыну: «После смерти отца ты, Миша, старший мужчина в доме. Ответственность за всех на тебе. Спаси брата. Я знаю, ты его любишь… А он один в чужом краю… Я знаю, долго так не проживу. Вижу – вокруг безумие. Его там убьют. Спаси Колю…»

Далее Гиреев приводит сценку, которой в реальности могло не быть и которая явно раздражала Татьяну Николаевну: «Тут вскочила Татьяна Николаевна и стала истерично кричать: «Я с тобой, Миша! Одного не отпущу… Эти месяцы в Саратове… Пойми меня. Нет, не могу опять без тебя! Мы будем вместе!.. Жена я тебе или так… кукла, о которой вспоминают для забавы…»

Соглашусь с Татьяной Николаевной, что истеричность никогда не была свойственна ей – благовоспитанной и выдержанной женщине, и «кукла, о которой вспоминают для забавы», – слова не из ее лексикона, но для Гиреева она лишь одна из героинь повести, а для нее Михаил Булгаков – первая, настоящая и единственная любовь. И отсюда идут ее слова о Гирееве: «Это все ерунда, что он пишет. Николай был дома, Михаил ехал по мобилизации. А насчет Варвары Михайловны – не было случая, чтобы у нее хоть одна слезинка упала».

И все-таки в главном Гиреев несомненно достиг успеха – он не погрешил в целом против истинного подвижнического направления творчества гениального писателя. И он обладал фактами из кавказских архивов, газет и журналов того времени, в чем лично убедился автор, и читая книгу и находя новые

материалы. А для Татьяны Николаевны, боготворившей любимого человека, каждая неверная мелочь в книге Гиреева казалась святотатством, в лучшем случае «брехней» или «ерундой».

Мы привыкли к литературным и трафаретным примерам классической любви типа Наташи Ростовой, Ромео и Джульетты, Фархада и Ширин, Тахира и Зухры… Но в реальной жизни за две тысячи лет было столько примеров более сильной, чистой и животворной любви, на описание которых писателями всего мира ушло бы не меньше времени. Один поэт-песенник пришел в издательство и, сдав книгу стихов о любви, сказал, что закрыл эту тему, то есть все, что можно написать о любви, он уже сделал. Это не анекдот, но наука некоторым современным людям, не имеющим таланта любить, не способным пережить трудности характера любимого или любимой, столь бесчувственным, что порою разлуку с любовью переносят незаметно, без душевных затрат, в то время как для настоящего влюбленного она может стоить жизни. Если бы не ободряющие, полные искренних чувств письма Таси к Мише, то он мог действительно застрелиться, как отвергнутый его сестрой Борис Богданов.

Я знаю десятки случаев глубокой любви, счастливой и трагедийной, зачастую одновременно, одну из страниц такого чувства пытаюсь раскрыть в этом романе. Когда Михаил Булгаков выехал на Кавказ, он все-таки через неделю-две вызвал Тасю. Враждебные отношения, возникавшие в те дни, когда она отучала его от наркотика, не прошли бесследно, но любовь, истинная, глубокая, хотя не столь нежная, как прежде, все-таки не покинула их, а обращение, более подходящее для молодой подруги, – «Таська» – все-таки звучало панибратски, иногда по-свойски, дружелюбно.

Я думаю, что, несмотря на осложнения в семейной жизни, Миша и Тася были в юные годы идеальной парой и достаточно хорошо понимали это, особенно – Тася.

Предоставим ей слово о том, как она добиралась до Владикавказа: «Мы ехали через Екатеринослав. Общий вагон, и жрать нечего. Территорию после Екатеринослава занимал Махно, и вот мы все (пассажиры. – *В. С.*) гадали: проскочим или не проскочим? Ничего, проскочили». Началась Гражданская война, и стала рушиться экономика. Об этом предупреждал большевиков Александр Федорович Керенский. Он издал постановление «О постепенном переходе земли в пользование крестьян». Он считал частную собственность незыблемым атрибутом демократического государства. Более 60 процентов земли было заложено помещиками в банки. Сразу передать ее крестьянам без разрушения банковской системы было невозможно, но и без этого

революция привела к хаосу в стране. Вполне понятны слова Таси и «жрать нечего», и о том, что чудом миновали Махно. Дворянская благовоспитанность, стойкость и любовь к Михаилу помогали Тасе преодолевать невиданные прежде трудности. Далеко не все люди выдерживали их, тем более слабый пол. Весьма показательна жизнь актрисы, описанная очень известным до революции писателем Юрием Львовичем Слезкиным, с которым вскоре судьба надолго сведет Михаила. Актриса, родом из Киева, тоже ехала во Владикавказ, и из ее слов вырисовывается реальная обстановка того времени: «Я бежала из Москвы от холода и голода… Я уехала в Киев к гетману, пережила сто перемен, дрожала от выстрелов, от страха потерять свой гардероб, остаться голодной и без работы. Я принимала подарки от гетманцев, немцев, от кого угодно, я на всех смотрела собачьими преданными глазами, доставая мандаты, удостоверения, каждый раз другие, – и ненавидела, Боже, как их всех ненавидела и боялась…» Мысли приходили одна тревожнее другой: «Почему ее замешали в этот ужас, в эту кашу, где все только грязь, вши, насилие, кровь?.. Она уехала с добровольцами, она бежала с ними из Киева в Ростов, из Ростова в Екатеринодар, оттуда сюда… Почему с ними, а не с другими?.. Да только потому, что они говорили приличным языком, на них была привычная форма. Потому, что с ними были французы и англичане, в силу и рыцарство которых она верила. И она тащилась месяцами в теплушках, греясь у железных печурок, готовя чай пьяным офицерам, с которых слетел весь их лоск и изящество, как только они увидели, что пядь за пядью из-под их ног уходит территория «единой и неделимой». Она пьянствовала вместе с ними, чтобы не чувствовать холода, паразитов, отвращения к себе».

И вновь, не прибегая к Гирееву, описываем со слов Таси ее приезд во Владикавказ: «Приезжаю во Владикавказ. Михаил меня встретил…» Увидев ее, он побледнел и внутренне содрогнулся. Перед ним стояла Тася, чрезмерно уставшая, осунувшаяся. Она прильнула головой к его плечу.

– Миша… – со слезой в голосе произнесла она, и он понял, что́ ей пришлось пережить по пути до Владикавказа. – Неужели я с тобой, Миша?

– Раздевайся! – неожиданно приказал он. Она удивилась:

– Я еле двигаюсь. Голодна до смерти…

– Подожди. Сначала помоешься.

– Где кран?

– Не помоешься, а искупаешься! Я сейчас наберу в бочку горячей воды. Зная, что ты приедешь, вскипятил заранее! Здесь

вместо ванны купаются в бочке или большом деревянном чане.

Тася погрузилась в горячую воду и сразу почувствовала, как оживает ее тело. Она пригнулась и опустила в воду голову.

– Миша, какое счастье! И ты – рядом!

Она подумала, что действительно, когда Миша не грустил и не задумывался глубоко, уносясь мыслями куда-то очень далеко, а был весел, жизнерадостен, когда шутил и выдавал парадоксальные экспромты, это чудо, это счастье. Где был Миша, там неизменно царили смех и остроумие. Все поражались его начитанности, знанию литературы, музыки, в чем Тася мало уступала ему. Зато в умении придумывать сюжеты он был вне конкуренции. Экспромтом сочинял небольшие рассказы, которые у всех вызывали безумный смех.

– Миша, ты приготовил мне сюрприз, о котором я только могла мечтать… Горячая вода! – воскликнула Тася.

– Я твой должник! Вечный! – улыбнулся он загадочно. – Мне неудобно вспоминать… Я – мужчина, должен обеспечивать любимую. Но ведь медицинский кабинет в Киеве мы оборудовали, продав твое столовое серебро на двенадцать персон. Я противился. Очень. Но ты сказала, что нас двое и мы обойдемся обыкновенной посудой. К тому же серебро в любой момент могут реквизировать. Ты была права. А помнишь ширму, которую мы установили в кабинете, чтобы один посетитель не мог видеть другого? Венерические болезни… Ты знаешь, Тася, у меня лечились муж и жена. Оба были заражены, но разными заболеваниями. Я открываю тебе врачебную тайну. И смех и грех. Каждый из супругов умолял меня сделать так, чтобы о его заболевании не знала дражайшая половина. Они приходили почти в одно и то же время. Он заходит ко мне с одной стороны ширмы, а она в это время покидает кабинет с другой стороны прикрытия, а у меня каждый раз замирало сердце, что они каким-нибудь образом столкнутся, ну хотя бы на входе в квартиру. Пронесло. Приходила даже генеральша. Молодая, стройная брюнетка со жгучим взглядом. Прихватила самое вульгарное заболевание от денщика мужа, а от меня требовала: «Вылечите меня побыстрее и без плохих последствий. Я – генеральша». – «А как же денщик? – спрашивал я у нее. – Его тоже надо бы вылечить. Приведите его ко мне, – настаивал я. – Ведь он может быть опасен для других женщин». В ответ она выпучила глаза: «Пусть о нем заботится муж. Ведь он денщик не мой, а генерала!»

Тася улыбнулась, силы возвращались к ней.

– Ты молодеешь прямо на глазах! – радостно воскликнул Михаил. – Я подолью горячей воды, чтобы скинуть тебе еще несколько лет!

– Пусть будет пятнадцать! – воскликнула Тася. – Мы с тобою познакомились, когда мне шел пятнадцатый год.

– Сию минуту, моя госпожа! – сказал Миша, добавляя в бочку воду, подогретую на печке. – А четырнадцать лет не желаете?

– Хватит и пятнадцати! – улыбнулась Тася. – Не хочется выходить из воды! Я чувствую прилив крови к каждой жилке!

– Я тебя ждал полторы недели, подожду еще полторы минуты! – с серьезным видом проговорил Миша.

И тут ее неодолимо потянуло к нему. Она привстала из бочки.

– Какая ты у меня красивая, Таська! – искренне и восторженно произнес он, сам вытирая ее полотенцем, а она обвила его шею руками:

– Миша, родной! Это я твоя должница. Каждый день с тобою – для меня праздник. Честное слово! – страстно прошептала она.

А когда они лежали в кровати, он вдруг стал ей рассказывать о Владикавказе, об очень симпатичном городке.

– Ты его увидишь. Он не может не нравиться. Александровский проспект, названный в честь Александра Первого, это Невский или Крещатик в миниатюре. И вокруг цепь гор. Кажется, что одна гора переходит в другую. И этот сказочный городок на моих глазах теряет свое обаяние.

– Почему?

– Загрязняется. И болезней хватает разных. Сыпной тиф. Даже есть случаи холеры.

– Не может быть, – тихо произнесла Тася и вдруг почувствовала, что глаза ее слипаются от усталости. – Извини, Миша, но я сейчас усну.

– Спи, дорогая, ты так измучилась в дороге.

А она перед тем как предаться сну, подумала, что на самом деле настрадалась достаточно, борясь с Мишей против наркотика. Они победили его. Она, или он, или вместе. Какое это сейчас имеет значение, когда Миша прежний – остроумный и жизнерадостный. Но он, в отличие от нее, много рассуждает о жизни и заставляет тем самым ее вникать в происходящие события.

– Милый Миша! – из последних сил улыбнулась она, и сон сковал ее тело и сознание.

Через полвека Татьяна Николаевна будет по-доброму вспоминать этот город: «Маленький городишко, но красиво. Горы так видны… Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят… Народу много – военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры – все раскупили. Музыка играет. Весело было. Я еще обратила

внимание, Михаилу говорю: «Что это всюду бисквит продают?» А он: «Ты что? Это кукурузный хлеб!» А я за бисквит приняла, тоже желтый такой. Миша начал работать в госпитале. Я пришла туда поесть – голодная как черт приехала, съела две или три котлеты. Так он: «Ты меня конфузишь». Еще он сказал, что начал печататься там, писать». Значительно позже Булгаков подумает: «Буду ли я проклинать тот миг, когда решил посвятить себя литературе? Нет, потому что она моя жизнь».

Владикавказцы уже стали ощущать нехватку некоторых товаров, но город их был маленьким оазисом благоденствия на фоне страны с пустыми прилавками. Тася с ужасом читала статьи в местной газете «Кавказ», где уже печатался Михаил под псевдонимом, состоящим из первых букв его имени и фамилии – М. Б. Смутное время. Неизвестно, что будет завтра, как потом воспримут его статьи. На этом псевдониме настаивала Тася. Михаил поначалу возражал ей, но затем согласился не из страха за будущее, а потому, что считал свои первые опусы далекими от совершенства и маленькими по размеру, всего лишь фельетончиками. Тася была послана ему судьбой, она еще раз спасет Михаила от самого худшего. Только сотрудники редакции знали, что под инициалами М. Б. скрывается начинающий литератор, в настоящем военный врач Михаил Булгаков.

В ежедневной беспартийной литературно-общественной газете «Кавказ» (Александровский проспект, дом Худякова) собрались бежавшие из больших городов от большевиков сильные, профессиональные публицисты. На Тасю большое впечатление произвела статья журналиста Петроева, тоже, видимо, писавшего под псевдонимом, придав фамилии Петров осетинское звучание. Тася зачитывала Михаилу наиболее интересные фрагменты из статьи Петроева о разрухах, опубликованной 27 февраля 1920 года. «Есть разрухи от стихийных бедствий, как, например, землетрясения в Мессине и Гори, заслуживающие самого искреннего сочувствия. Но вот рухнул многоэтажный дом в большом городе. Строитель-спекулянт скупил старый трухлявый кирпич, а достойный проходимца хозяина архитектор выводит шесть этажей со стенами в два-полтора кирпича. В итоге дом валится, давит и калечит сотни людей. Не разруха это, а преступление, вызывающее гнев и подлежащее суровой каре.

То же и со всякого рода государственными разрухами уголовного характера, происходящими от явно злой воли, от нечестной наживы на бедствиях страны или от преступной небрежности, от бездеятельности, от беспробудного пьянства или непроходимой глупости, бараньего упрямства стоящих у

ответственного дела.

С самого начала германской войны у нас начались разрухи, и все они объяснялись войною. В Германии война заставила всех подтянуться – война требовала двойного, тройного напряжения сил.

У нас же война стала оправданием всех наших разгильдяйств. Начали опаздывать поезда. Сначала на часы, потом на сутки, на недели. Стали пропадать. С амуницией, с медикаментами. И всему оправдание. Что поделаешь? Война! Разруха!

По-русски такие пропажи называются воровством – наглым и безнаказанным, за что по военному времени впору наказывать виновных не отставкою, а волчьим паспортом и гнать со службы с клеймом «К государственной и общественной работе не пригоден». В Ростове, в середине декабря, мне с горькой растерянностью жаловался представитель американского миллиардера Рокфеллера:

– Заказали нам теплую одежду для вашей армии только сейчас, и придет она лишь к весне.

Опять разруха? Нечего на разруху пенять, коль рожа крива. Когда кони бешено мчат тяжелый экипаж под уклон, по краю кручи, то не распускают ни рук, ни губ, ни вожжей, а напряженно натягивают».

– Правда, здорово написано, хлестко? – заметила Тася.

– Хлестко, – задумчиво вымолвил Михаил, – но… но будет еще хуже. Я очень страшусь большевиков.

Тася подошла к окну и присела на подоконник:

– Я так счастлива, что добралась сюда, Миша. Не хотелось бы говорить о плохом. Но ты, наверное, не знаешь. Просто пропустил. Ты в то время мало интересовался тем, что происходило вокруг нас. Даже не читал те редкие газеты, что доходили до Никольского. И потом – в Вязьме. При Временном правительстве в стране ощущалось праздничное настроение. А когда отменили смертную казнь, то в больших городах прошли военные парады. Россия шла к цивилизации. Уверенно. И Александр Федорович мог арестовать кумира большевиков – Ленина. Министр юстиции Переверзев привез ему из Берлина документы, подтверждающие получение Лениным денег от немцев на расшатывание страны. Ленина и его сторонников должны были судить. Кстати, к июлю семнадцатого их осталось немного. Многие партийные ячейки самораспустились. Страна демократизировалась. Не на словах, а на деле. Незачем было ждать коммунистической манны. Но Александр Федорович был на удивление мягким человеком. Отличный юрист, начинал присяжным поверенным, уж он-то должен был соблюсти

законность.

Тася спустилась с подоконника и нервно прошлась по комнате.

– Мне обо всем этом рассказывал папа. Мама его корила за неверность ей, ругала на чем свет стоит, а я не осуждаю. Они с мамой и раньше ссорились. И вообще я считаю, что вмешиваться в личную жизнь, даже родных, нельзя. Поэтому я не оправдываю отца, не знаю чувств, испытываемых им к женщине, с которой он стал жить, к маме в этот период, и не осуждаю. И если ты когда-нибудь уйдешь от меня, Миша, то я буду об этом только сожалеть.

– Тасечка, о чем ты говоришь?! – встрепенулся Михаил. – У нас чудесные отношения! Я люблю тебя!

– Сейчас любишь, – вздохнула Тася, – а вообще-то ты не слушай меня, дуреху. Погрустить захотелось. Пожалеть себя. Это у меня бывает. Еще с гимназической поры. Когда на меня обращал внимание не тот мальчик, что нравился мне. Недавно было, а я уже забыла, как его звали. Столько событий произошло, что память отсеивает случайные и мелкие. А вот поступок Керенского не выходит у меня из головы. Вместо того чтобы немедленно арестовать Ленина как предателя родины, Александр Федорович позвонил своему другу Каринскому, зная, что тот в доверительных отношениях с Бонч-Бруевичем, одним из главных большевиков. Бонч-Бруевич немедленно перезвонил Ленину, рассказывая об опасности, что грозит ему, что сведения пришли сверху, абсолютно точны, и Ленин через два часа бежал с Зиновьевым в сторону Финляндии. Чем объяснить этот поступок Керенского? Хотел спасти земляка из Симбирска? Папа говорил, что без большевиков было бы не полным коалиционное правительство. Так считал Александр Федорович.

– А с большевиками, ты думаешь, оно будет коалиционным? Очень сомневаюсь. Их обуревает фанатическая идея – сделать весь мир коммунистическим. Значит, свою страну – в первую очередь, – сказал Михаил и развернул газету «Донские ведомости». – Теперь, как ты видишь, я читаю газеты. И весьма регулярно. Послушай, что пишут из Новочеркасска. «В городе Петровске по распоряжению начальника Войска Донского преданы военно-полевому суду 39 коммунистов. Среди подсудимых 8 женщин, в том числе еврейка Роза Финкельштейн, она же товарищ Нюра, она же тетя Груня, она же Елена Ивановна.

Роза Финкельштейн служила связью между Петровским ЦИКом и засевшими в горах повстанцами-большевиками».

– Восемь женщин, а среди них почему-то выделили еврейку? – искренне удивилась Тася. – У меня в Саратове была подруга, Мейерович, она не пошла бы за большевиками.

– Она – совсем другое дело. Ей было разрешено учиться в гимназии, она вошла в процент, и семья жила в большом культурном городе. А те евреи, что из местечек, из черты оседлости, им большевики пообещали равные права с нами, и многие из них поддержат революцию, и рьяно. Вот увидишь! И больше не грусти без причины, Тася. Договорились?

– Не буду, – улыбнулась Тася, – я сама не знаю, почему взгрустнулось. К тому же в такой счастливый день! – воскликнула она, а про себя подумала, что из-за того омрачилась, что боится потерять свое счастье, вспомнила, как Михаил заезжал к помещице в Никольском, вдруг приревновала его к ней, хотя Никольское навсегда ушло из их жизни и оттуда до Владикавказа вряд ли сейчас доберешься. Впрочем, она бы к Мише постаралась добраться хоть с края света.

Во владикавказском госпитале Михаил служил недолго, всего несколько дней, и, как вспоминает Татьяна Николаевна, «его направили в Грозный, в перевязочный отряд. В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату. И вот надо ехать в перевязочный отряд, смотреть. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь… И винтовку ему дают, Булгакову, потому что надо полями кукурузными ехать, а в кукурузе ингуши прятались и могли напасть».

Здесь я прерву монолог героини, чтобы объяснить неприязнь ингушей к белым, к добровольцам. Это отголоски покорения царскими войсками Кавказа. На землях ингушей специально размещались казацкие станицы, с чем не хотели мириться ингуши, и до сих пор этот конфликт полностью не исчерпан.

Далее Татьяна Николаевна приводит интервьюеру еще более интересный факт, не придавая ему значения, она продолжает монолог так:

«…Приехали, ничего. Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну, Михаил говорит: «Будешь сидеть в Грозном». И вот я сидела, ждала его. Думала – убьют или не убьют? Какое-то время так продолжалось, а потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Оттуда нас отправили в Беслан».

Татьяна Николаевна как бы между прочим сообщает, что «наши попалили там аулы», не уточняя – какие. Можно подумать, что ингушские, но это были чеченские. И конечно, молодая девушка, попавшая из благополучного мира семейного уюта в смертельную мясорубку войны, постоянно переживающая за жизнь мужа, изо дня в день надеется, что он вернется домой, для

нее не имело значения, какие аулы попалили, наверное, тех горцев, что стреляли по ним из кукурузы. Она вспоминает об этом с успокоением: «…и все это быстро кончилось». Нет, не кончилось, продолжается до сих пор, и не видно конца конфликту в Чечне. О тех боях позже напишет Михаил, и очень образно: «Чеченцы как черти дерутся с «белыми» чертями» («Необыкновенные приключения доктора»). И далее: «Утро. Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали на кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал… Взяли Чечен-аул… Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья… Пухом полны земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем по аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси. У нас на стоянке идет лукуллов пир. Пятнадцать кур бултыхнули в котел. Золотистый, жирный бульон – объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев… Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом – не жги аулов».

Булгакову, разумеется, было ясно, а мне нет – почему добровольцы, отступая к Военно-Грузинской дороге от наседающих на них красноармейцев, воюют с чеченцами, насмерть ставшими на их пути. Для того чтобы пройти каждый аул, деникинцам приходится уничтожать его, сжигать дотла. Трижды приезжая во Владикавказ, я пытался отыскать ответ на этот вопрос у местных историков, но безуспешно. А между тем державшаяся на штыках дружба народов рухнула, вспыхнули с новой силой приглушенные обиды, боль в сердцах чеченцев от послевоенной депортации их народа, стремление к шариатской самостоятельности. Забыт завет Булгакова: «Не жги аулов», и вновь ночи в Грозном, Шали, Усть-Мартане, Ведено не менее страшны и опасны, чем те, что описывал Булгаков многие годы назад: «Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади… Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные… А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит. Пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут… И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, раскаленные ненавистью, с воем, визгом – и аминь! Тьфу, черт возьми!»

Тася, конечно, не знала подробностей всего того, что

пришлось пережить Михаилу в Чечне. Он и потом говорил ей, что пишет, но не показывал, не читал, что́ именно. Может быть, оценивал свою первую прозу как далеко не совершенную, или, что неправильно, думал, будто Тася не в состоянии правильно оценить его произведения, она – недавно сошедшая с гимназической скамьи, привыкшая к комфорту, к общению с чиновничьим миром отца – не сможет сопереживать его героям. Думаю, что в этом Булгаков ошибался. Обладающая природной задушевностью, отзывчивым характером, достаточно хлебнувшая лиха, Тася наверняка могла бы и понять его, и даже что-то подсказать, сделать правильное замечание. Как говорится, со стороны виднее, тем более со стороны человека, любящего тебя. Показывая Тасе свои произведения, Михаил в разговорах и даже спорах о них чувствовал бы духовную близость с женой, а не отходил бы постепенно от нее, от общения, сближающего людей. Исключение – «Необыкновенные приключения доктора». Читать их Тасе, вероятно, и не следовало – она и так каждодневно мучилась – «убьют или не убьют», не зная об истинных опасностях, грозивших мужу. И сегодня злободневны строчки булгаковской прозы о Чечне:

«– Поручиться нельзя, – философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, – заскочуть с хлангу. Бывало…

Ах, типун на язык! «С хлангу!» Господи Боже мой! Что же это такое!.. «Поручиться нельзя!» Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле…

Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски».

О том, что рассказ Булгакова очень точно воспроизводит события тех лет, свидетельствует историк М. А. Абазов в статье, изданной в Грозном в 1966 году: «Это было в двадцатых числах октября. На рассвете командование белогвардейских частей предложило жителям Чечен-аула ультиматум – сложить оружие. Ультиматум был отвергнут, и начался бой, который длился два дня. Артиллерия осыпала село и его защитников градом снарядов, горели дома, стога сена».

Чечен-аул был разгромлен и сожжен добровольцами 15–16 октября, Шали – 19 октября 1919 года. Среди других частей в боях участвовал и 3-й Терский конный полк – часть Булгакова. Даже в описаниях этого сражения писатель удивительно точен: кизлярско-гребенские казаки стоят на левом фланге, гусары – на правом, у костра греется казак Терского 3-го конного полка, аул

обстреливают три батареи кубанской пехоты. Писатель упоминает Узун-Хаджи, находящегося в Чечен-ауле. Это реальное историческое лицо – предводитель националистического движения, считавший себя вторым Шамилем. С 1917 года место дислокации его воинов – Ведено, в прошлом известная труднодоступная врагу крепость. Расположена в шестидесяти верстах от Грозного и горными дорогами соединена с шумливой речкой Хулхулой. Узун-Хаджи жив, здоров, слухи о его смерти от сыпного тифа неверны и преследовали цель сбить с толку добровольцев, мол, Узун-Хаджи умер, среди его приверженцев царит растерянность, дело его кончено.

Меня продолжает волновать вопрос, чем вызвана вражда чеченцев с деникинцами. Секрет их конфликта открывают архивы. Деникин считал Чечню частью России и находил, что там должен править царский суд, царский, и никакой иной. Тогда к Узун-Хаджи пришли большевики. Их встретил старик лет за семьдесят с большим лишком, маленького роста, сухой, с козлиной бородкой. Строгий законник и усердный молельщик. Ни душою, ни мыслями не большевик. Голова его занята Кораном и шариатом. Большевики сказали ему, что им надо обессилить войска Деникина, а до Кавказа им якобы нет никакого дела, они уважают мусульманство и Коран и вполне допускают, что горцы могут жить и управлять по шариату. Поверив большевикам, Узун-Хаджи заключает с ними соглашение, но не как большевик, а как союзник в общей борьбе с деникинскими частями. Большевикам нужны власть Советов и национализация частной собственности. Узун-Хаджи добивается одного – шариата. Не понимая несовместимости своих и большевистских требований, он бросает против Добровольческой армии лучших воинов, большинство их гибнет в неравной борьбе.

Тася старается хоть в малой степени быть в курсе Мишиных литературных дел, задумок, мыслей. Она понимает, что ее интерес к его работе еще больше сблизит их. Она специально рассказала ему о Керенском, об отношениях Ленина с немцами, но он, видимо, не обратил особого внимания на ее слова, на умозаключения, относясь к ним, как к лепету еще недавней классной дамы в реальном училище, а не к мыслям молодой неглупой женщины, которую жизнь поневоле, но заставила разбираться в политике. Иначе он заметил бы, что немцы превратили Кавказ в свой игорный притон. Они говорят горцам: «Придут русские войска, и наступит конец вашему самоопределению, самоуправлению, культуре». С деньгами из немецкого котелка, с военными инструкторами являются немецкие агенты в Дагестан и Чечню, призывая: «Мусульмане,

Россия ослаблена. Пришла ваша пора взяться за оружие, сделать Кавказ своим. У вас своя вера, свои обычаи, свои нравы. Если нужны вам деньги, оружие, патроны, даже военные руководители – вы их получите». Немцы действуют в одной связке с большевиками, но если последние ведут деловые переговоры с Узун-Хаджи, то немцы окружили его почетом, осыпали лестью: «Ты водрузишь на горах высокое знамя пророка. Твое имя станет великим. Тебя будут славить легенды, твое имя станут прославлять в песнях». Большевики и немцы удачно действуют в связке. Добровольцам ставят преграды, задержки, и гибнут целые аулы, доверчивым простодушным горцам лишь достаются горькие слезы.

В 1920 году умирает Узун-Хаджи, не дожив до разоблачения обмана большевиков, вскоре запретивших суд шариата, начавших рушить мечети, отправлять на Соловки мулл. Но остались жить сторонники, последователи Узун-Хаджи, в их сердцах загорается пламя мести за сородичей, обманутых большевиками и сложивших головы в боях с деникинцами. Об этой истории то ли не знают, то ли не хотят знать наши политики. Тем более в Чечне растет секта узунхаджистов и с каждым годом, особенно после депортации чеченского народа, набирает силу. А после распада СССР обстановка в Чечне накаляется вплоть до военных действий. Забыта поговорка о том, что любой худой мир лучше войны. Забыто предупреждение писателя: «Не жгите аулов! Все это кончится скверно».

В записной книжке Михаила Афанасьевича Булгакова есть такие строчки: «В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом – вовсе не обязательно быть идиотом… Довольно!»

Ниже приписано: «Проклятие войнам отныне и навеки!»

Однажды он признался Тасе:

– Я восхищаюсь тобою! Ты живешь в тяжелейших условиях и даже не жалуешься на нечеловеческую жизнь!

– Я живу, как и ты, – не задумываясь, ответила Тася, – я твоя жена и должна переносить с тобою радости и горести, и мы не виноваты, что бед и несчастий нам пока выпало больше, чем радостей. Но я поражаюсь тебе, – набравшись смелости, решила постоять за себя Тася, – ты едва ли не каждый день рискуешь жизнью, занят работой по горло, а находишь время для развлечений.

Миша впервые услышал от Таси намек на измену и покраснел. Потом ушел в свои мысли, и Тасе показалось, что она

осталась одна, Миша рядом, а его не существует; она испугалась настолько, что готова была закричать, чтобы вернуть его к жизни, но, к счастью, он поднял голову и хмуро вымолвил:

– Не переживай, Таська. Когда не знаешь, как завтра сложится твоя судьба и вообще проснешься ли ты, то хочешь успеть испытать в ненормальной и опасной жизни то, что в иное время даже не привлекло бы твое внимание. Очень трудно в наше время остаться человеком верным и нравственно чистым, как это удается тебе. Ты мой ангел, Тася, ангел-хранитель, – сказал он и крепко обнял жену за плечи, – не сердись на меня, я тяжело болел. Иногда у меня в сознании разыгрываются фантазии, о которых я не помышлял прежде. Может, это остаточное и своеобразное влияние опиума? И порою захлестывают страсти, но не так, как к тебе… Ты – моя единственная и настоящая любовь. Другой такой в моей жизни никогда не будет. А на мои страстишки не обращай внимания, как ты это прекрасно умеешь делать.

Тася хотела сказать, что это ей стоит больших душевных мук, но ничего не ответила, только низко опустила голову, чтобы Миша не увидел ее слез. Она и сейчас нашла в его словах утешение – он не стал оправдываться, не стал лгать, низко и мерзко. Он – незаурядный человек. С ним жить нелегко, а без него – невозможно, без его улыбки, остроумия, нежных объятий и жарких поцелуев. Иногда ей казалось, что они в любой день могут расстаться, но шли годы, а он по-прежнему привязан к ней. Уйдет она от него – он теперь не застрелится, только она никогда не уйдет. Миша – большой ребенок, может напроказить и заболеть так серьезно, что вылечить его сможет только единственный и по-настоящему любящий его человек. Это она – Тася. И от этих мыслей у нее потеплела душа, она стала увереннее в себе и сильнее. Она еще поможет ему, пусть для этого не будет поводов, но если станет нужно, она отдаст для его спасения все свои силы, умение, сообразительность и опыт, доставшийся ей так нелегко. Она старается реже глядеть в зеркало, обнаружив на лбу первую морщину.

Из Владикавказа их с Мишей направили в Беслан – большую узловую станцию. Там на путях, в тупике стояли пустые теплушки. Их поселили в одну из них. К счастью или нет, но пробыли там недолго. В то время нельзя было определить, где завтра будет лучше или хуже, быстро менялась военная ситуация. Белая гвардия огрызалась в ответ натиску большевиков, и порой удачно. Политая кровью Россия еще не полностью оказалась под кумачовым флагом – символом революции и победы в Гражданской войне.

Во Владикавказе Михаил стал работать в госпитале. Там поговаривали, что скоро придут красные, и некоторые врачи решили не рисковать своею судьбою и даже не жизнью, а просто достатком, зная, сколько у красных зарабатывает врач, к примеру военный, – столько же, сколько и солдат – военное довольствие, поэтому и уезжали по Военно-Грузинской дороге в Тифлис, а далее – в Батуми, где садились на корабли, направляющиеся в Турцию.

Татьяна Николаевна вспоминает зиму 1919 года: «Поселили нас очень плохо, недалеко от госпиталя в Слободке, холодная очень комната, рядом еще комната – большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили – громадное пустое здание деревянное, одноэтажное… В общем, неудобно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой – Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать…»

Я закрываю кавычки, чтобы не продолжать эту тему, но не потому, что боюсь бросить тень на великого писателя. Просто я описываю его таким, каким он был, его сильные стороны и слабости, впрочем, в отношении женского пола свойственные многим гениям прошлых лет и современности.

Миша по-прежнему не показывал Тасе написанное, а она, обиженная этим, не читала того, что выходило в печати. Однажды от отчаяния стала колоть дрова. Первый раз в жизни. Полено прыгало под ее неумелыми ударами, пока все-таки не раскалывалось надвое.

Михаил, увидев это, оторопел:

– Зачем ты рубишь?

– Тебе же некогда! – сдерживая волнение, вымолвила она.

К ее удивлению, Михаил покачал головой и направился к госпиталю. Он действительно много работал, но такого равнодушия она от него не ожидала, думала, что он вырвет из ее рук топор, наймет рубщика, но ничего подобного не произошло. Ей стали помогать сын генерала Гаврилова и денщик Миши Дмитрий Барышев, которого Булгаков послал в помощь. Тася уже приноровилась к колке дров, а денщик считал эту работу лишней для себя.

– Надо чего помочь, барыня? – спрашивает.

– Ничего не надо.

– Так я в кино пойду?

– Иди. А деньги у тебя есть? Нет? Вот тебе деньги. Иди!

Потеплело, и Тася стала чаще выходить из дома. Прежде больше ходила на Центральный рынок.

Иногда до рынка не добиралась, покупала продукты прямо с арбы, двигающейся к базару, что было дешевле.

В воскресенье, 1 марта, пошла в городской театр, где с удовольствием прослушала публичную лекцию европейски известной альпинистки Марии Петровны Преображенской, восходившей на вершину Казбека. Любовалась на экране двумя сотнями диапозитивов с красотами этой заоблачной страны. В вестибюле в перерыве лекции люди говорили о необычайном преображении Японии. Там, как писали газеты, словно по мановению волшебной палочки вдруг мощным ключом забили творческие силы народа. Варварские обычаи словно ветром сдуло. Техника сделала резкий скачок в своем развитии. Архаичные зачатки правления неожиданно вылились в строго последовательную систему государственности. Япония выросла из прежней экзотической островной страны в великую мировую державу. А мы, люди с незатраченной и неисчерпаемой энергией, имеющие у себя под ногами вечный укор природы в виде малоразрабатываемых бесконечных богатств недр и территории, не сумели подняться даже до уровня Японии, хотя и не обособлялись, как она, от Запада. Вывод ясен и прост. Трудно было пошевелить мозгами. Обременительно… Мы во всем привыкли полагаться не на себя, а на других. Вокруг нас из заграничных соболезнователей и благоприятелей всегда был какой-то заколдованный круг. А мы стояли в этом кругу задумчиво и грустно, и лишь время от времени жаловались наши дети: «Потише, дяденьки, голова кружится! Слишком много учебников! И слишком много задают на дом. Некогда даже погулять!» Кружилась у нас голова на протяжении сотен лет, кружится, кружится и теперь, когда большевики взяли нас за горло мертвой хваткой. Кто-то заметил: «Может, большевики все и выправят?!» – «Кто? Эти хамы?!»

Тут людей пригласили на продолжение лекции, и разговор прекратился. Вечером Тася хотела рассказать о нем Мише, но передумала – вдруг он все это знает или ему это неинтересно, но потом пожалела – любое культурное общение, тем более на спорную тему, вызвало бы у него поток эмоций и своих доводов, мог получиться интересный разговор.

Но неизвестное будущее, своеобразная жизнь на качелях, которые взлетают с живым человеком, а могут опуститься с мертвым, потому что, взлетая, как бы паря в пространстве, он мог сказать правду и за это быть подстреленным на лету, заставляют Мишу спросить у Таси совета, подписываться ли ему под статьей в газете «Кавказ» своей фамилией или взять псевдоним. Тася предлагает компромиссный вариант:

– Подпишись: М. Б. Тебя как литератора читатели еще не знают. И чего ни случись – прямого доказательства того, что

писал статью ты, не будет.

– А ты у меня умница, – впервые именно так похвалил Михаил Тасю, и лицо ее озарилось. Он еще никогда не признавал ее ума и сообразительности, видимо, думая, что молодым женщинам они не свойственны и не обязательны. Другое дело мама – «белая королева».

Статья называлась «На Красном Дону (рассказ нашего сотрудника)». «Вас интересует, как питаются советские подданные. В отношении питания все пользуются равноправием, голодают все, но в разной степени.

– О голоде можно говорить только тогда, – сказал т. Петерс, – только тогда, когда будут очищены голодными помойные ямы.

И это, товарищи, уже было в Москве. А до тех пор ни о каком голоде говорить не приходилось. Тем же, кто вздумал говорить, кроме голода, о холоде, тот же Петерс любезно разъяснил, что нормальной температурой, при которой можно работать в зданиях, являются минус четыре градуса. Единственно, в чем добились рабочие равноправия, – это в смысле ограбления их квартир. Тут уже поистине все равны, и не только в квартирах, но и на улицах – рабочих раздевали наравне с буржуями, руководствуясь не лишенной логики формулировкой: «Тебе не нужно, а мне, товарищ, на фронт идти!..» (Впервые опубликовано в газете «Кавказ» от 29 февраля 1920 года.)

– Теперь мы повязаны с тобою одной тайной, – загадочно произнес Михаил, – теперь ты знаешь, кто скрывается под инициалами М. Б.

– Ну и что, Миша? – удивленно заметила Тася. – Я уже забыла об этой тайне. И кому я могу о ней рассказать? Большевикам, если они придут? Я о тебе?! Никогда, Миша! И никому ни одного плохого слова о тебе не скажу!

– Я не сомневаюсь в этом, Тася. И почему-то вспомнил сегодня, как мы ехали с тобою в Киев за дипломом. Какие были радостные, возбужденные, сколько надежд возлагали на мою новую работу!

– И мы любили тогда друг друга, – грустно заметила Тася, – безоглядно, безумно, как пишут в любовных романах.

– Почему ты говоришь о нашей любви в прошедшем времени? – удивился Михаил.

– Потому что жизнь изменилась. Появились новые заботы. Неизвестно даже, что будет с нами завтра. Но, по-моему, такое чувство, как любовь, не исчезает ни в какие, даже самые страшные времена. В городе небывалое количество беженцев, в основном из военных и театрального мира, теплые дни, на улицах грязь, а в Александровском сквере продавали первые

подснежники и фиалки. Цветы продают влюбленным людям. Значит, они есть. А поэт Дмитрий Цензор поместил в вашей газете стихи о любви, как писали в дни нашей юности, когда мы ехали в Киев за твоим дипломом. Я тогда, наверное, расплакалась, читая их, а сейчас только поразилась им, и приятно, что поэт сохранил в своей душе светлое чувство любви, пусть даже отнюдь не счастливой. Послушай, Миша, они забавны, не более, но до прелести наивны: «Я вспомнил в минуты печали встречу в южном порту, женщину в пестрой шали, с розой во рту. Она была капризней прибоя, создана для ласк и измен. Эту женщину звали Зоя – мы называли ее Кармен. Я был молод, силен и строен, а может быть, и красив. Башмаки нам часто обоим омывал вечерний прилив. Я изведал немало страсти, но забыть не могу Кармен и неделю счастья на морском берегу. Не могу… В отчаянии пьяном я плакал навзрыд, когда с морским капитаном она уплыла в Порт-Саид».

– Очень нужные сейчас стихи, Тася. Они возвращают людей к общечеловеческим ценностям. За какое число газета?

– 9 марта 1920 года.

– Дай ее мне. Там должна быть статья Слезкина. Спасибо. Ты пропустила объявление о том, что создан Комитет обороны. Без пропуска хождение по городу разрешается до восьми вечера. Переписываются все граждане от восемнадцати до пятидесяти пяти лет.

Получим пропуска. А переписывать к нам придут, если успеют. Меня волнует статья Юрия Слезкина. Талантливейший, смелый писатель, а пишет сейчас обтекаемо: «Из хаоса создан мир, из хаоса вырастет и обновленная свободная Россия. Каждый человек более реально осознает свою индивидуальность. Осознавший себя многоликий русский народ впервые сознательно крикнул: «Мир и труд!» Россия не потеряла себя, а впервые осознала…» По-моему, он боится прихода большевиков больше, чем мы с тобою. Он – знаменитый писатель, у него жена в положении. Поэтому играет в местном театре. Слезкин и приехал сюда, чтобы быть рядом с женою. Даже, видимо, хотел отправиться с нею за рубеж, но не решился пускаться в неизвестность с беременной супругой. За такую статью большевики его хотя и не погладят по головке, поскольку в статье отсутствуют лозунги революции, но и не арестуют. Осторожный человек Юрий Львович. Я его не осуждаю. У него есть прекрасные повести. Помнишь «Ольгу Орг»?

– Конечно, – сказала Тася, – ее читала вся Россия. А сейчас ему впору позаботиться о жене и будущем ребенке.

– Ты права, Тася, хотя наша газета борется со всякими

паническими слухами и утверждает, что «положение фронта вполне устойчивое и твердое». Требует принять решительные меры для прекращения слухов и даже поместила маленький фельетон о паникерах. – Михаил разворачивает другой номер газеты: – «Некоторые господа, прибывшие к нам из дальних городов, передают всякие небылицы. Паникер – это человек, страдающий ожирением стыда и совести, атрофией мысли и самолюбия и гипертрофией страха…»

– Нет ли под этим фельетоном инициалов М. Б.? – таинственно спрашивает Тася.

– То, что написано… Какое это теперь имеет значение, дорогая? Жизнь продолжается! «На вечере актеров театра, – читает Михаил газету, – выступила актриса Л. Башкина. Перед четвертым действием г-жа Башкина, Юльский, Маргаритов, выйдя на рампу, с американского аукциона разыгрывали альбом с портретами и автографами персонажей труппы. Не прошло и четверти часа, как ставка от 20 р. возросла до 18 тыс. Особым успехом пользовалась пародия на любительские спектакли, где лица из великосветского общества, дилетанты в театральном деле, задумали поставить драму Л. Толстого «Власть тьмы». Особенно интересен был Маргаритов в роли великосветского пшюта, собирающегося сыграть Акима, но не знающего, что такое «крестьянские опорки».

– Представляю, как это было смешно! – засмеялась Тася.

Михаил вдруг посерьезнел:

– Смех во время чумы. Я рад, что есть люди, разделяющие мои мысли насчет прекращения Гражданской войны, но вражда между большевиками и Белой армией зашла слишком далеко. Я тебе прочитаю заметку из нашей газеты: «…В связи с военными неудачами Добровольческой армии со всех сторон начались ожесточенные нападки на цели, к которым стремится Добровольческая армия: Единая и неделимая Россия и примирение всех классов русского общества, в том числе и землевладельцев с земледельцами. Даже такое лицо, как генерал Мамонтов, на заседании Верховного круга объединенных казачьих войск Дона, Кубани и Терека выступил с осуждением этих целей. Но рано или поздно, изнемогая от борьбы и чувствуя, что скоро некому будет пользоваться богатствами, из-за которых идет борьба, люди захотят прекращения Гражданской войны». Люди… Кто думает о них?!. А ты почему улыбаешься, Тася? Ты не согласна со мною? Ведь ты знаешь мое отношение к войнам?!

– Знаю, – прильнула она к мужу, – я полностью согласна с тобою, а радуюсь, потому что ты мне рассказываешь об этом, делишься со мною своими мыслями. Мне кажется, что мы любим

друг друга, как прежде. Поэтому я улыбаюсь, хотя и в неподходящий момент, пусть жизнь сейчас голоднее и вообще хуже, чем тогда, но я счастлива… Понимаешь? – тихо, но страстно прошептала она, и Михаил ощутил на своей щеке теплую Тасину слезу.

– Я боюсь, Тася, за нас с тобой, когда думаю о ближайшем будущем. Гражданская война не закончится миром. Из Советской России сообщают, что большевики стараются заключить союз с умеренными революционерами. Обсуждается вопрос о расчистке чрезвычаек и предложение мира Колчаку и Деникину. Все это дикий вымысел. Цель его одна – ввести в заблуждение союзные державы. Я допускаю, что во враждующих сторонах есть здравомыслящие люди, не желающие видеть страну в крови междоусобицы, но они единичны, не они решат судьбу страны.

Михаил был прав. События развивались согласно непреклонной логике войны до победного конца.

Если бы он даже хотел вернуться к врачебной специальности, то не смог бы этого сделать. Город был переполнен врачами, бежавшими с юго-запада России. Газета пестрела их объявлениями: «Доктор медицины Э. М. Виклейн. Болезни уха, горла, рта, кожный сифилис. Адрес: Гимназическая ул., 25 (около театра)», «Зубной врач Нина Михайловна Читаева», «Зубоврачебные кабинет и лаборатория П. З. Перельштейна. Лечение и вставление зубов всех систем», «Доктор Д. Цаликов. Внутренние детские и женские болезни», «Доктор Р. А. Мачатели. Женские и кожно-венерические болезни», «Акушерка-фельдшерица Слезова-Чернявская»… Список объявлений изо дня в день растет. И вместе с тем уезжают из города коренные его жители: булочник Панасян мечтал выучить сына музыке. Как пек хлеб для народа, так и продолжал бы печь, если бы не боялся прихода большевиков. Исчез блестящий фотограф Китон. Имел свой фотопавильон в парке – городскую достопримечательность. Имел своих учеников. Бежали из города богачи Резаковы, оставив впопыхах брата Осю, сошедшего с ума от катаклизмов жизни. Бежали самые богатые люди в городе, владельцы шикарных особняков Юзбашевы… Поэтому владикавказцы не верили даже в победные сообщения газет о том, что «конный корпус Буденного схвачен с двух сторон: с севера – конным корпусом Павлова, а с юга – конной частью генерала Науменко. Идут решающие бои. Корпус Буденного весьма потрепан, люди устали и ослабели духом».

Главный редактор «Кавказской газеты» Федосеев в последнем номере сообщает, что помещение редакции занято добровольцами. Их положение с каждым днем ухудшается.

Большевики заявляют, что «полинявший генерал Деникин, еще недавно славший гордые уверенные телеграммы Грузии и Азербайджану, теперь слезно молит их правительства о пропуске своих войск через их границы».

Среда, 20 апреля 1920 года, сообщение из Тифлиса: «Если мы получим гарантии в том, что нас перестанут преследовать как контрреволюционеров, если нам дадут возможность физического существования на родине, то донская казачья демократия готова протянуть руку мира. В процессе двухлетней гражданской войны мы убедились, что на нашей крови строят благополучие иностранные «благодетели» нашей родины. В общих интересах России вернуть в Донскую область ушедшие оттуда силы, представляющие цвет казачества в физическом и нравственном отношении».

Ответ большевиков: «Прохвосты и слизняки. Молчите, голубчики. Не надейтесь по-пустому. Вы, вонзившие когти в тело своего народа, о котором теперь ласково поете, вы не дождетесь прощения. Цвет казачества – в рядах Красной Армии, под руководством Тухачевского, Уборевича, Жлобы – беспощадно уничтожит вас и ваших соратников».

Тася разволновалась, прочитав в одном из последних номеров «Кавказской газеты» рассказ ее сотрудника из серии «На Красном Дону», где автор с инициалами М. Б. рассказывает, что в совдеповских лазаретах не кормят и не лечат не успевших эвакуироваться добровольцев и те умирают в муках от голода и гниющих ран. Хотя лазареты, подчиненные Красному Кресту, обязаны лечить даже врагов.

В сердце Таси нарастает тревога, которую она не в силах ни унять, ни заглушить. Она однажды выпила лишнего, чтобы снять напряжение, но и это не помогло. «Придется нам с Мишей уезжать с его частью, – думает она, понимая, сколько боли испытает Михаил, оставляя на родине мать и сестер. Он пообещал матери как старший сын нести ответственность за благополучие семьи. – Где сейчас Ваня? А Николка? Варвара Михайловна случайно встретилась с ним в поезде для раненых, с больным, но шедшим на выздоровление. Пусть удача сопутствует им, любимой Мишиной сестре Наде, удивительно благородной девушке, у которой доброта и сострадание к людям поселены на лице и в глазах, пусть горечи войны обойдут всех родных стороной и как можно дальше от них».

Тасю пугала непримиримость враждующих, хотя и со стороны большевиков, а больше со стороны добровольцев раздавались разумные голоса о том, что «примирение классов неизбежно. Гражданская война прекратится тогда, когда борьба классов

уступит место согласию между классами, ибо при борьбе классов чувствующие себя обиженными прибегают к насилию и грабежам. По закону генерала Деникина по земельному вопросу помещичьи земли даже против желания собственников оставляются в пользовании крестьян, захвативших их во времена большевиков. Плата за них помещику не должна превышать одной пятой среднего урожая. Нельзя говорить о немедленной и безвозвратной передаче земли крестьянам как о решении земельного вопроса. Так поступали большевики. Однако они столкнулись с малой рентабельностью пошедших за ними лодырей и малоимущих крестьян, стали объединять их в коммуны, то есть восстанавливать своеобразные помещичьи хозяйства, но далекие по богатству и возможностям от прежних».

До Таси доходили совсем страшные сообщения: «Мобилизованные большевиками крестьяне штемпелюются особым красным клеймом на левой руке. Операция проводится в пять минут по способу механической татуировки. Аппарат изобретен неким Рагулой Лахоцким, который получил за него премию в 50 тыс. рублей. Клеймо представляет круг, в котором изображены те же знаки, что и на кокарде красноармейца. Цель клейма – помешать переходу мобилизованных к белым».

Миша сказал, что таким образом обычно поступали со скотом, чтобы отличить животных одного стада от другого.

– Ничего, – сказал он, – я врач, я никогда не убивал людей, но Белое движение еще не исчерпало себя. Я верю в генерала Мамонтова. Кстати, Бухарин признался в том, что Деникин представляет серьезную угрозу для Совдепии. Помощь Белой армии идет со всех сторон. Московские купцы ассигновали миллион рублей тому, кто при ликвидации советской власти первым войдет в Москву.

24 сентября 1919 года из Новороссийска был отправлен в Америку пароход Добровольческого флота «Владимир», груженный табаком и шерстью. В середине августа пароход благополучно вернулся в Новороссийск, доставив несколько сот тысяч снарядов, винтовок, обмундирование, паровозы, вагоны. В Америке полная неосведомленность о делах в России. Большинство американцев даже не знают, кто такие Деникин и Колчак. На пароходе находился митрополит Платон со специальной миссией от Деникина. Он был принят президентом Вильсоном, а затем выступал в сенате с речью о героической борьбе Добровольческой и казачьих армий с большевиками. Речь митрополита имела большой успех и послужила предметом дебатов в американской прессе. Платон поехал по стране и в своих речах отмечал крупную роль еврейства в развитии и

насаждении большевизма в России и говорил о растущем антисемитизме в белых кругах. Это вызвало в среде американского еврейства переполох. К Платону явилась делегация во главе с самыми богатыми евреями и спрашивала, что надо сделать, чтобы остановить волны антисемитизма в России. Митрополит ответил: «Прекратите поддерживать большевиков». Делегаты обещали подумать.

В юной головке Таси царило смятение. Слишком много мнений было у людей по одному и тому же вопросу, не во всем легко было разобраться. Главное – печатается Михаил. В субботу 15 февраля 1920 года начала выходить газета «Кавказ». В числе авторов были: Ю. Слезкин, Д. Цензор, Е. Венский, В. Амфитеатров, М. Булгаков. «Среди таких фамилий и мой Миша!» – восхищалась Тася. Она знала, что его опекает известный журналист Покровский – родственник по материнской линии. Булгаковеды подвергают сомнению существование этого Покровского. И совершенно зря. О нем пишет, и немало, Юрий Слезкин в повести «Столовая гора», к чему мы еще вернемся. Даже Татьяне Николаевне отказывает память, особенно в части разоблачений книги Девлета Гиреева. «Все, что пишет Гиреев, – ерунда. У Булгакова он на Кавказе тьму родственников нашел. Покровский какой-то… Письмо Покровского, как он Булгакова за границу выманивал…» Память – странное человеческое явление, особенно со временем оно выбрасывает из своей копилки людей ненужных или неприятных. В повести Слезкина Покровский специально приезжает за Булгаковым, чтобы вывезти его за границу, но одного, без Таси. Может, поэтому он исчез из ее памяти. А он существовал – реальный и известный в литературных кругах журналист, редактор «Кавказской газеты» Николай Николаевич Покровский. В газете «Кавказ» помещена его острая и глубокая публицистическая статья под названием «Отписки»: «На отписках строилась вся жизнь России – и общественно-политическая, и экономическая, и государственная. Отписывались и гоголевские Акакии Акакиевичи, и министры, и общественные деятели, и вожди партийных и политических групп».

Михаил ходит по городу в форме врача Добровольческой армии. И хотя красные все ближе и ближе подбираются к Владикавказу, он не теряет надежды на победу Белого движения. Впрочем, как мы знаем из письма его бывшей машинистки, Тамары Тонтовны Мальсаговой, он не расставался с этой формой и после прихода красных. Другой одежды у него не было, его знали как врача Доброволии. И это давало ему право говорить: «Я – врач, я никого не убивал».

«Генерал Мамонтов – надежда Белой гвардии. Он – высокого роста, худой, по-юношески подвижный и стройный, орлиный нос, пронизывающие черные глаза, красивые седины, большие усы. В минуты удовольствия любит покрутить их обеими ладонями. Не курит, не пьет спиртные напитки. Встает рано и до поздней ночи выслушивает доклады, читает телефонограммы. К нему идут по любым делам и находят помощь, защиту. В атаках – всегда впереди. Его несколько раз ранили, под ним убивали лошадь», – пишут о нем 25 августа 1919 года «Донские ведомости», выходящие в Новочеркасске, где расположен штаб генерала. Под портретом Мамонтова, сидящего на лихом коне, можно прочитать воззвание: «Во всех советских газетах и сообщениях беспрерывно повторяется о том, что конница генерала Мамонтова, случайно прорвавшая фронт, окружена советскими войсками и гибель ее – вопрос нескольких дней. Самый главный иуда – предатель (из семьи землевладельцев. – *В. С.*) Лейба Бронштейн (Троцкий) называет наш поход храбростью отчаяния и повторяет басни о стальном кольце советских войск, нас окружающих. Троцкий засыпает наши части прокламациями, где говорит, что казаков обманули и завели на гибель генералы и офицеры. Казаки слишком хорошо знают, кто их обманул, видят и слышат слезы и жалобы обманутого и обобранного населения, умирающего от голода. Довольно же вам, граждане, насильно взятые в Красную Армию, слушать подлую ложь предателей. Бросайте винтовки, топите их в реках и болотах, идите по домам, портите их телеграф и железные дороги. Идите с нами, разгоняйте ваши советы и комитеты, бейте комиссаров и коммунистов и не верьте их ложным сообщениям и обещаниям. Им пришла гибель, а не нам, и они погибнут!

Командующий войсками генерал-лейтенант Мамонтов».

Тася в замешательстве – все ближе и ближе к городу доносятся пальба орудий и взрывы. А Мамонтов продолжает свои победные реляции:

«Наши дела идут блестяще, без потерь для себя. Сам Троцкий еле выскочил из-под казаков, потеряв свой поезд и постоянного спутника – любимую собаку (в вагоне-ресторане поезда Троцкого в стаканах не успел еще остыть чай, сам он и его спутники успели скрыться в ближайшем лесу. – *В. С.*). Шлем привет, везем родным и друзьям богатые подарки, на украшение церквей – дорогие иконы. Ждем в свои ряды отставших по разным причинам, чтобы вихрем ворваться в Москву и выгнать оттуда врагов русского народа.

25 августа. Станция Грязи. Ген. Мамонтов».

Пришел домой взволнованный Михаил:

– Красные перешли Дон! Развивают наступление на Кущевку и Краснодар! Идут ожесточенные бои…

– И здесь уже слышно, – вздыхает Тася. Михаил растерян. Только началась литературная жизнь, к которой он стремился, и снова наступает неизвестность, к тому же смертельно опасная. Редакция готовит к отъезду свой автомобиль. Булгаков спрашивает у Слезкина:

– А как будет с подписчиками? Ведь внесли деньги около двух тысяч человек!

Слезкин смеется:

– Переживут. А может, драпанут вместе с нами. Я, правда, остаюсь. У меня жена должна рожать… А в общем-то, делать здесь нечего.

Миша взволнован настолько, что не знает, как начать с Тасей разговор об отъезде. Она догадывается о его мыслях.

– Ты забыл, Миша, что я закончила восьмилетнюю гимназию. И я помню изречение Эразма Роттердамского: «Иногда побеждает не лучшая часть человечества, а бóльшая!»

Глава пятая Революционное буйство на берегах Терека

Терек бушевал испокон веков, беря начало из источников и родников с чистейшей водой, зарождавшихся на снежных вершинах Кавказских гор, покрытых девственным снегом. Местные жители привыкли к его грозному рокоту, шуму и треску, поскольку заглушить их было невозможно. Вероятно, когда-нибудь найдутся инженеры и ученые, использующие горную буйную стихию на благо народа, но пока никто не посягнул на этот водный поток, готовый смести на своем пути любые плотины и иные более крепкие сооружения.

Тася долго не могла привыкнуть к грохоту буйного потока, особенно после плавной и широкой Волги, готовой принять в свои теплые объятия купающихся людей и даже большие пароходы. Волга покорно служила людям, а Терек был норовист и вспыльчив. Приехавшему издалека человеку было трудно уснуть от грохота воды, и ему казалось, что он за день уставал более, чем за час пребывания дома. Поначалу то же самое представлялось Тасе. Лишь на окраинах города она была освобождена от неистового буйства Терека, но порою ее тянуло к этой экзотической бурной реке, которая ее и восхищала и пугала.

Местные жители любили свою реку, наверное, стремительным движением воды напоминавшую их бурную жизнь. К тому же в истоках ее, в горах, остались жить их сородичи, в основном – пожилые люди, разводившие стада овец. И в двадцатых годах большевикам было нелегко добраться до горских осетин, и те жили неплохо, и их дети и внуки, переселившиеся и выросшие в городах, существуют на деньги отцов и дедов вполне зажиточно.

Михаил упрекал Тасю в том, что она не вывезла его из Владикавказа вместе с госпиталем белых, но обвинение это возникло не сразу после его выздоровления. Михаил интуитивно чувствовал, что писатель должен жить среди своего народа, познать его судьбу, мысли и надежды, особенно во время первых литературных шагов. Он надеялся стать писателем в России, не представляя себе, как воздействует на творца тоталитарный режим. Проситься за границу он стал значительно позднее, убедившись, что написанное им, особенно то, что было наиболее ему дорого, отняло множество душевных сил, не скоро увидит свет, особенно при существующем строе, казавшемся незыблемым. Трагедию Булгакова глубоко может прочувствовать

только человек, пытавшийся всем своим существом принести благо людям, но жестоко за это наказанный.

В самом начале двадцатых годов Булгаков не решился покинуть родину, хотя исследователи его жизни и творчества настаивают на обратном. Сомневался ли он в том, остаться или уехать? Возможно… В письме брату Константину от 16 февраля 1921 года Михаил с горечью пишет: «…Во Владикавказе я попал в положение «ни взад, ни вперед». Мои скитания далеко не окончены. Весной я должен ехать: или в Москву (может быть, очень скоро), или на Черное море, или еще куда-нибудь». Но в том же письме он интересуется у брата: «Еще прошу тебя, узнай, пожалуйста, есть ли в Москве частные издательства и их адреса». Все-таки превалирует мнение, что Михаил связывал свое творчество с работой в России. Я лично в этом уверен, проведя небольшое частное расследование. Мог ли Михаил в начале двадцатых покинуть родину, особенно находясь на Кавказе? Без больших затруднений – по Военно-Грузинской дороге, где на границе с Грузией, в Ларсе, местные меньшевики отбирали у проезжающих оружие и открывали им путь на Тифлис и далее на Константинополь.

После Владикавказа чета Булгаковых побывала в Батуми. Я зашел к нынешнему директору Батумского краеведческого музея и задал ему вопрос о том, можно ли было примерно в двадцать втором году перебраться из Аджарии в Турцию. Директор усмехнулся:

– Спуститесь на набережную. Там в кафе под тентами сидят старички. Они вам все расскажут.

– А как вы считаете?

– Я еще сравнительно молод, – опять усмехнулся директор, – вам больше и точнее расскажут старые люди.

Спускаясь по лестнице музея, я остановился у стендов, где с фотографий на меня смотрели члены батумского ревкома, расстрелянные по приказу Сталина. А выйдя из музея, я прошел не более пятидесяти метров и… натолкнулся на музей Сталина.

Заметив мой удивленный и осуждающий взгляд, кассирша музея зло и ворчливо заметила:

– Мы нашего Сталина никому не отдадим!

– А кому он нужен? – сказал я. – Кто собирается его у вас отнимать?

Кассирша не нашлась что ответить и невнятно забурчала. Я знал, что аджарцы – это грузины, принявшие мусульманство.

– Сталин, наверное, не любил мусульман, поэтому и расстрелял всех аджарцев-ревкомовцев? – заметил я на прощание кассирше. – Удивительно, что рядом находятся два музея: убийцы

и его жертв. Не находите ли вы это странным?

Кассирша, не поднимая головы, буркнула:

– Дикая жара, уже прошло больше половины дня, а никто не купил ни одного билета! И вы не возьмете. Я это сразу почувствовала!

В кафе на батумской набережной сидели загорелые, забуревшие, еще довольно крепкие старички и спокойно потягивали из чашечек черный кофе.

Меня они встретили благожелательно, вероятно, увидев приезжего, у которого можно узнать что-либо новое и интересное. Мой вопрос вызвал у них недоумение. Седоусый аджарец, видимо старейший из присутствующих, выпучил глаза:

– В двадцатых годах из Батуми в Константинополь уходило не менее десяти лодок с контрабандным товаром.

– Десять? В течение месяца? – спросил я.

– Каждый день! – воскликнул аджарец.

– Я сам лично еще мальчишкой отвозил с отцом туда товар! – похвастался другой старик. – Брали всех, кто хотел уехать. Русских, персов, всех, кому здесь не нравились новые порядки.

– Дорого ли это стоило?

Аджарцы как один вскинули брови, словно я незаслуженно обвинил их в чем-то нехорошем, и обиженно посмотрели на меня.

– Какие деньги? До тридцать четвертого года не было границы с Турцией в горах. Никакой. Ни единой пограничной заставы. Наши овцы паслись в Турции, турецкие овцы – у нас. Иди в любую сторону, куда хочешь!

Вывод напрашивался сам собой: Михаил мог тогда, если бы хотел, свободно уехать в Турцию. И вместе с Тасей. Но в Киеве оставалась мать, он ничего не знал о судьбе братьев – Николки и Вани, переписывался с сестрами и всегда помнил наказ родительницы о том, что он старший из мужчин в семье и потому ответствен за судьбы детей. К тому же во Владикавказе нашлась невесть какая, но работа. Опасность быть арестованным уменьшилась после того, как он стал писать в анкетах, что закончил не медицинский, а естественный факультет Киевского университета. Следовательно, подозрений не возникало, что он служил вообще в Добровольческой армии. Тем не менее во Владикавказском архиве я обнаружил список членов первого состава Подотдела искусств, где после фамилии Булгаков в скобках было указано: «бел.», то есть из бывших белых. Возможно, он позднее корил Тасю за то, что она вообще отговаривала его от отъезда из России.

– Бунин, Мережковские, Дон Аминадо – они уехали уже известными и признанными писателями, а ты только начинаешь

писать. Тебя еще не знает ни читатель, ни зритель. А здесь ставят твои пьесы. Понемногу печатают. Мы еще не проели золотую цепочку. Носить ее уже нельзя, зато она поможет тебе писать. Я верю в тебя!

Тася умолчала, что она просила Слезкина устроить на работу Михаила, что Юрий Львович благоволит ей, признался, что обожает прелестных и благородных русских женщин, таких, как его жена, как Тася. И при первой возможности он взял Михаила в Подотдел искусств заведовать Лито.

Во Владикавказе после ухода Добровольии остались жить осетинские белые офицеры, ставшие в основном учителями и бухгалтерами. Их пока не трогали… Вызывали, как и Михаила, каждые два месяца в ЧК, на перерегистрацию, но препятствий в работе не чинили.

Из Грузии во Владикавказ приехал бывший сельский учитель Ной Буачидзе, заведовал ревкомом, при этом шокировал местных большевиков, доказывая им, что народ – это не только пролетариат и крестьянство, но и врачи, учителя, адвокаты, мелкие торговцы… Они должны иметь равные права с рабочими и крестьянами. Его слушали, но недоверчиво, и уплотняли, по их мнению, второсортный народ, считая в душе его буржуйским и недобитым, а терпели потому, что кому-то нужно лечить больных и учить детей, а собственной пролетарской интеллигенции пока не хватало, и основательно.

В своей повести «Столовая гора», вышедшей в 1923-м и называвшейся тогда «Девушка с гор», Юрий Слезкин описывает Булгакова под именем Алексея Васильевича, но порою слишком необъективно, и это объясняет в своем дневнике тем, что «по приезде в Москву они встретились как старые приятели, хотя в последнее время во Владикавказе между ними пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)». Увы, в высказывании Слезкина звучит писательская зависть – по первым литературным опытам Булгакова, по разговорам с ним он понял, что его друга ждет незаурядное творческое будущее. Михаил много трудится за письменным столом, хочет рассказать людям правду о жизни, и не он возглавил Подотдел искусств при ревкоме, а Слезкин, кстати, руководивший таким же подотделом еще год назад в городе Чернигове, где гастролировала его жена. Иногда выпады Слезкина против Булгакова были настолько очевидны и необъективны, что, как призналась мне редактор сборника повестей Слезкина Ирина Ковалева, она выбрасывала из «Столовой горы» целые абзацы, порочащие на почве литературной зависти великого писателя. («Шахматный ход», Москва, Советский писатель, 1982 г.) Тем не менее повесть является едва

ли не единственным литературным документом того времени, рассказывающим об обстановке во Владикавказе и о жизни Булгакова и Таси.

Называя революцию переворотом, политики подразумевают при этом смену власти, хотя слово «переворот» относится и к тому, что сама жизнь, многие хрестоматийные, апробированные многовековым человеческим опытом понятия были поставлены с ног на голову, и не случайно говорит Халик-бек – один из героев «Столовой горы»: «В годы войны и революции я понял, в какой тупик пошлости и себялюбия пришли мы все, люди, называющие себя культурными. И меня потянуло в горы, в свой аул, где живут так, как жили сто лет назад простые, не тронутые нашей гнилью пастухи. Оттуда гораздо дальше и лучше видно… Горы заставляют человека владеть своей волей, они заставляют его подыматься».

У супругов Булгаковых, людей «равнинного» происхождения, нет своего высокогорного аула, где можно было надышаться свежим воздухом и увидеть, поразмыслив вдалеке от городской суеты и борьбы за выживание, дальше, чем виделось в городе. Михаил не переметнулся на сторону революции. Для него, как и для Ноя Буачидзе, народ – все люди, Владикавказ он считает своеобразной горной ловушкой. О том, как очутились там Булгаковы, без прикрас и даже ноток необъективности рассказывает в «Столовой горе» Юрий Слезкин. «Он опирается на палку, неуверенно, не сгибая, передвигает ноги. Он еще не оправился вполне после сыпного тифа, продержавшего его в кровати полтора месяца. За это время многое переменилось. Он слег в кровать сотрудником большой газеты, своего рода «Русского слова» всего Северного Кавказа, охраняемого генералом Эрдели. Его пригласили редактировать литературный и театральный отдел вместе с другими очень популярными журналистами… и он не мог не согласиться. Он устал, хотел отдохнуть, собраться с мыслями после долгих скитаний, после боевой обстановки, после походных лазаретов, сыпных бараков, бессонных ночей, проведенных среди искалеченных, изуродованных, отравленных людей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, перелистать свои записные книжки, собрать свою душу, оставленную по кусочкам то там, то здесь – в холоде, голоде, нестерпимой боли никому не нужных страданий. Он слишком много видел, чтобы чему-нибудь верить. Нет, он не обольщал себя мыслью, что все идет хорошо. Он не мог петь хвалебных гимнов Добрармии или, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел…

Потом он слег и пролежал полтора месяца. В бреду ему казалось, что его ловят, ведут в бой, режут на куски, отправляют в лазарет и снова ведут в бой… Жена несменяемо дежурила над ним. Он ничего не рассказал ей о своем бреде, когда очнулся. Только молча пожал ей руку – по ее истощенному лицу догадался о том, как много она вынесла за время его болезни. Они давно привыкли понимать без слов друг друга…»

Тася, несмотря на дикую усталость, чувствует, что к ним возвращаются прежние добрые и радостные отношения. Михаил постепенно становится самим собой. Он стал намного серьезнее, чем прежде, но юмор, остроумие, склонность к шутливой импровизации постепенно возвращаются к нему. Его соученик по Киевскому университету писатель Константин Паустовский, наверное, лучше других доброжелательных к Булгакову коллег характеризует смысл его жизни и творчества: «…Булгаков – представитель передовой интеллигенции – испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты обывательщины, дикости и фальши. Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была, по существу, беспощадной схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным. В этой борьбе у Булгакова было в руках разящее оружие – сарказм, гнев, ирония, едкое и точное слово. Он не жалел своего оружия. Оно у Булгакова никогда не тупилось».

Тася поразилась, что после возвратного тифа, еле передвигая ноги, во время первой прогулки к Тереку он нашел силы спародировать мороженщика, спешившего объявить и прорекламировать свой товар. Мороженщик говорил так быстро: «Сахарное мороженое», что на бледном лице Миши проскользнула улыбка, и он дважды повторил, имитируя речь продавца: «Сах-роженное! Сахроженное!»

Они выбираются в цирк на мировой чемпионат по греко-римской борьбе. Этот «чемпионат» забавляет Михаила, так как участникам для придания соревнованию международного статуса придумываются фамилии на заграничный лад.

– Победил Темир-Хан-Шура! – объявляет судья. Михаил улыбается:

– Я знаю этого борца. Его настоящая фамилия – Армишвили. А он присвоил себе название целого аула!

Тася приносит домой красное вино, восточные пряные сладости – праздник по поводу выздоровления Михаила и от сыпного тифа, и от наркомании, болезней трудноизлечимых. Тася гордится, что помогла ему спастись от беды, но не говорит об

этом, глаза ее сияют радостью. Когда они с Михаилом венчались, она представляла их жизнь безмятежной и полной радости, а то, что испытала и через что прошла, ей не могло даже присниться. Сегодня ее праздник, ликует ее душа. Миша, наверное, понимает это, но вряд ли чувствует, насколько она счастлива. А он, видимо, считает, что возвращение их отношений – дело само собою разумеющееся. Лицо его становится одухотворенным, когда он садится за письменный стол. С медициной покончено. И когда в театре случился приступ с одной актрисой, перебравшей кокаина, он давал советы, как вывести ее из состояния ломки, но потом сказал режиссеру:

– Я частный человек, журналист, кое-что мерекающий в медицине, – и только. Я не врач… Человек без определенной профессии. Член Рабиса, завлит областного Подотдела искусств. Помните это…

И пусть в словах Слезкина о Булгакове порою звучит ирония, за ней явно проглядывает зависть коллеги: «Нет, положительно, Алексей Васильевич не стал бы писать своей автобиографии. Он скромен, он не любит шума вокруг своего имени, он имеет свое маленькое дело, не ищет славы. Бог с ней, с этой славой. Единственно, что он хотел бы написать, – это роман. И он его – напишет, будьте спокойны. Роман от него не уйдет. Он будет-таки – написан. Во что бы то ни стало…

Все эти заметки, фельетоны, рецензии – все это кусок хлеба – не более. Всегда можно урвать минутку, надеть женин старый чулок на голову, снять американские ботинки, подложить под венский стул диванную подушку и сесть за стол. Чернила и бумагу нетрудно позаимствовать в Подотделе искусств – не всегда, но можно.

Роман будет называться… впрочем, не в названии дело. Он назвал бы его «Дезертир», если бы только не глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора… Издать роман он хотел бы за границей… Пожалуйста, не улыбайтесь, пожалуйста, без задних мыслей. За границей издают опрятнее, лучше, чем в России, и, кроме того, там есть бумага… Только всего».

Тася читала этот роман в 1923 году, когда он увидел свет, и не верила своим глазам. Тот ли Слезкин писал его, доброжелательный, гостеприимный, едкий в шутках, но по делу, а здесь сказано о Михаиле прямолинейно и зло. Можно подумать, что, написав роман, он совершит какое-то преступление. И намек на заокеанскую помощь Добровольии – американские ботинки, и само название романа – «Дезертир». И воровство бумаги из Подотдела – мелочь, но не свойственная Михаилу. Без разрешения самого Слезкина он не взял бы домой даже листочка.

А далее – просто издевательство над Михаилом: «На голове черный фильдекосовый чулок, обрезанный и завязанный на конце узлом». Это неприязнь к тому, что Михаил с детства был приучен к опрятности, был аккуратно причесан, волосы уложены. По Слезкину – с помощью чулка. А вот описание и самой Таси. Столько приятных слов высказал ей Юрий Львович, столько тостов произнес в ее честь на вечеринках дома и в театре, а тут на́ тебе: «Жена спит без одеяла – ей жарко. Алексей Васильевич видит ее худое, усталое тело, плохо стиранную, заплатанную рубашку и отворачивается, водит глазами по стенам, где висят афиши, портрет Маркса, женины платья». У Таси от негодования кружится голова – Мише не нравится ее тело, и он отворачивается… Американские ботинки… Портрет Маркса… Роман под названием «Дезертир»… В мыслях Таси эти слова выстраиваются в лживый, унижающий достоинство ее и Мишино ряд глупостей. Это в квартире Слезкиных висел портрет Маркса, по поводу чего Миша шутил не раз.

– Извините, советскому начальнику положено, – разведя руками, картинно шутил Юрий Львович. – Скажите спасибо, что Маркс без Энгельса… Я его подарил другому начальнику…

Тася читала этот роман в Москве и вспоминала клокочущий Терек. В минуты, когда хотелось отвлечься от грустных мыслей, она шла к этой реке, надеясь, что вода унесет ее плохое настроение, душевную боль. И Терек помогал ей в этом, но не всегда, и казалось, что он тоже стал рабоче-крестьянским, даже более бурным и опасным, чем прежде. Ей не хотелось далее читать «Столовую гору». Она делает это через силу. Слезкин неумолим к Мише. Новое обвинение – роман не о дезертирстве героя из Добровольии, а о чем-то противоположном: «Потом вспоминает о рукописи, оставленной на столе, берет ее, снова прислушивается и прячет за портрет Карла Маркса». Еще одно усилие, и Тася наталкивается на частицу правды, хотя и тут Миша описывается карикатурно и физиологически неприятно, но так было: «Алексей Васильевич снимает рубашку и по привычке осматривает ее. Он делает это каждый вечер – из страха, животного страха перед вшами, которые мучили его не один месяц. В эти минуты он чувствует к себе омерзение и жалость, в полной мере ощущает свое бессилие». Возможно, так и было с Мишей, переболевшим возвратным тифом, так поступали многие владикавказцы, боясь не менее пули смертельных насекомых. И затем возникает кусочек правды: «Потом он тушит свет и перебирается к жене на узкую кровать». После уплотнения «буржуйского» населения у Михаила не было письменного стола, и еле-еле в их комнатенке умещалась узкая казарменная

походная кровать, рассчитанная на одного юнкера.

Тася боготворила Юрия Львовича как писателя, тонко понимавшего женскую душу, либерально и сочувственно относящегося к людям обыкновенным, живущим просто, спокойно и без претензий на большее, чем им отпущено судьбою, а Михаил, видимо, резко отличается от них неуемностью в творчестве, широтой взглядов, вызывающих неприязнь обывателя – любимого героя Слезкина. Тася поражена тем, что Юрий Львович, наделенный талантом юмориста, не может быть равнодушным к коллеге, обладающему иронией не в меньшей мере, чем он. Слезкин высмеивает и это его качество: «В мирное время с десяти утра весь город был на ногах, на Треке играла музыка, в клубе стучали тарелки, на берегу Терека целовались влюбленные пары. А теперь город предоставлен луне, ночи и самому себе. Только Терек никак не может успокоиться, ничто не научит его быть менее болтливым. И потому Алексей Васильевич не любит его. Он раздражает, как надоедливый, непрошеный собеседник. У него нет тайны, он весь нараспашку. Положительно, в стране, где течет такая река, народ не может быть умен. Хе-хе, пожалуй, эта мысль не лишена остроты. Об этом не мешает подумать в свое время».

Тася уже не смущается подобным пассажам Слезкина. Они глупы. Ее раздражает другое, что известную реку большевики хотят сделать едва ли не символом революции и собираются провести Съезд народов Терека, шагающих к светлой дали коммунизма. Может, они думают, что это движение ускорит быстро и бурно текущая река, а она по-прежнему ведет свои шумные разговоры с природой, поскольку является ее частью, а не теоретическим подразделением или даже своеобразным речным штабом революции.

И наконец Тася встречает в книге мысли, свойственные ей, Мише и одному из героев романа, бывшему главному редактору белогвардейской газеты – по-видимому, самому Слезкину или Покровскому. Мысли разные, неоднородные, но местами похожие на доводы Таси, особенно в самом начале рассуждений героя: «Вы юморист, дорогой мой, но позвольте узнать, что бы я стал делать за границей? Гранить мостовую Парижа, Лондона или Берлина, курить сигары, витийствовать в кафе, разносить бабьи сплетни или писать пифийские стихи в русских газетах? Политика меня не интересует, как идейная борьба, – это юбка, которую надевают для того, чтобы каждый любовник думал, что он ее первый снимает… Я хорошо знаю цену всем этим идеям, общественным мнениям, благородным порывам… Составлять новую армию для похода на Россию? Занятно. Но дело в том, что я хорошо знаю, чем может закончиться такая история. Скучнейшей чепухой,

родной мой!»

В этом месте Тася ощутила знакомого ей по вечеринкам, остроумного, глубокого писателя, сумевшего написать повесть «Козел в огороде», которая сделала бы честь многим писателям. Тем более детство Юрия Львовича прошло во Франции, куда уехала его мать. И не случайно парадоксальным оказывается заключительная часть монолога бывшего редактора белогвардейской газеты, все-таки Покровского, вернувшегося на родину с авантюрной идеей – продать большевикам типографию: «Я иду ва-банк. Уверяю вас, только в России сейчас можно жить. Только в ЭРЭСЭФЭСЭР. Здесь один день не похож на другой, сегодня не знаешь, что будет завтра, и если тебя не расстреляют, то у тебя все шансы расстреливать самому. Не так ли?»

Тася ощутила в этом выводе грустную суть современной жизни, в которой даже седой от пенистой воды Терек объявлялся большевистским. Вместо того чтобы на своих берегах принимать загорающих людей и целующиеся влюбленные пары, он вынужден на своих волнах нести брошенные в реку трупы. Во Владикавказе было известно, что ревкомовец Ной Буачидзе около двух часов разговаривал с Лениным по телефону на железнодорожном вокзале, но даже близость с таким лидером революции, как Ленин, не спасла его от пули, когда он попытался помирить ингушей и казаков. Разве Терек сделал людей фанатиками разных идей и лютыми врагами? Виною тому революционное буйство, разразившееся на его берегах. И повсюду, по всей стране.

Газета «Донские ведомости», издававшаяся в Новочеркасске, еще 1 сентября 1919 года писала: «Советская власть – власть рабочих». Этот революционный выкрик бросается всегда в начале и в конце каждой из речей Ленина и Троцкого, произносимых на заводах и фабриках еженедельно каждую пятницу. В одну из таких пятниц как результат речи Ленин получил две пули в спину. Всюду, где совдепы налагали свою кровавую руку, везде рабочие, обольщенные сперва безграничной демагогией и призраком несуществующей власти, когда из-за этого призрака впоследствии весьма реально выглядывали дула пулеметов и орудий карательных китайско-совдеповских отрядов, прозревают, видя всю пагубность, всю гибельность «советского строительства». До войны Донецкий бассейн давал три четверти угля, добываемого в России. Оставив шахтеров без работы, совдепы бросили на произвол судьбы подвоз продовольствия на рудники. Продармейцы, забрав весь хлеб Украины по твердым ценам, отправили его не в голодающий шахтерский бассейн, а в Москву. Мало того – рабочим не платили деньги. Бассейн разрушен и разграблен, а поздно прозревшие рабочие, не получив и

последнего куска хлеба, разбежались под выстрелами пулеметов».

После этой статьи Тасю охватила паника, не ровен час подобное достигнет Владикавказа. Может быть, еще не поздно вырваться за границу. Но Миша только начал писать. Не все из написанного ему нравится. Впрочем, иного ожидать было нельзя. Главное – он любит, не бросает работу. Пьесу «Самооборона» принимал художественный совет Подотдела искусств. В зале не смолкал смех. Тася торжествовала, но была обескуражена, когда пьесу не приняли к постановке в театре.

– Слишком смешная, – давясь от хохота, первым высказался председатель художественного совета. – Неужели мы все такие наивные и глупые? Не может быть. Зачем выставлять себя дураками? В план эту пьесу включать нельзя, показ ее будет вреден народу. Михаил Афанасьевич, попробуйте поработать с нею в кружке самодеятельности. А экземплярчик один мне оставьте. Я дома жене почитаю. Вот нахохочемся!

– Пьеса слабая, – неожиданно для Таси сказал Михаил, – я нашел немало смешных ситуаций, но глубокого произведения не получилось, – вздохнул он и с любовью посмотрел на томики собрания сочинений Гоголя. – Хотелось бы, чтобы и у меня когда-нибудь вышли такие тома.

– Ведь это Гоголь! – заметила Тася.

– Ну и что? – улыбнулся Михаил. – Он когда-то тоже был молодым, не сразу написал «Мертвые души». Говорят, что у него был замечательный учитель, умница и эрудит. Понял талант своего ученика и развивал его. И вообще рассуждал нестандартно, по каждому вопросу имел свое мнение. За это его выслали в Вятку. А у меня учителем будет сам Николай Васильевич!

– Ты шутишь, Миша?

– Нисколечко, Тася! Когда я сажусь за письменный стол, представляю себя Гоголем. Иначе не прыгну выше своей головы, выше возможностей. Кстати, «Мертвые души» Гоголь написал в Риме, где его не уплотняли, не заставляли регистрироваться в ЧК, не обсуждали на художественных советах.

– Ты снова упрекаешь меня, – насупилась Тася.

– Нет, милая, я действительно не выжил бы в дороге. Ведь я бывший врач и кое-что понимаю в медицине. Нас сегодня приглашают к себе Слезкины. Ждут ребенка. Потом гулять будет недосуг. Пойдем?

– Ага! – с радостью согласилась Тася. После общения с педантичными инспекторами и их скучными семьями она попала в театральный мир Владикавказа, где задержались и не покинули страну одни из лучших артистов. Интересные талантливые люди

окружали ее, и, хотя жилось бедновато, владикавказский период остался навсегда в памяти Таси как лучший в ее невеселом и долгом бытии. Михаил преображался в театральных компаниях, шутил наравне с признанными корифеями театра, и, слушая его, попыхивал трубкой Слезкин, и тогда Тасе было непонятно, радуется ли он за молодого коллегу или нет. Выяснилось позже, после «Столовой горы». И Миша не остался в долгу. Он вывел Слезкина в пьесе «Зойкина квартира» в образе авантюриста и проходимца Аметистова, разумеется, не столь грубо и зло, как Юрий Львович его, а всего лишь одной деталью, именно тем, что дворянин по происхождению в 1919 году руководил Подотделом искусств в Чернигове, а к тому же, как известно, до этого и после работал в белогвардейской прессе. Михаил не приклеивал к нему ярлык «метавшегося», понимая, что у Юрия Львовича была семья и писатель все-таки обязан быть над событиями, чтобы потом описать их, а возьми он винтовку в руки и воюй – в любой момент вражеская пуля может настигнуть его. Владимир Галактионович Короленко корил себя за то, что очень много времени в жизни отдал защите обиженных инородцев и поэтому написал меньше, чем мог и хотел. Тася успела изучить характер Михаила до тонкостей, даже по оттенкам голоса могла судить о его настроении и серьезности того или иного намерения. И когда он упрекал ее в том, что они остались во Владикавказе, в голосе его не было суровости и твердости. Вероятно, он мечтал об отъезде за границу, но морально еще не был готов к этому. И для Таси не было неожиданным однажды высказанное им, и довольно уверенно, заявление:

– Пока будем работать здесь. У осетинского народа удивительная тяга к образованию, к познанию жизни. Коста Хетагуров старался пробудить чувство национального достоинства в людях, попавших в тиски чиновничества и дворянства, и вместе с тем не отделял ни себя, ни свой народ от остального мира: «Весь мир – мой храм, любовь моя – святыня, вселенная – отечество мое». И знаешь, Тася, когда вдруг в городе закрыли женскую школу, арбы с приехавшими учиться девушками запрудили улицы. Люди стучали отчаянно в двери школы, девушки плакали, не желая возвращаться в аулы. А поскольку мы остаемся, то неплохо было бы познакомиться с обычаями людей, среди которых живем. У меня есть мыслишка…

– Написать пьесу на местную тему! – догадалась Тася.

– Не знаю, – смутился Миша, – может быть. В репертуаре театра нет ни одного спектакля из жизни осетин. Я один такую пьесу не осилю, не зная ни истории народа, ни даже его обычаев. Помоги мне, Тася, разузнай самые интересные обычаи осетин,

свойства их характера, национальную пищу. Ведь мы, кроме лепешек и мацони, ничего не ели.

Тася была польщена предложением Михаила. Она никогда не показывала обиду, что муж не делится с нею своими литературными задумками. Он догадался об этом и однажды заметил ей:

– Не сердись, Таська, плохая примета рассказывать о том, что еще не написано. Потом ты все прочитаешь и увидишь.

Так и случалось. Его фельетоны она прочитывала в газете, а работая в театре, ходила даже на репетиции его пьес.

Тася долго и тщательно отбирала то, что могло пригодиться Михаилу для создания национальной пьесы.

Для этого завела специальный дневник. Вот некоторые записи из него:

«Тяжелобольного знакомые и родственники не оставляют одного ни днем, ни ночью. Чтобы отвлечь больного от болезни, ему рассказывают сказки, играют на фандыре (осетинский вид скрипки) или на небольшой двенадцатиструнной арфе, при этом распевают легенды о мифических героях. В последние минуты жизни больного расспрашивают о покойниках – не видит ли он такого-то, что делает такой-то, не голодает ли, кто его окружает… Такими вопросами они настраивают воображение больного до такой степени, что он начинает отвечать на их вопросы.

Иред (калым) является мерилом достоинства крови. Раз установленный, его нельзя менять произвольно. Расчет производится коровами. Богачи в Нарской котловине брали калым в сто коров.

Вера в загробную жизнь безгранична. Ад (зындон) страшен многими наказаниями. Муж и жена лежат на воловьей шкуре и накрытые волчьей шкурой такой же величины. Муж с руганью тянет шкуру на себя, жена с такой же бранью к себе, и оба никак не могут укрыться. Они всю жизнь ссорились, дрались и не давали покоя соседям.

Далее открывается другая картина. Женщина лежит навзничь, а на ее груди огромные жернова мелют кремниевые камни за то, что она, работая на мельнице, воровала муку из чужих мешков. Невдалеке мужчина из глубокого рва тянет наверх камни и не может донести ни одного – такое наказание он несет за то, что, измеряя участки пашен, себе отмерял больше, чем другим.

Далее виднеется море и посреди его островок, где расположена скорлупа вороньего яйца, которое служит жилищем грешнику, а дверью в него служит отверстие величиной с игольное ушко – он жил на земле замкнуто, ни одного гостя не

принял, ненавидел людей, истязал семью и выгнал жену с детьми из дому.

Изо льда торчит голова молодого человека, который часто ходил к жене своего приятеля. Затем виден ледяной замок, в котором на ледяных креслах сидят три старика, каждого бреют льдышкой за то, что в жизни люди доверяли им решать свои дела, а они решали их вкривь и вкось.

Кончается ад (зындон), и открываются картины райского преддверия. Муж и жена лежат рядышком, накрытые заячьей кожей, покрывала хватает в избытке – они свою жизнь провели в любви и мире.

В серебряном замке на серебряных креслах сидят три старика с длинными белыми бородами, у каждого в руке серебряная палка. Эти старики на земле тоже были судьями, но правдивыми, добрыми, честными. Далее видны ворота рая, за которыми все его обитатели благоденствуют».

Тася подумала и внесла в дневник существующие в осетинском народе сословия, знания их тоже могут пригодиться Мише.

«Стыр мыглаг – самые богатые люди, кровь их ценилась выше, чем у других людей, и калым они брали выше всякого предела.

Фарссаг – сословие беднее первого, его боковые ветви, таких людей большинство.

Кавдасард – отец представляет сильную и властную фамилию, но не столь знатная жена и ее дети находились всегда в унизительном положении.

Алхад – самый обиженный, приобретался где-нибудь на стороне, был купленным или похищенным ребенком и становился жертвой любого произвола».

Тася выписала для Миши любопытную осетинскую пословицу: «Лошадь, ружье и молодая жена всегда требуют ухода!»

При кровной мести сначала оплакивают убийцу, а потом убитого. Кровная месть возникла как мера самообороны. Если кто-то обижал одного из членов рода, то последний принимал на себя его обиду. Мстили не только за убийство, но и за ранение, оскорбление словом или действием как отдельной личности, так и предметов, понятий, символизирующих род, родовое единство, а также за ругань покойников, разрытие могил, оскорбление их, похищение девицы, поношение чести матери, жены, сестры.

Коста Хетагуров отмечал взаимопомощь осетин, от всей души откликавшихся на нужды других при уборке урожая, стихийных бедствиях. Велико и добросердечно было у осетин

гостеприимство. Этот обычай оберегал даже убийцу в доме врагов, если он вверял им свою судьбу как гость. Обращение «я – твой гость» уже обеспечивало просящему безопасность и защиту.

Почиталось уважение к женщине. «До каких пределов ни дошло опьянение мужчин, как бы развязно ни вела себя компания молодежи, как бы ни было велико ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся, одно появление женщины обуздывало буянов, останавливало кровопролитие», – писал Коста Хетагуров – великий просветитель своего народа.

Когда женщина вмешивалась в кровавые схватки, с криком и распущенными волосами, то все пристыженные мужчины вкладывали сабли в ножны и расходились.

Крайне неприличным считалось, если кто-либо говорил, прервав собеседника. Коста Хетагуров считал, что самое нежное и тонкое чувство пробивалось иногда у осетин сквозь грубую оболочку, нараставшую в горских племенах в течение десятков веков, чувство изящного и поэтического составляет не внешнюю, а внутреннюю принадлежность осетинского народа.

И еще записала Тася в дневнике, что в 1862 году во Владикавказе была открыта первая школа для осетинских девушек, готовила учительниц и была названа Ольгинской – в честь великой княгини Ольги Федоровны.

Михаил несколько раз прочитал Тасин дневник, одарил ее взглядом благодарности:

– Много поучительного. Народ плохим быть не может. Он сеет, пашет, разводит скот, пишет стихи… Надменные и недалекие люди встречаются в любом народе. Ты проделала большую и нужную работу, Тасенька. Если бы не революция, ты наверняка училась бы дальше… Дочь действительного статского советника, о чем стоит помалкивать, вместо того чтобы гордиться отцом… Для новой власти – ты дочь буржуя, врага, а для меня любимая жена и умница. Калым, кровная месть – это старые нравы горных племен осетин. Если буду писать пьесу на местную тему, то обязательно включу их в повествование. С меня своеобразный калым. Не стадо коров, но бутылка хорошей араки (осетинская водка. – *В. С* .). Пойдем в кафе «Редант» (тогда оно располагалось на окраине города. – *В. С.*).

Миша и Тася пили араку из фужеров, которые принес им на подносе хозяин – перс. Шутили, как и в прежние времена.

– Я думал, что в Киеве больше всего садов на свете, – улыбнулся Миша, – во Владикавказе их не меньше. И цепочка гор, как ожерелье, окружает город. Непривычные для нашего глаза ущелья. Природа здесь дивная!

– Но учти, я уже пьяна, – сказала заплетающимся языком

Тася, – тебе придется тащить меня домой на себе. Смотри, не урони меня в ущелье. Костей не соберешь!

– Ты нужна мне целая и невредимая, – улыбнулся Миша, и они поцеловались прямо за столиком, потянувшись друг к другу.

Новая газета, начавшая выходить при большевиках, называлась «Коммунист». Она трижды и очень серьезно привлекла внимание Михаила и Таси. В городе было известно, что в пограничном районе, в аулах и горных ущельях скрываются небольшие соединения добровольцев, по разным причинам не покинувших Россию. Они не занимались ни грабежом, ни бандитизмом, лишь добывая себе продукты для пропитания. И у Миши, и у Таси почти одновременно мелькнула мысль о том, не находятся ли среди них Николка и Ваня, о судьбе которых молодым Булгаковым было неизвестно. Поэтому они серьезно вникали в напечатанное в газете «Воззвание ко всем скрывающимся от советской власти». Воззвание печаталось в трех номерах газеты. Последний раз оно звучало так:

...

«В радостный торжественный час зарождения Горской Советской Социалистической республики мы готовы предать забвению Ваши заблуждения, Ваши прошлые грехи, Ваше участие в борьбе с Рабоче-Крестьянской властью, даже Вашу службу в Добровольческой армии, независимо от занимаемых должностей.

Мы протягиваем Вам руку примирения, приглашаем вернуться в свои города и селения и честным трудом загладить свои ошибки. Всем возвратившимся до 20 июня сего 1921 года, сдавшим оружие и зарегистрировавшимся в Особом отделе Десятой Армии или его отделениях, обеспечивается полная неприкосновенность и безопасность. Возвращайтесь спокойно.

Комиссар юстиции Начальник Особого отделаГорской

СоциалистическойВсероссийской республики и председательЧрезвычайной комиссииГорчека при Десятой Красной АрмииСтанский, Пиников».

Прочтя воззвание, Михаил и Тася переглянулись, и она поняла, что муж все-таки надеется на возвращение хотя бы одного из братьев. Шансов мало, но надежда покидает человека последней. «А вдруг вернется Ваня? Вот-то будет радость, счастье…» – подумала Тася.

– А мне кажется, что это «Воззвание» своеобразная ловушка для бывших добровольцев. Они опасны, находясь в другой стране, где могут объединиться и двинуться в поход против большевиков, а здесь будут зарегистрированы, и боюсь, им никогда не простят служение Деникину. Рано или поздно… К тому же Николка никогда не изменит себе, никогда не покинет эскадрон Белой армии, которой присягал, – уверенно произнес Михаил.

Позднее, роясь в архивах ЧК Владикавказа, я нашел приказ командарма Фрунзе о зачислении в 1923 году двух бывших поручиков-добровольцев в Красную армию, одного – лейтенантом, другого – капитаном. Это были остатки архива, увезенного немцами в Германию. Любопытной была жалоба одного из жителей Владикавказа на военного начальника, угнавшего у него телегу с двумя лошадьми и соорудившего из них тачанку. При первой же чистке в армии бывшие офицеры-деникинцы, несомненно, были расстреляны. Возможно, эти несчастные были из тех, кто поверил напечатанному в газете «Воззванию».

Тем не менее Михаилу не хотелось расставаться даже с иллюзорной надеждой вскоре увидеть братьев.

– Время есть. Подождем… – вздохнул он. И Тася вскоре, 14 мая 1921 года, убедилась, что Михаил был прав. Следующее обращение к белогвардейцам носило более жесткий характер, и статья называлась «О бандитизме»: «Многие из участников белогвардейской авантюры остались в горах и лесах, где до настоящего времени влачат жалкое существование, потеряли образ человеческий. Такое положение заставляет их совершать налеты на окрестные селения, транспорты и склады для изыскания продовольствия. Белые будут прощены, если они сложат оружие, выдадут главарей и захотят работать».

– Мои братья – не мародеры, – сурово вымолвил Михаил. – Это не они орудуют под Владикавказом.

И Тася согласно кивнула. Больше они к этой теме не

возвращались.

Скрашивают жизнь Таси артисты, приезжающие на гастроли во Владикавказ: Варламов, Давыдов, Адельгейм, Южин, Орлов, Плевицкая, Губерман… В антрепризе Сагайдачного постоянно играют в городе Поль, Виктор Хенкин, Любченко… Фильмы идут в четырех кинотеатрах: «Пате», «Ричи», «Гигант», «Модерн».

– Жаль, что ты не стала актрисой, – говорит Михаил Тасе, – в тебе сидит робость гимназистки, тебе не хватает раскованности… Выходные роли – это привыкание к сцене. А по уму, по способностям, по эмоциональности ты вполне могла бы осилить эту интересную профессию, но, увы, не сейчас, когда известные артисты голодают. А годы летят… И вообще иногда трудно разобраться в себе, в своих привязанностях… – вздыхает Миша.

– Ты выбрал литературу и станешь отличным писателем, я уверена в этом, – говорит Тася.

Миша краснеет, но соглашается с нею.

– Слезкин обо мне сказал, что я пишу на скверной бумаге, скверным пером. Но он чувствует, что я набираю творческую силу. Если бы он не взял меня на работу в Подотдел искусств… Не знаю, что было бы со мною.

– Ты все равно стал бы писателем. Это – твое призвание, твоя судьба.

– Возможно, – смущается Михаил, – а то бывает, что человек целых двадцать лет читает римское право, а на двадцать первом оказывается, что римское право ни при чем, он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства жизни, когда люди сплошь и рядом занимаются не тем, чем хотят и к чему у них призвание.

– У меня теперь таких мук нет, – бодро вымолвила Тася, – я раз и навсегда выбрала себе профессию. Хотела учить детей, но теперь мне это никто не доверит. Я буду, Миша, твоим ангелом, да, твоим ангелом. Что удивляешься? Разве не понятно? У каждого человека должен быть свой ангел, особенно у такого достойного, как ты, Миша. Ты уже намучился в жизни, а сколько испытаний ждет тебя впереди? Я буду охранять тебя, твой покой. В этом будет моя профессия, мой долг перед тобою и людьми.

– Но ты моя жена, Тася.

– И по совместительству ангел, как сейчас стали говорить, стану твоим ангелом, но не небесным, не буду витать в облаках, а земным, твоим добрым и светлым ангелом, буду до тех пор, пока не наскучу тебе, не надоем.

– О чем ты говоришь, Тася? – удивился Михаил. – Мы ссорились, когда я был болен, но сейчас это в прошлом!

– Нет, – покачала головой Тася, – мы давно могли разойтись, я ревнивый ангел, но не показывала ревности, чтобы не нарушать твою жизнь. Я очень полезный ангел – бегаю на базар, стираю белье, готовлю еду, даже колю дрова и ничего не требую взамен. Мне на самом деле нужна в жизни самая малость из мирских благ, а всю свою душу я отдаю тебе, в этом мое предназначение и радость. Не знаю только, долго ли продлится мое счастье.

– Что нам может помешать, Тася?

– Точнее – кто, – улыбнулась Тася. – Ангелы со своей постоянной заботой о человеке порою надоедают ему своим однообразием, верной службой, и у человека возникает желание самому за кем-то поухаживать, сменить надоевшую обстановку. Хотя говорят, что от добра добра не ищут, но это только слова. Со мною все ясно. Я твой ангел, твой слуга до конца жизни, вернее, до той поры, пока не надоем тебе. Во мне нет той обольстительной женской загадочности, что обычно притягивает к себе мужчин…

Михаил мрачнеет, он только сейчас начинает понимать, что немало страданий принес жене, ухаживая за другими женщинами.

– Клянусь тебе! – говорит он. – Я никогда не обижу тебя!

– Не клянись, – говорит Тася, – ты еще слишком молод, ты еще не полностью познал себя. Не волнуйся ни о чем. Просто я завела этот разговор, чтобы ты не считал меня безработной. Я – твой ангел. У меня полно забот о тебе и свои трудности. А какая работа бывает без них, тем более ангельская? Охранять человека от лишних волнений и забот, да еще в наше время, весьма трудная судьба, но счастливая, потому что связана с тобою, Миша. Могу даже ругнуться, защищая тебя, чтобы меня поняла новая власть. И не будем больше говорить об этом. Я люблю тебя и поэтому счастлива.

– Ладно, – соглашается Михаил, – и все-таки докладываю тебе как ангелу-спасителю, что утром я заведовал Лито: написал доклад о сети литературных студий и воззвание к ингушам и осетинам о сохранении памятников старины, потом пошел в театр (придумать – зачем, читал пьесу), затем становился по очереди – историком литературы, историком театра, спецом по музееведению и археологии, дошлым парнем по части революционных плакатов (мы готовимся к неделе красноармейца) и ходоком по араке – актер Винтр разнюхал изумительный подвальчик в кавказском духе, где черный как бес перс подает в заднем чулане араку и шашлыки: надеюсь, моему ангелу шашлыки не противопоказаны? И арака? Но в таком количестве, чтобы ангел мог не то чтобы взлететь над землей, а хотя бы

передвигаться по ней без моей помощи. Почему вскинул брови мой ангел? Чем он недоволен?

– Многим, – щурит глаза Тася. – Ты знаешь, что такое советское правосудие? Прочти в «Коммунисте» заметку. Она короткая. Слушай: «Полковник Ведищев организовал белогвардейский отряд, вел вооруженную борьбу с советской властью как с таковой с целью ее свержения». Тут я прервусь. Не мог же полковник со своим отрядом справиться с Красной армией. Видимо, не хотел вливаться в нее или отозвался о ней недоброжелательно. Читаю дальше: «Полковника Ведищева Александра Артемьевича, 30 лет, происходящего из казаков станицы Николаевской, принимая во внимание причиненный им вред советской власти, руководствуясь коммунистическим правосознанием и революционной совестью, – расстрелять». Миша, что же это такое? На основании какого закона, статьи, не указывая причиненный им вред, без защитника, взять и расстрелять. Разве так можно?!

– Как видишь – можно, – вздохнул Михаил, и скулы напряглись на его лице. – Еще неизвестно, как поступят с его семьей, с родителями, с женой и детьми, если были бы. Поверь мне, Тася, их участь мне представляется весьма печальной. Меньше читай «Коммунист».

– Нет уже! – возразила Тася. – Ведь ты печатаешься в этой газете! Там впервые в жизни тебя назвали писателем, правда, в кавычках…

От полемики в газете между рецензентом и Булгаковым у Таси осталось двойственное впечатление, но, в общем-то, радостное. Обидно было за кавычки в слове «писатель», относящемся к Мише, но и ответил он рецензенту более чем достойно.

Газета «Коммунист», № 47, 4 июня 1920 года, «2-й исторический концерт Подотдела искусств»: «Концерт был посвящен творчеству Баха, Гайдна, Моцарта. «Писатель» Булгаков прочел по тетрадочке вступительное слово, которое представляло переложение первых попавшихся под руку книг и, по существу, являлось довольно легковесным. Недурно вышел и квартет Подотдела искусств, исполнивший в заключение сонату Моцарта. М. Вокс».

Таня удивилась нелогичности рецензии – легковесность лекции и «недурно вышел квартет». Значит, не столь плоха была и лекция. Миша ответил на эту заметку профессионально, по-писательски литературно и сатирически-едко.

Газета «Коммунист», 5 июня: «Не откажите поместить в вашей газете следующее: В № 47 вашей газеты «рецензент» М. Вокс в

рецензии о 2-м историческом концерте поместил такой перл: «Недурно вышел и квартет Подотдела искусств, исполнивший в заключение сонату Моцарта». Ввиду того что всякий квартет (Подотдела ли искусств или иной какой-нибудь) может исполнять только квартет (в смысле музыкального произведения), и ничто другое, фраза М. Вокса о квартете, сыгравшем сонату, изобличает почтенного музыкального рецензента в абсолютной музыкальной неграмотности. Смелость у М. Вокса несомненно имеется, но поощрять воксову смелость не следует» (полностью полемика публикуется впервые. – *В. С.*).

Тасю обрадовал и ответ Миши, и объявление в том же номере газеты, что 8 июня во 2-м Советском театре (бывшем электрокинотеатре «Гигант») состоится концерт-лекция, посвященная творчеству Э. Грига, при участии лектора т. Булгакова.

Тася ликовала: теперь весь город узнает о Мише, и люди сами решат, какой он писатель – в кавычках или без, послушав его лекции, посмотрев в театре его пьесы, прочитав первые рассказы. Кто же этот загадочный М. Вокс? Кто скрывается за этим псевдонимом? Тем более что этот «рецензент» продолжает свою злобную малокультурную деятельность.

Газета «Коммунист», 25 октября 1920 года, «Симфонический концерт»: «В нашей критике мы исходим не из тех положений буржуазных подголосков, которые по своим личным, оторванным от пролетарских масс настроениям подходили к искусству. Мы эту личную эстетическую критику вышвырнули подальше за борт и подходим к достижениям искусства с точки зрения боевых заданий пролетарской культуры. Вот почему мы против лирической слякоти Чайковского и халтурных концертов. Мы без оглядки разрываем старое буржуазное наследство во имя творчества новой пролетарской культуры.

По-прежнему концертные залы заполняет скучная публика, а не работницы и трудящиеся. М. Вокс». А за неделю до этой заметки М. Вокс советует быть поближе к рабочим: «Начал функционировать владикавказский театр. Судя по первому спектаклю, он не создан для рабочих и трудящихся вообще. Театр посещают уставший от дневной грязной работы спекулянт и уставший от безделья владикавказский буржуа».

А 3 ноября М. Вокс утверждает, что «Гоголь – фантаст, а не «смех сквозь слезы», как хотели наивно объяснить его творчество. Гоголевские типы – это болезненные фигуры, выверты. Творчество Гоголя несомненно бредовое, нездоровое».

Критика искусства старого строя приводится наряду с различными репрессивными мерами новой власти: заводится

дело 39 красноармейцев, обвиняемых в восстании против советской власти и военной измене. Их ожидает смертная казнь. Работает комиссия по очистке советских учреждений от засевших там саботирующих и неблагонадежных элементов. Комиссия по выселению буржуазии вселяет в квартиры буржуа исключительно рабочих, занимающихся производительным трудом. Булгаков пишет на табуретке – в комнатке, где они живут с Тасей, нет места даже небольшому письменному столу. Но… у Михаила и Таси появляется в городе единомышленник – Борис Ричардович Беме, адвокат, образованнейший человек. Его часто видят в городе с авоськой, наполненной книгами. Все свободное время между судебными заседаниями он использует для чтения. Уважаемая и известнейшая в городе личность.

Миша привлекает его к работе в Подотделе, но за критику Беме берется сам Георгий Александрович Астахов, главный редактор газеты «Коммунист», человек крепкого склада, уверенный в себе, для которого работа в газете лишь первый шаг в политической карьере, который громче прозвучит в критике известного городского адвоката, чем приезжего литератора Булгакова, отданного на расправу М. Воксу.

Газета «Коммунист», 17 апреля 1920 года, «Русская деревня в искусстве. Концерт Подотдела искусств»: «Выступавший перед началом концерта лектор, известный «товарищ» Борис Ричардович Беме неудачно попытался акклиматизироваться в новых условиях.

Даже теперь ставший «товарищем», адвокат Беме не мог отрешиться от привычек старого матерого либерализма при обращении к русской деревне, к народу – обратился не непосредственно к народному творчеству, а к мягкому лиризму русских бар и даже после социалистического переворота не преминул использовать для своей речи бесславное пушкинское «Увижу ли народ освобожденный и рабство павшее…» и т. д., с упорством защищал то положение, что освобождение крестьян шло сверху, а не снизу. Остановитесь, адвокат Беме, остановитесь! Не то, если вы взглянете в то зеркало, о котором говорили, то увидите… хамелеона!»

Михаил и Тася понимают, что борьба местных коммунистов с Подотделом искусств ожесточается. Уже снят с руководства Слезкин. На его месте – Георгий Евангулов, по мнению Миши, очень талантливый писатель, способный вырасти в мастера прозы. Поймут настроение Евангулова – снимут с руководства и его.

Борис Ричардович рассказывает Мише и Тасе о М. Воксе:

– Разумеется, он – профан в искусстве и литературе, но

считаться с ним придется. Недоучка. Бывший студент юридического факультета. Всю жизнь будет доказывать, что он умнее дипломированных. И для Астахова не столь важны его знания, сколько военные заслуги, преданность делу революции. Вокс воевал на германском фронте, командовал ротой, в 1919 году был следователем Десятой Армии на Кавказе и сейчас играет немаловажную роль в ревкоме, а следовательно, и в редакции газеты. Посмотрите, он скоро доберется до Чехова и Пушкина. Подбивает цех молодых поэтов устроить диспут о творчестве и личности Пушкина – конечно, разоблачительный диспут. Вы руководите Лито, а ни разу не бывали в этом цехе.

– Но стихи нельзя поставить на конвейер и вытачивать их, как детали, – замечает Тася.

– Можно, – улыбается Михаил, – хотя мне тоже претит название «цех» по отношению к литературе. Литературный кружок или объединение – нормальные понятия. Мне недавно молодой поэт принес, с позволения сказать, такое стихотворение, видимо, сошедшее с его токарного станка, принятого им за литературный: «В Советской России попавший в отставку буржуй одиноко живет. Он грезит упорно о днях миновавших и в будущем счастье не ждет. И снится ему, что на Западе дальнем, в стране, где царит капитал, по-прежнему свищут нагайки богатых и бедный еще не восстал». Это же отвратительное подражание, хотя бы по ритму: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна». А вот что принесла мне девушка Соня Дальняя, тоже, наверное, псевдоним: «Дайте строить счастье жизни, исстрадался бедный люд, вы ж противитесь новизне, снова жаждете вы пут». Это же сплошная белиберда. Нет, в такой цех литературы я не ходок!

– А зря, – говорит Беме, – ходят слухи, что вас переводят заведовать театральной секцией.

– Это – не беда, – обескуражена этим сообщением, но не показывает огорчения Тася. – Миша собирается написать национальную пьесу о современной жизни.

– Это было бы здорово! Вы сразу бы утерли нос всем своим врагам! – восклицает Беме. – И учтите, что главный ваш враг – Астахов. Вы не читали его рассказ «Бескорыстность», где он открыто и упрямо утверждает, что буржуй – всегда буржуй? Вы, Михаил Афанасьевич, всегда будете у него на подозрении.

Тася раскрывает свежий номер газеты:

– Люди отказываются от самих себя, настолько ими овладел страх перед новой властью. Она даже не считается с иностранными подданными: «На ходатайство персидского консула об освобождении от реквизиции бань Сулейман-Бекова и

Андреева ревком ответил так: все иностранные подданные, причисленные к классу буржуазии, должны подчиняться всем решениям РКП, почему бани от реквизиции не освобождаются».

– Вы очень хорошо сделаете, если напишете пьесу, о которой говорили, – произнес Беме, – вам будут меньше трепать нервы, и соответственно – вашей милой супруге. К тому же вы заработаете кучу денег!

– Я уже собрала черновой материал для этой пьесы. Местные обычаи, – с гордостью говорит Тася.

– Но этого мало, – вздыхает Михаил, – я не знаю в достаточной мере местные быт и историю.

– Я вам помогу найти знающего соавтора, если позволите, – предлагает Беме, – у меня есть на примете интеллигентный человек, присяжный поверенный Пензуллаев. Хотя он по национальности и кумык, но хорошо знаком с жизнью осетин и ингушей.

– Буду вам благодарен, – говорит Михаил, прощается с Беме, спешит в свой Подотдел, где он, оказывается, уже переведен из литературной секции в театральную. Михаил внешне спокоен, но, как обычно, в трудной ситуации повышается его активность. Тут же вступив в новую должность, 28 мая Булгаков составил такое письмо:

«В осетинский отдел наробраза. Прошу Вас в срочном порядке доставить нам списки осетин, желающих заниматься в Народной драматической студии сценического искусства. Студия начнет функционировать на днях.

За зав. Подотделом искусств М. Булгаков».

Тася осталась дома одна с тревожными мыслями. Она боится открыть очередной номер «Коммуниста», зная, что в каждой газете помещается покаянное письмо, автор которого не только отказывается от своего прошлого, но и проклинает его:

...

«Настоящим заявляю, что еще с середины мая прервал всякую связь с партией С. Р. и с октября стал работать в коммунистической ячейке. Причина ухода одна – жизнь гигантскими шагами пошла вперед. С. Р. застыли на месте и превратились в жалкий тормоз, превращаясь в контрреволюционеров.

Знамена С. Р. забрызганы кровью своих же братьев. Под такими знаменами никто не должен оставаться. 11 мая 1920 г.
А. Попов».

Последующее сообщение повергло Тасю в шок. Генералы-ветераны Брусилов, Гутор, Забончковский и другие опубликовали воззвание, выражая готовность положить жизнь за Советскую Россию в борьбе с Польшей, и уже привлечены к делу обороны в качестве членов Особого совещания Реввоенсовета республики. Астахов насмешливо комментировал их решение: «Даже контрреволюционные по своей природе слои врагов заговорили революционным языком».

Борис Ричардович успокаивал Михаила и Тасю тем, что положение во Владикавказе лучше, чем в других местах. От белых офицеров требуют только регистрации в особом отделе Десятой Армии, а не ставят без разбора к стенке, дают работать, даже при ревкомах, как Мише в Подотделе искусств. Проявляются даже зачатки законности. В местный ревком поступают анонимные письма за подписями «красноармеец», «хлебопашец» и другими с доносами на якобы контрреволюционеров, окопавшихся в советских учреждениях. Ревком решил, что все сообщения о контрреволюционерах должны быть подписаны, авторы писем должны полностью указать свои адреса, иначе их письма рассматриваться не будут. А в мае 1920 года выездная сессия Военного трибунала республики, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по ответственности командира конного корпуса Думенко и его штаба, установила, что комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начпрод Блехерт, комендант штаба Колпаков и начальник снабжения Кравченко вели систематическую юдофобскую и антисоветскую политику, ругая советскую власть и обзывая ответственных руководителей Красной армии «жидами», всячески подрывая их авторитет в глазах несознательных кавалеристов, убили политкомиссаров Захарова и Микеладзе. Решено лишить обвиняемых орденов, почетных званий красных командиров и расстрелять. Обо всем этом рассказал молодым супругам Беме.

– Я не знаю, заслуживали ли обвиняемые столь жестокой кары, нет по этому поводу закона, но сам суд над антисемитами – явление знаменательное и на моей памяти едва ли не первое в России. И я не уверен, что последуют другие. При царе ничего подобного не было. Я далеко не идеализирую советскую власть, которую во Владикавказе представляет командарм Десятой

Терской Красной армии Александр Васильевич Павлов, он дитя своего строя, своего времени, есть у него и замечания в ваш адрес, Михаил Афанасьевич. Вы открыли Народную консерваторию, где в списках учащихся можно встретить представителей буржуазного населения, которые, занимая места, затрудняют туда доступ беднейшим. Очевидно, что это вина Подотдела искусств, который рассматривает прошения. Руководство консерватории определенно должно изгнать оттуда детей буржуазии, открыв самую широкую дорогу детям бедноты. И подписался Павлов скромно: «Красноармеец», чувствовал, что не прав, но иначе поступить не мог, требовали революционные обстоятельства.

– Но если ребенок талантливый, то мы можем потерять будущего Рахманинова! – вспылила Тася.

– Можем, – вздохнул Борис Ричардович. – И я не стал бы спорить с газетой, с этим «красноармейцем», поверьте, он далеко не самый худший командир, а тихо делайте так, как считаете нужным.

Михаил кивнул Беме.

Не могу не отвлечься от темы повествования, не рассказав кратко о судьбе командарма Десятой Терской Красной Армии Александра Васильевича Павлова, не безошибочно, но по мере возможности гуманно относившегося к людям. Родился в 1880 году в Витебской губернии, сын крестьянина, получил высшее земледельческое образование. Солдатом воевал с Германией, после чего был откомандирован в школу прапорщиков. После окончания школы был направлен в действующую армию, где за ряд отличий произведен в поручики и награжден офицерским Георгием 4-й степени.

Во время революции, в 1917 году, вошел в состав революционного комитета 7-й армии Юго-Западного фронта и вступил в партию коммунистов. Был оперуправляющим армией в 4500 штыков. В 1918 году до последней возможности защищал Киев. Брал Челябинск, громил главные силы Колчака, в передовом полку смелым наскоком переправился через тонкий лед Иртыша, заставив сложить оружие 15-тысячный гарнизон (1500 офицеров). Потом, в самый трудный момент на Южном фронте, был назначен командиром Десятой Армии. 2 января взял Царицын, вышел на Маныч, совместно с Конной армией Буденного разбил врага и решил судьбу Кавказского фронта. Был награжден массой подарков и высшим орденом – Красного Знамени. Тем не менее его имя кануло в неизвестность. В истории Гражданской войны остался лишь Семен Михайлович Буденный, умевший подобострастно смотреть в глаза Сталину и лихо

танцевать перед ним гопак. Возможно, и все победы Павлова приписаны Буденному. Судьба Павлова неизвестна – то ли ему не простили служение в царской армии, то ли на фоне других командармов он был слишком честным и гуманным человеком, то ли пал в бою, то ли был расстрелян как скрытый враг и контрреволюционер, но имя его стерто и не осталось в памяти современников. Что же касается наших героев, то им повезло, что именно Павлов руководил Владикавказом во время их пребывания там, и не исключена возможность, что царившие при нем порядки давали возможность работать белым офицерам, лояльно относящимся к советской власти, и спасли жизни Михаила и Таси.

Но ни Астахов, ни Вокс не оставляли в покое театральную секцию, руководимую Булгаковым. Не знаю, в чьей голове родился план показать солдатский интерес к классической музыке, вероятнее всего, у Михаила, склонного к розыгрышам. Но именно он и Тася целый вечер готовили письмо в газету «Коммунист» от имени красноармейцев, которых не пустили на оперу «Демон», и Астахов поверил ему и опубликовал, хотя давно не печатал самого Булгакова, помещал лишь критические выпады Вокса против него. Письмо местами носило пародийный характер, но, подписанное «красноармейцами», оказало магическое влияние на Астахова, его сотрудников и увидело свет. В редакции письмо озаглавили «Погоня Подотдела за капиталом»:

...

«5 июня для Кавказского караульного полка был выдан пропуск в 1-й Советский театр с предложением пропустить на оперу «Демон» 25 человек. Администратор театра т. Мамин сказал, что они и так 3 дня работают для красноармейцев, а сегодня у них премьера, и ввиду этого пропускать он нас не может. А сами решили схватить хороший куш и продавали билеты для лиц, занимающих высокие посты, а также имущих владикавказцев буржуев-дармоедов, им за хорошие деньги предоставлялись свободные места и

ложи. Видя все это, приходится вывести заключение, что тот, кто имеет деньги и власть, тот всегда будет на любом из представлений и увеселительных зрелищах. Мы же, красноармейцы, не имеющие ни гроша в кармане, не сможем слушать не только оперу «Демон», что для нас, не имевших возможности смотреть представления в течение полутора лет, из-за своего отступления в горы, не весьма приятно, да и неподходяще. Товарищи, когда же нам, борцам за Советскую власть и героям Красной Армии, отдающим новой власти самое дорогое – жизнь, представится та возможность, за которую мы боремся уже в течение трех лет? Наш девиз – свободное братство и смерть капиталу – поработителю трудящихся.

И что же мы видим? Презренный металл свое берет, а красноармейцы, коим вот именно теперь, и только теперь, нужно просвещение, – они ходят по-за углами, не имея возможности платить 200–300 рублей за билет. В то время как мы служили, невзирая на наши минимальные оклады, Подотдел искусств старается продать билеты подороже, ему жизнь красноармейцев безразлична, ему желательно устроить жизнь артиста так, чтобы он ни в чем не нуждался и жил бы по-старому, жизнью артиста буржуазии, а не рабочего.

Также принято выслушивать советы наших передовиков, вроде т. Асеева, который предложил борцам такое: «Да вы, мол, товарищи, не беспокойтесь, ведь вам, красноармейцам, можно устроиться где-нибудь, ну за моим стулом или в

проходах». Стыдно и позорно в стране, которая борется за равенство и вообще привилегии трудящихся, гоняться за большой суммой денег, как т. Мамин, и, как предлагает т. Асеев, устроиться на помочах. Надо же, в конце концов, понять, что все мы борцы и в свободное время между собой равны, а поэтому для лиц, имеющих деньги и служебное положение, есть свободное место, а для тебя, рядового красноармейца и маленького командира, есть место повисеть в воздухе. Громогласно заявляем, что таким вещам нет места в Советской России!

Просьба другие газеты перепечатать.

(Следуют подписи.)»

– Ну как, Тася? Вроде получилось? – поинтересовался Михаил, не скрывая удовольствия от написанного.

– Прекрасная стилизация! И бедственное положение артистов задето! Завтра начнется в городе шумиха! – сказала Тася.

Рано утром она побежала в газетный киоск и купила газету.

– Я же просил купить три экземпляра! – удивился Михаил.

– Неудобно было. Вокруг продавца столпился народ. Я взяла один номер, чтобы не обращать на себя внимание. Ведь все знают, что я жена Булгакова, – грустно вымолвила Тася. Михаил, чтобы скрыть смущение, посмотрел в окно. Вот уже прошла неделя, как он репетирует в театре свою пьесу «Парижские коммунары» и после каждой репетиции провожает домой актрису Ларину, играющую в пьесе парнишку с баррикады Анатоля Шоннара. Миша послал пьесу на конкурс в Москву, об этом сообщили в местной газете, даже о том, что ее постановка готовится в центре. Это его собственная выдумка, чтобы привлечь внимание актрисы, заинтересовать ее ролью. В приписке к письму Наде Михаил не может сдержать своих чувств: «Пойду завтра смотреть во 2-м акте моего мальчика Анатоля Шоннара. Изумительно его играет здесь молодая актриса Ларина». Над ролью Шоннара он работает особенно тщательно. Меняет фразы, реплики, вместо Анатоля дает ему имя Жак – все с целью показать актрисе свое внимание и расположение. Георгий Евангулов просит Михаила срочно

явиться в Подотдел, чтобы достойно ответить на письмо красноармейцев. Этого требует Астахов. «Красноармейцы не могут жить без «Демона», – чешет он затылок. – Никогда не подумал бы. Растет народ. Не по дням, а по часам. Опера – еще куда ни шло, но Гоголя, Чехова, Пушкина… Дурить народу голову их бреднями мы не позволим!»

Булгаков не появляется в Подотделе. Его видят с Лариной в том кавказском кафе, где подают шашлыки с аракой.

Евангулов сам пишет ответ газете: «В тот вечер, когда произошло недоразумение, все билеты были проданы. Пускать же в зал зрителей сверх комплекта нельзя. Что же касается того, что Подотдел искусств старается продать билеты подороже, то довожу до сведения красноармейцев, что артисты совершено не заинтересованы в приходе денег в кассу, так как вся касса полностью, без вычетов, поступает в Народный банк. Артисты же получают свое жалованье, как все служащие. То, что посещать театр в первую очередь имеют право буржуи, неправда. Три раза в неделю идут бесплатные спектакли для красноармейцев…»

Евангулов склоняется над письмом. Он честный талантливый человек и понимает, что оно не во всем правдиво, смахивает на обычную отписку. Лучше о том концерте известно Булгакову, но куда он запропастился?

Начало мая. Во Владикавказе расцветает весна. Тепло. Деревья оживают после зимней стужи, покрываясь нежной зеленой листвой. Тася садится на скамейку в Александровском сквере. Рядом усаживается высокий стройный осетин и бросает на нее пламенные взгляды. По выправке – бывший белый офицер. Он уже несколько дней буквально преследует Тасю на улицах, на базаре, караулит у ее дома. Она хмуро и осуждающе смотрит на него, видя, что он хочет заговорить с нею. Он не решается. В душе Тася не против поговорить, чтобы отвести душу. Но она – ангел Миши, в любом случае, как бы он ни вел себя. Они повенчаны и не расходились. Она не жалеет, что поклялась быть его ангелом. Видимо, вообще трудно быть ангелом, тем более такого увлекающегося и интересного мужчины, как Миша. Лучше не думать о его Лариной. У нее по-детски наивные красивые глаза, чувственные руки, она привлекательна своеобразной мальчишеской угловатостью…

Внезапно Тася резко поднимается со скамейки. Она покажет Мише, что в трудные моменты тоже способна на эмоциональный взрыв. Она не собирается устраивать скандал, сцены ревности, а садится за письменный стол. Ее заметка через три дня появляется в газете «Коммунист». Заметка не столь иронична, как Мишина статья, но основана на факте и весьма парадоксальна: «На днях в

советских учреждениях раздавался табак. Получили его только работники-мужчины, а работницы-женщины были лишены этого права. А разве женщина не несет одни с мужчиной повинности и ответственность? Советская власть старается сделать все, чтобы женщина чувствовала себя равноправной с мужчиной всюду – от фабрики до театральных подмостков, а кто-то пытается лишить ее этих прав, вернуть к старому униженному положению, мол, то, что позволено мужику, не позволено бабе. Таким мужчинам не должно быть дано право решать проблемы, связанные с мужчинами и женщинами, им не должно быть места в советских учреждениях».

Тася купила пять номеров газеты со своей заметкой и разбросала их по комнате. Миша натолкнулся на одну из них, раскрыл, быстро нашел Тасину заметку, хотя она была без подписи, и удивленно посмотрел на жену:

– Тася, ты же не куришь?!

– Да! Ангелы не курят! – с сожалением вымолвила она. – Но тоже умеют писать, как видишь. Не совсем бесталанны. Что у тебя новенького?

– Ничего особенного, – вздохнул Миша. – Вокс разразился рецензией по поводу «Парижских коммунаров» и впервые не разнес в пух и прах. Даже похвалил актрису, играющую Жака Шоннара. Но пьеса слишком громоздка для сцены нашего театра. Отыграем еще два-три спектакля, и все. Ларину пригласил Пятигорский театр. Она с мужем уезжает туда через месяц.

– А ты?

– Что я?! – вздрогнул Михаил. – Я остаюсь со своим ангелом.

Он подошел к Тасе, обнял ее за плечи и грустно посмотрел ей в глаза, словно искал у нее сочувствия. Тася едва не разревелась, но сдержалась. Свою судьбу она выбрала сама… Завтра она понесет ювелиру последнее кольцо из свадебных подарков.

Михаил знает об этом и на днях начинает писать пьесу из жизни ингушей с бывшим присяжным поверенным Пензуллаевым. Добрый, полноватый мужчина, детство провел в ауле. Миша придумает сюжет, а Пензуллаев насытит его местным колоритом. В пьесе будет говориться о старых обычаях, от которых надо отрешаться, о таких, как кровная месть, калым… Значит, Тася не зря собирала национальные обычаи для Миши. Она могла бы быть ему более полезной в работе, если бы он захотел…

Тася знает, что Миша пишет революционную пьесу под названием «Сыновья муллы», но уверяет ее, что развязка будет отнюдь не революционная.

Шуму в городе наделали выборы меньшевика Васильева в Совдеп. На собрании профессиональных союзов он в своей речи

назвал большевиков лгунами и политическими мошенниками. Говоря о предположительном мирном соглашении с Эстонией, Васильев подчеркнул, что оно обойдется русскому народу в 15 миллионов золотых плюс эксплуатация дорог плюс бесплатная концессия леса в Олонецком крае. При невероятном гвалте и шуме он рассказал о том, что снятие английской блокады тоже будет недешево стоить русскому народу, а именно пяти концессий на разработку леса в Архангельском крае. Обстановка накалилась настолько, что большевикам пришлось сорвать собрание при помощи вызванной военной силы. Но все-таки большинство поверило Васильеву, и его выбрали в Совдеп. Михаил внутренне торжествовал:

– В этой стране остались умные и честные люди. Их будут уничтожать, но всех не пересажать в лагеря и тюрьмы. Когда-нибудь рассеется страх, и эти люди вернут страну на цивилизованный демократический путь. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную…» Впрочем, ты можешь дождаться ее, Тася. Ты – ангел. А сколько живут ангелы? Один Бог знает.

– Но не забудь, Миша, что я земной ангел… Что, помимо своих ангельских дел, живу и страдаю, как и другие люди… Иди к Пензуллаеву. Он ждет тебя. Присяжные поверенные любят точность. Для них это признак надежности человека и мера его уважения к ним. Впрочем, это свойственно не только присяжным поверенным…

– …но и ангелам, – добавил Михаил полушутливо и полугрустно.

Конец мая 1921 года. По-летнему теплый вечер. Со всех сторон к зданию 1-го Советского театра Владикавказа направляются потоки людей. На небольшой площади перед зданием театра установлен трехметровый цветной плакат. На нем горец в черкеске и папахе в поднятой руке сжимает маузер. Афиша возвещает: «Смотрите новую пьесу в 3 актах из жизни ингушей «Сыновья муллы». Авторы на афише не указаны, но, как потом писал Булгаков, ее создавали трое: он, кумык Пензуллаев и голодуха. Потом Михаил Афанасьевич просил сестру уничтожить его первые пьесы как слабые, несовершенные, хотя шли они, по его выражению, «с треском успеха».

Тася была на премьере каждой из них, бешено аплодировала артистам и автору, когда они выходили на поклон к зрителям, спорила с Михаилом о достоинствах пьес, доказывала ему, что они не так плохи, как он считает, и пусть публика приходит на них не та, о которой он мечтал, просто другой в этом городе нет, и декорации примитивны, и артисты полусамодеятельны и играют на уровне коллег не из лучших провинциальных театров,

но зрителям они нравятся. В пьесах нет ни пошлости, ни дешевки, что обычно привлекает непритязательную публику, и главенствует гуманная мысль, доброе настроение, и не случайно его злейший враг М. Вокс разразился ругательнейшей рецензией на пьесу «Братья Турбины».

– Я сохранила вырезку из газеты, – однажды сказала Тася.

– Зачем? – нервно заметил Михаил. – Злобная рецензия.

– Но она о тебе, Миша, понимаешь? Сегодня кому-то кажется злобной, а потом станет бедой рецензента, проявившего свой злобный антикультурный характер. Времена меняются…

– Но очень медленно, – возразил Миша, – сегодня эта рецензия – поток грязи, вылитый на меня.

Тася дальше не стала спорить с Мишей, тем более он собирался переделать эту пьесу в большую драму.

Начал писать роман о Белой гвардии, но на вопрос Таси, о чем будет роман, сказал резко и кратко:

– О людях. Даже тебе известных. Напишу о том, какими они были.

Тася сохранила вырезку из газеты, хотя даже тон, в котором она была написана, раздражал ее: «Мы не знаем, какие мотивы и что заставило поставить на сцене пьесу Булгакова. Но мы прекрасно знаем, что никакие оправдания, никакая талантливая защита, никакие звонкие фразы о «чистом» искусстве не смогли бы нам доказать ценности для пролетарского искусства и художественной значительности слабого драматургического произведения «Братья Турбины». Мимо такой поверхностной обрисовки бытовых эпизодов из революционной весны 1905 года, мимо такой шаблонной мишуры фраз и психологически тусклых, словно манекены, уродливых революционеров мы прошли бы молча. Слишком плоски эти потуги домашней драматургии. Автор устами резонера в первом акте, в сценах у Алексея Турбина с усмешкой говорит о «черни», о «черномазых», о том, что царит искусство для толпы «разъяренных Митек и Ванек». Мы решительно и резко отмечаем, что таких фраз никогда и ни за какими хитрыми масками не должно быть. И мы заявляем больше – что если встретим такую подлую усмешку к «чумазым» и «черни» в самых гениальных страницах мирового творчества, мы их с яростью вырвем и искромсаем на клочья. И потому, что эти «разъяренные Митьки и Ваньки» вершат величайшее дело в истории человечества. И потому, что к ним тянутся с такой любовной надеждой все трудовые, задавленные банкирами люди. Как тянется к недавно посланной сторожевке на Памир, на крышу мира, из этих «разъяренных Митек и Ванек» вся трехсотмиллионная Индия. Тянется с воплями проклятия и гнева

на «джентльмена в кепи» и с радостными призывами, когда эти же северные «пришельцы» принесут вместе с песнями освобождения к ним в джунгли кумачовые зори».

Примерно через месяц эта вырезка попадется на глаза Михаилу, и он обнимет Тасю:

– Спасибо, милая, что сохранила эту белиберду, это сплошное передергивание фактов, поток физиологической злобы к автору. Раньше эта рецензия взбесила бы меня, а сейчас вызывает желание написать объемную многоплановую пьесу, наверное, с тем же названием. Я постараюсь забыть об авторе этой рецензии и писать пьесу днями и ночами, вкладывая в нее всю душу, а если и вспомню автора, то с благодарностью, что он подвиг меня на сотворение, быть может, лучшей моей пьесы.

Тем не менее все до одной первые пьесы Михаила Булгакова по его воле были уничтожены. Чудом сохранился напечатанный на папиросной бумаге суфлерский вариант пьесы «Сыновья муллы». С ингушского на осетинский язык его перевел основатель осетинского национального театра, режиссер и актер Беса Тотров, а мне с осетинского на русский бегло, в основных деталях содержание пьесы перевел один из сотрудников Института истории Северной Осетии.

Действующие лица: мулла Хассбот, Магомед – офицер, Индрис – студент, Фати – жена муллы, Ялберт – сосед, Аминад – возлюбленная Магомеда, Юсуп – друг Индриса, сельчане, пристав, староста. Между первым и вторым действием проходит три дня, между вторым и третьим – один день.

Вернулся с фронта старший сын муллы Хассбота. В кунацкой комнате накрыт стол. Гости пируют, хвалят хорошо приготовленное мясо. За столом мулла, староста, Аминад… Гости желают благоденствия хозяину. Позвали Магомеда. Он говорит о том, что ему нравится Аминад. Неожиданно появляется Индрис. Все удивляются его приезду, до каникул еще далеко.

Сосед Ялберт приглашает гостей к себе, где можно посидеть в более свободной обстановке, так как мулла не разрешает пить спиртное. С отцом остается Индрис. Мулла спрашивает у него, почему он приехал не в каникулы, как делал раньше. Индрис отвечает, что будет работать учителем, но без зарплаты. Мулла не понимает такое решение сына, ведь он затратил деньги на его образование. Индрис мнется и боится сказать отцу, что стал революционером. Мать обнимает, ласкает сына, а отец считает, что он болен, советует ему обратиться к врачам.

Индрис просит отца и других гостей, чтобы они никому не говорили о его прибытии. Тем более что к нему приехал его соратник Юсуп. Центральный комитет партии, в котором состоят

Индрис и Юсуп, арестован. Поэтому Юсуп, опасаясь ареста, сбежал домой. Индрис дает ему поручение – съездить в город и привезти оттуда листовки. Затем наедине остаются Магомед и Аминад. Они любят друг друга, но Аминад убегает, когда в комнату входит Индрис. Он упрекает Магомеда, напоминая ему, что в юности они мечтали вместе помогать народу, посвятить ему свои жизни, а теперь старший брат стал офицером и забыл о прошлых разговорах.

Вскоре мулла узнает, что Магомед хочет жениться на Аминад, требует большой калым от ее семьи, говорит об этом Индрису, но тот не соглашается с отцом. Тогда Магомед решает украсть невесту. Индрис обещает помочь ему. Вдруг появляется пристав со стражниками. Они собираются арестовать Индриса, который обращается к залу: «Когда же настанет время, что мы уничтожим кровную месть, калым, всю эту тьму невежества и предрассудков?! Когда ингуши поймут, что им нужна новая власть?» Староста и стражники пытаются арестовать Индриса, но ему на помощь спешат Юсуп и односельчане. Они очищают сцену от стражников. И в этот момент сидящая в зале Тася вздрагивает, так как слышит выстрел, за ним второй, третий… Падает штукатурка с потолка. В зале царит невероятный шум – зрители выражают свою радость криками и даже выстрелами в потолок. Юсуп перекрывает шум в зале громким голосом:

– Ингуши! Вы теперь свободны! Как и весь народ!

Магомед срывает с себя погоны и обнимает брата. Они снова вместе, как и в юные годы.

На поклон выходят артисты, авторы пьесы. Булгаков смущен. Он рад успеху, но чувствует, что смазана концовка, что зрители не поняли его мысли о том, что между братьями и вообще народом не должно быть гражданской войны. Но зал продолжает неистовствовать.

За кулисами артисты устраивают банкет за счет авторов – туземный отдел наробраза отвалил им за эту пьесу громадную сумму – двести тысяч рублей. Тася смотрит на возбужденных артистов, вспоминает мечту Миши о больших залах в крупных городах, и ей представляется такой зал в Москве, наполненный самой утонченной публикой… Она не может только установить время, когда это будет, какая пьеса будет играться, напрягает все ангельские силы и догадывается, что это будет не скоро, и вместо автора на сцене появятся его портреты, и она, уже не как земной, а обычный ангел, будет невидимо витать над ними.

Глава шестая Памятный Владикавказ

Город замер в ожидании неодолимых перемен. Шумно было только у машин и конных повозок, направляющихся по Военно-Грузинской дороге в Тифлис. Закрылись многие лавки и магазины. Только в одной лавке, хозяин которой закупил большую партию балыка, торговали рыбой за старые деньги, называемые «ленточными» – узкими и длинными, как лента. Общее уныние охватило город, и даже казалось, что поник бронзовый Александр I, красовавшийся у входа на Александровский проспект. И лошадь под ним выглядела обреченной и служащей большой мишенью для вражеской пули. Клемансо писал о царе, что этот «человек становится сильным, когда борется за существование своей Родины».

Но царь, освободивший Россию от наполеоновского нашествия, еще в 1875 году почил в городе Таганроге и ничем не мог помочь своим сородичам, ни гордым видом, ни своими подвигами, за которые, кстати, отказывался принять награды, не принял титул Благословенного. И запретил возводить ему памятник в Санкт-Петербурге с надписью: «Александру Благословенному, Императору всей России, великодушному восстановителю Европейских держав, благодарная Россия», словно предчувствовал, что через сотню лет изменится Россия и люди новых поколений снесут его памятник на свалку, что и произошло в 1923 году. Дальновидным был Александр I и даже издал указ: «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как оный сооружен в чувствах моих к вам!» И до сих пор в народе центральный проспект города, официально именуемый Ленинским, люди зовут Александровским, видимо, многие по привычке, а иные и потому, что он напоминает им давние, более добрые, чем теперь, времена.

Георгий Евангулов в рассказе «Суфлер из будки» дает впечатляющую картину Владикавказа перед приходом красных: «Город был похож на издыхающее животное. Оно не умерло, а вороны клевали глаза, стаи мух жужжали над зияющими ранами. По вечерам улицы уже не были освещены, погасли витрины магазинов, и на затихших улицах одиноко выглядывали на театральной площади огни театра и цирка. Какая бы опасность ни угрожала городу – зрелища уходят последними. Зрелища – это воздух, без которого можно задохнуться в сгущающейся атмосфере опасности. Зрелища как бы подхлестывают тот остаток

воли, который еще скоплен у этого сдыхающего животного-города. И чтобы облегчить его страдание, еще не хватало выстрела. И выстрел раздался. Двенадцать четких взрывов один за другим сотрясли город в одно прекрасное утро. То взрывались пороховые склады… Белые врывались в дома, в уцелевшие магазины и, взламывая, уносили то, что даже не могло пригодиться. В руке одного – ведро с халвой, у другого вместо фуражки цилиндр, у третьего в руках пакеты с медикаментами».

Люди теряли голову. На грани помешательства находилась и Тася, но держала себя в руках как могла. У нее была одна цель – сейчас спасти от смерти больного мужа и потом, если он выздоровеет, спасти от рук красных. Белый офицер, даже в мундире военного врача, все равно для них буржуй.

Случилось непредвиденное, но вполне возможное. Сыпной тиф косил людей. Юрий Львович Слезкин в своем дневнике писал: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, – испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе… Позвали другого…»

Зная сложнейшие, особенно потом, уже при советской власти, взаимоотношения этих двух незаурядных писателей, вполне можно усомниться в том, что Булгаков «испугался до того, что боялся подходить близко», а отказаться лечить мог, но не из-за опасности болезни, а не будучи специалистом по ее лечению. Это выяснилось очень скоро, когда он заболел сам. Начались головные боли. Поднялась высокая температура. Жар был – хоть выжимай рубашку. Никаких поручений Тасе он не давал, она сама обратилась к местному очень хорошему врачу, потом приходил начальник госпиталя. Их диагнозы совпали – у Михаила возвратный тиф. Эта болезнь обычно возникает тогда, когда на ранке, сделанной вошью, саму ее раздавливают. Врач сказал, что это очень заразная болезнь, вызываемая спирохетами Обермайера. Лучше больного изолировать.

– Куда? – изумилась Тася. – Кто будет ухаживать за Мишей? Я у него – одна!

Военный врач хотел поместить больного у себя в госпитале, но предупредил, что госпиталь может покинуть город в любое время, возможно, даже сегодня вечером или завтра утром.

– Если будем отступать, ему ехать нельзя. Вы не довезете его до подножия Казбека.

– Пусть остается дома, – решила Тася.

– Тогда знайте, – сказали врачи, – что у больного возможно чередование лихорадочных приступов. Инкубационный период

закончился. Об этом говорит внезапное начало болезни, с ознобом, с температурой свыше сорока градусов. Появляются сильная головная боль в затылке, в икрах ног, крестце, тошнота, рвота, сонливость, бред, менингизм… Тяжелейшее заболевание, – вздохнул местный врач, – смерть может наступить от коллапса…

Тася пошатнулась, даже присела на стул, чтобы не упасть.

– Смерть…

– Не обязательно, – неожиданно приободрился местный врач, доброжелательный человек и лучший специалист по тифу во Владикавказе, – смертность от возвратного тифа не превышает в среднем пяти процентов, ваш муж – молодой мужчина, и я думаю, он пересилит болезнь. Но как врач должен вам сообщить все варианты болезни. Способствует ей ослабление иммунитета от сильного переутомления, голода во время безработицы, войны… Одно или два из этих явлений мы сейчас наблюдаем. Мой совет – лечить тяжелобольного дома. Я дам лекарства, скажу, как вести себя и ухаживать за ним…

Начальник военного госпиталя посуровел:

– Болезнь заразная, Татьяна Николаевна. Не забывайте об этом. Довезем мы вашего супруга до кинтошек (Кинто – грузинский весельчак из народа. – В. С.) или нет – это вопрос. Но что тут сделают красные с деникинским офицером?

– Ведь он никого не убивал, он – врач, – возразила Тася.

– Попробуйте это объяснить каждому встречному и поперечному, этим чекистам, – вздохнул начальник госпиталя.

– Постараюсь, – уверенно сказала Тася.

– Вам решать, голубушка, времени действительно осталось немного… – заключил начальник госпиталя и откланялся.

Местный врач не стал спорить с коллегой, но пришел к выводу, что шансов выжить у Миши больше здесь, чем в дороге.

– Если нужно, вызывайте меня в любое время, не стесняйтесь, – сказал местный врач.

Тася осталась рядом с Михаилом, находившимся в бессознательном состоянии. И болезнь Булгакова, и отъезд его части пришлись некстати, все сложилось катастрофически нелепо. Еще на днях начальник Владикавказского отряда полковник Дорофеев сказал сотрудникам газеты «Кавказ», что керенщина, то есть демократия, должна быть забыта. «Твердость воли – залог порядка. Будет порядок – власть наладится». Тася почувствовала, что он говорит общие слова, а ничего конкретного для спасения города предложить не может. «Современная власть должна идти к народу, а не изолироваться от него. Власть должна отрешиться от личных интересов и всю работу подчинить вопросам государственным».

– А спасение Миши? Это личный вопрос или государственный? – сама себе задала вопрос Тася.

Она сменила намоченную холодной водой повязку на его лбу. Под руку попала газета со статьей Николая Покровского «Ветры буйные». «Люди, попавшие в ЧК, часто исчезают, – писал Покровский о положении в Совдепии, – и семьи не могут добиться сведений об их судьбе. Голодают все, но граждане великой страны превращаются в какие-то ветры буйные, у которых нет ни роду, ни племени».

Тася склоняется над Мишей. От болей у него искажено лицо. Но главное – он жив, борется с болезнью. Он не буйный ветер. Он постоянно думает о матери, о сестрах, о судьбах Николки и Вани, пока ему неизвестных. Он уверен, что если они живы, то ушли с белыми, но не знает, как по свету раскидала их жизнь. Его семья, Тася, то, что он пишет, желая улучшить жизнь в стране, – это и есть его родина. Но тут как страшный кошмар возникает в ее сознании Мишин рассказ о расстреле заложников в Пятигорске, куда он выезжал перед самой болезнью. Мысли путаются в голове Таси, но этот рассказ забыть невозможно. И о том, что в Новочеркасске состоялось великое церковное торжество – освящение памятника «Спасение Дона от ига большевизма» на месте, где зверски были замучены донские атаманы Назаров и Волошников.

Михаил ездил в Пятигорск – наверное, для того, чтобы написать статью, посвященную годовщине расстрела. Захворал, не успел, и газета уже закрыта, и сотрудники, видимо, мчат к Тифлису, если уже не добрались до него, и едут в Батуми, откуда уходят пароходы в Турцию и другие страны.

Тася подходит к столу, за которым писал Михаил, и перечитывает его наметки к статье: «Суббота, 19 сентября 1919 г. Год назад в Пятигорске на склоне горы Машук были зарублены 75 заложников, взятых советской властью как представители офицерства и буржуазии. Это происходило в холодную ветреную погоду, под мелким дождем и в густом тумане. Заложников по 10–15 человек подводили к глубоким ямам, заранее вырытым на городском и Холерном кладбищах, приказывали раздеваться, ставили на колени у края могил и рубили шашками по шеям, которые заставляли выставлять вперед. Красноармейцы и матросы получали по 10 рублей с головы казненного. Рубили неумело, по 2–3 раза, пока не добивались своего. Эта ночная работа настолько утомила их, что за ними был выслан автомобиль.

Среди заложников были генералы Рузский и Радко-Дмитриев, чьи имена вошли в русскую историю. Их и других казнили не за

то, что они восстали против большевизма или пытались с ним бороться, нет. Они на всякий случай были обезврежены, заключены под стражу, в основном больные и престарелые люди. Их уничтожили как возможных классовых врагов. Это был, кроме того, акт мести, преднамеренный. По постановлению Пятигорской Чрезвычайной комиссии использовался мятеж большевистского главковерха, из фельдшеров, кубанского казака Сорокина. Когда он, «ярый» юдофоб, стремясь к мести и, возможно, к власти, самолично перебил своих коллег по ревкому евреев Рубина, Дунаевского, Рожанского и других, участь заложников была решена. Сам Сорокин сел на лошадь и ускакал к ближайшей деникинской части.

Другие инородцы, руководящие Краевой Чрезвычайной комиссией, – Анджиевский, Атарбеков, Стельмахович и Кравец – объявили, бездоказательно и лживо, Сорокина наймитом буржуазии и от имени трудящихся масс изрубили заложников. Интеллигентное русское дворянство, в том числе офицерство, никогда не было антисемитским, даже боролось за создание евреям прав, равных с русским народом. Надо было судить Сорокина и наказать людей, проглядевших в нем убийцу, выбравших его в ревком. Но при чем здесь заслуженные генералы? И как можно самих себя объявить выразителями дум трудящихся масс?» Тася подумала, что Миша прав. Это был настоящий и зверский самосуд над ни в чем не повинными людьми. При таких порядках можно убить любого человека, показавшегося не очень-то красным, тем более деникинским офицером, хотя и врачом.

Миша застонал и оторвал Тасю от тяжких размышлений. Но она снова и снова думала о его судьбе. Ничто и никто не мог отвлечь ее от этого. Ни протиснутое под дверь объявление о том, что солидное товарищество принимает на себя охрану квартир, движимого и недвижимого имущества, делает это с гарантией. Спросить в доме 22 на Воздвиженской. Ни врученная ей на улице листовка, призывающая людей выполнить долг справедливости перед своими братьями, жертвующими своими жизнями за нашу свободу, покой и мир. Объявлялся сбор теплой одежды. «Разве можно допустить мысль, – писалось в листовке, – чтобы не дрогнуло ваше сердце при воспоминании о том, что где-то на околице занесенной снегом деревеньки стоит верный часовой в легкой летней шинелишке, мерзнет, да так, что начинает застывать сердце, ноги наливаются свинцом, пальцы рук не чувствуют прикосновения заиндевелого ствола винтовки, и из печальных глаз катится горячая слеза и тянет, обжигая бледную щеку своим ледяным прикосновением. Часы этого страдальца

сочтены… Сотворите чудо Святителя, подойдите незаметно и накиньте на застывающее тело теплую одежду. Так мало можно сделать и так много дать счастья. На семейном торжестве обручения А. Сукасянца и О. М. Петросовой в доме родителей невесты было собрано 3500 рублей на покупку теплых вещей для Доброволии. Было бы очень хорошо, чтобы этот добрый пример нашел себе возможно больше подражателей».

Тася не без интереса прочитала объявление о том, что из Тифлиса прибыли автомобили. Желающие ехать благоволят записаться в конторе на улице Московской, «Гранд-отель», 1-е трудовое товарищество шоферов.

Тася не заметила, что сегодня появились и закричали на владикавказских тополях первые предвестники весны – скворцы. Прежде они с Мишей порадовались бы их крикам, весне, более яркой и быстрой, чем в Саратове и даже Киеве… Но сегодня Тася думала только об одном – спасении Миши. Ее напугали и его наметки к статье о трагедии в Пятигорске, и опубликованная в одном из последних номеров газеты телеграмма: «По сведению разведывательного отделения штаба Верховного Главнокомандующего, при занятии большевиками посада Иловайского ими были изрублены все беженцы и больные, не успевшие уйти с войсками».

Слезы застили Тасины глаза. Миша, едва шевельнув губами, попросил воды. Она стремглав бросилась выполнять его просьбу. И неожиданно прекратился поток слез, просветлела голова. Тася твердо и окончательно решила не отправлять Мишу из Владикавказа. Здесь он с нею. Здесь есть надежда, большая надежда, что он выживет. Даже в машине он вряд ли осилит дорогу до Тифлиса. Что станется с Мишей, когда придут большевики, неизвестно, хотя обстановка будет тяжелая. Это ясно из газет. Но Михаил служил в составе Международного Красного Креста. Он – врач. Лечил раненых: и белых и красных.

Только захотят ли в этом разбираться большевики? Вопрос… И все-таки пока Миша жив, пока они вместе, есть надежда, что все для него обернется не столь ужасно, как можно предположить. «Я выбираю надежду! – мысленно обратилась она к Мише. – Потом не суди меня за это! Прошу тебя, Миша! – вдруг опять зарыдала она, ставя ему градусник. – Снова за сорок!» Но об этом предупреждал доктор, и Тася, накинув легкое пальтишко, поспешила к врачу.

– Доктор, у Миши снова температура за сорок, он закатывает глаза, не видно даже зрачков, дышит еле-еле. Я не знаю, как помочь ему!

– И я не знаю, дорогая, – неожиданно замечает врач, – у

вашего мужа первый или второй приступ, более шести не бывает, да и это в очень редких случаях. Ваш муж – врач, служил в земстве и наверняка изучал медицинскую литературу, знает, что при возвратном тифе вырабатываются антитела, которые вызывают гибель возбудителей болезни – спирохет, окончание приступа и наступление светлого промежутка. После ряда приступов больной справляется с инфекцией. Поэтому только его организм знает, когда наступит окончание болезни. Будем ждать и надеяться. Вы поступили правильно, не отправив мужа в Тифлис вместе с госпиталем. Его ослабленный организм мог не выдержать трудностей дороги. Чаще проветривайте комнату, но осторожно, не застудите больного. Кстати, тщательно мойте посуду и сама не заразитесь. А в доме не должно быть этих чертовых вшей! От них наступила беда. И не бывайте в помещениях, где много народа. Вы меня поняли, барышня? Кстати, вы знаете, что уже четвертый час ночи?..

– Извините, доктор…

– Не надо извиняться. Это специфика нашей работы – лечить больного в любое время суток, ехать к нему, где бы он ни находился.

– Уж с этим я знакома, – вздохнула Тася.

– Так помогите мужу сопротивляться болезни. Лекарства, что я выписал, слава богу, еще имеются. Но придут большевики, национализируют аптеки, и их бывшие хозяева припрячут лекарства, вспомните мои слова. Запаситесь хотя бы аспирином.

– Спасибо, доктор, извините за ночное вторжение, – покраснела Тася, – но муж – белый офицер, что с ним могут сделать большевики, страшно подумать.

– Страшно, – согласился доктор, – всем нам страшно. Мы служили старой власти. Но мы не воевали – ни врачи, ни адвокаты, ни учителя, ни торговцы. Да и потом, кто-то должен лечить и учить?

Позднее писатель Исаак Бабель изобразил Конармию Буденного в одноименном романе как полупартизанское соединение. Это не понравилось Буденному, и журнал «Октябрь» в 1924 году напечатал его опровержение, после которого писателя начали преследовать. Буденный еще в начале Гражданской войны потребовал написать песню о его славных воинах. Ему привели молодого, невысокого и полного паренька, который оказался композитором. Песня о буденновцах удалась. Помните: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» Правда, злые, а может, и правдивые языки утверждали, что братья Покрасс – Дмитрий, которого вызвал Буденный, и Даниил, вместе с поэтом Д'Актилем до

захвата их города красными пели в ресторане эту песню, изменив в ней только первую строчку текста: «Мы белые кавалеристы, и про нас…» Можно поверить в это.

Тася мучительно думала о том, как они с Михаилом будут жить при красных. Он – белый офицер, она – дочка действительного статского советника, хотя и казначея, но с точки зрения большевиков – отпетого буржуя. Миша как-то предупредил ее – никому не рассказывать о своем происхождении.

– А как же я устроюсь на работу? Могут спросить, кем был отец.

– Молчи об этом. А лучше устраивайся туда, где такие вопросы не задают. Ну хотя бы… – не договорил Миша, имея в виду самую черную работу.

Тася тогда не поняла – заботится ли он о ее жизни или ему безразлична ее дальнейшая судьба. Сейчас она не думала об этом. Она приняла решение, как глава семьи, может быть, решение, определяющее их жизнь, и вдруг, вместе с гордостью за себя, с грустью почувствовала, что навсегда рассталась с романтической гимназической молодостью, с беспечностью, с влюбленностями и флиртами, что даже такого прекрасного, хотя и сложного романа, которым начиналась их любовь с Мишей, уже не будет. Сейчас нужно думать не о том, как жить, а о том, как выжить. Большевики – не единичные бомбисты из Саратова. Их масса, толпа, но хотелось бы верить, что и среди них окажутся приличные люди. Нельзя в один момент заменить целый народ другим. Многие приличные и уважаемые люди укатили в Тифлис, а оттуда – в Батуми, на корабли, везущие в Стамбул, а далее – по всему свету. Но многие остались, даже бывшие генералы-отставники, богатые осетины, персы, которые надеялись, что если у них отнимут заводы и концессии, то оставят хотя бы возможность руководить ими. Кто был ничем, тот, ничему не научась, не сможет стать всем. Остался лучший во Владикавказе адвокат Борис Ричардович Беме. То ли предвидя для себя широкое поле деятельности для защиты людей, чьи права могут быть попраны, то ли потому, что у него родился сын Лева и пускаться с крошечным ребенком в дальнее путешествие он не решился.

У Миши прошел приступ и наступило временное облегчение. Он не мог говорить от слабости, но Тася прочитала в его глазах вопрос: «Где была поздней ночью?» – «У врача, – вслух ответила Тася. – Он верит в твое выздоровление. И я тоже». Тася осторожно сняла рубашку с Михаила, тщательно просмотрела постель, порылась в его негустой шевелюре – вшей не было! Упаси от них Господь! Миша понял ее действия и улыбнулся, насколько

хватило сил, уголками губ. Второй приступ оказался сильнее первого. Миша хрипел, поднялась высокая температура, однако утром резко упала до тридцати пяти градусов. Тася впервые легла на кровать. Она не спала трое суток. Судя по описанию болезни врачом, кризис миновал. Она боролась со сном, но безуспешно. Сон сковал ее веки. Но через час вдруг проснулась, видимо, сработало подсознание: она оставила больного без присмотра! Но увидев спящего, мерно дышащего Мишу, позволила себе уснуть еще на несколько часов.

В письме двоюродному брату Косте от 1 января 1921 года Михаил, кроме всего прочего и, видимо, для него весьма важного, а именно его литературных дел, написал: «Ты спрашиваешь, как поживаю. Хорошенькое слово. Именно поживаю, а не живу. Мы расстались с тобою приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня… Чуть не издох…» О Тасе в письме ни слова. Литературная работа увлекла его, он думает только о написанных рассказах и пьесах, о размышлениях по этому поводу. А во Владикавказе, впервые приподнявшись на подушке, набравшись сил, он с трудом, но вымолвил:

– Ты мой ангел, Тася! – И она тут же забыла о всех своих переживаниях, она была счастлива, что Миша любит ее и все трения между ними исчезли.

У Таси были времена, когда казалось, что ее личная жизнь рассыпается, как ртуть из разбитого термометра, на мелкие капельки, которые никогда не собрать воедино. Погиб на фронте в первом бою любимый брат Женька. Она сильно горевала о его гибели, смотрела на его вещи, привезенные вестовым, как на святыни, боялась поначалу притронуться к ним, а потом собрала волю в кулак и повесила в тот же шкаф, где они висели, – пусть ждут хозяина, всякое случается на войне, может, еще вернется. Но чуда не произошло. Другим потрясением для Таси был отъезд отца в Москву к любимой женщине, его смерть после нервного, жесточайшего объяснения с матерью. Тася, конечно, была на стороне матери, но все-таки не презирала женщину, которую любил отец. Мать не пришла на похороны, зная, что там будет женщина-разлучница, а Тася не отходила от гроба, зареванная, при прощании обняла отца и поцеловала в лоб. Даже пошла на поминки к этой женщине. Мать узнала об этом и рассердилась на Тасю, даже назвала ее предательницей. Тася удивилась: «Но это же мой отец, я гордилась им, и как я могла не попрощаться с ним? Ты пойми меня, мама! Наш отец – красавец, он мог быть артистом, он был светом и примером в моей жизни». – «Примерчик!» – зло сжала зубы Евгения Викторовна и косо посмотрела на дочь. Потом она уехала с детьми в Харьков, и в

суматохе Гражданской войны они даже не обменялись адресами. Тася обязательно бы написала маме, но та через сестру в Киеве не связалась с дочерью. Саратовская ветвь семьи Лаппа рухнула при первой же сильной непогоде.

Семья Булгаковых была более дружна. А эксцентричный, всесторонне талантливый Михаил стал смыслом жизни Таси. Она готова была ему прощать даже то, что ранило ее сердце, наверное, потому, что больше любят тех, кто невольно обижает тебя, ранит твою душу. И Тася не дала ни одному конфликту разрастись, делала вид, что ничего особенного не происходит. Но сегодня, после того как миновал кризис, она сердцем почувствовала, что Миша любит ее, не так безудержно, как в юношеские годы, а серьезно, даже божественно, он понял, что́ она значит в его жизни, и назвал ангелом. Только одного не ощутила Тася – говорит-то это искренне, но с некоторой долей иронии, свойственной ему. Он называл ее ангелом и в другие дни. Она не противилась столь высокому званию. Она спасла от гибели мужа, была им любима и поэтому счастлива. Она даже придумала, как помочь ему в литературной работе, которая постепенно, но верно овладевала всеми его помыслами, всем существом. Тася вдруг вспомнила, что литература в какой-то мере помогла им обоим, когда она получила известие от Саши Гдешинского, что Миша настолько страдает в разлуке с любимой, что готов застрелиться. Ведь письма Мише, полные чувств и нежности, она писала, выбирая слова, а иногда и целые фразы, из любовных рассказов и повестей. Тогда у нее, гимназистки, конечно, не хватало собственного опыта в любовной переписке, и честно говоря, она не была еще столь увлечена им, как он ею. Она должна была спасти юношу, и спасла, может быть, будущего великого писателя. А то, что он будет сильным литератором, она вскоре почувствует по нападкам завистников на первые же его произведения, уже в советской прессе.

Последняя кризисная ночь прошла в бесконечных страданиях Михаила. Он бредил, называя неизвестные Тасе имена, требовал, чтобы его отправили в Париж. Она поправляла ему подушку – он кричал: «Жарко!», измял простыню, называя ее пустыней с раскаленным песком. Градусник опять зашкаливало. Тася, предупрежденная врачом, знала, что надо перетерпеть приступ, возможно последний. Так и случилось. К утру температура упала, жар прошел. Миша спал, но лицо его было настолько бледно-серым и тело безжизненным, что Тася едва не бросилась за врачом, но, с трудом найдя пульс у Миши, немного успокоилась. Она обхватила его голову, поцеловала в губы. Миша открыл глаза, удивленно огляделся и снова закрыл их. Что-то хотел

сказать, но не было сил. Слабость измученного болезнью организма проявлялась в том, что он объяснялся с Тасей только ей понятными знаками. Она принесла ему воды. У него не хватило сил приподняться. Пришлось поить его, выжимая ему в рот воду из чистой намоченной тряпочки. Он благодарно посмотрел на Тасю, и вдруг она почувствовала, что немеет ее тело, сон сковывает сознание и через минуту-другую она не выдержит, уснет тоже, а надо было идти на рынок. Купить Мише продукты, фрукты, поддержать его ослабевший до предела организм. Тася подошла к шкафу и достала из шкатулки золотую цепь – свадебный подарок родителей, хотела надеть цепь на шею, чтобы напоследок полюбоваться ею, но раздумала.

Ювелир долго рассматривал редкое по размерам и исполнению произведение искусства.

– Очень красивая цепь! – причмокнул он губами. – Ею можно дважды обвить вашу шейку.

– Можно было, – кивнула Тася.

– Вы продаете ее? – загорелись глаза ювелира. – Но я не могут дать вам за нее подходящую цену. Столько было уезжающих за границу… Столько украшений везли люди… Просили за золото и бриллианты деньги, чтобы переправиться в Тифлис. А цепь – изумительная. Что же делать? Вы знаете, что красные уже в городе?

– Слышала выстрелы…

– В конце Александровского проспекта кто-то до сих пор строчит из пулемета. Я не успел бежать… Наверное, сглупил. Не знаю, что будет при большевиках. Жена говорит, что они в первую очередь ликвидируют частную собственность, реквизируют у меня украшения, добытые годами, и закроют мою лавчонку. А как вы думаете?

– Я хочу продать вам свою золотую цепь.

Ювелир, любуясь цепью, перебирал ее руками.

– Изумительная вещица. Ее обязательно заберут красные. В первую очередь. Какой дурак, да еще нахал и с ружьем в руках, откажется от такой прелестной вещицы, – сказал ювелир и прищурил глаза. – Боюсь, что не смогу приобрести ее у вас.

Тася вздрогнула. Ей были необходимы деньги. Ювелир почувствовал это и опять причмокнул губами:

– Жаль портить такое произведение искусства. Я… в нынешних условиях могу купить у вас эту цепь только как золотой лом.

– Что? При чем здесь лом? – не поняла Тася.

– Я переплавлю цепь в слитки золота. Увы, другого выхода у меня нет, барышня. Соглашайтесь, пока не передумал.

Тася покачала головой:

– Это память родителей. Снимите несколько звеньев и делайте с ними что хотите, а всю цепь я решила не продавать.

Ювелир скорчил недовольную гримасу. Он очень хотел заполучить эту вещицу и знал путь, по которому мог переправить ее в Стамбул, но отступать было поздно.

– Ладно, – согласился он, – сделаем, как вы просите.

Он вышел в соседнюю комнату, и Тася услышала неприятный режущий звук ручного станка.

– Смотрите, – показал ей ювелир цепь, – мастерская работа. Даже незаметно, что в вашей цепи не хватает звеньев. Никогда не видел таких крупных цепей. Пожалуй, я выплавлю из вашего золота два обручальных кольца. Вы не знаете, большевики женятся? Им нужны обручальные кольца? Неужели они поломают эту вековую русскую традицию – обмен кольцами между женихом и невестой?

Тася ничего не ответила ювелиру, который с сожалением отсчитывал ей деньги:

– В другие времена я заплатил бы вам значительно больше. Извините, барышня. Заходите еще! И вы придете, я знаю.

Тася уже не слышала его, спеша на рынок.

Миша выздоравливал медленно. Заново учился ходить, как маленький ребенок. Стали выбираться в город. Грелись под солнышком на скамейке Александровского парка. Однажды пошли гулять в красивый местный парк, который назывался Треком, так как там была оборудована круговая дорожка для велосипедистов. Вдруг раздался крик: «Смотрите! Идет белый офицер!» Тася и Миша перепугались не на шутку. Свернули в сторону от центральной аллеи.

– Я не побегу, – сказал он, – нету сил. И будет очень обидно, если не успею написать хотя бы то, что задумал.

Страх в их сердцах постепенно растворился. Никто не поддержал кричавшего. В парке гуляла в основном респектабельная публика, и не исключено, что в ней были другие бывшие офицеры и им сочувствующие. Несмотря на массовое бегство перед приходом красных, в городе осталось немало интеллигенции, в том числе осетинской. Тася запомнила белого офицера, который носился по центру города, волоча за собою уставшего фотографа и заставляя фотографировать его у памятных мест: у памятника Александру I, у входа в Трек, внутри парка, у скульптур, у здания военного училища, у кинотеатра «Гигант», у театра, на берегу ревущего Терека… Видимо, офицер понимал, что уже никогда не вернется сюда, и хотел захватить с собою часть родины хотя бы в фотографиях.

Тася и Миша вернулись домой взволнованные, думая о том, что случай, произошедший на Треке, может повториться.

– Нужно уметь подавлять в себе вспышку страха, преодолевать себя, – неожиданно сказал Миша.

– Но не скажется ли эта постоянная борьба с собою, со своими слабостями и страстями на здоровье? – спросила Тася.

– Скажется, – ответил Михаил. – В трудных, экстремальных ситуациях во мне возникает бурная энергия. Однажды после напряженного труда меня покинули силы, и я плюхнулся в кровать. Организм требовал сна и покоя для своего восстановления. Думаю, что и эти выбросы энергии не пройдут бесследно для организма.

Тася промолчала, вспоминая, сколько страхов и переживаний натерпелась в своей еще совсем короткой жизни.

– Но думать об этом – малодушие, – сказал Михаил, словно прочитал ее мысли.

У Таси созревал план, как помочь Мише после выздоровления. «Врачом он работать больше не хочет. Значит, литература… Она, наверное, и есть его истинное призвание…» – подумала Тася.

Когда-то в Никольском спасенная им от смерти девочка подарила ему длинное снежно-белое полотенце с безыскусно вышитым красным петухом. И много лет оно висело у него в спальне и странствовало с ним. Во Владикавказе Тася хотела продать его или обменять на продукты, но Миша запретил: «Отнеси другое полотенце, а это оставь». Может, он напишет рассказ об истории с этой девушкой и ее полотенцем, необходимым ему для деталей произведения. Золотая цепь в тысячу крат дороже этой поделки, но Тася не задумываясь пожертвовала золотом, когда это потребовалось Мише. Вероятно, дешевые по общепринятым меркам вещи могут иметь для кого-то большую ценность. Золотая цепь канет в частной жизни, а литературное произведение может служить людям века. Возможно, этим определяются некоторые ценности?

Тася научилась размышлять о том, о чем раньше не думала. И сейчас все помыслы ее были связаны с дальнейшей судьбой Миши. И она решила познакомиться со знаменитым писателем Юрием Львовичем Слезкиным. Они по нескольку раз в день встречались на Александровском проспекте. Встречались и раньше в редакции «Кавказа». Он, конечно, мог забыть Тасю, но она так мило и приветливо улыбалась ему, что однажды он остановился.

– Мы где-то встречались? – кокетливо заметил он.

– В «Кавказе». Я жена Михаила Афанасьевича Булгакова.

– Помню его. Белый офицер, но с литературными способностями, – заметил Слезкин. – Неужели он здесь остался?

– Его свалил возвратный тиф как раз во время отступления Белой армии. Он еле выжил.

– Я навещу его, – сказал Юрий Львович, доставая из кармана курительную трубку. – Смелый человек. Хотя журналисты – люди в общей массе зависимые, слабохарактерные и, я сказал бы, немужественные, а ваш супруг писал о положении в Совдепии едва ли не до последнего номера «Кавказа». Я и то, предчувствуя приход красных, опубликовал либеральную статью о новой России. Вы, конечно, знаете мою жену! – с гордостью произнес Слезкин. – Она в положении. Я не мог уехать и обрекать ее на неизвестность и лишения. А мужа вашего я навещу. Обязательно. Адрес возьму у кого-нибудь из бывшей редакции.

И Слезкин сдержал слово, хотя сам недавно переболел тифом. В своем дневнике он позднее вспоминал об этом: «По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тогда, еще едва держась на ногах, пошел к нему, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Белые ушли – организовали ревком, мне поручили заведование Подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией. Это у него написано в «Записках на манжетах».

Обращаясь за помощью именно к Слезкину, Тася не очень-то обращала внимание на перемены в его творчестве. А между тем герой его одноактной пьесы «Пламя», шедшей в Москве, в Незлобинском театре, революционер Джуето Гамба, восклицал: «Народ! Слышишь, Народ! Ты свободен! Герцог убит! Месть свершилась! Пламя охватило землю! Ты свободен, Народ!» Тася понятия не имела об этой пьесе. Смущало, что должность ему дали большевики. Впрочем, по своего рода заслугам – он не ушел с Белой армией и еще до революции был известнейшим писателем. Город находился в руках большевиков, но еще с афишных столбов не были сдернуты старые объявления: «Продается хорошее офицерское седло желтой кожи. Справиться: Воронцовская, 5, квартира генерала Бек-Бузарова» или «Открыт оптовый коньячный склад исключительно фирмы Сараджева, марки О. С. и четыре звезды старого разлива».

Юрий Львович Слезкин внимательно вглядывался в признаки новой жизни, читал некоего Беридзе: «Мостовые, бульвар, тротуары как в истерике бьются толпой, в домах зажигают пожары электрически быстрой волной. Среди площади Кино-парма собирает желающих всех, однотонная прежде казарма тоже верит в улыбку и смех. На столбах «Коммунист» и летучки о собрании в девять часов, где не терпят неявной отлучки, дорожат

большинством голосов. Грузовик ускоряет колеса, мотоциклы летят и свистят, в голове неотступность вопроса, в сердце бьется динамо-снаряд. Исполкомы, Чека и совдепы пляшут в небе пунцовым огнем, красным флагом собранья одеты, люди заняты ночью и днем». Но более всего Слезкина заинтересовали строчки глубокого и проницательного коллеги Георгия Евангулова: «Из города, взятого советскими войсками, стали прибывать беженцы. На вокзале толпы народа осаждали кассы. Поезда уходили переполненными. После взятия города большевиками отряды коммунистов, вооруженные до зубов, рассыпались по городу для охраны домов, живо сформировывая летучие лазареты».

Юрий Львович понял, что пришла новая власть, и надолго. Он, навестив Булгаковых, успокаивал супругов тем, что однажды, пока болел Миша, в городе была очередная смута. Работники ревкома вышли из помещения, где выступали, и были поражены, встретив начальника полиции, который для безопасности пришел проводить их домой. «Люди есть люди, – сказал Юрий Львович Тасе, – среди них встречаются всякие, но, в общем, их не надо бояться. В новую газету «Коммунист» мы, конечно, работать не пойдем, нам не простят, что мы печатались в «Кавказе», а в Подотдел искусств податься можно, там требуются знающие культуру и искусство люди».

«Коммунист» в статье «Полинявший генерал» сообщил о том, что Антон Иванович Деникин слезно умоляет Турцию и Азербайджан пропустить его войска через их границы. Это известие окончательно убедило Слезкина, что всю свою дальнейшую судьбу ему придется связать с советской властью. Он романтически любил жену, боготворил ее, поехал за ней во Владикавказ (а не прибыл туда с красными войсками, как утверждают булгаковеды), посвятил ей рассказ «Ситцевые колокольчики». Тася даже мысленно позавидовала его супруге Людмиле Башкиной: «Красивая женщина. Талантливая актриса. И самое главное – обожаема мужем». Решение остаться во Владикавказе Слезкин принял бесповоротно, хотя как блестящий писатель терял многое – популярность в России, знание коллизий жизни, которые мог описывать с прежним блеском. Новую жизнь он не знал, только опасливо приглядывался к ней и понимал, что шутки с нею, тем более противостояние ей могут закончиться для него и жены трагически. Ведь она тоже играла для белых и собирала пожертвования для Добровольии. Он скрывал от жены метания в своей душе, выплескивал их в строчках: «Тут на балкончике под лягушачий трезвон до утра просидеть можно. Лягушки, они, подлецы, как-то по-особенному самозабвенно поют, захлебываются от счастья. Соловьи так не умеют,

красуются, донжуаны этакие, а лягушки всей душой, всем существом отдаются любви… Черт их знает, откуда у таких поганых существ безграничная страсть такая. Это – от Бога. Я-то вот, должно быть, и обижен этим – потому-то у меня все как-то криво и косо и никому не на радость сердечные мои истории. Случается же такое, что нерушимо – кончилось, быльем поросло, ветром следы занесло, а вот в один день – все снова, точно по волшебству, на старом месте, а опять дивуются глаза, бьется сердце, в душе кавардак, ничего не понимаешь, и спокойствие, так радовавшее только что, проваливается куда-то, и не знаешь – плакать тебе или смеяться».

Тася, конечно, в то время не знала об этих откровениях писателя, известнейшего до революции. Он состоял в родстве с Дмитрием Веневитиновым, Львом Толстым. Его роман «Ольга Орг» был переиздан более десяти раз, инсценирован в кинематографе, переведен за границей. Главная героиня так говорит о себе: «…У меня не было никаких идей, никакого желания работать… Я была как большинство из нас… Мы ничего не умеем… Нас балуют с детства, потом пошлют в гимназию, чтобы мы получили диплом и были как все… Мы не знаем, что с собою делать. Потом нас выкидывают на улицу или стараются выдать замуж… И вот у меня нет дороги, никогда не было…» Тася читала этот роман еще до замужества с Мишей и думала, что он написан о ней. Она мечтала о человеке, который поможет ей найти свою дорогу в жизни, и таким ей показался Булгаков – деятельный и неравнодушный, любящий ее, и настолько, что готов ради нее пойти на край света. Тасе хорошо было рядом с ним, и она забыла о мечте найти свое дело и место в жизни, считая, что заниматься семейными и хозяйственными делами – это и есть ее забота, ее призвание. Она забыла тревоги и разочарования в судьбе Ольги Орг и своей. Гражданская война захватила ее потоком неурядиц, забот, переживаний. Будущее виделось расплывчатым и неопределенным, она думала о том, как прожить следующий день, чем кормиться, и никогда даже не подозревала, что подаренное на свадьбу родителями кольцо спасет их молодую семью от голода.

Встретившись со Слезкиным, она сразу почувствовала его расположение к себе, сочувствие, возможно, такое же, как и к героине повести «Ольга Орг». Он пошел к больному Михаилу, обрисовал ему картину происходящей жизни намного лучше, чем она была на самом деле.

Время берет свое, отнимает силы, разъедает и путает память. Не будем винить Татьяну Николаевну в том, что она забыла, как привела Слезкина к больному Мише, что она просила маститого

писателя помочь начинающему литератору. Миша сказал ей, что врачом он больше не будет, будет писать. «Потом, – вспоминает Татьяна Николаевна, – столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми: «Ну как ты не могла меня увезти?» Я говорю: «Интересно, как я могла тебя увезти, когда у тебя температура сорок, и ты почти без сознания, бредишь, а я повезу тебя на арбе. Чтобы похоронить по дороге?» Тасе было обидно и горько до спазм в горле, что он не понял, какие сомнения мучили ее тогда, что она спасла ему жизнь. Она не ожидала услышать от него за это нежное слово, но удивилась и упрекам. Потом она подумала, что люди в отдельные экстремальные моменты не могут реально оценить обстановку, сделанное им добро и иногда даже мстят за него, считая, что добро совершено им во вред. Поэтому, возможно, вспоминая Владикавказ, она не говорила, что привела к больному Мише Слезкина (об этом он пишет в дневнике) и просила помочь Мише, а вскользь упоминает: «Ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в Подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как… (намек на свою помощь. – *В. С.*). Вот тут они и познакомились (или отказала память, или выдумано умышленно. – *В. С.*). Михаил сказал, что он профессиональный журналист и его взяли на работу заведующим литературной секцией… Миша занимался организационной работой, знаю, что он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что… Это другие так отзывались». Увы, отзывы о его лекциях были разные, и в прессе в основном плохие. Об этом мы расскажем чуть позже, а сейчас продолжим воспоминания Татьяны Николаевны: «Денег не платили. Рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего, а здесь при белых было все что угодно. Булгаков получал жалованье, и все было хорошо, мы ничего не продавали. При красных, конечно, не так стало».

Здесь я как автор книги позволю себе напомнить статью Булгакова еще в предреволюционной «Кавказской газете», где он предрекал, что настоящий голод наступит тогда, когда люди начнут выискивать еду в выгребных ямах, замененных, спустя восемь десятков лет, специальными контейнерами.

Кстати, голод и нарушение экономики одна из черт тоталитарного режима, зарождавшегося сразу после революции.

И вновь обратимся к воспоминаниям Татьяны Николаевны: «И денег не платили совсем. Ни копейки. Вот спички дадут, растительное масло и огурцы соленые. Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были… Потом месяца два-три прошло – дом генерала Гаврилова, который с супругой приютил нас, под

детский дом взяли, а нам дали комнату на Слепцовской улице, около театра (Слепцовская ул., д. 9, кв. 2)… А я стала работать в уголовном розыске. Надо было письма записывать. Я там все перепутала. «Когда же вы научитесь?» Потом Слезкин узнал, говорит Михаилу: «А что? Давай ее в театр!»

Вероятно, Юрий Львович добавил к характеристике Таси другие слова о том, что красивые, эмоциональные женщины всегда нужны театру, тем более молодые. Булгаков согласился.

Татьяна Николаевна: «Предложили мне работать статисткой. Все время надо было в театре торчать. С утра репетиции, вечером спектакли. А потом уже так привыкла, что не могла уже жить без театра. Уроки танцев брала у Деляр, там такая была. Раз надо было на сцене «барыню» станцевать – я так волновалась! Но станцевала. В афишах у меня был псевдоним Михайлова».

За этими скупыми на радость словами стоит, по всей вероятности, один из самых счастливых периодов в жизни Таси. Впервые она занялась творчеством, интересным ей и людям. И Михаил по-иному взглянул на свою супругу. Пусть статистка, пусть не профессиональная танцовщица, а лихо сплясала «барыню». Зрители вызывали ее на бис, как настоящую актрису. Михаил, стоя за кулисами, сиял от радости. Но, увы, тон его настроения вскоре изменился. 19 января 1921 года он пишет двоюродному брату Константину: «Судьба – насмешница. Я живу в скверной комнате… Жил в хорошей, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе… Как одет, что ем… не стоит писать… Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас их труппу расформировали, и она без дела…» Но видимо, Михаил не почувствовал, какой опыт борьбы за существование получила его жена, сколько мук и унижений претерпела на этом пути, чтобы легко расстаться с делом, пусть не великим, но животворным для нее. Через несколько месяцев, в апреле 1921 года, Миша пишет в Москву сестре Надежде, именно ей, зная, что они близки по мировоззрению: «Тася со мной. Она служит на выходах в 1-м Советском владикавказском театре. Учится балету. Ей писать так: Владикавказ, Подотдел искусств. Артистке Т. Н. Булгаковой-Михайловой».

Миша никогда и никому не объяснял происхождение ее псевдонима, даже сам, возможно, не задумывался об этом. Михайлова – это в честь его имени, в честь ее любви к нему и верности. Михайлова более театрально звучит, чем Мишина, что слишком примитивно и откровенно. «Я люблю его, – не скрывала Тася, – вы еще узнаете, кто есть и кем еще будет Михаил Афанасьевич Булгаков».

Глава седьмая Расставание с Кавказом

Михаил Булгаков неоднократно высказывался за отъезд из города, где его более всего мучила творческая неудовлетворенность. В феврале он пишет брату Константину: «Жизнь – мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать – писать. В театре орали «Автора!» и хлопали, хлопали… Когда меня вызывали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством… Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «А ведь это моя мечта исполнилась… Но как уродливо: вместо московской сцены – провинциальная, вместо драмы об Алеше, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь».

Мысль о переезде в Москву не покидает Михаила. Еще в мае 1921 года он просит сестру Веру: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». У Михаила давно зреет мысль – послать в Москву первой Тасю, чтобы она разузнала – можно ли там жить, хоть как-то прокормиться, есть ли там перспективы для его работы, он посылает ее как опытную и смелую разведчицу, которой можно доверить одно из самых главных и ответственных поручений. И поездка Таси в Москву состоится, но расставание с Кавказом затянется на долгие месяцы, наполненные непростыми событиями, поскольку революционное буйство на берегах Терека не остановится ни на мгновение, как бег самого Терека – одной из самых быстрых в мире рек.

Многих интересных людей перевидали владикавказские улицы. В 1910 году по ним спешил в типографию Казарова (Казаряна) молодой Сергей Костриков, работавший там сначала корректором, а потом редактором в либеральной газете «Терек». В августе 1912 года его арестовывают и этапом переправляют в город Томск, где в окружном суде слушалось дело о революционной подпольной типографии, но главный свидетель обвинения – полицейский пристав – на суде не узнал обвиняемого, и Костриков был оправдан.

Я сижу в гостеприимной семье бывшего владельца владикавказской газеты «Терек» Казарова. Его дочь, Сусанна, пожилая женщина с благородным лицом, рассказывает мне, что отец послал Кострикову в Томск деньги на обратную дорогу и на

жизнь в Москве, где бы он мог познакомиться с работой лучших московских журналистов. Возвратившись во Владикавказ, Костриков начинает подписывать свои статьи литературным псевдонимом Киров, который впоследствии становится его партийным именем. Он женится на дочке известного владикавказского ревкомовца Маркуса – Лии, работавшей кассиршей в типографии. Многие девушки завидовали этому браку, считая, что молодоженов связывают только революционные интересы. Это не так. Лия была симпатичной, обаятельной женщиной, очень простой и общительной. Михаил не был знаком с Кировым, только видел его в театре на выступлении перед армянской общиной города, когда отменили булгаковский спектакль. Говорил Киров просто и понятно, его добродушное лицо внушало доверие слушателям. А Тася познакомилась с не пропускавшей там ни одной премьеры Лией в театре. Лия зачастила в театр, когда во Владикавказ приехали Сталин и Орджоникидзе на открытие Съезда народов Терека, где была провозглашена Горская Автономная Республика.

– Сергей приходит домой очень поздно, – сказала Лия Тасе, – он пишет доклад Сталину.

Тася изменилась в лице:

– Мой отец сам писал доклады, отчеты. Странный нарком национальностей Сталин, очень странный, если не может сам написать доклад и полагает возможным читать по существу чужой, да еще на таком собрании, как Съезд народов Терека… Читать написанное другим человеком как свое и при этом смотреть в глаза людям – я не понимаю этого!

– А все очень просто, – улыбнулась Лия, – Сталин будет читать доклад, не отрываясь от бумажки, некогда будет посмотреть в чьи-то глаза.

– Но как к этому относится ваш муж? – спросила Тася.

Лия замялась, покраснела и тихо произнесла:

– Это у них называется партийной дисциплиной. Один товарищ помогает другому. Тем более что Сережа опытный журналист, находясь в заключении, он даже начал писать повесть о любви. А Сталин учился лишь в грузинской духовной семинарии, путает Гоголя с Гегелем. Вчера вызывал местное начальство, говорили и о твоем муже.

– О моем?! – поразилась Тася. – С какой стати?!

– Разговор возник случайно, – поспешила успокоить ее Лия. – Сталин заметил, что плохо закрашены выбоины на потолке, и спросил, откуда они появились. Ему объяснили, что во время спектакля «Сыновья муллы» восторженные ингуши стали стрелять в потолок. «Что это за пьеса? – с резким акцентом

поинтересовался Сталин. – Кто написал и поставил?» Ему ответили, что местный драматург Михаил Булгаков. «Покажите мне этого Булгакова! – распорядился Сталин, но потом вдруг раздумал: – Наверное, из белых?» Ему это подтвердили. «Я так и думал, – брезгливо заметил Сталин. – Они могут взбаламутить зал. Впрочем, как и Троцкий. Сколько заплатили этому Булгакову?» – «В туземном отделе наробраза вместе с соавтором за эту пьесу дали двести тысяч рублей». – «Могут выжить, – вздохнул Сталин и начал что-то записывать в блокноте, потом закрыл его и сказал: – Булгаков! Булгаков! Надо запомнить эту фамилию. Ты чего хмуришься, Серго? Тебе не нравится, что Сергей Миронович помогает мне писать доклад для съезда? Мы делаем общее пролетарское дело! Перестань киснуть, Серго. Хочешь, назовем твоим именем улицу, санаторий? А захочешь – целый город! К примеру, Владикавказ!» Серго Орджоникидзе наморщил лоб: «Не рановато ли, Иосиф? Я еще живой. Ведь улицы и города называют именами известных людей после их смерти». – «Ну и что? – усмехнулся Сталин. – Куда нам спешить? Поживи еще! Ведь мы друзья с тобою, Серго? Правда? Ты многое обо мне знаешь. Слишком многое. И мне не нравится, когда ты хмуришься. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблем. Кроме одной – какие улицы и города назвать его именем. Кстати, Сергей Миронович, ты где родился?» – «В Вятской губернии. В Уржуме». – «В самой Вятке никогда не бывал? Пустяки. Назовем Вятку твоим именем. Не удивляйся. Я таким образом шучу, – криво улыбнулся Сталин и вдруг, глядя в потолок, вспомнил твоего мужа, Тася: «Надо же довести людей до такого энтузиазма. Какой-то пьесой. Кто такой Булгаков? Что такое Булгаков? Надо во Владикавказ направить с лекциями настоящего пролетарского писателя!» – мотнул головой Сталин, словно освобождался от севшей на лицо мухи, и снова что-то записал в блокноте.

Больше Лия ничего не могла рассказать Тасе об этом разговоре.

– Сергей настолько занят, что и это еле выдавил из себя. Он обычно делится со мною своими делами.

– А мой Миша все реже и реже, – погрустнела Тася, – работает днем и ночью. Я спрашиваю: «Что пишешь?», а он нервно, чтобы отделаться от меня, пробурчал: «Работаю над романом «Белая гвардия». Пересказывать длинно».

Тася медленно шла из театра к себе на Слепцовскую улицу, размышляя, передавать ли Мише услышанное от Лии. «Незачем ему лишние волнения, – подумала она, – особенно перед серьезным испытанием, которое предстоит Мише в скором

времени». Главный редактор «Коммуниста» Георгий Андреевич Астахов подбивал молодых авторов из цеха поэтов на литературный бой против Пушкина, Чехова, Гоголя, отражающих старый строй жизни, вредный и не нужный пролетариату. Уже пришло угрожающее, как вызов на дуэль, письмо Михаилу. Пришло утром, когда, обагренные солнцем, вспыхивают вершины гор, розовеют, выходя из-за высот, и, наступая на ночные тени, растворяют их, обволакивая город солнечным светом, но еще не наступила жара, еще дышится сравнительно легко и не растоплены от зноя воздух и сознание.

Михаил проснулся от увиденного сна:

– Знаешь, Тася, я уверен, что Покровский приехал сюда сознательно, не под тем предлогом, который выглядит не более чем нелепой версией, – продать большевикам типографию, причем чужую. И разъезжать открыто по городу среди бела дня, кланяться знакомым… Ты только видела бы, Тася, как он удирал от белых на редакционном автомобиле, как сам выстукивал на машинке удостоверение, что он итальянский офицер… А здесь… Встречаясь со мною, подводить меня под подозрение, на виду у всех вызывать из цирка… Когда и так… Мне думается, что он приехал за мною. Покровские, в том числе моя мама, очень упорные в достижении цели и настойчивые люди…

Тася высказала свое предположение:

– Говорят, что Покровский влюблен в актрису Ланскую, обещал увезти ее из Владикавказа, но обманул. Может, сейчас, чувствуя свою вину и любя Ланскую, очертя голову ринулся за нею во Владикавказ, а продажа ревкому типографии – повод для легального появления в городе.

– А зачем он преследует меня? Ведь наверняка скоро вернется туда, откуда прибыл. Ланская, может, и поедет с ним. А я… Мне не только бежать, даже отказываться от литературного диспута с этим цехом, штампующим полуграмотные стихи о революции, неудобно и стыдно. Моментами я им сочувствую. Они хотят, и довольно искренне, выразить свою преданность революции, но делают это с массой грамматических ошибок и бесталанно. Я ценю их наивность, одержимость… Но порою мне кажется, что, пользуясь победой революции, они хотят столкнуть с пьедесталов действительно великих писателей, чтобы занять их место. Таланта, чтобы приблизиться к великим, у них нет. Значит, поможет физическая сила. Они уповают на свое пролетарское происхождение, считая, что благодаря ему можно стать великими писателями, учеными, художниками… Меня поражает эта даже не наивность, а глупость.

– В этом все-таки есть что-то забавное, – сказала Тася, – пусть

лучше пишут белиберду, чем глушат араку и выражают себя в пьяных потасовках. Я не права, Миша?

– Говоришь резонно, – согласился Михаил, – но они все-таки фанатично верят, что трудятся в цехе, который приведет их к литературной славе, что они придут на смену Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Фету… Я показывал молодым поэтам неплохие стихи о революции их земляка Сергея Городецкого. Они воротили от этих стихов носы, чувствуя в его профессиональных опусах влияние грамотных и культурных творцов из рода «угнетателей народных масс». Я им привел и другие строчки из Городецкого, очень образные, об их же городе: «Вид горной цепи висит у меня перед взором и дразнит», а они свое: «Здесь нет оценки свержения самодержавия, победы нового строя». Редко, но приносят весьма недурные, трогательные стихи. Хаджи-Мурат Мугуев написал о товарище – гимназисте Диме Петрове, которого повесили у вокзала среди других бунтарей. Он был веселым парнем, со светлыми мыслями, его голубые глаза смотрели на мир еще по-детски, и революция вызвала отклик в его сердце. А в том месте, где Хаджи описывал переживания матери Димы, у меня даже подступил комок к горлу. А вот стихи, которые принесли мне к пятидесятилетию Ленина… Их читать было страшно. Автор заметил это и достал из кобуры револьвер, мол, печатай, или пойдешь в расход. Вот эти «стихи»: «Огнями яркими зажглась уже Земля, и вдоль и поперек прошли ее пожары. Уж близок день, когда в огне свободы рассыплются, как прах, ночные тени – тогда к дверям Московского Кремля, к Тебе, чьей мыслию разбиты злые чары, к Тебе, вождю, прибудут все народы, и головы склонят, и станут на колени!» Черт знает что такое. Автор вертел в руках револьвер, но я сказал, что над стихами надо еще работать, и не рекомендовал их к печати. Может, поэтому меня перевели из литературной секции в театральную…

– После своих пьес, рассказов и лекций ты стал уже вполне известным писателем в культурных кругах города, – сказала Тася и протянула ему письмо: «Цех пролетарских поэтов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина. Несогласие Ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере».

Михаил иронически улыбается:

– Они знают, что я буду защищать Пушкина… Им неясно, о чем я думаю, чем начинена моя голова: пролетарскими или буржуазными мозгами. Они хотят, чтобы я раскрылся перед ними. Они не верят, что я искренне писал «Парижских коммунаров» или «Сыновей муллы», чуют во мне белого офицера и контрреволюционного писателя, но на диспуте о Пушкине

надеются прояснить свои сомнения. Поставить точки над «і». «Буржуй – всегда буржуй» – главный тезис Астахова, и он хочет лишний раз доказать это.

– Я была на его лекции о Достоевском и Чехове. Стер с лица земли… – возмущенно вымолвила Тася.

Михаил засмеялся:

– Это невозможно. Писателя можно обругать, даже уничтожить, но написанное им – вечно, его творения изрежут на куски или спалят в одном месте – они проявятся в другом. Плохого писателя просто забудут потомки, он самоуничтожится. А Достоевский, Чехов, Пушкин… Кто для них какой-то Астахов, даже тысячи Астаховых…

– Ты не будешь выступать? – испуганно заметила Тася.

– Я буду защищать себя, русскую культуру – в первую очередь.

– Вторым оппонентом назван Борис Ричардович, – заметила Тася.

– Я так и думал, – улыбнулся Михаил, – выбрали, наверное, с их точки зрения, самых эрудированных и опасных для революции людей в городе. В авоське Беме, которую он таскает на судебные заседания, легко проглядываются и Пушкин, и Бунин, и Мережковский, и Надсон, и Северянин… К тому же в дореволюционных изданиях. На диспут о Пушкине я пойду, а вот на встречу с Серафимовичем, присланным из Москвы специально для встречи с местными поэтами, извини, не отважусь. Лучше еще раз перечитаю Пушкина. Я не завидую борцу Темир-Хан-Шуре. Он физически очень силен и искусен в борьбе. Хотя сильные люди нравятся любой власти. В повестях Гоголя заложена такая сила, которая переживет десятки и сотни силачей. С виду субтильный человек, Гоголь вложил в свои произведения столько энергии, ума и литературного мастерства, что, надеюсь, он вообще не исчезнет с земли. Люди вечно будут смеяться, грустить и сопереживать его героям. Вот Гоголю, глядя на томики его сочинений, я завидую белой завистью и восторгаюсь им. А ты пойдешь слушать Серафимовича?

– Как твой «агент», – загадочно произнесла Тася, – тем более важно узнать настроение и планы поэтов перед диспутом с тобой. Впрочем, они тебе в общем ясны.

– Да. Меня интересует сам Серафимович, приближенный к Кремлю писатель. Я не читал его. О чем он пишет? Если мы, Тася, попадем в Москву, то нам предстоит общаться с коллегами, в том числе и с этим писателем, с ему подобными. Чего мы можем ждать от них – помощи или вражды? За несколько последних лет мы пережили столько, сколько раньше хватило бы на многие

жизни, поэтому целый поток переживаний и боли вырывается наружу. Иначе быть не может. Послушай Серафимовича, Тася.

Клуб, где должна была состояться встреча со столичной знаменитостью, располагался на втором этаже, над ревкомовской столовой. Со вступительным словом, наполненным елеем, к гостю обратился главный редактор газеты «Коммунист» Астахов, мужчина средних лет, плотный, с пронзительными глазками под мохнатыми бровями. Но Серафимович вскоре его прервал. На Тасю он не произвел впечатления, но и не вызвал у нее отрицательных эмоций, даже понравился, когда прекратил словоблудие Астахова.

– Товарищ Астахов, – сказал он, – я думаю, что сейчас нет смысла определять, кто более или менее «великий пролетарский писатель». Покажет будущее. Может, дадите мне слово?

Серафимович поднялся, стал рядом с кафедрой, держа в руке листочек бумаги, в который, выступая, изредка заглядывал. Говорил не спеша, глухим голосом, о военных действиях в Сибири и Крыму, о мировом значении революции.

Тася ждала, когда он прочитает что-нибудь из своего творчества, ведь читатели приглашались на литературную встречу с ним, но Серафимович вдруг оживился, мимоходом сообщив о том, что добирался из Москвы во Владикавказ две недели, что вокзалы кишат беспризорниками, всюду грязь, свирепствуют эпидемии, но это не остановит железный поток революции.

– А приехал я к вам, – повысил он голос, – чтобы рассказать о своей незабываемой встрече с Владимиром Ильичом Лениным. Он пригласил меня к себе в Кремль, после крепкого рукопожатия поинтересовался: «Честно скажите, с кем вы больше встречаетесь – с интеллигентами или рабочими?» – и, почувствовав мое замешательство, сказал твердо: «Нужно организовывать свою пролетарскую литературу! Старых писателей, готовых работать с нами, осталась горстка. Надо создавать новых писателей из рабочих и крестьян. Постепенно из них вырастут художники литературы, воспитанные на пролетарских принципах, и станут они писать о светлом будущем первого в мире социалистического государства!» – Глаза Серафимовича заблестели. – После встречи с Лениным у меня осталось большое чувство радости и веры в победу и над буржуями, и над их пособниками – нашими литературными врагами! Великий Октябрь предоставил трудовому человеку право на создание своей духовной культуры!

От последних слов лектора Тасю даже передернуло, ей показалось, что такие писатели, как он, обязательно отнесут

Мишу к своим литературным врагам, ведь он не пишет о победной поступи революции, о ее вожде. Не этим ли он даже в далеком от Москвы Владикавказе вызывает раздражение рецензентов?

Михаилу Тася рассказала о вечере кратко и так, чтобы не разволновать его:

– Серафимович рассказывал о своей встрече с Лениным в Кремле. Потом сказал, что собирается написать о том, как народы Кавказа совершают революции.

– А вопросы к нему были? – поинтересовался Михаил.

– Что-то не помню. Кажется, были, но неинтересные, – произнесла Тася, зная, что вопрос одного из участников цеха поэтов о том, что слова, которые «использовали всякие Пушкины и Лермонтовы», не подходят им, может перед диспутом расстроить Мишу. Этот вопрос поэта даже поставил в тупик именитого гостя, но он после небольшой паузы напомнил залу слова Ленина о том, что «учиться, учиться и еще учиться надо!», и под бурные аплодисменты отошел от кафедры.

– Миша, ты уже не спишь вторую ночь, не отходишь от письменного стола, – нежно и заботливо вымолвила Тася, – небось устал, но не хочешь признаваться в этом?

– Пойми, Тася, нас двое – я и Беме, а их, с луженными глотками, к тому же фанатически уверенных в своей правоте, будут десятки. Я действительно иногда устаю, и очень, но усталость моя приятная, особенно если чувствуешь, что задуманное получается.

– А мне кажется, что ты изводишь себя, Миша, не сердись. Настолько увлекаешься, что отказываешься от еды, работаешь за счет сил молодости… А что будет дальше с твоим здоровьем?

– Я об этом не думаю, – улыбнулся Михаил. – Слава богу, жизнь писателя оценивается не ее продолжительностью, а тем, что он создал, насколько затронул души людей. Меня тянет к работе, и я получаю от нее удовольствие. Я готов вразумлять малокультурных людей, неучей от литературы. Это – мое призвание. Диспут отвлекает меня от романа, но, выступив на нем, наверняка почувствую себя увереннее и сильнее, как бы он ни закончился. Я сделаю все, что смогу, и совесть моя будет чиста. Надеюсь, хотя и не очень, что мои оппоненты поймут значение Пушкина для России. На полную победу, признаться, я не рассчитываю, но даже если удастся заронить сомнение в их отрицание русской классики и заставить подумать о том, что им действительно «учиться еще надо», то сочту свое выступление полезным. Уже утро. Ты права, Тася, отдохнуть перед битвой все-таки необходимо. Постараюсь уснуть. И Терек сейчас не орет, а

журчит…

«Орать будет Астахов на диспуте», – хотела сказать Тася, но раздумала, увидев, что Михаил засыпает.

Юрий Львович Слезкин сказал Тасе, что Михаил не всегда высказывается по тому или иному вопросу, но это не осторожность, а раздумье, – он еще не все понял, не все решил, а о том, в чем уверен, скажет прямо, без осторожности, например о Пушкине. И кстати, обещал свою первую книжку подарить Юрию Львовичу с подписью: «На память о наших скитаниях и страданиях у Столовой горы». Но сегодня он о них не думает. Он шагает на полметра впереди Таси, и вид у него весьма воинственный. На углу бульвара и площади, выложенной булыжником, Михаил неожиданно останавливается у чистильщика, облюбовавшего здесь местечко. Не оглядываясь вокруг, Булгаков ставит ногу на подножку ящика чистильщика, демонстрируя, с точки зрения членов цеха поэтов, буржуазную привычку белых офицеров – чистить сапоги. Тася удивлена его смелости и одаривает мужа ободряющим взглядом. А он вдруг говорит, что познакомился с изможденной морщинистой старушкой – первой из местных жителей взобравшейся на Казбек. Несмотря на преклонные годы, она каждое лето поднимается туда и говорит, что с каждым сезоном восхождение становится все труднее и труднее и она думает, что если не поднимется в это лето, то умрет. Тася понимает Михаила. Его жизнь – череда сплошных восхождений, и если он не совершит сегодня одно из них, то не сможет осилить следующее. Он, конечно, не читал стихов Эдуарда Багрицкого о Пушкине, но мог бы сказать похоже, будучи на его месте: «Я мстил за Пушкина под Перекопом, я Пушкина через Урал пронес, я с Пушкиным шатался по окопам, покрытый вшами, голоден и бос…» Места разные, разные стороны баррикад, но отношение к великому поэту как к русской святыне у настоящих поэтов одинаковое.

Для Таси этот диспут очень важен. После него, как кому-то ныне может показаться странным, ей казалось, что станет видно, в какую сторону качнется жизнь – в демократическую и культурную или тоталитарную и примитивную. Это еще не было категорически ясно для Таси, а за океаном казалось загадкой за семью печатями. Поэтому руководство американского Стенфордского университета направило в Россию двух своих ученых для выяснения того, что происходит в России. Они встречались с Анатолием Васильевичем Луначарским, и возможно, в дальнейшем именно это сказалось на его судьбе, сначала в нападках на наркома просвещения и его жену – красивую актрису Розенель; нелепое обвинение в том, что по его

вине задержался отход поезда Москва – Петроград, затем понижение в должности и отправка послом за границу, где, не добравшись до места назначения, он скончался при невыясненных обстоятельствах. Помимо высказывания личных впечатлений Анатолий Васильевич прочитал американским ученым выдержку из речи Ленина «Задачи Союзов молодежи» на III Всероссийском съезде комсомола 2 октября 1920 года: «Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Многие культуртрегеры, особенно на периферии, «переработку» восприняли даже не как переделку наследия старого, а его полное и бесповоротное уничтожение.

Тася уже слышала, как Астахов расправился с Достоевским, Чеховым и Гоголем, считал нужным даже вычеркнуть их имена из истории, обещал подготовить доклад о Пушкине, потом, для усиления резонанса, перенес его из обычной клубной аудитории на диспут в летний театр, расположенный на Треке.

Несмотря на июльскую жару, зал быстро заполнялся публикой. Помимо кучки молодежи из цеха поэтов пришли воспитанники бывшей женской и мужской гимназий, реального училища, музыканты, актеры, учителя, врачи, адвокаты и люди, не нашедшие себе места при новой власти. Тася ликовала, чувствуя, что это сторонники Миши, а у Астахова при виде валившей в зал публики буквально отвисла челюсть. Он не ожидал, что отношение новой власти к Пушкину, даже в местном масштабе, заинтересует людей, которых он считал недобитой буржуазией и которых странный большевистский начальник Ной Буачидзе тоже относил к народу, как пролетариат и крестьянство.

Тасю обрадовало, что люди были одеты нарядно, шли на диспут, как на праздник, предвкушая, как дико и безнравственно будут выглядеть типы, покушающиеся на великого поэта.

На сцене, именуемой раковиной, шли приготовления к диспуту. Уже был установлен стол, покрытый красным ситцем, справа от него кафедра для выступающих, а слева стояло потрескавшееся кожаное кресло, из дыр которого вылезала посеревшая от времени вата. На кресле был портрет Пушкина, привязанный к спинке кресла толстой грязной веревкой. Тася примостилась на выступе у сцены и слышала недоуменные возгласы Михаила и Бориса Ричардовича.

– Не понимаю, не понимаю! – пробурчал Беме.

– А мне все понятно. Это заранее задуманное издевательство над классиком! – резко произнес Булгаков.

Астахов вывел участников диспута на сцену и, чтобы утихомирить недовольство публики, затряс колокольчик.

– Граждане, товарищи, начинаем вечер-диспут. Как видите, сегодня у нас на скамье подсудимых помещик и камер-юнкер царской России Пушкин Александр Сергеевич…

– Великий поэт! – под одобрительные возгласы из зала выкрикнул Миша, но, не выдержав кощунственного отношения к поэту, растерянно заговорил дрожащим голосом, не теряя основной мысли: – Гражданин председатель! Мы, оппоненты, пришли на диспут, а не издевательство над портретом великого русского поэта… Вы можете нарядить его как пугало, но стихи его не станут хуже ни на йоту! Требуем прекратить это глумление!

К кафедре подошел по-адвокатски обаятельный и рассудительный Беме. Стал рядом с нею.

– Я не на суде, а на диспуте, – начал он твердым, чистым голосом. – Я как адвокат заверяю почтенную публику в том, что человек, убитый почти сто лет назад, вообще неподсуден! Он не нарушал законы строя, при котором жил. Никого не убил! Нет такого закона и статьи, по которой можно обвинить Пушкина! Можно спорить о его гениальном творчестве. Не более… Хотя не допускаю, чтобы культурному умному человеку оно не понравилось. Если кощунство над портретом великого Пушкина не прекратится, то мы с писателем Булгаковым немедленно покинем зал.

И зал взорвался, расколовшись на две стороны. Меньшая, из молодых поэтов и части совработников, стала кричать и свистеть, основная – аплодировать Беме. Тасе казалось, что она хлопает ему больше всех. Михаил сдержанно, но не без удовольствия улыбался уголками губ. Астахов в панике покинул сцену и, видимо, боясь, что сорвется важное агитационное мероприятие, дал указание двум крепким парням унести стул с портретом Пушкина. Зал долго не мог успокоиться, несмотря на трели колокольчика, вновь появившегося в руках ведущего. Наконец зал успокоился. Слово взял Астахов.

Вот как описывает это сам Булгаков в «Записках на манжетах»: «В одну из июньских (июльских. – *В. С.*) ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед хожу я без боязни», за «камер-юнкерство» и «холопскую стихию вообще», за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…

Обливаясь потом, в духоте, я сидел на первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей!

– Выступайте оппонентом!

– Не хочется!

– У вас нет гражданского мужества.

– Вот как? Хорошо, я выступлю!

И я выступил, чтоб меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

…Ложная мудрость мерцает и тлеет. Пред солнцем бессмертным ума…

Говорил Он:

Клевету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики я читал безмолвное, веселое:

«Дожми его! Дожми!»

Потом в местном журнале «Творчество», сохранившемся в музее Владикавказа, вероятно в единственном экземпляре, поскольку я получил его без правой нижней части, изрядно выеденной крысами, писалось, что устроенный цехом пролетарских поэтов диспут о Пушкине вызвал значительный интерес. К сожалению, на двух первых вечерах диспута с основным докладом т. Астахова (снятого за ошибки с редакторства. – *В. С.*) была обывательская, разряженная толпа, которая привыкла олицетворять в Пушкине свое мещанство, свою милую «золотую середину», свой уют, тихий и сытый, и серенькую, забитую, трусливую мысль. Ей не по нутру были утверждения докладчика, развенчавшего «кумира» Пушкина и его псевдореволюционность».

А Тася была счастлива, что находится вместе с этими людьми, разделяет их чувства. В жизни ее чаще, кроме семей Слезкина, Беме, Пейзуллаева и некоторых артистов театра, действительно окружали закоренелые обыватели, готовые отказаться от своих чувств, мыслей, привязанностей за то, чтобы их не трогали, даже за лишнюю пайку кукурузного хлеба. Старались найти объяснение происходящему в священных книгах: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Но большевики называют религию дурманом для народа, закрывают и рушат церкви, жгут Библии, куда-то исчезают священники, их семьи… Полная неразбериха в головах обывателей. Кому им верить? Только власти. За ней сила. Тася гордится мужем. Он готов к борьбе за Пушкина сейчас, не отступится от него и потом. И на предложение т. Астахова сжечь наследие Пушкина в топке революции и на статью в газете

«Коммунист» «Покушение с негодными средствами» скажет свое решительное «нет».

Тася ликует. Диспут развивается явно в пользу защитников Пушкина. Уважаемый в городе, всегда убедительный в своих речах, обаятельный Борис Ричардович одним своим видом показывает, что взялся за правое и благородное дело. Он возбужден, и от этого его лицо становится еще более одухотворенным и красивым. Он серьезен, но иногда ироническая улыбка освещает его лицо во время доклада Астахова. Тот, человек малокультурный, конечно, поверхностно знаком с творчеством Пушкина. Нахватался чужих цитат, применяет в докладе принцип лозунговости и громко кричит, как будто судьба революции решается здесь, в летнем театре Трека:

– Я спрашиваю наших уважаемых оппонентов, где был Пушкин, когда восстали декабристы? Где он был, когда декабристов расстреливали, вешали и ссылали в Сибирь? Не надейтесь, товарищи, получить ответы у защитников Пушкина. Ответ дам я. Пушкин в те ужасные дни танцевал мазурку и крутился в котильоне, поедал трюфели и страсбургский пирог, запивал шампанским, писал мадригалы и экспромты о хорошеньких ножках. Вся его связь с декабристами заключалась в том, что он рисовал карикатуры на повешенных и цинично приписывал: «И я бы мог, как они…» Нет, будут напрасно стараться защитники Пушкина! Им не удастся уберечь своего кумира от пролетарского суда. Мы помним камер-юнкерство и холопскую стихию, когда революционный народ сотрясал устои царской империи. Мы помним все это и смело бросаем Пушкина в очистительный огонь революции!

Не успел Астахов, довольный собой, усесться за стол, как из зала раздались крики:

– Это ложь! Прочь грязные руки от Пушкина! Долой докладчика!

В противовес разгоряченному, с выпученными глазами Астахову адвокат Беме выглядел спокойно и солидно. Он остановил идущего на авансцену Булгакова:

– Подождите. Я хочу сделать уточнения. Во время восстания декабристов зимой 1925 года Пушкин сам был в ссылке в селе Михайловском.

Астахов прервал адвоката:

– Не играет роли, где находилось тогда тело Пушкина. Главное – с кем он был по убеждениям.

– Я вас понимаю, – усмехнулся Беме, – неважно, где был Пушкин, важно, с кем был его дух. Значит, духи могут совершать революцию.

В зале раздался смех, обескураживший Астахова.

– Скажу еще, – продолжал Беме, – что вождь революции Ленин в 1912 году в статье «Памяти Герцена» писал, что декабристы, будучи помещиками и дворянами, оказались страшно далекими от народа. Из его утверждения ясно, что не революционный народ сотрясал империю. И как тут быть с тем, в чем обвиняете Пушкина? А то, что он хорошо питался… Видит Бог – гениальный поэт этого заслужил. И успех у дам тоже. Писал отличные стихи и красиво танцевал. Я не вижу в этом ничего буржуазного… Всем нам бы так…

Зал гремел от хохота. Растерянный Астахов предложил перенести диспут на следующий день.

Основной темой выступления Булгакова был тезис: «Пушкин – революционер духа». Тася слушала Михаила с замиранием сердца, как и большинство сидящих в зале. Даже задиры из цеха поэтов приумолкли, пооткрывали от удивления рты. И вдруг Тасе показалось, что, впрочем, случалось с нею и на других его выступлениях, что сцена пусть на часы или минуты, но разделяет их, к тому же не как зрителя и артиста, а значительно больше. В чем и почему – она не могла объяснить себе этого, но от сознания томительной разделенности тоска закрадывалась в ее сердце. Потом тоска улетучивалась, жизнь продолжалась, как и прежде, но следы даже мимолетного отчуждения от нее Михаила где-то глубоко оседали в сердце. Булгаков этого не чувствовал, после выступления, когда они оставались одни, он обнимал ее, прижимался к ее телу.

– От тебя веет теплотой и добром, – однажды признался он Тасе, но не сказал ни одного слова о любви, которого она ждала от него, но безуспешно.

– Помнишь, Миша, ты хотел застрелиться, если я не приеду на каникулы в Киев, – напомнила ему Тася письмо Саши Гдешинского.

– Помню, – вдруг серьезно вымолвил Михаил, – я не мог жить, дышать, даже учиться без тебя. Все мои мысли были поглощены только тобою. Я был безумно влюблен в тебя, Таська! – еще крепче прижал он к себе Тасю, и она почувствовала по искоркам в его глазах, что он вспоминает те чудесные, но уже вряд ли повторимые времена. – Я так волновался за тебя, ревновал к мужчинам всего Саратова и далеко не был уверен, что ты примешь мое предложение… Тогда были беспечные годы и было время влюбляться без памяти… Сбросить бы годы, заботы, вернуть прежнюю жизнь… Мы бы с тобою были сейчас где-нибудь за границей – в Париже, Риме, Венеции… И никому не надо было бы доказывать, что Пушкин – гордость России. Дело поэта –

творить прекрасное, а не стоять у амбразуры баррикады. Или жили бы мирно в Саратове, купались в Волге, отдыхали бы в Буче, а Париж… Бывали бы там как туристы.

– Я не представляю тебя пишущим в Берлине, где все вокруг чужое…

– Зря, Тася, ты недооцениваешь меня, я захватил бы Россию с собой, поместив в своей душе, мыслях. Ведь Гоголь писал «Мертвые души» в Риме.

– Возможно, я ошибаюсь, Миша, но мне кажется, что тебе ежедневно надо чувствовать пульс жизни именно того места, тех событий, которые ты описываешь. Диспут о Пушкине… Ведь он мог произойти только в России, родившей этого гения и, увы, создавшей породу людей типа Астахова, пытающихся воздвигнуть себе памятник на низвержении великих. Их искусственный, созданный по их же указанию памятник, навязанный людям, неизбежно рухнет. Я в этом не сомневаюсь ни минуточки.

– Рухнет, – согласился Михаил, – но когда? Наша беда, что мы родились в это проклятое время!

– И беда и удача, – неожиданно улыбнулась Тася, – ты сможешь описать это время в точности, в деталях, с нюансами. И все-таки, черт возьми, мы победили сегодня! Ты бы видел, как был растерян Астахов. Глаза бегают. Рыжий клок волос свисает на лоб, но он, всегда аккуратно причесанный, даже не замечает беспорядка в прическе.

– Он готовится к продолжению диспута. Я уверен, что логически он свою правоту не докажет, но придумает какую-нибудь мерзость. Знать бы – какую. Моя надежда – Пушкин. Я буду читать его сегодня, то есть, извини, уже завтра, всю ночь. И надеюсь на Бориса Ричардовича. Меня поражает удивительный нюх этих молодых низвергателей. Они избрали себе в оппоненты людей, чувствуя, как звери, в них иную культуру, классическое воспитание на лучших произведениях российских литераторов. Смешон и глуп Астахов. Он предлагает бросить произведения Пушкина в топку революции. Но ведь рукописи не горят. То, что написано пером…

– «Рукописи не горят!» – восхищенно повторила Тася. – Запомни это выражение. Когда-нибудь оно пригодится тебе.

Следующие два дня Михаил Афанасьевич провел нервно, на работе сидел как на иголках, ожидая момента, когда будет можно побежать домой, к рабочему столу, на который Тася уложила биографию Пушкина, тома его сочинений, газетные и журнальные вырезки со статьями о его творчестве. Она готовилась к продолжению диспута с не меньшим вдохновением, чем Михаил.

Зал Трека снова был переполнен зрителями, ожидающими

развязки небывалого даже для того времени спора оголтелой невежественной власти с двумя культурными людьми. Первый вечер диспута властью уже начисто проигран. Доведет ли она его до конца или направит против оппонентов пулеметы? А что она еще умеет делать, чтобы подавить недовольных ею, не способная убедить их своими лозунгами и призывами?

Борис Ричардович Беме появился перед публикой в парадном костюме, но повторял мысли и цитаты из своего прошлого выступления. Тася в испуге оглядывалась, видя, что речь адвоката не производит того впечатления, которого они с Мишей ожидали. Зрители проводили адвоката аплодисментами приличия, без особого энтузиазма.

Миша и Тася постарались не зря. План доклада Булгакова был составлен доказательно, воспевал красоту пушкинского стиха, которую мог не понять только враждебный до фанатичности к поэту невежда.

Михаил вдохновенно прочитал Тасе план:

– Пушкин и его эпоха. Певец декабризма. Он ненавидел тиранию, которая угнетала Россию. (Процитировать письма к Жуковскому об отечестве и иностранцах…) Движение декабристов – волна, поднявшая Пушкина. Трагедия декабристов и Пушкина. (Вставить цитату из «Памяти Герцена».)

Пушкин – революционер духа. Он, теоретик и художественный выразитель идей декабризма, сам не мог присутствовать на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина власти воздвигли завесу запрета.

Гуманизм Пушкина. Его общечеловечность (интернационализм). Высокие идеалы. Жизнеутверждение.

Жизнь Пушкина – трагедия творческой личности, которая вступила в конфликт с обществом. Он – наша совесть, наша гордость, наше прошлое и светлое будущее.

– Кажется, я готов к выступлению, – сказал он Тасе, а она смотрела на него с удивлением и сожалением.

– Ты не спал всю ночь. Стоило ли… стоило ли раскрывать свои мысли и настроение в этом городе? Ведь нам еще жить здесь… Я слышала, что Астахов готовит тебе какой-то неожиданный подвох.

– Я ничего не боюсь. За мною – Пушкин. Я защищаю его и, пожалуй, себя, свою возможность писать и печататься во Владикавказе, в России.

Зал Трека был опять переполнен. Пришедшая заранее интеллигенция занимала первые ряды, близкие к сцене и освещенные, а в более дальних рядах царила темнота, изредка нарушаемая вспышками махорочных закруток.

– Пригнали солдат! – испуганно проговорила Тася.

– Я этого не ожидал, – смутился Миша, – впрочем, вход на диспут свободный. Я должен разговаривать с людьми разных культурных уровней. Надеюсь, и они поймут меня.

Михаил сразу расположил к себе зрителей, скромно выйдя на сцену в потертых, но тщательно отглаженных (постаралась Тася) серых брюках, в светлой рубахе-косоворотке, поверх рубахи была надета синяя сатиновая блуза с двумя карманами. Взгляд прямой, чистый. И сразу, особенно с первых рядов, на него обрушились аплодисменты зрителей, симпатизировавших ему уже после первого дня диспута. Галерка в замешательстве настороженно молчала, а он, возбужденный приемом, говорил вдохновенно о том, что в истории каждой нации есть периоды обновления и в лучшие из них литература и искусство помогают народу понять происшедшее, что и делали такие творцы, как Данте, Шекспир, Мольер, Гюго, Байрон, Гейне… В дни Парижской коммуны Эжен Потье создал «Интернационал», революционером духа русского народа был Пушкин…

«Что же молчат красноармейцы?!» – с негодованием подумал Астахов. Он проигрывает второй вечер диспута подряд. Начальство может не простить ему этого. Он, конечно, отыграется в газете, в журнале «Творчество», который скоро увидит свет… Но красноармейцы почему-то не реагируют, как положено, на проявление вражеской идеологии или не понимают, о чем идет речь. Булгаков читает стихи Пушкина, и сделал подборку из самых лучших: «Оковы тяжкие падут…» И Пушкин, наверное, кажется красноармейцам на самом деле революционером духа, едва ли не пролетарием пера. Астахов от негодования и бессилия заскрежетал зубами.

Диспут закончился под одобрительные возгласы и аплодисменты большинства собравшихся. А веселая компания победителей, прихватив чету Слезкиных, побрела в кафе «Редант» к черноусому учтивому персу, который выделил им лучший столик, у окна с видом на ущелье, на отвесные стены гор, срывающихся вниз, в темноту бездны.

Тася до такого состояния, как в этот раз, напивалась редко. Михаил буквально тащил ее домой на своем плече. Ноги не слушались Тасю после коварной араки, но радостные мысли привольно прыгали в голове. И за то, что победили второй раз подряд местный цех поэтов-большевиков, организовавших диспут, и за то, что она хоть чем-то помогла в этом Мише, и главное, что он с нею, а не с Лариной, на самом деле привлекательной девушкой, способной актрисой театра, Тася была готова простить ему все его измены.

– Черт возьми! – вдруг произнесла она.

– Что это с тобою? – удивился Михаил.

– Черт возьми! – повторила Тася. – Как здорово во Владикавказе!

Булгаков скорчил неприятную гримасу.

– Ты мечтаешь о другом театре, о других артистах, – плела она пьяным языком, – а мне нравится и театр, где ставят твои пьесы, и я каждый раз жду с нетерпением момента, когда ты выйдешь кланяться публике, и хлопаю громче всех, и я млею от счастья, когда мы вместе возвращаемся домой…

Утром ей стало хуже: и после обильного принятия араки, и от предчувствия неприятностей, грозивших Михаилу.

Она редко заходила к Михаилу на работу, зная, что он симпатизирует одной из машинисток Подотдела, именно ей диктует свои пьесы, а тут неодолимое чувство опасности за него привело ее туда. Михаил сидел за газетой, заглавие которой было подчеркнуто синим карандашом. Миша протянул Тасе газету и грустно вымолвил:

– Вот как оценивают нашу победу на диспуте.

Тася впилась глазами в газетные строчки: «Русская буржуазия, не сумев убедить рабочих языком оружия, вынуждена попытаться завоевать их оружием языка. Объективно такой попыткой использовать «легальные возможности» являются выступления гг. Булгакова и Беме на диспуте о Пушкине. Казалось бы, что общего с революцией у покойного поэта и приглашенных господ? Однако именно они именно Пушкина как революционера и взялись защищать. Эти выступления, не прибавляя ничего к лаврам поэта, открывают только классовую природу защитников его революционности… Они вскрывают контрреволюционность этих защитников «революционности» Пушкина». Тася подняла глаза на Мишу:

– Но ведь люди были на нашей стороне, нам аплодировали, ко мне подошла старушка и, улыбаясь, ласково погладила по голове: «Передайте сердечный привет мужу. Он говорил прекрасно».

– Статья не так проста, как кажется внешне. Я говорил с Борисом Ричардовичем. Не пугайся, Тася, но он обратил внимание на обвинение нас в контрреволюционности, к чему сейчас относится и саботаж, и бандитизм, и воровство, и хулиганство и за что подсудимым от имени революции обычно объявляется расстрел.

Тася заволновалась, глаза ее заблестели:

– Был же диспут! Обмен мнениями! Кто подписал статью?

– Товарищ А. Скромный. А кто у нас в газете самый

застенчивый? Конечно, главный редактор! Кстати, Владикавказский ревком собирается освободить его от обязанностей редактора за допущенные ошибки по руководству газетой. Видимо, за то, что он допустил этот диспут. Наверное, не все в ревкоме разделяют его отношение к Пушкину, а может, я ошибаюсь, но почему-то уверен, что товарищ Скромный сильно не пострадает. Истинно скромный человек никогда не взял бы себе такой псевдоним, а вот нахальному карьеристу, твердолобому, беспринципному типу он пригодится, чтобы скрыть свое настоящее лицо.

Слова Михаила подтвердились. Через несколько дней вышел журнал «Творчество», где в редакционной статье Астахов, не стесняясь никого и ничего, писал о себе: «Все попытки вознести Пушкина на прежний пьедестал, все иллюзии на этот счет были безжалостно, с прямолинейной, неумолимой логикой разбиты докладчиком т. Астаховым. В начале своего слова т. Астахов отметил, что, по существу, идет спор между пролетарской революционной и буржуазной идеологической психологиями. И что, несмотря на весь багаж, на все авторитеты от Белинского до Мережковского и Айхенвальда, оппонентам, представителям буржуазно-педагогической точки зрения, не удалось «спасти» Пушкина… Мы же, – продолжал т. Астахов, – не имели таких почтенных союзников, в прошлом у нас нет авторитетов. Мы апеллируем не к буржуазному пониманию, а к простому пролетарскому смыслу. И дурман рассеивается, мысль проясняется. Т. Астахов приводит по академическим и венгеровским изданиям Пушкина его очевидные доказательства псевдореволюционности».

Читая дальше статью Астахова, Тася разволновалась, так как автор в оценке Пушкина сам подпускал, сколько мог, тумана, чтобы запутать читателя перед третьим раундом диспута: «Вспоминая, как буржуазный профессор Сакулин отмечал, что все те, кто притягивают имя Пушкина к литературе, делают ему плохую услугу, ибо Пушкин смотрел на революцию как на бунт «бессмысленно жестокий». Пушкин был либерал, и только; он ждал освобождения народа «по мании царя». Если говорить о кривой в творчестве Пушкина, то это кривая помещика-барина начала прошлого столетия. Это тот интернационалист, – замечал Астахов, – который приветствовал русских генералов Котляровского, Цициановского и других душителей кавказских горцев. Это тот интернационалист, кто в украинском освободительном движении видел лишь «измену Мазепы» или радовался и писал свои «стансы» по поводу усмирения польского восстания».

Тася, чтобы успокоиться, отложила газету, подошла к зеркальцу и увидела себя столь серьезной, что даже внутренне улыбнулась. Она чувствовала, что взрослеет не по дням, а по часам. Она уже намучилась, как считала, на две жизни вперед, и предполагала, что это только начало ее страданий, она просто не могла знать, что еще более страшное обрушит на нее жизнь, но свое не по годам взрослое лицо, которое она увидела в зеркале, не ввергло ее в уныние. Конечно, не хотелось стареть раньше времени, но внутренне она чувствовала уверенность в своих силах, пусть хрупких, но сильнее, если потребуется. Она защитит Мишу, что бы с ним ни случилось. Не хотелось возвращаться к пакостной пачкотне Астахова. В том же номере газеты она прочитала о том, что 20 июля в Москве, в бывшем театре Зимина, состоялись литературные именины наркома просвещения А. В. Луначарского. Тася вспомнила, что он печатался в «Киевской мысли», закончил один с Мишей университет, был высокообразованным человеком, политически не агрессивным, противником карательных мер в искусстве и, видимо, не случайно на своем вечере ознакомил публику со «всеми направлениями и веяниями в области европейских театра и литературы». А объявленный рядом конкурс на пьесы, проникнутые духом современной революции, вновь заставил Тасю напрячься, быть готовой к борьбе с кознями, подобными астаховским. Что за подвох против Миши и Беме придумал он? Она читала ненавистные строчки, стараясь между ними разглядеть пока неведомую опасность, грозившую Мише.

Вопреки событиям на диспуте, Астахов писал, что люди ушли с него, думая, «какая ложь», какой дурман опутал имя Пушкина и на какие ветхие ходули хотели оппоненты – литератор Булгаков и дошлый адвокат Беме – снова вознести Пушкина. Они явились выразителями обывательщины – дам и девиц, заполнивших партер. Беме истерично восклицал, что высечь Пушкина революционными плетьми и бросить его сочинения в костер даже не удастся «кощунственной» руке. В том же духе, но с более сильным «фонтаном» красноречия и пафосом говорил второй оппонент – литератор Булгаков. Отметим его тезисы дословно: «…бунт декабристов был под знаком Пушкина», «Пушкин ненавидел тиранию (смотри письмо к Жуковскому: «Я презираю свое отечество, но не люблю, когда об этом говорят иностранцы»). Пушкин теоретик революции, но не практик, он не мог быть на баррикадах», «на творчестве Пушкина лежит печать гуманности, отвращения к убийству».

И немудрящий и неодурманенный слушатель вправе спросить: «Да, это прекрасно, литератор Булгаков, коли нет

обмана, но что же сделало Божество, солнечный Гений – Пушкин для задушенного в тисках самовластия народа? Где был Пушкин, когда вешали хорошо знакомых ему декабристов и пачками ссылали остальных на каторгу?»

Тася посмотрела в сторону молодых поэтов, затеявших диспут, и удивилась, увидев на некоторых лицах смущение и даже замешательство. Видимо, они не ожидали, что их лидер расправится с классиком столь круто. Она оказалась права. Юрий Слезкин, описывая этот диспут в повести «Столовая гора», без сомнения, очень точно описывает состояние на нем одной из поэтесс – Милочки: «Она волнуется. Щеки ее горят. Она чувствует себя хмельной. Товарищ Авалов (Астахов) непререкаемый авторитет в цехе. Он говорит: «Пушкин – революционер духа? Пожалуй, этому поверят олухи, собравшиеся сюда. Публика самая буржуазная». Но он доказал, как дважды два четыре, что Пушкин типичный представитель своей среды. Пролетариат должен помнить, что его поэзия – вне Пушкина, навсегда вырванного из жизни пролетарской революции. Пушкина нужно сдать в архив, «скинув с парохода современности», положить на самую верхнюю полку архива, так, чтобы никому не приходило в голову доставать его оттуда. Точка.

Милочка аплодировала товарищу Авалову, желая «осознать себя частицей пролетариата», желая строить будущее. Как она могла отказаться от будущего? Ее воодушевляла борьба за него – эти алые знамена, кидающие свой вызов небу; бодрый стук машин, напрягшиеся мускулы, многоголосый гимн труду, победа жизни над косностью, над прахом. Ей казалось, что в лицо ее веет могучий ветер, что грудь ее ширится, что она видит миры, вовлеченные в вихрь революций… Есть отчего опьянеть и даже отказаться от Пушкина…»

Писатель Слезкин сумел удачно показать, как далеко от жизни может увести человека, особенно молодого, обманная даль несбыточного коммунизма. Между тем, встретившись с оппонентом на диспуте Алексеем Васильевичем (Булгаковым), Милочка растерялась: «Нельзя отрицать, что он тоже говорил прекрасно, у него больше эрудиции, он опытный лектор, известный писатель… Напрасно Алексей Васильевич думает, что в ней говорит чувство стадности, дух дисциплины, ничего подобного!

– Но вы же готовы были аплодировать мне, – улыбается Алексей Васильевич, – я видел, как вы подняли руки, но, оглянувшись на товарища Авалова, опустили их на колени. Я наблюдал за вами.

Милочка решительно вскидывает голову. Она не умеет лгать.

– Да, я готова была аплодировать вам.

– Кто же прав в таком случае? – посмеиваясь, поддразнивает ее Алексей Васильевич.

Милочка открывает рот, словно задохнувшись, но тотчас же бросает звонко и коротко:

– Оба!

Очень характерное для того времени раздвоение общества осветил Слезкин: на тех, кто безоговорочно пошел за революцией, и тех, кто противился ее роли и человеконенавистничеству.

И Миша, и Тася, да и в большей мере Слезкин, понимая это, вели себя осторожно. Но вычеркнуть Пушкина из жизни России они не могли, тем более живя далеко от столицы, считая эту акцию общемасштабной.

Астахов в своем журнале изгалялся над оппонентами как мог. Тасю передернуло от названия статьи: «Ни бе ни ме» – так перестраивалась автором фамилия Беме. Другая статья называлась не менее желчно: «Рожденные ползать не способны летать». И было в ней написано следующее: «…Нет, господа хорошие, никакими ссылками на гуманность и личную драму вам не замазать того, что революционер, воспевающий царских генералов-палачей, не нашел ни одного слова для призыва угнетенных масс к освобождению… Когда человек заявляет, что для него равноценны виселицы Разина и царя, он явно замазывает грязное дело царей. Когда оппоненты в отечестве рабочих и крестьян, ведущих отчаянную вооруженную борьбу с угнетателями, оправдывают нелюбовь к убийству, они защищают палачей рабочих и крестьян. Слишком топорна и груба «революционность» и «гуманность» гг. оппонентов, чтобы не понять их сущность. А потому наш им совет: при следующих выступлениях «для своих прогулок подальше (от революции) выбрать закоулок».

Наступил третий день диспута, последний, как думали все его участники, не сомневаясь, что новая власть не допустит пропаганду поэта, которого считала вредным и реакционным. Тася знала, что Астахов готовит подвох оппонентам, и не ошиблась в своих ожиданиях. Астахов для своей «победы» выбрал наиболее легкий путь – запретил пускать в зал так называемую буржуазную публику. Трек заполнили красноармейцы. Кое-кто из «буржуазии» пытался пробраться к Треку через верхнюю часть парка, но и там был выставлен красноармейский заслон. У входа в зал стояли бойцы, держа в руках ружья с примкнутыми штыками. Но желающие попасть в зал смельчаки не расходились, требуя для объяснений начальника караула, но он не появлялся.

Плечом к плечу держались под штыками у красноармейцев

Первиль и Медведев – бывшие владельцы шикарного кинотеатра с плюшевыми дорожками, хрустальными люстрами, высоченными трюмо и расписными стенами работы итальянских мастеров. В зале стояли красные бархатные кресла. Пока кинотеатр сохранял прежний вид, даже посещавшие его красноармейцы, пораженные его великолепием, гасили сигареты и смолкали, на чужие места не садились – это считалось позором. Рядом с Первилем находился его друг, богатый в прошлом промышленник Ульянов, сам отдавший под больницу свой дом. Известные в городе люди пришли на диспут. Авиатор Артемий Коцианц, еще недавно восхищавший владикавказцев полетами на моноплане, держал под руку Фузу Борисовну Ганиеву – свою поклонницу. Пытался прорваться на диспут даже Батурбек Туганов, переведший на осетинский язык «Манифест коммунистической партии» бывшая домовладелица Акундова, чьи квартиры поражали клиентов обилием ковров на стенах и полу. Совсем неожиданным было появление в группе защитников Пушкина Багратиона Сергеевича Вахтангова, бывшего владельца табачной фабрики. Он предчувствовал реквизицию большевиками своего производства, набил подвал сигаретами и угощал пришедших к Треку единомышленников уже тогда уникальными сигаретами «Дядя Том» с негром в красной турецкой шапке на пачке. У негра был приплюснутый нос, золотые серьги в ушах, синяя блуза с красным галстуком, черные волосы и обаятельное лицо. Любителю женского пола Первилю он сунул пачку сигарет «Ню» с полуголой рыжеволосой девицей на коробке. У девицы был чувственный взгляд, к волосам приколота ромашка, а в красных напомаженных губах зажата сигарета с вьющимся из нее дымком.

Пришедшие угощались сигаретами, благодарственно кланялись Вахтангову, но об основной цели прихода не забывали. Артемий Коцианц, крепкий мужчина в двубортном пиджаке, чернобровый, с острым бесстрашным взглядом, едва не упершись грудью в штык красноармейца, заговорил громко и четко:

– Диспут требует наличия двух сторон! С кем вы собираетесь спорить? Сами с собою?!

Его поддержали осетинские учительницы в белых кофточках и длинных черных юбках. Все с надеждой смотрели на Александра Тихоновича Солодова – друга Кирова, Куприна и самого блестящего в городе фельетониста, который за свой фельетон «Смех и слезы» долгое время преследовался полицией, но Солодов лишь криво улыбался, видимо, понимая, что собравшимся не совладать со стоящими у входа красноармейцами и судьба диспута предрешена. Так же думали пришедшие на диспут отставные офицеры, врачи, адвокаты, учителя… Люди

оживились, когда к ним присоединилась полная крупная женщина в широкополой шляпе – врач Александра Павловна, внучка знаменитого мореплавателя Крузенштерна, но ее появление не произвело никакого впечатления на красноармейцев. Она подошла вплотную к ним, поскольку была близорука и носила пенсне.

– Это они не пускают?! – неожиданно пробасила она.

– Они, гады! – подтвердил бывший владелец кинотеатра Медведев.

– Буржуйские морды! – не выдержал оскорбления один из красноармейцев и взял штык на изготовку. – Вон отсюда! Паразиты! Недобитки сучьи!

К красноармейцам подоспело подкрепление, и, работая прикладами, они разогнали толпу и закрыли на задвижку входные ворота. Тася с ужасом наблюдала за происходящим и беспокоилась: что-то плохое сегодня может ожидать Мишу.

С гор потянул ветерок, и тусклая лампочка, висящая на сцене, закачалась и стала отбрасывать уродливые тени от сидящих за столом. Астахова красноармейцы выслушали, мало понимая, о чем он говорит, поэтому нервничали и много курили. Но стоило подняться из-за стола Беме, как они засвистели, заорали. Беме поднял вверх руку, призывая их к тишине, но шум в зале усилился, и среди него чаще всего прорывалось одно слово: «Долой!» Оппоненты, понурив головы, покинули сцену под улюлюканье и мат зала. «Диспут» закончился по согласованному с ревкомом плану. Астахов торжествовал. Через несколько дней его снимут с руководства газетой за допущенные ошибки, в том числе за неудачную организацию диспута о Пушкине, но его рьяность и преданность революции заметили и вскоре по информационной линии отправили на работу в Турцию.

После диспута пропал свет, и его участники на ощупь спускались со сцены.

– Миша! – позвала Тася. Он оказался невдалеке, взял ее за руку.

– Борис Ричардович! Где вы?! – проговорила в темноту Тася.

– А мы тут, – раздался голос Юрия Львовича Слезкина. Ему удалось пройти за кулисы, и он наблюдал за диспутом, стоя за задним занавесом. – Приглашаю всех ко мне. Лина ждет нас.

Разбегаться по своим углам после такого потрясения никому не хотелось. Солнце давно скрылось за снежными вершинами, не оставив даже темно-оранжевую зарю. Слезкин жил неподалеку, в Белявском переулке, граничащем с набережной Терека, который в этот вечер не свирепствовал, словно чувствовал, что это будет лишним вкупе с буйством, царившим на его берегах.

Гости расположились на балконе, где не было душно.

– Я был бессилен что-либо сделать, – стал оправдываться Борис Ричардович, – я участвую в судах общественным защитником, для соблюдения формы, не более, ко мне не прислушиваются судьи. Я не могу сослаться ни на одну статью какого-либо из законов, потому что их не существует. Все решается от имени революции – непонятная и неведомая формулировка: грабеж и бандитизм приравниваются, например, к пьянке. И за то и за другое могут расстрелять. Допустимо глумление над Пушкиным. А тем, кто его защищал, я думаю, не поздоровится… Я боюсь за вас, Миша, ваши доводы были наиболее убедительны.

– Переведут в театральную секцию, она в полном развале, – бодро отозвался Михаил.

– А меня уже погнали из Подотдела, – саркастически заметил Слезкин, – чего будем лопать? Я стану писать пьесы, пойду работать в театр, хоть кассиром, хоть контролером…

– Вы? – изумился Беме. – Известнейший на всю Россию писатель! М-да. Впрочем, я вас понимаю. У вас родился сынишка. Как назвали?

– Сашка. Через неделю ему исполнится месяц. Если бы не он, – вздохнул Юрий Львович, – мы бы с женою сидели сейчас в кафе на берегу Средиземного моря. Вдыхали аромат магнолий. Но я не жалею об этом. Я счастлив, что у меня родился сын!

– А вы не подумали, на какую жизнь вы его обрекли? – неожиданно вступил в разговор Михаил. – Я бы сейчас не решился на это. Я прав, Тася?

Тася встрепенулась, поскольку Михаил затронул больную для нее тему, раздумья о которой не раз ранили ее душу. Он не хотел иметь ребенка в Киеве после свадьбы, считал, что рано, он еще не закончил университет, и время для этого не самое подходящее – идет война с Германией. Она послушалась его и сделала аборт, хотя врач был решительно против этого. Потом вдалеке от грозных событий, в Богом забытом Никольском, где жилось более-менее сытно и не было проблем с молоком, она просила Мишу оставить ребенка, но муж сердился, когда она настаивала на своем, однажды даже расплакалась. Сердце его дрогнуло, даже заблестела на реснице слеза, он опустил голову, а когда поднял ее, то в глазах его было море грусти.

– Миша, у нас будет чудесный ребеночек! – воскликнула Тася. – Он снится мне ночами! – сказала и вдруг пожалела об этом.

Ночами Михаил садился за письменный стол. Неужели Миша боится, что ребенок родится больным или будет мешать его

писательской работе? Или он думает, что судьба связала их ненадолго? Или уже не любит ее, как прежде?

Мысли, одна страшнее другой, перепутались в ее голове, когда он вдруг посуровел и из его глаз ушла теплота.

– В четверг я проведу операцию! – заключил он.

Видимо, операция прошла неудачно. Длилась дольше обычного. Миша волновался. Бросался к учебнику акушерства. И после операции несколько дней вел себя нервно, мало разговаривал. Тася хотела у него спросить, не потеряла ли она способность материнства, но не решилась, боясь услышать отрицательный ответ или испытать нервозность Миши, еще не отошедшего от наркомании.

На балконе появилась жена Слезкина:

– Подкрепитесь, мальчики, овощами. Я помидоры с огурцами и луком нарезала, добавила постного масла, а лаваш, извините, у меня кукурузный. Ешьте на здоровье, а я пойду к сыночку. Он никак не засыпает.

Борис Ричардович попытался отвлечь компанию от грустных мыслей и стал рассказывать, что до шестого века нашей эры в Африке и на Востоке голову маленького ребенка туго перебинтовывали, чтобы кости росли вверх. И для красоты, и для того, чтобы на его голове лучше сидел шлем.

Борис Ричардович похвалил Кирова, приехавшего во Владикавказ:

– Пожалуй, единственный грамотный и либеральный человек среди большевиков. Был корреспондентом газеты «Терек» по театру. Там имел постоянное место во втором ряду. Писал о Варламове, Давыдове, Белинском…

У осетин удивительное желание найти свое родство с именитыми людьми, видимо вызванное вековой отсталостью. Здесь поговаривают, что настоящая фамилия Сталина Джугаев и отец его осетин княжеского рода, только мать – грузинка.

– А доклад ему на Съезде горских народов писал русский – Киров, – добавил Михаил.

Слезкин рассмеялся:

– Мне нравится Осетия, здесь гостеприимные люди, но лежащие вокруг Владикавказа горы создают ощущение, что ты находишься в ловушке. Осетины к этому привыкли, а на меня давят горы. Жаль, нет продуктов, а то бы жена испекла вам чудесные местные пироги: фытчин – с мясом, олибах – с творогом. Мне довелось их отпробовать. Неповторимое сладостное ощущение! При большевиках почти что все исчезло. Беднеет, нищает народ. Впрочем, я даже хотел писать очерк об одном удивительном, я бы сказал творческом, большевике – Ное

Буачидзе, учителе из Грузии, а здесь – председателе Совнаркома Терской области. Пытался уладить конфликт между ингушами и казаками и погиб от предательской пули 20 июня 1918 года.

– Я тоже поражался его поступкам, – заметил Борис Ричардович. – Говорят, что, еще будучи мальчиком, он писал остроумные письменные протесты против учителей, бивших детей, а повзрослев, выступал против тех, кто свои личные групповые интересы ставил выше интересов всего народа. Отрицал насилие, старался убедить людей и словом и делом. В отличие от других большевиков, в его взглядах не было ни шаблонности, ни рутинности. Он многим казался партийным ребенком.

– И его убили. Свои же, – едко вымолвил Михаил. – И такая же участь ждет любого коммуниста, который нарушит их веру.

– Может, в какой-то мере они поэтому, вследствие железной дисциплины, победили Добровольчество. Я храню интересный документ, – сказал Слезкин и достал из ящика письменного стола газету. – «Терская жизнь» от 3 января 1920 года, здесь телеграмма генерала Деникина терскому атаману о разложении в армии: «Все мои приказы о ловле и карах дезертиров и уклоняющихся остаются мертвой буквой, разбиваясь о слабость, попустительство, а может быть, корысть тех, которым это дело поручалось. Если в недельный срок тыл не будет расчищен от дезертиров и уклоняющиеся не будут высланы на фронт, то кары, им предназначенные, до смертной казни включительно, обращу против тех лиц, которым это дело поручено и которые своим попустительством губят армию».

– Этот приказ уже интересен только историкам, – заметил Михаил. – Гражданская война, тем более проигранная прежней властью, разрушает страну и хозяйственно, и нравственно. Как грибы после теплого дождя в лесу, повылезали наверх всякие поганки и невежды… Напустились на Пушкина… А народ в своей массе думает о другом. Недавно встретил я в центре Владикавказа, на вокзале, солдата Добровольческой армии, в полной амуниции. «Не боишься? – спрашиваю. – Ты же деникинец!» – «Какой деникинец? Человек я. Домой иду. Зачем воевать русским с русскими? Кто за добро сражается, кто за завод, за имущество, а у меня – самое необходимое. Излишков нету. А были бы – отдал тем, кто голодает. И отдавал. И вообще, зачем воевать людям? Даже с басурманами. Они ведь тоже люди. У них жены, дети. Бог – другой. Ну и что? Ведь боги между собой не воюют. Каждый своим делом занимается. Так и людям надо. Бедному помочь не грех, бедному, но не лодырю, не пьянчуге, а тому, кто работает, хорошо работает, но беден».

Мишу поддержал Борис Ричардович:

– У нас во Владикавказе есть известный врач осетин Казданов, красивый и гордый человек. Лечил больных тифом – и красноармейцев, и белых офицеров, лежащих в кадетском корпусе. Начальству ответил, что лечит не врагов, а больных. Считал себя правым и ничего не боялся.

На балконе появилась с блюдом в руках жена Слезкина, и мгновенно прекратились разговоры на политические темы.

А Тася с завистью смотрела на Юрия Львовича – он светился радостью, когда рядом была жена. Он готов был посвящать ей все свои произведения, но она была против этого, решительно возражала.

Тася боготворила Лину и как самостоятельную, обаятельную женщину, и как прекрасную актрису. Юрий Львович однажды с сожалением признался Булгаковым, что жена отказалась взять его фамилию. «Я – актриса, я без псевдонима – Башкина, – сказала она, – а ты, Юрий Слезкин, писатель. Все на своих местах. А любовь? Это уже наше. Это мы не будем выставлять напоказ. Правда, Юра?» – «Конечно, Лина!»

Тася не придала этому разговору особого значения. Миша не посвящает ей свои произведения, потому что считает их слабыми. Может, на романе, который он урывками, ночами, но пишет, будут начертаны хотя бы ее инициалы. Он, как Юрий Львович, не собирается демонстрировать на людях их любовь. Может, действительно ухаживал за молодой актрисой Лариной.

А может, это была творческая дружба? Не более… У них в семье тоже все на своих местах: Михаил Афанасьевич Булгаков, писатель, его жена – хозяйка дома, пусть не своего, небольшого, но отнимающего массу энергии и выдумки, чтобы его обиходить, чтобы в нем не было голодно и сыро.

С Терека подул прохладный ветер, шум воды в темноте казался далеким шепотом. Может, Тереку, начинающему свой путь высоко в горах, часто покрытых облаками, виднее, что происходит на земле. Может, следует прислушаться к его рокоту? И вдруг Тася подумала, что она и Миша занимают в семье иные места, чем Юрий и Лина. Они – люди творческие, лучше понимают друг друга, у них больше тем для разговоров, это сближает их. А разве интересует Мишу, как она доставала репу, как бежала за арбой, везшей ее, чтобы догнать по дороге к рынку и купить дешевле. Его не интересовало мнение о своей пьесе жены – артистки в массовых сценах… Но разве Тася виновата, что ее незавидною судьбою несправедливо распорядилась жизнь? Кто возьмет учительницей в советскую школу дочь бывшего действительного статского советника, даже с отличным

гимназическим дипломом, даже с опытом работы классной дамой? О ней все разузнают и сообщат куда надо как о выходце из самой буржуазной семьи. Мать, живущая в Харькове, не ответила на ее письмо, может, хочет затеряться в этой жизни так, чтобы забыли ее происхождение, или письмо не дошло. Уже второе письмо.

Терек грохотал в темноте, и вдруг Тася подумала, что ни до кого из сидящих на балконе ему нет дела, что она одинока в этой сумбурной жизни. Ее спасение – Миша. Ради него она готова на все, даже на работу прислуги, которую она, даже не думая об этом, частенько выполняет, и будет нести крест его жены до последнего дня их жизни.

Терек к ночи разбушевался, неся в волнах обтесанные водой камни. Казалось, что река нервничает, недовольна революционным буйством на своих берегах, протестует против того, как сложатся судьбы людей, словно знает, что после переживаний и мытарств на ее берегу Юрий Львович Слезкин станет завидовать писательским успехам Михаила Афанасьевича Булгакова, но навсегда сохранит симпатии к Тасе, а его сын Сашка станет врачом и вернет отца из литературного забвения, пробив в «Советском писателе» его книгу «Шахматный ход», что Борис Ричардович Беме будет вынужден принять постулаты советской юстиции, в том числе превалирование общественной собственности над частной, и когда в один из приездов во Владикавказ я соберусь навестить его семью, чтобы узнать что-нибудь новое о его дружбе с Булгаковыми, о тех временах, мне скажут, что в этот день хоронят сына Бориса Ричардовича – биолога Леву Беме. А Терек, как и тогда, продолжит свой неистовый бег, гордый бег, и ему, разумеется, будет не до судеб людей, тем более живших когда-то на его берегу. За ответами на эти вопросы я обращусь к архиву, в музей, к людям, еще помнящим давние годы. Но память людей не беспредельна, лучше и точнее о прошедшем знают документы, между сухих строчек которых иногда возникает истинная жизнь с правдой событий, с ошибками и победами людей, их радостями, переживаниями и страстями, жизнь, кажущаяся нам иногда странной и нелепой, но не менее, чем наша жизнь будет представляться потомкам.

Михаил и Тася возвращаются домой от Слезкиных. Идти по Владикавказу вечером небезопасно. Орудуют бандиты. Поэтому Булгаковы ступают по мостовой тихо, прижимаясь к домам.

– Какие милые люди Слезкины! – наивно восклицает Тася.

– Лина – настоящая актриса, могла бы с успехом выступать в любом столичном театре. А Юрий Львович – умница, я его обожаю. Талантливейший писатель. Но почему-то иногда косо и с

удивлением смотрит на меня, словно я что-то делаю не так, что-то для него неожиданное и неприятное.

– Тебе кажется, Миша, – говорит Тася, – а я всегда ловлю на себе его добрый взгляд, даже сострадательный, видимо, сопереживает моим трудностям домашней хозяйки. – Она теснее прижимается к плечу мужа. – А все-таки оппонентом для диспута цех поэтов выбрал тебя, а не Слезкина. Я не знала, что ты такой смелый, Миша!

– Преувеличиваешь, Тася. Я даже не решился написать историю Ленинского бульвара, который прежде назывался Нестеровским – в честь коменданта Владикавказской крепости, а еще совсем недавно – в честь царя – Александровским, и его до сих пор так называют. Не иначе. И никто не узнает, что поселок Архипо-Осиповка был назван в честь героя, взорвавшего склад противника ценою собственной жизни, в честь рядового Тенгинского полка Архипа Осипова. Недавно ко мне попал материал о двух руководителях, высказавших по одному вопросу разные мнения, и тот, кто выступил против доселе существовавшего мнения, был окрещен врагом и оппортунистом. Не лучше было бы каждому руководителю проверить себя, добраться до истины и даже пересмотреть свои позиции, прежде чем привешивать противнику ярлык контрреволюционера? Астахов мою статью об этом не пропустил и в злой форме посоветовал мне писать рецензии об искусстве не хуже Вокса. Я мысленно рассмеялся, но спорить с ним не стал. Я знаю немало интересного. В «Терской правде» от 20 августа 1918 года чрезвычайный комиссар Юга России Сергей Константинович Орджоникидзе сообщает Ленину о банде казачьих и осетинских офицеров, напавших на Владикавказ. Мятежники разгромлены. Ленин дает указание усилить Кизлярский отряд и спрашивает: «Где был Сталин?» – но ответа не получает. Вряд ли такое Астахов опубликует сегодня, когда Сталин собирается выступать на Съезде народов Терека. Кстати, правом избирать и быть выбранными в Советы пользуются люди независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и пола, достигшие восемнадцати лет. Не могут быть избраны люди, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Государство может получать прибыль, используя труд людей, а из кого состоит государство? Из тех же людей. Не могут быть избраны люди, живущие на проценты с капитала, частные торговцы и коммерческие посредники, монахи и церковные служители… А у кого же тогда исповедовать веру, что официально разрешено? Я об этом не пишу, молчу, а ты говоришь, что я смелый… – улыбается Михаил.

– Не лезешь на рожон, но все равно ты очень смелый человек, Миша! – стоит на своем Тася.

В конце улицы нарастает шум. Движется пролетка, в которой возвращаются домой пьяные владикавказские проститутки, сопровождавшие богатых беглецов до Тифлиса.

– Жизнь идет своим чередом! – вздыхает Миша. – Кто-то терзается, кто-то веселится! Ты знаешь, Тася, что в августе девятнадцатого погибло много красноармейцев. Был схвачен главный санитарный врач XI дивизии и повешен на Александровском проспекте. По национальности немец. Большевики попросили похоронить его отдельно. Говорят, что он был нашим разведчиком и вел переговоры с самим Узун-Хаджи. Немец из Германии. Не странно ли? Ты говоришь, что я смелый, Тася… Вернее – принципиальный. Помнишь мою первую статью в «Кавказе» под инициалами М. Б.?

Я не струсил и подписался бы полностью, если был бы уверен, что материалы подлинные, а не основываются на слухах. Тем более статья была о голоде в Совдепии и написана в ироническом стиле, а смеяться над голодающими грешно. Покровский давил на меня, угрожал, что не издаст никогда, если я не сдам в печать статью. Были сомнения, отсюда возникли инициалы. Я не раз спорил с Покровским, говорил, что газета должна отражать правду жизни. Привел случай в крепости Темир-Хан-Шура, где повстанцы, окружив красных, потребовали от них сдать оружие, обещав никого не тронуть, а потом ворвались в крепость и повесили всех большевиков. «Хватит сантиментов, – закричал на меня Покровский, – в войне для победы хороши все средства!» Я тот материал не подписал, но не из-за трусости, а из-за его лживости. Мы спорили с Покровским и по другим случаям, хотя он был сильным журналистом и уважал меня как коллегу. Кстати, Вокс приходил к Покровскому наниматься на работу в газету «Кавказ», сказал, что будет писать все, что ему скажут, на что Покровский заметил ему, что лучше, чем его, возьмет театральным рецензентом большевика Кирова, разбирающегося в искусстве гуманного человека. Защищать Пушкина – не смелость, а долг любого культурного человека.

– А не кажется ли тебе, Миша, что смелость входит в понятие культуры и за твою культуру власти не погладят тебя по головке? Кто-то из местного наробраза говорил: «Революции нужны мужественные люди, осознавшие себя частицей своего класса!» – «Такие, как вы?» – спросили из зала. – «Не знаю, но, во всяком случае, не такие, какие засели в Подотделе искусств. Все это бывшие люди!»

Миша отмалчивается, боится признаться Тасе, что в минуты

слабости его мучают разные страхи, неуверенность в завтрашнем дне, голод, опасность остаться без работы, быть арестованным… Вечное спасибо Тасиным родителям, подарившим дочери длинную золотую цепь – недавно проели последние звенья. Продукты дорожают. Тася на одну латку ставит другую, продает то одну, то другую вещь, сокращая свой гардероб, говоря при этом: «Самое важное: хлеб, дрова, белье, а без них нищета и смерть».

У артистов пористые от плохого грима лица. Они простодушно говорят: «Эти комитеты, эти коллегии и общие собрания погубят нас. Антрепренер был жуликом, но он знал свое дело и давал есть, а мы сейчас только разговариваем и что-то обсуждаем. Мы – хлам: художники, литераторы, артисты, музыканты… Коротко и ясно: при новой власти мы стали хламом». Тася не согласна с этим. Голодают многие. А к людям буржуазного происхождения отношение властей вообще безобразное. Кстати, артистам выдали охранные грамоты в том, что «имущество их не подлежит реквизиции, а квартира – уплотнению».

При частных владельцах в аптеках были все необходимые лекарства, а теперь не достанешь даже аспирину, которого имелись большие запасы. Вывод один – лекарства пропали потому, что аптеки национализированы. Появляются в газете первые уколы в адрес Подотдела искусств: «Во всех столовых города бутылка пива стоит 50 р., а в буфете Первого советского театра – 100 р. Пора сделать внушение рвачам!»

Снова распоясался М. Вокс, одну за другой написавший три рецензии на концерты Подотдела искусств. Тася обеспокоена. Выдержит ли Михаил подобные оскорбительные выводы? Уходить с работы нельзя. Об этом сразу узнают в ЧК, где он ежемесячно проходит регистрацию как бывший белый офицер. Миша считает, что его и других культработников из «прошлых» держат на работе по необходимости, из-за отсутствия грамотных пролетарских кадров. Появятся свои – освободятся от него и подобных ему и рано или поздно пустят в расход. Поэтому из Владикавказа нужно уезжать, и по возможности быстрее, а пока трудиться, несмотря на «критику» Вокса.

Отъезд должен выглядеть естественным, вынужденным, а не бегством.

Тася с ужасом в душе читала рассказ Астахова «Бескорыстность», где автор доказывал, что «буржуй – всегда буржуй», воксовы, наполненные злобой к Подотделу искусств, рецензии: «И снова Бетховен. И снова взято раннее его произведение из инструментальных – Первая симфония,

романтическая старушка, которую теперь слушаешь с улыбкой». Затем заметку «Поближе к рабочим», где говорилось, что начал функционировать Владикавказский театр. «Судя по первому спектаклю, он не создан для рабочих и трудящихся вообще. Театр посещают уставший от дневной грязной работы спекулянт и уставший от безделья владикавказский буржуа… Мы подходим к искусству с точки зрения боевых заданий пролетарской культуры. Вот почему мы против лирической слякоти Чайковского и «халтурных» концертов. Мы без оглядки разрываем старое буржуазное наследство… Гоголь – фантаст, а не «смех сквозь слезы», как хотели наивно объяснить его творчество. Гоголевские типы – это болезненные фигуры, выверты. Творчество Гоголя, несомненно, бредовое, нездоровое». Газету с заметкой о Гоголе Тася уничтожила, чтобы она не попалась на глаза Мише, для которого Гоголь был кумиром и которому он откровенно завидовал белой завистью, восхищенно глядя на томики его сочинений, не раз им перечитанные.

20 апреля 1920 года на митинге протеста выступает товарищ Гатуев: «Захватив материальные плоды побед человеческого разума, капиталисты захватили в свои руки и плоды его духовных побед – литературу, живопись, театр, архитектуру, музыку… И нужно было великое скопление пролетарского гнева, чтобы выбить из рук капиталистов их фабрики, заводы, и вместе с ними и искусство».

Тася растеряна. У нее такое впечатление, что Михаила выбрасывают за борт жизни, на свалку отходов революции.

– Что будем делать, Миша? – тихо спрашивает у него Тася после выступления Гатуева, ведь он литератор, отмеченный властью.

Михаил в ответ передает ей свежий номер газеты:

– Почитай культурную хронику. Созданы два советских театра: драматический и концертный. Организована драматическая студия для подготовки артистов из рабочих и горцев. Передвижная театральная труппа начала работу в области, на станциях Осетии, Ингушетии, в Чечне. Это мой ответ Воксу и тем, чьим подголоском он является. Для художественной студии выдан ордер на две комнаты без права выселения. Мой осетинский спектакль «Сыновья муллы», делающий аншлаги, передал половину сборов нуждающимся в лечении. Разве я против того, чтобы артистами становились рабочие? Пусть несут людям культуру, но высокую, не выбрасывая из нее Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова и даже Горького. Я нашел для драматургической студии умного и пробивного руководителя – Бесу Тотрова. Он одержим мечтой о создании национального

театра и добьется цели. Я уверен в нем. Не все так худо, Тася. Сколько ни ругали, ни поносили Бориса Ричардовича, а все-таки выдвинули общественным защитником на заседание Ревтрибунала. Даже Вокс временно сложил оружие, заметив, что в пьесе «Парижские коммунары» первые сценки последнего акта удачны, театральны и художественны. Хвалит актрису Никольскую в роли Целестины, Ларину в роли Шоннара. Называет ее великолепной травести с удалой, заядлой театральной жилкой.

Тася краснеет. Миша впервые упомянул при ней Ларину, о его романе с которой по городу ходили слухи.

– Она… она, наверное, действительно хороша?

– Безусловно, талантливая актриса. Спасла труднейшую центральную роль.

– Тебя часто видят с нею.

– Ну и что из этого? – удивляется Михаил. – Никольская – более профессиональная актриса, понимает меня с полуслова, но тем не менее в театре мне приписали с нею любовные отношения. Наш театр, впрочем, как и многие другие, клуб сплетен. Кому из актрис предложу хорошую роль, значит, к ней неравнодушен. Но творчески разве не понятно?

Тася снова краснеет, сердечко ее волнуется от ревности и к Никольской, и к Лариной, но Миша не может обманывать ее, особенно сейчас, когда на целом свете вместе только они. Сестры Миши далеко, братья, наверное, перебрались за границу. У Варвары Михайловны новый муж. Свои заботы.

– Я рада, что тебе повезло с актрисами, – пытается перебороть ревность Тася.

– Да, – соглашается Миша, – мужской состав слабее. За границу не улетели только слабые актеры, не надеющиеся на работу там.

Тася постепенно успокаивается. Завтра базарный день, и ей надо рано вставать, чтобы перехватить направляющиеся к базару арбы с овощами. Тем более слова Миши в некоторой степени совпадают с рецензией Вокса. Пьесу он ругает за отсутствие архитектоники, скачкообразность действия. Хвалит лишь двух актрис. Наверное, Миша действительно делал ставку на них, чего хватило для роспуска сплетен. Внешне Тася спокойна. Она никогда не ругается с Мишей, но сознание все-таки подтачивает горькая мысль – не бывает дыма без огня. И наверное, не бывает спокойной жизни, даже в самых удачливых семьях. Тася уверяет себя, что верит Мише: он честный, принципиальный, он если даже обижает ее, то не замечает этого, она не может ему не верить, потому что любит его, каким бы он ни был, он умен, безумно

талантлив. Она видела его первые пьесы и была в восторге от них. Он далеко не развеял ее восхищение. Он самокритичен. Резко и безоговорочно. Редчайшее качество для творца. И тут она узнает, что у Никольской развивается роман с Воксом. Тасе смешно. Вот почему этот театральный прощелыга похвалил двух актрис, чтобы не концентрировать внимание на своей пассии.

«Миша решил преподать урок Воксу и сам пишет театральную рецензию», – так думает Тася.

– Вокс здесь ни при чем, – улыбается Миша, – у меня накопились раздумья о театральных делах, сложных пьесах, я хочу проверить, верны ли мои оценки. И главное – считаю, что мои замечания помогут режиссеру улучшить пьесу.

Михаил напечатал в местной газете рецензию под названием «Смерть Иоанна Грозного» на одноименный спектакль (позднее нигде не печаталась): «Первое звено в драматической трилогии А. Толстого. Трагедия необузданного повелителя и жалкого раба страстей, истребившего дотла все, что стало на пути к осуществлению больной фантазии, ставшего совершенно одиноким и падающего в конце концов под тяжкими ударами, подготовленными своей собственной рукой.

Колоссальна центральная фигура Иоанна, в которой уживались рядом и истинный зверь, и полный фальши отталкивающий комедиант.

Иоанна играет Аксенов.

От каждой фразы, от каждого движения страшного лица Иоанна веет настоящим актерским искусством, настоящим мастерством.

Только оно и подлинная школа могут подсказать актеру смелое движение жезлом перед фразой:

«Я Шуйского не вижу между вами!»

Или превращение, почти мгновенное, лукавого лицедея, кощунственно прикрывшегося монашеским одеянием, в прежнего страшного деспота.

Аксеновский Иоанн безусловно цельный художественный образ, один из тех, которые нечасто можно видеть.

В роли Годунова А. Толстым создан целый ряд трудных мест, к которым прежде всего нужно отнести те моменты трагедии, где Годунов беспрерывно на сцене, но ничего не говорит. А между тем эти моменты очень важны. Достаточно вспомнить ссылку самого Толстого на дрезденского Квантера, видевшего широкое поле для актерского действия без слов.

Дивову не удалось преодолеть эти трудности, и местами Годунов у него мертвенно неподвижен. Ансамбль в общем безнадежно слаб. Совершенно безжизненны фигуры, окружающие

Иоанна. Некоторые сцены трагедии пропадают. О внешней стороне спектакля говорить не приходится. Обстановка убогая».

– Как и при постановке моих пьес, к тому же еще слабых, – вздохнул Михаил, – не зря я их уничтожил. Не сжег, как Гоголь, а порвал, хотя они могли бы вскоре пойти на растопку печки. И Надя в Киеве выбросила остальные экземпляры.

– Извини, Миша, но мне жалко твои первые пьесы, – сказала Тася, – они далеки от совершенства, но нельзя сразу же написать шедевр. Помнишь, как мы смеялись над «Самообороной»? Жутко веселая пьеса. Я получала радость от них. Мне кажется, что хотя бы по этой причине ты должен был бы сохранить их. Это – наша юность, улыбки, переживания, просчеты, но и много хорошего. Я была счастлива, когда ты после спектакля выходил на поклон и публика бешено аплодировала тебе.

– Какая публика, Тася? Какие залы? Какая периферийно пошлая игра актеров? Разве этого я ожидал?

– Мне думается, что ты поспешил, Миша, уничтожив свои ранние пьесы. Мог бы их со временем доделать. Не рви, пожалуйста, эту рецензию, – попросила Тася.

– Ладно, – нехотя согласился Михаил, – пожалуй, в ней есть кое-что необычное. Вырежь и сохрани ее.

– Куда положить? – оглянулась Тася. Серые грязные стены давили на нее. Лежанку соорудили из двух старых козел и досок. Столом служил фанерный ящик из-под папирос. На нем ели и писал Миша. Пару табуреток подарил Пейзуллаев.

– Положить некуда, – улыбнулась Тася. – Но я все-таки найду место. Сделаю папку для вырезок из газет и писем.

Михаил задумался и присел на лежанку.

– Мы здесь жили, Тася. Боролись за Пушкина, Гоголя, Чехова… Я писал пьесы, читал лекции!.. Ты сопереживала мне, и вообще я без тебя умер бы здесь от голода. Жаль, что запретили Пушкинский вечер. Снова постарался Вокс, написал заметку «Опять Пушкин». Я не уверен, что кто-нибудь запомнит мою работу на берегу Терека. Я созидал как умел. А Вокс громил меня как мог. В памяти людей чаще остается не созидающий, а громящий, тем более громящий старый строй. Но ситуация может измениться. Люди поймут, что старое – это не обязательно плохое. Я здесь оставил частицу своей души, Тася, и ты помогала мне выше всяких сил, отпущенных тебе природой. Я не завидую таким людям, как Астахов. Он – временный.

Зарекомендовал себя борцом за пролетарскую культуру во Владикавказе, и, поверь мне, весьма неважную, примитивную и малограмотную, а сейчас заведует Информационным бюро РСФСР в Турции. Доказывает туркам, что они зря пропустили к себе

добровольцев и других буржуев, бежавших к ним из Грузии. Их защитил там меньшевик Месхи, у которого послом России был Киров. Они хорошо ладили между собой. Месхи – настоящий интеллигент, гуманный человек. Он был ярым противником насилия. На пограничном пункте у подножия Казбека разоружал военных, а потом их и всех, кто желал, пропускал в Тифлис и далее морем в любую на выбор страну. Он спас жизни десяткам, если не сотням тысяч, лучших представителей русского и своего народа.

Я мог бы добавить к словам Булгакова, что в 1950 году оказался рядом в очереди с женой Месхи, в очень печальной очереди к Председателю Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову с просьбой о помиловании: я – отца, она – мужа. Высокая женщина, не сломленная судьбою, лишь с очень грустными глазами, из которых сочились боль и переживание. Она не понимала, за что арестовал ее мужа Сталин. Грузины очень уважали Месхи. Многие страны мира признали тогда демократическую Грузию. В стране царила свобода, была отменена смертная казнь. Пиши и говори о чем хочешь, кроме призывов к насилию. Женщина смотрела на меня как на сироту:

– У вас кого взяли?

– Отца.

– А у меня – мужа. Я даже не знаю, что с ним. Жив ли он или нет. Прошу помиловать, хотя не знаю, за какие преступления.

В кабинете Ворошилова сидела женщина с правильными, но окаменевшими чертами лица, и это было понятно – каждый день через ее комнату проходило сплошное горе, которому она не могла помочь, и формально укладывала заявления о помиловании в большую дерматиновую папку с тесемками. Открыть бы ее сейчас, если сохранилась. Представляю, какой поток горя выплеснулся, целое море образовалось бы тогда. Открыть – в назидание современным поборникам сильной руки, ратующим за восстановление якобы доброго и славного имени Отца и Учителя народов. Мало кто сейчас, лишь дотошливые историки, помнят имя председателя грузинского правительства Месхи. И зря думал Булгаков, что в Осетии не найдется человек, который вспомнит о его вкладе в осетинскую культуру. Девлет Гиреев раньше, чем соотечественники Михаила Афанасьевича, создал о нем и его жене добрую и благодарную книгу. Не кто иной, как Булгаков, помог Бесе Тотрову создать на пустом месте национальный театр.

Урывками летом и осенью Булгаков заканчивал свою первую большую драму. Тася видит, с каким напряжением Михаил работает над ней. С грустью достает из деревянного чемоданчика

аккуратно сложенное там свое последнее выходное маркизетовое платье. Несет на базар. Торговка в надвинутом на лоб платке придирчиво рассматривает его, выворачивает наизнанку, беспардонно мнет руками, проверяя качество ткани.

– Платье модное, расклешенное, – объясняет ей Тася, – надевала всего два-три раза.

– Все так говорят, – выдавливает из себя торговка, примеряя платье на свой рост.

– Я вас не обманываю, платье почти что новое, – оправдывается Тася, потому что цену назначает не она.

– Ведро картошки! – заключает хозяйка.

– Нет, нет, – отрицательно качает головой Тася, видя, что платье торговке нравится.

– Забирай! – обидчиво произносит торговка, но когда Тася отходит от нее, зовет ее обратно и бросает в сумку Таси несколько клубней репы, пучок морковки. Тася молчит. Тогда торговка нацеживает в маленькую бутылочку из-под лекарств граммов сто – сто пятьдесят постного масла и выхватывает из рук Таси платье.

Миша в восторге, увидев на столе свежую еду.

– Ты настоящий ангел! – восклицает он. – Где тебе все удается достать, когда за душой у нас ни гроша? Не дарят ли это тебе Небеса?

Тася загадочно улыбается. У нее одна мечта – чтобы Миша закончил свою драму и не порвал ее, как предыдущие пьесы. На жизнь ушла двойная золотая цепь, до последнего звена. Рассматривая ее для формальности в лупу, ювелир вздохнул:

– Я понимаю вас, милая. Жаль было расставаться с такой дорогой вещью. Но если бы вы отдали ее мне целиком, то я заплатил бы вам значительно больше.

Тася разводит руками: мол, такова жизнь, мы думали, что она изменится в лучшую сторону.

– Фи! – брезгливо складывает губы ювелир. – Такая жизнь! С чего бы ей стать лучше! Вчера военный трибунал приговорил к расстрелу большую группу бандитов во главе с начальником угрозыска! И других, чинами поменьше, но тоже начальников! Бандитизм идет сверху! Вы когда-нибудь раньше наблюдали такое?!

Тася медленно идет домой. Она вспоминает отца, честнейшего человека, скучноватых, но верных службе податных инспекторов. Она не в силах ничего изменить в этой жизни. Ее волнует только одно: чем через неделю кормить Михаила. Он должен работать. Обязательно. Она старается садиться за стол одна, чтобы муж не видел, какую маленькую порцию она

накладывает себе. На всякий случай у нее готово шутливое объяснение – ангелы едят мало, иначе они не смогут летать. Миша настолько увлечен работой, что даже не заметил, как она похудела за последние месяцы. А вот Юрий Львович обратил внимание, покачал головой:

– Муж намеренно морит вас голодом или ему нравятся худые женщины?

– Он много работает. И я тоже помогаю ему изо всех сил, – откровенно говорит Тася, – а пополнеть я еще успею. Вы не заметили, что у меня стала легкой походка? Как у балерины!

Слезкин улыбается и набивает трубку табаком.

– Я раньше курил, чтобы не растолстеть, а сейчас – чтобы забыть о голоде. Артисты стали носить предметы из театрального реквизита. Небывалое дело!

Писатель Серафимович, вторично посетивший Владикавказ в 1921 году, потом писал в «Правде»: «На станции под Владикавказом валяются на платформе, на путях сыпные вперемежку с умирающими от голода. У кассы длинный хвост, и все, кто в череду, шагают через закоченевший труп сыпного, который уже много часов лежит на грязном полу вокзала. Положение безвыходное: денег совершенно нет, пайки сокращены до минимума. Жалкие крохи, какие имеются, недостаточны, даже чтобы вывозить мертвецов». Ювелир оказался прав. Некоторые военные начальники, привыкшие убивать и грабить во время Гражданской войны, заскучали и затеяли войну между собою – крали друг у друга лошадей и даже любовниц, поджигали бани соперников, дебоширили без удержу. ЧК был вынужден издать совершенно секретный приказ, обязывающий военных начальников немедленно прекратить внутренние распри и срочно заняться военной подготовкой. Помимо этого издается приказ по гарнизону: «Ввиду участившихся грабежей, конокрадства и бесцельной стрельбы (по пьянке), особенно по ночам, объявляю, что город находится на военном положении, хождение разрешается до часа ночи. Всех лиц, появляющихся на улицах в нетрезвом виде и позволяющих себе бесчинствовать, немедленно задерживать и отправлять в ЧК».

Но так устроена жизнь, что при самой большой нищете и голоде, когда часто умирают люди, не погибает искусство. Наверное, оно позволяет многим из них выжить, отвлекаясь от жестокости времени.

15 мая 1921 года в помещении бывшего Николаевского училища открывается Горский народный художественный институт. Декан театрального факультета – Михаил Булгаков. У него пятьдесят семь слушателей. Тася безумно рада за Мишу. На

открытии института присутствует Сергей Миронович Киров. Скромно занимает крайнее место в президиуме. Знакомится с Булгаковым, крепко жмет руку ему, желает успехов. Тася понимает, что к Михаилу пришло признание. Заядлая театралка, она не пропускает ни одной премьеры в театре, где играет Павел Николаевич Поль. Особенно удачно – в комическом жанре. В 1923 году он переезжает в Москву и становится одним из ведущих артистов Театра сатиры.

В кинотеатре «Гигант» антрепренер Марк Иванович Сагайдачный построил в просторном вестибюле небольшую сцену, на которой с успехом заработал Театр миниатюр. Затем в ротонде городского парка построил сцену для «Теревсата», за игрой которого могли наблюдать девятьсот человек. Здесь и раскрылось мастерство Поля, Виктора Хенкина и других артистов. При помощи Булгакова, ставящего свои спектакли, и его помощницы Таси, которая исполняла обязанности, в нынешнем понятии, второго режиссера, Сагайдачный открывает «Арт + Арт» – артель артистов. Это был ресторан, где днем по небольшим ценам, а иногда и бесплатно, обслуживались артисты и работники театра. Все это было организовано за счет денежных заработков, которые получали актеры драмы, оперетты, цирка, выступая здесь по вечерам в концертах «Советского кабаре». Так артисты сами спасли себя от голодной смерти.

У Таси отпала важнейшая забота – о питании Михаила. И сама она не голодала, как раньше. Но не унимаются критики, старающиеся утопить все новое, что привносит в театр Булгаков. В газете рядом с призывом изучать эсперанто как международный язык для сближения с пролетариатом других стран появляется заметка «Теревсат (вместо некролога)»: «Настоящий Теревсат ничем абсолютно не отличается от прошлого шантана, а если и отличается, то тем, что в старом шантане смеялась публика, а здесь смеются над публикой (это была цель М. Булгакова. – *В. С.*). Кроме жалких попыток на революционную сатиру, к которой зрители должны относиться не совсем доброжелательно ввиду крайне нереволюционного состава зала, дело так и не пойдет, а кончится, если уже не кончилось, весьма устарелой манерой высмеивания чиновников, берущих взятки, и шантанными песенками».

Тася гордится Михаилом. Он привык к подобным выпадам, стойко переносит удары и даже смеется:

– Глупая рецензия. В зале сидит публика, не любящая новые порядки, поскольку на словах они правильные, а на деле остались прежними. Да, есть в театре миниатюра о взятках, но берут их не старые царские чиновники, а новоявленные советские бюрократы,

ратующие вроде бы за обновленное революцией общество. Отсюда и возникает смех в зале. Смеется над собой и тот, кто берет сегодня взятки, делая вид, что сатира к нему не относится, и тот, кто вынужден, как и прежде, давать взятки чиновникам, но уже советским.

Тася взволнована до предела. В городе зарегистрировано несколько случаев холеры. Местная газета предупреждает, что если страшная гостья начнет развиваться, то в августе, с появлением фруктов и зелени, она может принять страшные размеры. Трудящиеся призываются на борьбу с холерой. Без вычистки выгребных помойных ям дело не сдвинется.

У Таси впервые возникает мысль о немедленном отъезде из Владикавказа. Но куда? В Киев, к матери Михаила, вряд ли ждущей нелюбимую невестку, в Москву, неизвестно к кому, или за границу, что сделать уже сложнее, но еще вполне возможно? По суше – намного дольше, но без всяких препятствий. Надо поговорить об этом с Мишей, безотлагательно, но он бесконечно занят работой в театре, в Горском институте и спешит написать юбилейный очерк о выдающемся русском актере Аксенове, спешит, чтобы он вышел в последнем номере закрывающейся газеты «Коммунист». И успевает сдать очерк вовремя. (После 1921 года он нигде не публиковался.)

18 мая 1921 года, газета «Коммунист», «С. П. Аксенов (35 лет служения сцене)»:

«Раз летом 1885 г. в Богородске под Москвой на Рузе купался с товарищами ученик школы живописи Сергей Аксенов. Барахтались в воде, смеялись, и потом Аксенов начал декламировать: «…Вырыта заступом яма глубокая, жизнь невеселая, жизнь одинокая». Слова стихов звучно неслись по глади речки. Декламацию услышал актер Семенов-Райский, который в то время с компанией учеников театральной школы тоже купался. Когда купание окончилось, он заговорил с Аксеновым: «А вы, батенька, хорошо читаете. Да… Вот что: не хотите ли участвовать в нашем драматическом кружке «Рассвет»?» Упрашивать Аксенова долго не пришлось, и через день он уже был на репетиции в театре, который помещался на Никитской и назывался «Секретаревка». Там и подвизался кружок. Играли Андреев-Бурлак и Иванов-Козельский.

Так началась сценическая карьера. Райский очень скоро отметил Аксенова, дав ему Жадова. Получив свое крещение в «Секретаревке», Аксенов двинулся дальше по трудному пути профессионального актера и поступил на службу к Лентовскому, который тогда держал драму в «Эрмитаже». Три года провел у Лентовского, все больше выдвигаясь вперед, постепенно

определяя амплуа и переходя с любовников на характерные роли. После московского «Эрмитажа» Аксенов пробыл два года на частных московских сценах, а затем начался период жизни, полный переездов, – период служения русской провинциальной сцене, был всюду. Исколесил от Вологды до Ялты, от Вильно до Иркутска. В антрепризе Дмитриева служил в Нижнем. Начал в то время постепенно режиссировать. Девять лет работал в деле у Каширина, причем играл в Херсоне, Ярославле, Сибири. Несколько сезонов у Медведева в Царицыне, Екатеринодаре. У него стал играть героев-резонеров. Потом сам стал пробовать держать антрепризу и благодаря широкому размаху и стремлению лучше обставить дело всегда и неизменно на нем терял.

Годы войны застали Аксенова в Киеве, где он со Слоновым служил во 2-м городском театре.

В годы революции работал в антрепризе Сагайдачного во Владикавказе, а затем в Новочеркасске и Минеральных Водах и наконец 20-й и 21-й годы вновь во Владикавказе.

На своем сценическом пути Аксенов был отмечен много раз, и рецензенты многих городов называли его игру тонкой и выразительной. За «Детей Ванюшина» он был назван сердечным артистом. Иоанна в «Грозном» Аксенов впервые играл в Уфе. О нем писали, что Иоанна он играет с честью. Критик Николаев в Киеве отмечал его чуждую подчеркиваний игру, говорил о его строгой выдержанности. Яркий отзыв получил Аксенов, играя в «Чужих» Потапенко. О нем писали, что своей игрой он заставил остальных актеров исчезнуть со сцены. Для того чтобы достичь этого, нужно было много сделать.

И здесь, во Владикавказе, в этом сезоне мы могли проверить тонкость и глубину понимания, которые проявит Аксенов, дав мастерски сделанный образ Иоанна.

У Аксенова в прошлом очень многое. Долгая трудная работа, вереница продуманных и мастерски обработанных драматических образов… А в настоящем все та же работа, снова работа и неизменная настоящая служба русской сцене и верная ей любовь.

В «Гаудеамусе», который идет юбилейным спектаклем 19 мая, Аксенов играет Онуфрия. Студента, верного традиции университета, играет верный сцене, отдавший ей 35 лет старый актер.

Михаил Булгаков».

Видя, что Михаил в третий раз переписывает рецензию, Тася удивилась его вниманию к этому актеру.

– Ведь вы, кажется, никогда не встречались раньше, не были друзьями? А ты стараешься из рецензии на Аксенова сделать едва

ли не шедевр!

– Он заслужил большего, – произнес Миша, – после смерти писателя остаются его книги, он живет в своих произведениях, а актер – только при жизни, на сцене, и потом о нем постепенно, но довольно скоро забывают. Пусть об Аксенове останется моя рецензия, может, прочитав ее через много лет, кто-нибудь помянет добрым словом этого великого актера и трудягу.

В том же номере газеты, где был очерк об Аксенове, опять огрызнулся на Михаила Булгакова Вокс в заметке «Теревсат»: «Будет лишним детально остановиться на программе, достаточно упомянуть, что в начале вечера после «Интернационала» вышел «модный» литератор со словами-пустышками о целях театра революционной сатиры».

– Надоел мне этот пасквилянт, – помрачнел Михаил. – Тася, будь добра, составь список всех его пасквилей обо мне. Возьми подшивку газет…

– Мне несложно это сделать, Миша, – сказала Тася, – но зачем? Мы скоро уедем отсюда. И все забудется. Если ты так серьезно реагируешь на проделки этого ничтожества, то выдержишь ли, если за тебя возьмутся более маститые литераторы? В твоем творчестве есть что-то особенное, что будет раздражать их, как и Вокса. Не хочу перехваливать тебя, но ростки таланта проглядывают в каждом твоем произведении, даже самом маленьком. Ты не идешь в ногу с серостью, не подпеваешь власти, ты всегда будешь для них чужим человеком и в результате гонимым.

Михаил покраснел от смущения и обнял Тасю за плечи:

– В тебе говорит любовь ко мне. Ты идеализируешь меня, Тася. Я люблю работать, для меня самое интересное добраться до смысла события, до причины того или иного поступка героя. Так поступали Бунин, Гоголь, Буссенар, Чехов, Толстой… В их произведениях я чувствую неодолимое желание – проникнуть в глубину жизни.

– Я была на лекции поэта Рюрика Ивнева. Он говорил о переломе в творчестве Маяковского, Блока… В цели пролетарской литературы совсем не входит то, к чему ты стремишься. В ней все заранее определено: какой герой – наш и какой – враг, что и кого надо возвеличивать и что выжигать пламенем революции. Я боюсь, что ты сразу противопоставишь свое творчество их творениям. Вот что будет тогда… Вокс покажется тебе недостойной внимания мелочью. Впрочем, если ты желаешь…

– Ты права, Тася, не стоит он наших нервов, хотя достаточно потрепал их. Просто я не знаю, когда мы уедем из Владикавказа и куда.

– Куда? – прижавшись к Михаилу, прошептала Тася.

– Наверное, за границу, но не уверен, – неожиданно для нее изрек Михаил, – я знаю эту жизнь, русский язык, здесь я всегда в гуще жизни, даже когда мне плохо. Я вижу людей, их образы вырастают в моем сознании, обрастая деталями, характерными словечками, жестами. А там… Все для меня в туманной дымке. Здесь мы пока что не умираем с голода. И удастся ли нам добраться до Парижа или Берлина, где собралась русская интеллигенция, есть для кого писать. Я слышал, что закрывают театр. В Горском институте должность моя общественная. Гонорар из газеты… Но он в любой момент может прекратиться.

Оба они в этот момент не знали, что происходят события, после которых Михаила перестанут печатать вообще где-либо. Герой его очерка, артист Аксенов, которого он восхвалял, угодил на месяц в кутузку за участие в карточной игре на деньги. Решил развлечься после юбилея игрой в карты. Коллегия Особого отдела Десятой Армии от 7 июня 1921 года постановила: «Аксенова Сергея Павловича, 53 лет, за устройство картежной игры в своей квартире, а также пьянство заключить во Владикавказскую тюрьму сроком на 1 месяц. Проигранные им золотые часы, а также кольцо с бриллиантом конфисковать в пользу республики».

Пришедшее Булгакову письмо от Покровского с приглашением приехать в Тифлис в книге Гиреева выглядит как версия довольно правдоподобная. По версии, Покровский приглашает Булгакова в дорогу и будет рад иметь такого спутника, как он: «Думаю, что в ближайшем будущем встретитесь с вашими братьями…» Ни слова о Тасе. Сомнительно, что было такое письмо. Позднее Татьяна Николаевна расскажет: «Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: «Вон белый идет!» Я раз стою около театра, денщик наш бывший подходит:

– Здравствуйте, барыня!

– Ты что, с ума сошел? Какая я тебе барыня?

– А кто же вы теперь будете? Муж-то ваш – доктор!

– Доктор. Вот в театре для вас выступает. А вы в цирк норовите. Не называйте меня больше барыней.

– Как же вас называть теперь?

– Татьяна Николаевна.

В общем, если бы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Тут и начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже оказался контрреволюционером. Ну и надо было сматываться».

Решиться на отъезд из родной страны, тем более для

писателя, дело сложное и волнительное, отчего кругом идет голова. В рассказе «Бежать, бежать!..» есть такие строчки: «… Вперед. К морю. Через море, и море, и Францию – сушу – в Париж!

…Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз – домой…» (Подтверждение слов Мальсаговой о том, что Булгаков ходил по Владикавказу в форме военного врача.)

Через десятки лет Татьяна Николаевна скажет в интервью: «… Театр закрылся, артисты разъехались, Подотдел искусств расформировали. Слезкин из Владикавказа уехал. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис – ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. (Революционная меньшевистская власть мало чем отличалась от большевистской. – *В. С.*) Ничего не выходило… Мы продали обручальные кольца – сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время у Маршака – это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: «Татьяна Булгакова…»

Маленькая, но очень характерная деталь – Тася не спешит расставаться со своим обручальным кольцом. Ей кажется, что они продают не кольца, а святыню – их пылкую и страстную любовь молодости, когда жизнь представлялась беспечной и счастливой, когда Миша буквально боготворил ее. Тогда, разумеется, она была больше похожа на ангела – воздушная, легкая, с красивыми добрыми глазами… Летала от счастья. И не могла даже подумать, что нарушится ее ангельская жизнь и превратится в тяжелую ношу ухода за почти неизлечимым мужем, со страшными бытовыми трудностями, опасностями для жизни. Но она продолжала оставаться для Миши добрым и светлым ангелом, насколько позволяла обстановка, даже сверх своих сил и возможностей.

Она никогда не видела таким растерянным Михаила. Он метался с керосинкой по железнодорожным путям, разыскивая состав, который идет на Тифлис через Баку. Вспоминаются его более поздние строчки: «Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет… Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян… <…> в сердце черная мышь…»

Не более респектабельно выглядит Тася. Еле успевая за ним, спотыкаясь о рельсы, носится по железнодорожным путям.

Михаил нервничал с самого утра и, еле собравшись с

мыслями, написал небольшое письмо сестре:

«Дорогая Надя! Сегодня уезжаю в Тифлис – Батум. Тася пока остается во Владикавказе. Выезжаю спешно, пишу коротко…» Обратим внимание на слова «выезжаю спешно». Видимо, оставаться в городе ему и Тасе стало необычайно опасно. К тому же его панегирик артисту Аксенову, отправленному в тюрьму, открывал Воксу дорогу для прямого доноса на Булгакова как на покрывателя контрреволюционера. И без сомнения, отношение к бывшим белым в городе резко ухудшилось.

Бродя между теплушек с керосинкой в руках – вещью, дающей согреться пище и приносящей тепло, вещью дорогой и необходимой в то время, за составом с цистернами Михаил и Тася набрели на теплушку Политпросвета, отправляющуюся в Баку. Узнав, что Миша фельетонист, хозяин теплушки пустил его к себе с условием, что он будет помогать ему в издании газеты. Миша прижимает к себе Тасю и замечает, что сердце ее не бьется.

– Что с тобою? Сердце остановилось?! Мы скоро увидимся! Не горюй, Тася! – тревожно восклицает он.

– А я не горюю, – говорит она со слезами на глазах. – Я просто задержала дыхание. А сейчас слышишь мое сердце? Я ангел. Я буду вечно с тобою. Ты вызовешь меня скоро?

– Как только устроюсь, Тасенька! Мне пора!

– Залезайте быстрее, – командует хозяин вагона, медленно покатившего с места вместе со всем составом.

«Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера – сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши – равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники… Навеки прощай… Владикавказ!..»

По версии Д. Гиреева, Булгаков едет к Покровскому, но не застает его ни в Тифлисе, ни в Батуми. Следы бывшего главного редактора ведут в Константинополь. Может, Михаил действительно собирался стать его попутчиком, но в это мало верится. На родине остались мать, сестры, еще неизвестна судьба и местонахождение братьев, а он, как было условлено в их семье, ответствен за их судьбы. О каждом своем шаге он сообщает старшей сестре Надежде: «Дорогие Костя и Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа, как только она приедет и как только будет возможность (2 июня 1921 г., Тифлис, Дворцовая, 6а, номера «Пале-Рояль» (№ 15)». Татьяна Николаевна вспоминает: «Я приехала в Тифлис по Военно-Грузинской дороге на попутной машине – было такое специальное место, где людей брали, а в Тифлисе было место, куда приезжали. И вот Михаил меня встретил. Хорошая была гостиница, и главное – клопов нету. Он все хотел устроиться, но никак не мог. Нэп был, там все с

деньгами, а у нас пусто. Ну никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни. Он говорил: «Если устроюсь – останусь, нет – уеду». Месяц примерно там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедем в Батуми. Продали обручальные кольца и поехали. В Батуми мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что мы навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт, он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся».

Этим словам Татьяны Николаевны можно верить без всяких сомнений. В Батуми была неформальная организация писателей, которые помогали друг другу. Помогли они и Осипу Мандельштаму – дали деньги на дорогу в Тифлис и на проживание. Но не сразу. Осип Эмильевич предстал перед ними в полуистлевшей грязной запыленной одежде, обросший, с нечесаными волосами, в рваных сандалиях на босу ногу. Местные писатели не поверили, что человек в таком неопрятном, мягко говоря, виде может быть писателем. Заставили его читать свои стихи. Он старался изо всех сил целых полчаса.

«Хватит», – пожалел его глава местных писателей и выделил Мандельштаму деньги. Вероятно, Булгаков не знал, что существует такая возможность получения своеобразной ссуды, или этому помешала гордость, боязнь быть узнанным, попасть под слежку, способную сделать невозможным его выезд за границу. Наверное, ни то, ни другое. Он еще не сделал окончательный выбор. И это неудивительно для не умудренного опытом молодого человека. Он привык к Тасе, к ее заботе, человечности, она была для него частицей родины, с которой ему труднее и больнее всего было расстаться. А она, вспоминая их раздоры, его флирты с другими женщинами, была уверена, что они расстаются навсегда. Они лежали на неудобных больших камнях батумского пляжа. К берегу прибило остатки кем-то не доеденного арбуза, но они отвернули головы, брезгуя этой едой и превозмогая голод.

– Может, продашь керосинку? – предложила она Михаилу. – Или отдашь ее контрабандистам и они согласятся увезти тебя отсюда?

Михаил молчал. Жаркое полуденное солнце и голод плавили сознание, но Тасю он слышал, и ее предложение уехать удивило

его, хотя он сам, и неоднократно, приходил к этой мысли.

В Батуми они снимали комнату у какой-то гречанки. Тася купила букет магнолий, поставила их в бутылку с водой. Магнолии ей очень нравились. Ей хотелось, чтобы Михаил помнил ее внимание к нему до последней минуты перед его отъездом. Она была уверена, что это неминуемо. Каждый день, проведенный с Мишей, считала подаренным Богом. К счастью, они прожили там два месяца, и он пытался писать в газеты, но ничего не брали. Очень волновался, что службы нет. Очень много пароходов шло на Константинополь. Татьяна Николаевна вспоминает: «Знаешь, может, мне удастся уехать», – сказал он. Вел с кем-то переговоры… Он сказал, чтобы я ехала в Москву и ждала от него известий. «Если будет случай, я все-таки уеду». – «Ну, уезжай». – «Я тебя вызову, как всегда вызывал». Но я была уверена, что мы расстаемся навсегда. Я уехала в Москву по командировке театра – как актриса со своим гардеробом. По железной дороге уехать было нельзя, только морем. Мы продали на базаре кожаный «бауль», мне отец купил его еще в Берлине, на эти деньги я и поехала».

«Бауль» был запрещенной темой в их разговорах. Продав его, он свободно мог укатить в Константинополь на контрабандной лодке, но считал, что жена пожертвовала очень многими своими вещами для их спасения от голодной смерти и подарок отца – последняя ценная вещь – полностью принадлежит ей, хотя бы для поездки в Киев или Москву. Тася подумала, что, удачно продав «бауль», они вместе могли бы уехать за границу, добраться до нее и по суше, но тактично промолчала, думая, что Михаил хочет ехать один, будучи не уверен в своем заграничном устройстве, или в глубине души еще окончательно не решил уезжать из России. Во Владикавказе его считали писателем в кавычках, но он написал там пять пьес, начал работать над большой драмой, познал успех у зрителей, обрел немало друзей, в том числе Хаджи-Мурата Мугуева, боролся за Пушкина и, по сути, победил, если бы диспут велся до конца честно. А сколько компанейски дружеских вечеров провел он с Тасей в гостях у Слезкина, Аксенова и других артистов? Разве все это забудешь разом, чтобы рвануться в неизвестность, даже ощущая опасность за спиной. И оставить своего ангела, чтобы никогда не увидеть его. Ведь он, как и Тася, понимал, что после разлуки их пути разойдутся и вызвать жену из Тифлиса в Батум – это совсем не то, что из Батума в Константинополь. Михаил внутренне не был готов к расставанию с родиной, хотя мысленно стремился к этому. По воспоминаниям Е. С. Булгаковой, в апреле 1935 года жена Мандельштама видела Михаила в Батуми лет четырнадцать тому

назад, когда он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал, продавал керосинку на базаре. В «Записках на манжетах» Михаил Афанасьевич напишет о своем пребывании в Батуми: «На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает и до поздней ночи болит голова. <…> Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. <…> Домой. Домой! В Москву!» До этого они уже поделили с Тасей последние деньги, и он посадил ее на пароход до Одессы, еще в апреле 1921 года предупредив Надю в письме: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству дел… Сколько времени проезжу, не знаю».

Пароход в Одессу уходил вечером. Тася стояла на нижней палубе и махала платком, изредка поднося его к глазам. Пароход развернулся и, теряя очертания, стал удаляться в сторону горизонта. Михаил сидел на парапете причала и вдруг ощутил, что теряет свою любовь, своего ангела. Сердце сжалось до такой боли, что он просидел на парапете до ночи. С трудом встал на ноги, но боль не исчезала. Сгустились сумерки на палубе корабля. Тася поеживалась от холода, но в каюту не уходила. Давно пропал из виду батумский порт, а Тася чувствовала, что где-то там, в темноте, на берегу находится человек, думающий о ней.

Она еще не ведала, что ожидает ее впереди, но со временем поняла, что нелегкие, тревожные и голодные, но полные бурных событий годы во Владикавказе останутся самыми счастливыми и памятными в ее жизни.

Глава восьмая «Таськина помощь для меня не поддается учету…»

Путь Таси в Москву лежал через Киев. Но добраться до него из Одессы было сложно. Две недели Тася не могла сесть на поезд. Озверевшие пассажиры брали его штурмом. Тася ночевала в укромных местах парков, прямо на траве. Думала о своей судьбе. Наступили времена, не способствующие развитию семьи. Но Юрий Львович Слезкин решился оставить ребенка – и был счастлив. Слезкина тоже, как и Мишу, погнали из Подотдела, закрыли театр, где работала жена, но он, живя впроголодь, чувствовал себя счастливым – у него был Саша, сыночек. Тася с первых дней замужества слепо верила Мише, и если он сказал, что надо сделать аборт, то сомнений в правильности его решения у нее не было. К тому же она хотела стать родной в его семье, не перечить Мишиной маме… Потом последовал второй аборт – в Никольском. Времена стали еще более не подходящими для нормальной жизни. И отец ребенка – больной человек. Оставить ребенка было можно, но рискованно. Пожалуй, Тасе в Киеве следовало проявить характер. Если бы был ребенок, то Миша, добрый и ласковый, не отходил бы от своего крошечного, беззащитного человечка, надолго не отлучался бы из дому, не пристрастился бы к опиуму, не было бы у него с Тасей необязательных тревог и безмолвных ссор. Но произошло то, что произошло. У Таси возникло предчувствие, что сегодня она обязательно уедет, наконец-то ей повезет, она успеет в толпе обезумевших людей ворваться в заветный тамбур.

На платформе симпатичный, цыганистого вида мужчина озорно подмигнул ей, крепко взял за талию, поднял и ловко просунул в приоткрытое окно вагона. Она упала на пол и, не обращая внимания на ушибы, крикнула мужчине: «Чемоданчик! Отдайте чемоданчик!» Мужчина, хитровато улыбнувшись ей, помахал рукой и вместе с чемоданчиком исчез в толпе напирающих на вагон людей. В чемоданчике были все вещи. Тася негодовала: «Почему нет рядом Миши? Он защитил бы меня!»

При встрече Варвара Михайловна спросила:

– Миша здоров?

– Здоров.

– Ну и слава богу. Он не собирается в Киев?

– Приедет. Мечтает о встрече с вами!

Варвара Михайловна от радости хотела улыбнуться, но, привыкнув держаться с невесткой сурово, ничем не выказала

своих чувств.

– Меня по дороге обокрали, Варвара Михайловна, – грустно сказала ей Тася.

– Ничего не знаю, – безразлично произнесла Варвара Михайловна и протянула Тасе подушку: – Больше у меня ничего нет.

Тасе стало и грустно и смешно. Вряд ли в присутствии Миши его мать оказалась бы столь равнодушна к ним, как сейчас к невестке.

Позднее Тася так описала дальнейшие события:

«И вот как раз в Москву ехал приятель Миши Николай Гладыревский, он там на медицинском учился, и мы поехали вместе… Николай устроил меня в здании на Малой Пироговской. Техничка одна комнату мне уступила. И вот я там жила, ходила пешком на Пречистенку, брала вещи, которые мы там оставили по дороге из Вязьмы, и таскала их на Смоленский рынок. Потом получаю письмо от Михаила. Он спрашивает, как в Москве насчет жизни, чтоб я у Николая Михайловича спросила. А дядька мрачный такой был, говорит: “Пускай лучше там сидит. Сейчас здесь как-то нехорошо”. Я Мише так и написала. Костю в Москве встретила. Он страшно возмущался: “Как это Михаил отпустил тебя? Поезжай обратно в Батуми”».

Тася позже считала, что Николай Михайлович послужил Булгакову прототипом для образа Филиппа Филипповича в «Собачьем сердце». Такой же сердитый, усы такие же пышные… Был врачом-гинекологом. Собака у него одно время была, доберман-пинчер.

18 сентября 1921 года Тася писала Надежде в Киев: «Я все живу в общежитии у Коли. Я послала Мише телеграмму, что хочу возвращаться, не знаю, что он ответит. Коля все время меня пилит, чтобы уезжала». Михаил не ответил на телеграмму, а может, не получил ее. Тася в минуты отчаяния сожалела, что они с Михаилом не уехали из страны. Во Владикавказе, после выздоровления Михаила, можно было нанять подводу, даже машину фирмы «Пежо», чтобы добраться до Тифлиса, а в Батуми договориться с контрабандистами. Денег за проданный баул вполне хватило бы для этого отъезда, но Миша сказал: «Это подарок отца. Деньги твои. Я их взять не могу». А раньше куда бóльшие деньги – родительские – тратили на жизнь, без них погибли бы. Миша на словах рвался за границу, а на деле отступал, что-то удерживало его на опасной для их жизни родине. Она считала, что в отношениях к друзьям, к делам он всегда был высокопорядочен, и ее поразил случай, когда он в полном смысле слова зажулил у друзей несколько ценных книг, взял их и не

вернул. Объяснял это тем, что книги были нужны ему для работы позарез, что сочинительство стало смыслом его жизни.

В Москве трудно встретить нужного человека, если не имеешь его координат. Но случилось чудо – чудо любви, когда сердце подсказало, где найти любимого человека. Позже Тася вспоминала:

«Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились… То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского… То ли у Земских. Но вот, знаете, ничего у меня не было, ни радости никакой, ничего».

Миша также не проявил при встрече знаков бурного восторга, а ее утомили переживания и мучения после их разлуки, не хватило сил даже порадоваться встрече. Шли часы, и холодность, безразличие к Мише сменялись у нее нескрываемой радостью. И он повеселел: «Снова мы вместе. Вдвоем легче».

Надя уступила им свою комнату, и они поселились в жилищном товариществе на Большой Садовой, дом 10. Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская, и она дала Михаилу бумажку, чтобы его прописали.

Москва прочно вошла в творчество Булгакова, со временем ставшего заправским москвичом. В рассказе «Воспоминание» есть такой фрагмент:

«Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что мой багаж был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике…»

А вот описание прибытия в столицу в «Записках на манжетах»: «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва. М-о-с-к-в-а… Долгий, долгий звук. В глазах ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов… Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва».

Прошло небольшое время, и в очерке «Бенефис лорда Керзона» Булгаков уже утверждает: «…Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить». А в автобиографическом рассказе «Трактат о жилище» свидетельствовал о своем житье-бытье в столице:

«Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне

все решительно… Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе, на Старой площади – в Центросаде, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле… Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны… А однажды… сочинил проект световой торговой рекламы… Рассказываю я все это с единственной целью, чтобы мне верили, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен описать ее. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили… На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида».

В конце сентября 1921 года, в год приезда, столица Москва показалась Булгакову унылой и мрачной:

«Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят!.. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму… На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки. Что же за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?»

Оказалось, что под таким оригинальным названием 19 сентября 1921 года в Политехническом музее проводился вечер поэта-футуриста Маяковского.

Перед тридцатилетним Булгаковым Москва после революции и Гражданской войны предстала в растерзанном виде, исчез степенный и хлебосольный город «Сорока сороков», растворилась лощеная публика с бульваров и Кузнецкого, закрылись железными ставнями и мешками с песком зеркальные витрины братьев Елисеевых, Мюра и Мерилиза, опустели «Яр» и «Эрмитаж». В своих статьях Булгаков особое внимание уделяет застройке и архитектуре города, восстановлению и ремонту жилищ после многих лет разрухи. В очерке «Столица в блокноте» есть глава, названная «Бог Ремонт», где он полушутливо писал: «Мой любимый бог – бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1921 году, в переднике, вымазан известкой… он и меня зацепил кистью, и до сих пор я храню след его божественного прикосновения…»

Шутка – признак оптимизма, который не покидал Булгакова. Очерк «Москва 20-х годов» он заканчивал восклицанием: «Москву надо отстраивать. Москва! Я вижу тебя в небоскребах!»

Смелое и опасное замечание. Ведь в те времена небоскребы ассоциировались с «Городом желтого дьявола» – столицей Америки, главного врага социалистического государства.

Булгаков предсказал современное высотное строительство в Москве и свои небоскребы возвел уже в 1924 году на страницах фантастической повести «Роковые яйца»: «…в 1926 году… соединенная американско-русская компания (видимо, подразумевался Амторг, созданный по указанию Ленина. – *В. С* .) выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, пятнадцать пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах – триста рабочих коттеджей, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925».

И конечно, в памяти Булгакова навсегда запечатлелись приезд в Москву и встреча со вновь обретенной Тасей.

Когда они остались наедине, лицо Таси озарилось счастливой улыбкой, губы ее задрожали, на ресницах выступили слезы – следы выстраданного ожидания. Первую ночь они провели в комнате технички Анисьи, которая, перед тем как оставить их вдвоем, приняла толику самогона, высказала свое отношение к жизни: «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего…» Далее следовал мат, судя по которому и жилось ей плоховато, и в будущее она не верила: «Уборщица, она и есть уборщица, что при социализме, черт его побери, что при коммунизме, которого ждать, едрена мать, не дождешься!»

Сравнивая бедлам в Москве с положением во Владикавказе, Булгаков называл последний – хотя и с некоторой иронией, но уважительно – «горным царством».

Однажды Тася заметила мужу:

– Ты не разрешаешь мне прочитать роман, о котором мы говорили во Владикавказе. Я знала, что действие там развивается не в 1905 году, как в тогдашней пьесе «Братья Турбины», а во время Гражданской войны. Я с радостью вспоминаю спектакль, затихший, захваченный сюжетом зал и в конце несмолкаемые, идущие от души аплодисменты. И мне нравилось, что ты ненавязчиво говоришь людям о том, что гуманно в жизни, что отвратительно, о сложности характера человека, его воле, доброте, об ошибках и неудачах.

Михаил погрустнел:

– Если человек работает хорошо, он талантлив, но не признан, то он отнюдь не неудачник, просто ему мешают, не дают проявить себя или не замечают его труды. Я мог бесконечно смотреть на памятник Александру во Владикавказе – это искусство настоящее. Может кому-то нравиться, кому-то – нет, но человеку, понимающему толк в творчестве и не делящему людей на пролетариев и буржуев, памятник Александру будет приятен всегда, если его когда-нибудь не снесут и не поставят на его

место аляповатую скульптуру Маркса или Ленина.

– Почему ты считаешь, что аляповатую? – спросила Тася.

– Гм, – усмехнулся Михаил, – уже столько наляпали по заказу властей, что надеяться на работу, выполненную с вдохновением, вряд ли приходится. Герой скульптуры должен вдохновлять художника, а если он лепит лишь за деньги и дешевую славу, то грош цена этой скульптуре и этому художнику. Я переживал, когда стал терять прежний облик мой Киев, многие люди забывали правила хорошего тона, этикет, даже свой родной язык. Я еще в Киеве говорил:

«Нельзя же отбить в слове “Эгомеопатическая” букву “я” и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: “голярня”, “перукарня”, “цирюльня” или просто-напросто “парикмахерская”! Нет слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет… Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий кому не лень».

Увы, подобные разговоры были редки между супругами. Когда не налажен быт и постоянно стоит вопрос о хлебе насущном, Михаил с трудом находил силы для размышлений о том, что писал. Поэтому мало делился с Тасей своими литературными планами.

– Я счастлив, Тася, что у меня есть письменный стол, что я могу работать. Я закончу роман, ради этого я готов терпеть муки голода. Я буду терпеть, Тася!

– И не будешь сегодня есть кашу? – улыбнулась Тася.

– А есть? Каша?!

– Конечно, садись обедать, терпеливец! Ты говоришь с такой решимостью, словно готов пойти на Голгофу ради исполнения своей идеи. Христос от литературы.

– Не шути, Тася, насчет этого человека, – серьезно произнес Михаил, – я лучше расскажу тебе действительно смешную историю. Я работаю с барышней, которая вышла замуж за студента, повесила его портрет в гостиной. Пришел агент и сказал, что это не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент. Барышня расплакалась, а я ей говорю: «Удрал он? Ну и плюньте!»

Но Тася даже не улыбнулась, выслушав эту историю:

– А вдруг она его любила и даже после того, что узнала, чувства к нему не угасли?

Михаил закусил нижнюю губу:

– Возможно, ты права, Тася. Я заметил, что женщины иногда

влюбляются в негодяев, внешне выглядящих очень заманчиво, даже в людей, продавших душу дьяволу, но своеобразно обольстительных. Наверное, женщин привлекает их необычность, новизна, которая оказывается сатанинской. «Сатана там правит бал, правит бал…» Но… но… Я думаю, что если силу и могущество сатаны направить на благородные цели, восстановление справедливости, на наказание пройдох и спекулянтов, хотя бы в искусстве, то он может быть в этом плане весьма полезен.

– Сатана?! – изумилась Тася. – Сам сатана станет изводить свое отродье? Сомневаюсь… не могу поверить.

– Не делай большие глаза, милая! – улыбнулся Михаил. – Я не спорю. Ты говоришь правильно, но пофантазировать на эту тему разве нельзя? Кое-какие мысли уже засели в мою голову.

– Не знаю, – смутилась Тася, – я никогда не пошла бы на сделку с дьяволом.

– Даже ради моего спасения? – иронически заметил Михаил.

Тася хотела сказать, что уже спасла его – и не раз – и обходилась без сатанинской помощи, но подумала, что это будет нетактично, выспренно, ведь она просто выполняла свой долг жены, и поэтому лишь вздохнула:

– Не говори глупостей. У тебя есть то, о чем ты мечтал во Владикавказе, – комната, письменный стол…

Потом она вспоминала:

«Там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, два шкафчика было, походная кровать большая… Кресло какое-то дырявое. Потом как-то иду по улице, вдруг: “Тасечка, здравствуйте!” – жена казначея из Саратова. Она тоже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол, еще у моей прабабушки был».

На этом столе они вместе заполняли первую анкету, полученную Михаилом на работе. Он едва не написал там, что служил в Добровольческой армии. Успела остановить Тася. «Так было», – смутился Михаил. Он потом некоторые свои произведения начинал с этих слов – «так было», чтобы ему верили, что он ничего не придумал, не очерняет порядки и если пишет о безобразии, халатности, глупости, то все это действительно так было. Мебель пришлась кстати. Сами не купили бы:

«Продавать больше нечего. Серебро, кольца, цепочку – все съели. Сначала Миша куда-то на работу ходил. Потом это кончилось. Я хотела устроиться подавальщицей, но меня без профсоюзного билета никуда не брали. Только на стройку было

можно. А восстанавливать билет в театральный институт я не пошла. Стыдно было – я была вся оборванная в буквальном смысле этого слова».

В дневнике Михаила Афанасьевича за 1922 год есть краткая запись: «Питаемся с женой впроголодь». И более подробно он о семейной жизни рассказывает в письме матери от 17 ноября 1921 года:

«Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать, что сейчас представляет из себя Москва… Идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать деньги. И этого я добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кое-что едим, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д. Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, потому что вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтобы молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьемся оба как рыба об лед…

Я мечтаю об одном: пережить зиму, не сорваться в декабре, который, надо полагать, будет самым трудным месяцем. Таськина помощь для меня не поддается учету: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне то, что сама не может сделать, – колку дров и таскание картошки по утрам».

Приписывая себе этот труд, Михаил старался сохранить мужское достоинство перед матерью. Тася и колола дрова, и носила картошку, и помогала мужу в переноске дивана и других тяжелых вещей. В остальном он вполне реально и правдиво описал свою семейную жизнь:

«Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель…

Мы с Таськой стали хозяйственные. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни. По ночам пишу “Записки земского врача”. Может выйти солидная вещь. Но времени, времени нет! Вот что больно для меня!»

Чтобы освободить Мише время для литературной работы, Тася сама взяла на себя груз хозяйственных забот. Он давно понял, что она для него важнее всего в его жизни. Он заботился о жене, постоянно думал о ней, отмечал, что все, что она для него

сделала, не поддается учету. Представлял ли он когда-нибудь, сколько сил и нервов стоит ей забота о нем? Во что физически и душевно обошлось ей спасение его жизни? На это времени, а возможно, и желания у него не было. Тася знала, что Миша – ее муж, поэтому негоже свою любовь класть на весы: ведь иногда он вспоминал о том, что прохудилось ее пальто, что, кроме туфель, у нее ничего нет. Но помочь ей он был не в состоянии. Конечно, другие мужья в его положении брались за физическую работу, чтобы к зиме справить жене пальто. Однако Тасе даже в голову не приходила мысль поговорить об этом с Мишей, пусть пишет, литература – его высшее и единственное призвание. Любовь… когда-то она занимала его мысли, он даже бросил учиться, хотел покончить с собою. Увы, это время давно ушло. А она любила его по-прежнему и поэтому многое прощала ему, и, видимо, зря. Ее очень удивила странная, сравнительно спокойная реакция Миши на смерть матери, которую он боготворил. Он собрался поехать на похороны, но вернулся с вокзала. Ходил мрачный. Даже не всплакнул. Может, его душа скорбела, но чувства не вырывались наружу. Потом, уже безнадежно больной, Булгаков поведал сестре Надежде: «Я достаточно отдал долг уважения и любви матери в “Белой гвардии”».

Что же на самом деле происходило тогда с Михаилом? Рассказывает машинистка Ирина Сергеевна Раабен:

«Поздней осенью 1921 года пришел очень плохо одетый человек и спросил, может ли она печатать ему без денег – с тем, чтобы он заплатил ей позже, когда его работа увидит свет. Я, конечно, согласилась. Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по 2–3 часа, и, мне кажется, отчасти импровизировал… Первое, что мы стали с ним печатать, были “Записки на манжетах”… Он упомянул как-то, что ему негде писать… Сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около двухсот верст до Воронежа – пешком по шпалам, не было денег… Было очевидно, что ему жилось плохо, я не представляла, что у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Говорил, что живет по подъездам.

Я поила его сахарином с черным хлебом; я никого с ним не знакомила, нам никто не мешал».

Это высказывание И. С. Раабен о Булгакове относится как раз к тому времени, когда умерла его «светлая королева». Возможно, ее кончина совпала с разгаром его романа с Раабен, нежеланием приостанавливать работу над «Белой гвардией», тем более при наличии бесплатной машинистки. Вполне естественна была реакция Татьяны Николаевны, когда она, значительно позднее, увидела выступление Раабен по телевидению: «Я была ревнивая.

Это зря они ее выпустили на телеэкране. Зачем это – “жил по подъездам”, когда у него была прекрасная квартира… “Двести верст по шпалам”… Он ей просто мозги запудривал. Он любил прибедняться, чтобы вызвать к себе жалость. Печатать он ходил. Только скрывал от меня. У него вообще баб было до черта».

Об изменах мужа Тася догадывалась всегда, с годами обиды и унижения накапливались – и ее душевные силы были на исходе. «Слабость» к машинисткам была характерна для Булгакова. Еще во Владикавказе, в Подотделе искусств, он ухаживал за машинисткой Тамарой Мальсаговой, уговорив ее бесплатно печатать ему первые пьесы. Может, на первых порах тому причиной было отчаянное безденежье? Ведь рукописные произведения не рассматривала ни одна редакция.

Для молодого Булгакова, как и для многих мужчин его возраста, «гульба» была довольно частым явлением. Конечно, это не оправдание его измен Тасе, а скорее упрек, но к ним могли привести сложность их отношений в «наркотический» период его жизни, его позднейшие и, возможно, умышленные обвинения Таси в том, что она не увезла его с отступающей Добровольией, стремление к новым ощущениям, впечатлениям, и, видимо, главное – это был способ своеобразного самовыражения, наивное умозаключение, что любовные победы могут заменить малое печатание его произведений, литературное замалчивание.

Отношения Булгакова с Раабен длились до 1924 года, когда она переехала на новую квартиру, где получила от него билеты на премьеру «Дней Турбиных», чего не удостоилась Тася. Она радовалась, когда в редкие моменты видела Мишу остроумным, веселым, экстравагантным, таким, каким впервые узнала его. У Миши было много друзей, и не последнюю роль в этом сыграла Тася, встречавшая гостей тепло и радушно. Она чувствовала охлаждение к ней Михаила, доходящее до того, что свои измены он скрывал неуклюже. Она не знала, как вести себя с ним, но природная воспитанность и чувство такта не позволяли ей устраивать ему скандалы, которые к тому же могли расстроить его и помешать работе. Она старалась не хмуриться, не хандрить, выглядеть бодро, свежо, но силы были на исходе: она пыталась забыться, если для этого представлялся момент. Вспоминала:

«Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Каморским, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали. Но заболела жена Каморского, и была нужна хозяйка угощать писателей. Позвали меня. Народу пришло много… Катаев, кажется, был, Слезкин, Пильняк, Зозуля… Алексею Толстому все прямо в рот смотрели. Что он

рассказывал? Не помню. Мне нужно было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на пятый этаж, домой».

Нетипично и даже удивительно такое поведение для благовоспитанной гимназистки, классной дамы, из семьи, где спиртное ставилось на стол лишь по праздникам и на приемах, где детям разрешалось только пригубить шампанское. И вдруг такое хмельное общение с гостями. Вероятно, это была попытка вспомнить веселые приемы друзей, устраиваемые молодоженами Булгаковыми, вернуть мужа к истокам их любви. Поэтому Тася старалась подружиться с его приятелями, поэтому и пила с ними, говорила смело, по-свойски и задушевно, а возможно, пила для того, чтобы сбить усталость, забыться в пьяном веселье.

Однажды Михаил собрался пойти в гости к Каморскому один, хотя знал, что его жена Зина была больна и не могла принять гостей. Зина спросила его: «У тебя жена есть?» – «И даже очень есть, – так он сказал, – ха-ха-ха!» – «Вот и приходи с женой, а один больше не приходи!» На следующий день Тася мучительно переживала, что напилась до потери сознания, что выглядела перед Мишей не столько своеобразной заводилой вечера, своего рода тамадой, а сколько безвольной и слабой, хотя на протяжении всей их жизни проявляла выдержку, бесстрашие и силу в самых трудных и сложных обстоятельствах. Тася утешала себя мыслью о том, что Миша изменяет ей единственно из желания показать себя перед коренными москвичами светским львом, сердцеедом, чтобы скрыть черты периферийности, которая вроде бы никак не проявлялась, но интуитивно чувствовалась некоторыми писателями. Позднее Валентин Катаев, признавая Булгакова гением, все-таки напишет в романе «Алмазный мой венец»:

«В нем было что-то неуловимо провинциальное… Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши подтверждения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белозерской, прозванной ядовитыми авторами “Двенадцати стульев” Белорусско-Балтийской».

Весьма интересно и другое замечание Катаева о Булгакове:

«Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя

все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти».

Катаев очень лестно отзывался о Тасе как о жене, старающейся обустраивать жизнь мужа:

«Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков».

В Москве разладились старинные, связанные мытарствами во Владикавказе отношения Булгакова и Слезкина, правда, и ранее не очень корректные; теперь же встречались они редко и случайно. Слезкин боготворил свою супругу, безумно любил сына. Булгаков частенько изменял Тасе, которую Слезкин считал достойнейшей женщиной, и, возможно, в некоторой мере оправдывал свою недоброжелательность к Булгакову его неверностью жене. В своем дневнике Слезкин записал:

«Тут у Булгакова пошли “дела семейные” – появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех! К тому времени вернулся из Берлина Василевский (Не-Буква) с женой своей (которой по счету?) Любовью Евгеньевной, неглупой, практичной женщиной, много испытавшей на своем веку, оставившей в Германии свою “любовь”. Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался у нее роман с писателем Юрием Николаевичем Потехиным, ранее вернувшимся из эмиграции, – не вышло, было и со мною сказано несколько теплых слов… Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. Нужно было Мише и Л. Е. начинать “новую жизнь”, а следовательно, понадобились новые друзья – не знавшие их прошлого».

Первой, кто резко отреагировал на развод Таси и Михаила, оказалась, чего он, видимо, не ожидал, его сестра Надежда. От нее пришла лаконичная, но бесповоротно осуждающая его поступок телеграмма: «Ты вечно будешь виноват перед Тасей». Он это поймет, но далеко не сразу.

Глава девятая Секрет развода

У каждого развода есть свои видимые и невидимые причины. У развода Таси и Михаила есть еще секрет, совсем недавно ставший известным автору этого повествования. О видимых причинах уже рассказано. Татьяна Николаевна вспоминала об окончательном разводе с Булгаковым так:

«В апреле, в 1924 году, он говорит: “Давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится встречаться с женщинами…” И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит: “Чтобы ты не ревновала”. Я не отрицаю – я ревнивая. Он говорит, что он писатель и ему нужно вдохновение, а я должна смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула, и мы развелись».

Но не все было так просто, как объясняла Татьяна Николаевна спустя более полувека в одном из своих последних интервью. Михаил еще не в силах был расстаться с человеком, к которому привык, чьи заслуги перед ним «не поддаются учету». Он нередко ставил вопрос о разводе. А Тася чересчур ревновала его, даже к женщинам, с которыми он встречался по делам. На это уходили силы, нервы, она уже ни о чем не думала. Признавалась:

«У меня ничего уже не было. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже».

Из зарубежья приехала симпатичная женщина, жена известного журналиста, близкий к литературе человек. Раскрыв рот, он слушал ее рассказы о Константинополе, Париже и Берлине. Более всего его интересовала жизнь русских писателей в эмиграции, где он, если бы не проклятый тиф, наверняка очутился бы. А Тася… Она не должна мешать ему в литературной работе, смотреть на его попутные увлечения «сквозь пальцы». Забыл, что учил ее жить с достоинством. Вот она ему и «свистнула», ударила не как врага, а как горячо любимого человека, доведенная до отчаяния ревностью, хотела вразумить его:

«Мишенька, дорогой, что ты делаешь? Ты рушишь нашу семью, которую я сохраняла, не жалея ни сил, ни себя. Колола дрова, недоедала – лишь бы ты не отрывался от работы. Разве можно так поступать со мною? Унижать мое достоинство? Неужели неиссякаемая доброта моя к тебе, моя бесконечно верная любовь наказуемы столь зло и грубо? Опомнись, Миша! Ты

не имеешь морального права бросить меня, даже если тебе кажется, что ты разлюбил меня… Кажется… не более… Поверь мне. Ты по-настоящему любил меня, а настоящая любовь бывает единственной. Опомнись, Миша!»

В другом интервью Татьяна Николаевна рассказала, что как-то, уже после ссоры, Михаил пришел к ней с бутылкой шампанского в руках. То ли разводиться пришел, то ли мириться. Вид у него был растерянный и глупый. Наверное, хотел повиниться в том, что уделяет Белозерской много внимания, – ей даже жить негде, а она для него кладезь информации о событиях, которые он собирается описать. Но ничего толком не объяснив, он все-таки открыл бутылку шампанского, разлил по стаканам, что-то хотел сказать. Но что? Выпить за развод? И не принято, и глупо. Тася грустно смотрела на него. Он не выглядел счастливым, начинающим новую жизнь с любимым человеком. Ей хотелось обнять его, успокоить… Он почувствовал, что от Таси идет волна жалости к нему… Взыграла мужская гордость. Он опорожнил стакан одним длинным глотком, поднялся со стула, невнятно попрощался и ушел. А Тася двое суток не могла подняться с кровати. «Я сначала устроилась на курсы машинисток, но у меня начались такие мигрени, что пришлось бросить. Потом мы с Верой Крешковой шить стали, я на курсы кройки и шитья пошла, еще с одной женщиной шила. Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил».

Тасе казалось, что неведомая сила тянула его в комнату на Большой Садовой, чего-то не хватало ему в жизни или кого-то? Раз сказал ей, что по стенам соскучился. Она удивилась:

– Обычные стены. Могли бы быть лучше, если заново перекрасить…

А он головой мотает:

– Не в этом дело… Я здесь… – и не договорил, а видимо, хотел сказать, что здесь был любим и счастлив. А может быть, даже намекал, что не прочь вернуться сюда, даже хотел бы очень… Татьяна Николаевна вспоминала о встречах с негативным оттенком: «Однажды принес “Белую гвардию”, когда напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бросила книгу обратно. Столько я ночей с ним сидела, кормила, ухаживала… Он сестрам говорил, что мне посвятит… Он же, когда писал, даже знаком с ней не был».

Для Таси этот поступок выглядел как издевательство над нею. Она расценила его как дань, как подарок предмету ухаживания, желание угодить «нарядной и надушенной» даме сердца; это было единственное, что он мог подарить ей, не имея

почти никаких денег. И вообще находился в состоянии эйфории, вызванной выходом его первого романа. Для него это было грандиозное событие, исполнение мечты, а остальное казалось пустяками. «Однажды пришел с Ларисой, женой генерала Гаврилова из Владикавказа, на “Дни Турбиных” ее водил. Но мне билет ни разу не предложил. Ну хоть бы раз. Ведь знал, что билеты не достанешь… Знакомые уже другие появились, потому что Каморские сказали, чтобы он без Белозерской приходил, и Крешковы тоже. Как-то ее не любили многие».

В этих поступках Булгакова, на первый взгляд удивительных, не свойственных его доброму характеру, сквозила не месть Тасе. За что? А какая-то обида, желание доказать ей, что он все-таки состоялся как автор, и весьма неплохой. Отчего обида? А повод для нее был. В этом, на мой взгляд, и причина их развода, которую Татьяна Николаевна скрывала от поздних интервьюеров и поведала Девлету Азаматовичу Гирееву, автору первой книги о Булгакове, вышедшей в 1980 году в издательстве «ИР» города Орджоникидзе (ныне Владикавказа) и посвященной «светлой памяти Константина Михайловича Симонова – первого читателя этой книги и доброго советчика». После выхода книги, прорвавшей завесу молчания вокруг имени Булгакова, завязалась переписка между Гиреевым и Татьяной Николаевной. Эта переписка любезно была передана мне дочкой Гиреева – Татьяной Девлетовной, после того как она ознакомилась с моей первой книгой о Булгакове.

К огромному сожалению, Девлет Азаматович Гиреев, смелый и эрудированный человек, погиб в автомобильной катастрофе, и моя встреча с ним во Владикавказе, куда я трижды приезжал для сбора материалов о Булгакове, не состоялась. Эта переписка для интересующихся творчеством и жизнью великого писателя поистине бесценна. Вот фрагменты из переписки:

«Я с большим интересом прочитала Вашу книгу о моем супруге Михаиле Булгакове. Вспомнила юность, годы совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем, все пережитое. Приведенные Вами эпизоды вызывают в памяти аналогичные. Может быть, в чем-то буду полезна Вам, все-таки живой свидетель далекого для Вас времени…»

«В Москве ему трудно жилось. Ведь его донимали всякие критиканы, ругали. И он обратился с письмом к И. В. Сталину. Сталин через своего секретаря назначил с ним телефонный разговор. И. В. Сталин сказал: “Вы любите Родину, я знаю, мужайтесь! Я вам помогу”. С этой радостной вестью он ко мне примчался. Как сейчас помню: вбежал, снял шарф, вытер лоб, глаза ласковые такие, и неуверенное обращение ко мне:

“Тасенька! Я спасен. Сталин обещал помочь мне”. Что значит “неуверенное обращение”? Значит, были сомнения, и как потом показало бытие, вполне обоснованные. В Литературной энциклопедии Булгаков охарактеризован как писатель “буржуазного направления”».

В своих письмах к Гирееву Татьяна Николаевна иногда отзывалась о муже критически, иногда иронически, но всегда – с любовью.

«Что Вам писать о наших отношениях? Не знаю, интересно ли это Вам? Но… Очень хочется Вам сказать то, что никому не говорила (из гордости, может, боясь быть плохо понятой), но я старый человек и по Вашей книге поняла, что Вам близок Булгаков как человек и писатель. И вот скажу Вам и прошу меня правильно понять. Ближе меня никого у него не было. И в разрыве с ним сама виновата, по молодости я не могла простить ему увлечения (кстати, кратковременного) другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: “Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек!” Но… Уязвленное самолюбие, гордость и… я его, можно сказать, сама отдала другой женщине. И уже будучи с другой, он в трудные минуты приходил ко мне».

«Извините, что так расписалась, просто Ваша талантливая книга всколыхнула мою память, вспомнилось самое заветное – наша юношеская любовь, Миша…»

Из переписки Татьяны Николаевны абсолютно понятно, почему она десять лет отказывалась принимать самые серьезные предложения других мужчин, жила одна, пошла работать на стройку, чтобы получить профсоюзный билет, и скрывала свое «буржуазное» происхождение, таскала по шатким мосткам кирпичи, выдавала строителям инструмент… Она ждала его. Надеялась, что он вернется к ней, потому что настоящая любовь бывает всегда одна. И только через десять лет, когда Михаил женился в третий раз, она уехала с новым мужем в угольное Черемхово.

В отличие от других жен Булгакова, она десятилетиями никому не представлялась бывшей женой великого писателя, пока ее не обнаружили журналисты и литературоведы. Она издалека, от приезжавших к ней на отдых друзей, узнавала, как Миша живет. Последние годы она жила в Туапсе. В одном из писем Девлету Гирееву она пишет:

«После постановки “Бега”, выхода в свет “Белой гвардии” признание к Михаилу пришло, но он уже был очень болен. Он терял зрение, терпел боли (склероз почек). Незадолго до смерти просил свою младшую сестру Лелю: “Приведи ко мне Тасю, я хочу

видеть ее…” – но я тогда проживала в Сибири… Откровенно говоря, мне не просто перенестись в прошлое, тяжело бывает листать свою жизнь, и дело не только в том, что приходится напрягать память, а тяжело осознавать тот печальный факт, что близких родных уже нет…»

«Миша как-то вызнал, где я живу, и часто приходил ко мне, словно на исповедь, как к священнику. Однажды говорит: “Я купил две комнаты”. Но я не спросила ничего – где, как… Какие-то деньги он мне все-таки давал иногда. Но потом у него самого дела пошли не очень. Говорил: “Никто не хочет меня… Не идут мои пьесы, не берут мои вещи. В общем, ненужный человек”. Я жалела его. Может, если бы обняла, заплакала, думаю, что и он не выдержал бы, разрыдался, ведь столько лет без меня… А потом подумала – ведь столько лет… Я живу одна, но сердцем и душою с ним. Привыкла уже… Он с другою… Конечно, Белозерская ближе, чем я, к пониманию писательского процесса, что сблизило ее с Михаилом, и в привлекательности ей не откажешь, но между увлечением, самым пылким, и настоящей любовью существует большая разница. Она все рассчитала: и мои убогие наряды, и измученный вид, и его интерес к зарубежным писателям… Но человек, познавший истинную любовь и потерявший ее, будет подсознательно стремиться к ней, и в поисках ее может пройти вся оставшаяся его жизнь… Миша умный, прозорливый человек, он в конце концов поймет, что настоящая любовь бывает единственной… Но когда поймет это?»

В 1936 году Тася знакомится в Москве с братом Крешкова Александром Павловичем, он приехал в Москву доучиваться на врача. Стал педиатром, и его послали в Черемхово, городок, километрах в ста от Иркутска.

«Он стал писать мне письма, что не может без меня. А тут Булгаков еще раз женился, уже на Елене Сергеевне. Понятно, что ждать мне больше нечего, и я уехала в Черемхово к Крешкову. Но каждые шесть месяцев приезжала в Москву на один-два месяца, чтобы не потерять комнату. Была в основном у Земских и Крешковых. С Кисельгофом Давидом встречалась, ходила в кино, театры, он был мною увлечен еще с тех пор, как я только появилась в Москве. Булгакова очень уважал, ценил как писателя. После развода с Крешковым, уничтожившим все мои памятные о Булгакове вещи и документы, я каждый приезд в Москву проводила с Давидом. Спасибо судьбе за него, он заставлял меня крепиться».

Всякий раз отъезд из Москвы превращался для Таси в трагедию. Она вспоминала, как они с Михаилом стремились сюда. Ютились где попало, питались чем придется, но каким

великим было счастье, когда Миша приехал в Москву и разыскал ее. А теперь она уезжала из Москвы черт знает куда, уезжала из города, где он жил, где ему сейчас было трудно, и она не могла ему помочь.

Глава десятая Новое знакомство

Можно ли считать Любовь Евгеньевну Белозерскую разлучницей Булгакова и Таси? Несомненно. Без всяких оговорок. Она родилась в культурной семье. Отец окончил Московский университет, владел четырнадцатью языками, занимался дипломатической деятельностью. Мать училась в Москве в Институте благородных девиц, где получила хорошее музыкальное образование. Младшая из детей – Любовь (родилась в 1895 году) – закончила знаменитую Демидовскую гимназию с серебряной медалью, а также частную балетную школу. Пробовала писать. Хорошо знала английский язык. В обыденной жизни была смела, решительна, находчива, во время войны стала сестрой милосердия, ухаживала за ранеными. Старалась быть в центре литературно-музыкальной жизни и вышла замуж за известного журналиста Илью Марковича Василевского (Не-Букву). Пыталась вести свободную жизнь, но вскоре убедилась, что муж страшно ревнив и болезненно самолюбив, хотя сам не обделял вниманием других женщин. Согласно старому поверью, чтобы удержать жену, носил на одном пальце три тонких обручальных кольца.

В годы революции судьба забросила их сначала в Константинополь, затем в Париж и Берлин. Там Василевский почти открыто обзавелся новой любовью, и Любовь Евгеньевна решила развестись с ним. Произошло это уже в Москве, куда сначала Василевский перебрался вместе с А. Н. Толстым и А. В. Бобрищевым-Пушкиным. Лишь потом он вызвал в Москву жену. Здесь они и разошлись. Любовь Евгеньевна не мыслила свою будущую жизнь вне литературного круга, но попытки сблизиться с писателями Потехиным и Слезкиным не дали желаемого результата. Она была готова даже разбить очень крепкую семью Слезкиных. С Булгаковым познакомилась случайно и когда ей было негде ночевать, согласилась пойти к нему домой, зная, что он женат. Тася встретила заявившуюся среди ночи пару сначала испуганно, а потом и гневно.

– Любочке ночевать негде, – стал объяснять Михаил Тасе, – разреши ей переночевать. Она у нас поживет пока.

– Нет, – резко ответила Тася. Любовь Евгеньевна не стушевалась, даже не покраснела, изобразив на лице недовольство, видя, что своим приходом внесла сильный раскол в семью Булгаковых, понимая, что культурные женщины так не поступают, как она, но считая, что цель оправдывает средства.

С Булгаковым она познакомилась совсем недавно. В первое

же их свидание с упоением рассказывала ему о великих русских писателях, с которыми сталкивала ее судьба в эмиграции:

– Куприн… Куприн!

– Ну и как он? – от волнения проглотив слюну, вымолвил Булгаков. – У него чудесные рассказы. Написаны прекрасно! Мастер!

– Я всегда с интересом смотрела на Куприна, на милое лицо пожилого татарина… Он все повторял мне: «Вам надо сниматься в кино».

– Правда надо! Вы фотогеничная. Своеобразно красивая! Чувственная! Благородная! – кивал Булгаков.

– Нет, Александр Иванович ошибался, – сказала Любовь Евгеньевна, – я совсем не фотогенична и для кино никогда не годилась.

– Почему?! – удивлялся Булгаков. – Я не согласен с этим. А о литературе вы с ним беседовали? Говорил ли он вам о том, что пишет, что собирается?.. Вспомните!

– Бальмонт! – вдруг восклицала Белозерская. – Как-то в пять часов утра раздался звонок. Я открыла дверь. Передо мною стоял невысокий, длинноволосый, с бородкой в рыжину человек в черной шляпе с преувеличенно большими полями, которые тогда никто, кроме старых поэтов Латинского квартала, уже не носил. Передо мною стоял Бальмонт! Мы сели в столовой. Я сварила крепкого кофе. Бальмонт читал свои стихи нараспев, монотонно, слегка в нос…

– Вам лично? – восхищенно произнес Булгаков.

– Мне. Не Василевскому же. Через полтора часа, когда Париж уже окончательно проснулся, я проводила его до ближайшего метро… Прошло несколько дней. И опять та же картина. Ранний звонок. Я пошла открывать. Бальмонт вошел со словами: «Я был на пышном вечере. Но мне стало скучно и захотелось пожать руки хорошим людям. Я пришел к вам». Ну можно ли после этого на него сердиться? Опять сидели в столовой. Опять пили черный кофе. Василевский повинился, сказал, что неважно себя чувствует, и пошел досыпать. Бальмонт читал стихи наизусть: «Славьте слепую страсть». По розовому от утреннего солнца Парижу провожала его я одна…

– Но почему приходил так рано? – поинтересовался Булгаков.

– Это тоже смущало Василевского. Он ревновал. Но я в утреннем одеянии была, видимо, действительно хороша… Саша Черный… Читал мне очаровательное стихотворение из детского цикла. Иван Алексеевич Бунин – человек суровый, но мне всегда улыбался… Павел Николаевич Милюков… Вы не устали от моей болтовни?

– Нет, что вы?! – искренне вымолвил Булгаков. Во время следующего свидания он дал ей почитать «Белую гвардию», где описывалось кровавое, страшное время в Киеве, свидетелем которого, как и он, была Любовь Евгеньевна. Ее восторженные охи и ахи по ходу чтения были приятны ему, он не привык к похвалам. Тасе он читал свои первые фельетоны во Владикавказе, ей все нравилось, он даже ласково называл ее «домашним критиком», но она была простой гимназисткой, не столь сведущим человеком в литературе, как Любовь Евгеньевна. Белозерская попросила его посвятить эту книгу ей, и он на волне ее восхвалений согласился. К тому же ничем другим угодить ей не мог. Даже жилье не мог найти и оплатить. Но для Любови Евгеньевны это посвящение – «В знак любви и уважения от автора» – было не менее важно, чем кров, который она днем раньше или позже обретет. Она знала, что о посвящении Миши непременно узнает Тася и ее разлад с мужем после этого еще более углубится.

С Булгаковым она познакомилась случайно, но кое-что уже знала о нем, читала его произведения в русскоязычной берлинской газете «Накануне». Особенно поразила его фраза из фельетона «День нашей жизни». Муж мирно беседует со своей женой. Она говорит: «И почему в Москве такая масса ворон?.. Вон за границей голуби… В Италии…

– Голуби тоже сволочь порядочная, – возражает муж».

Любовь Евгеньевна сначала восторгается, потом задумывается: «Прямо эпически-гоголевская фраза! Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось».

Вскоре после отшумевшей встречи Нового, 1924 года вернувшиеся из Берлина литераторы встретились со своими московскими коллегами. Здесь же была и Любовь Евгеньевна. Появились писатели: Дмитрий Стонов, Юрий Слезкин и Михаил Булгаков, печатавший в берлинском «Накануне» «Записки на манжетах» и фельетоны. Любовь Евгеньевна не могла не обратить внимания на «необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор». Булгаков был возбужден встречей с коллегами, ловил их высказывания, отдельные фразы, он наконец-то погрузился в тот литературный мир, о котором мечтал.

Любовь Евгеньевна вспоминала:

«Передо мной стоял человек лет 30–32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые различные

чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого все-таки походил Булгаков. И вдруг меня осенило – на Шаляпина!»

Вероятно, Любови Евгеньевне хотелось, чтобы ее новый знакомый и предполагаемый кандидат в женихи был так же гениален в литературе, как великий певец в оперном искусстве. Внешнее сходство между ними обнаружить было трудно.

Любовь Евгеньевна подошла к Булгакову и мило улыбнулась:

– Неужели здесь Юрий Слезкин?! Тот самый, петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходят легенды?

– Тот самый, – иронически ухмыляется Булгаков, и Любовь Евгеньевна замечает тень ревности, легшую на его лицо.

– Вот только рот у него неприятный, жестокий, чуть лягушачий, – моментально «исправляется» она. Далее разговор пошел легко, обычный светский разговор, ни к чему не обязывающий.

Любовь Евгеньевна внимательно оглядела собеседника:

«Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, “распашонкой”. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила цыплячьими и посмеялась».

Булгаков побледнел и вспомнил Тасю, которая никогда не позволила бы себе такую бестактность. Он отошел от Белозерской, а она извинительно улыбнулась. «Когда мы познакомились ближе, – вспоминает она, – он сказал мне не без горечи:

– Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…

Я поняла, что он обидчив и легкораним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из “Фауста”».

Любовь Евгеньевна подумала, что этим он хочет произвести на нее впечатление. А дальше?

«В моей жизни наступило смутное время: я расходилась с первым мужем и временно переехала к родственникам моим Тарновским. С Михаилом Афанасьевичем встретилась на улице, когда уже слегка пригревало солнце, но еще морозило.

– Зима скоро уйдет! Будет май! – почему-то воскликнул он и чему-то своему улыбнулся. Я рассказала ему о перемене адреса и изменении в моей жизни».

Пока Любовь Евгеньевна жила у Тарновских, людей исключительно эрудированных и гостеприимных, у которых

временно была свободна комната сына, уехавшего в командировку, Булгаков почти ежедневно захаживал к ним.

«Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. (М. А. жил близко, на Б. Садовой, дом 10.) Одна особенно задушевная беседа, в которой М. А. – наискрытнейший человек – был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться».

– Тебе хорошо одной? – спросил он, глядя в глаза Белозерской.

– Прекрасно! Ни от кого не завишу! Делаю что и как хочу! Встречаюсь с кем хочу! Чувствую себя абсолютно свободной!

– А тебе не бывает одиноко? Скажи честно! – вдруг нервно произнес Михаил. – Только сначала подумай. Не спеши с ответом. Вспомни – тебе бывает одиноко? Мне – так часто бывает. И настолько одолевает уныние, что хочется выть, как волк на Луну. Потом вспоминаю, что я все-таки человек, я в таких случаях страдать должен, мучиться. И я страдаю. Волку легче. Он от своей тоски через вой избавляется, а я ее в своей душе ношу. Ты можешь не сказать правду, прикинуться счастливой. Но ни один человек без общения с другим, близким себе душевно и телесно, счастливым быть не может. Ты понимаешь литературу, мне это очень приятно. И еще мне кажется, что мы с тобою единомышленники. Мне ничего не надо… Из тряпок… Деньги, что заработаю, стану отдавать тебе. Красивая женщина должна красиво жить. И мне радостно видеть тебя нарядной. Я пока только обещаю. Извини… Думаю, что работа моя не пройдет бесследно. У тебя есть литературные способности. Поработаем вместе. Люба! И главное – мы понимаем друг друга. Лучшее враг хорошего. Я нашел тебя, Люба, и лучшего в жизни мне не надо. Подумай и ответь серьезно, Люба, можешь ли ты стать моей женой?

– Могу, – потрясенная его чистосердечным монологом, кивнула головой Люба.

Они зарегистрировались в убогом, даже неподметенном помещении загса в Глазовском (ныне улица Луначарского) переулке, что выходил на бывшую церковь Спаса на Могильцах.

– Бог свидетель, хотя и запущенный, – сказал Булгаков, выходя из загса.

Глава одиннадцатая Жизнь в теремке

После нелегких скитаний в поисках жилья, а иногда и одного ночлега, молодожены устроились у сестры Михаила – Надежды Афанасьевны, которая заведовала школой имени Бухарина, разместившейся в бывшей Алексеевской гимназии, знаменитой на всю Россию. Жила Надежда на антресолях вместе с мужем, маленькой дочерью Олей, его сестрой Катей и своей сестрой Верой. Получился «терем-теремок». К счастью для Булгаковых, стояло лето – и на школьные каникулы их устроили в учительской на клеенчатом диване, под портретом сурового Ушинского. Зная задушевные отношения Нади с Тасей, Михаил боялся, что сестра нелюбезно встретит Любу, просил, даже умолял ее не проявлять к ней неприязнь, и Надежда послушалась любимого брата. Люба вошла как полноправный член в «терем-теремок» Булгаковых. Иногда ночью скатывалась с пологого дивана, но не сердилась, познав в эмиграции немало еще худших тягот. Вскоре приехала младшая сестра Миши – Елена. И тут Люба обнаружила склонность к юмору у всей семьи Булгаковых. Она подарила хозяйке семьи абажур, сделанный ею из цветастого ситца. Елена очень остроумно назвала этот подарок «смычкой города с деревней», что было по тем временам весьма злободневно.

Однажды Михаил и Люба встретили на улице Мишиного сослуживца по «Гудку» журналиста Арона Эрлиха. Мужчины на минуту остановились поговорить. Люба стояла в стороне и видела, как Эрлих, разговаривая, поглядывал на нее. Когда Миша вернулся, Люба спросила у него:

– Что говорил Арон?

– Глупость он говорил, – улыбчиво, но смущенно ответил Михаил.

– Все-таки скажи, что он говорил? – упорно настаивала Люба.

Булгаков сдался:

– Он сказал, увидев тебя в белом костюме, что «одень в белое обезьяну, она тоже будет красивой». Он просто позавидовал мне, идущему рядом с молодой и красивой женщиной.

Люба рассмеялась, но подумала, что в России ее не ценят, не уважают. Булгаков не столь известен, как ее бывший муж, даже в эмиграции Василевского окружали незаурядные люди. Чтобы как-то замять этот неприятный для нее разговор, Люба стала рассказывать о выступлениях в Париже русского театра-кабаре

«Летучая мышь» под руководством Балиева.

– Французы обожают юмор. Балиев пригласил нас с Ильей Марковичем на вечернее представление, усадил в ложу, на первый ряд. Запомнила его фразу, которая шла под аплодисменты, кстати, это был афоризм Наполеона: «Поскребите русского, и вы найдете татарина». В это время на сцене сидел русский парень с гармошкой. После слов Балиева он в мгновение исчезал со сцены, и на его месте возникал татарин с бубном, и начинался бешеный ритм половецких плясок из «Князя Игоря». Смех. Аплодисменты. Крики «браво».

И цыгане нравились французам. Танцы и песни: «Тут и топот иноходца, васильки-глаза твои, а домой не хотца» и «Две гитары». Даже старинная «Полечка» бисировалась. Родители: толстая купчиха – мамаша – и такой же толстый папаша, лихо танцуя, спрашивали у разодетой и полной дочери:

– Что танцуешь, Катенька?

– Польку, польку, маменька…

Зрители узнавали в них Россию, которую, чтобы не потерять окончательно, привезли с собою.

В театре «Трокадеро» выступала Анна Павлова со своим партнером Волыниным. Особенно хороша она была в «Грустном вальсе» Сибелиуса…

– А из писателей кто еще запомнился, кроме Бальмонта? Что в Париже? – спросил Михаил. Он готов был слушать о Париже бесконечно.

– Париж – колдовской город. Он ничего не делает насильно. У него умная снисходительность, и потому все получается само собой, как у людей, которые ничего не делают напоказ. Их любят, их слушаются, за ними идут. В этом разгадка того, что здесь почти сразу чувствуешь себя легко и свободно. Даже Эренбург, сухой, холодный, никого не любящий, оттаивает, когда говорит о Париже:

Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает все кругом,
Сквозь сон, сквозь чашу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда – все в тот Париж?

Здесь Илья Григорьевич настоящий, неподдельный. Я уже говорила тебе, что французы любят и ценят юмор, сами готовы поострить. Как-то я ехала домой и по дороге у нежилого дома

подхватила брошенного котенка. Завернула его в шарфик, из которого торчала только мордочка. Когда я вошла в вагон метро, сейчас же встал какой-то француз и сказал на полном серьезе:

«Поскольку, мадам, вы с ребенком, то присядьте!» Вокруг все приветливо заулыбались.

– Хорошая шутка, – согласился Михаил, – чисто французская. А как там принимали наших писателей?

– Хорошо. Мы – эмигранты – принимали своих хорошо. Для нас Павел Николаевич Милюков издавал настоящую газету «Последние новости». Однажды он пригласил Надежду Александровну Тэффи и меня с мужем в скромный ресторан, уже не помню, по какому поводу, а может быть, и без повода. Вот тогда-то за столом (мы сидели рядом) Тэффи и научила меня, как надо выступать с речью, если уж очень допекут. Надо встать, скомкать носовой платок, поднести его к глазам (подразумевается – полным слез) и сказать: «Слезы умиления мешают мне говорить. Успех обеспечен», – добавила она.

Выпив, что полагалось, поблагодарив Павла Николаевича, мы пошли с Надеждой Александровной Тэффи побродить по весеннему неповторимому Парижу.

– Ты беседовала с Тэффи?! – изумился Михаил.

– Да, как с тобою, – спокойно ответила Люба. – Мы расстались с Надеждой Александровной вечером, усталые, но довольные друг другом. Мне нравилось все в этой женщине: ее ненавязчивые остроты, отсутствие показного и наигранного, что – увы – встречается нередко у профессиональных юмористов…

– У меня тоже? – покраснел Булгаков.

– Бывает…

– Это… чтобы понравиться тебе, Люба.

– Спасибо, – продолжила разговор Любовь Евгеньевна. – Как-то Тэффи оставили ночевать у знакомых, но положили в комнату без занавесок, а постель устроили на слишком коротком диване. Когда наутро ее спросили: «Как вы спали, Надежда Александровна?» – она ответила: «Благодарю вас. Коротко и ясно»… Ну разве не прелесть? А вот заключительное четверостишие одного ее стихотворения, написанного в эмиграции: «Плачьте, люди, плачьте, не тая печали… Сизые голуби над Кремлем летали…» Думаю, что не забуду эти строчки никогда, столь сильна в них неизбывная тоска. Может, так причитали еще при царе Алексее Михайловиче…

Михаил шел молча, пораженный рассказом супруги, и думал, что ему несказанно повезло – теперь у него начнется другая жизнь, с новой, высочайшей точки культуры, до которой ему еще надо дотянуться.

– Люба, ты гений! – наконец вымолвил он.

– Я?! – неожиданно для него рассмеялась Люба. – Ты бы видел меня в кордебалете парижского мюзик-холла! Вот там я была хороша! Прошла без конкурса! Было достаточно моих внешних данных! Я играла в ревю «Пир Клеопатры». Ревю как ревю. В роли Клеопатры Мари Франс – смазливая актриса. И вот в один прекрасный день она не явилась на спектакль. Сидит в ближайшей к сцене ложе, из-за обнаженного плеча выглядывает японец в безукоризненном смокинге. К Мари подходит администратор. «Мадемуазель, – говорит он, – нарушение контракта без уважительных причин…» Мари не дала ему закончить фразу. «Принц», – сказала она, оборачиваясь через плечо к японцу. Принц спросил: «Сколько?» – и мгновенно подписал чек на двадцать тысяч франков. «Вот счастливица!» – застонали от зависти статистки. Чего погрустнел, Миша? Это тоже Париж! У меня была подруга в ревю, выступала в стиле «ню» и однажды едва не замерзла – раздевалась на сцене догола пятнадцать раз за вечер! Еле отогрели! Моя фотография в костюме из страусовых перьев, снятая у Валери (Walery Paris), была долго выставлена на Больших бульварах. Об этой фирме вспоминал Иван Сергеевич Тургенев. Мне было очень приятно, что Тургенев вспомнил эту знаменитую фирму. Я после этого с новым отношением смотрю на эту карточку. Я тебе показывала ее, но ты даже не задержал на ней взгляда.

– Извини, Люба. Я еще раз посмотрю внимательно. А девушку, что едва не замерзла, мне жаль.

– Я тоже ей сказала: «Нельзя ли поступить в театр, где не надо так много раздеваться?» Она вскипела: «Я там на их гроши не проживу! Таких натурщиц, как я, в Париже тысячи, и они рвут друг у друга кусок хлеба. Не работай я здесь, я не получила бы выгодных предложений позировать, не снималась бы в кино. Есть-то надо», – грустно заключила она. Василевский… Он тоже часто бывал растерянным. А Есенин… Он приезжал в Берлин со своей Айседорой Дункан. Я их видела не раз. Дункан не приняли в Америке, и на одном вечере в Берлине она запела «Интернационал». Маяковский… Он выступал в Берлине в каком-то зале – названия не помню. Показался мне очень большим и не очень интеллигентным. Читал про Вудро Вильсона. «А Вудро-то Вильсон…» – говорил и при этом пританцовывал. Илья Маркович… и Бунин. У них была взаимная неприязнь. Некто приехавший из Советского Союза рассказал, что суп в столовых там подают «с пальцами», имея в виду неопрятность, когда в слишком полные тарелки подающий окунает пальцы. Бунин понял эту неудачную формулировку буквально – что в Советском

Союзе дают «суп с человеческими пальцами», и разразился в белой прессе статьей, где ужасался и клял жестокость большевиков. Василевский высмеял Бунина и вернулся к этому факту в советской прессе в 1923 году. Нас с мужем пустили в Россию.

Булгаков нахмурился:

– По-своему Бунин был прав. В России тогда царил голод. Бывали случаи людоедства. Я бы на месте Ильи Марковича промолчал.

– Ну и не увидел бы меня! – повернулась к Михаилу Люба. Глаза ее пылали страстью. Булгаков прижался своей щекой к ее щеке.

Михаил и Люба медленно возвращались домой, хотя в конце двадцатых, когда они познакомились, постоянного жилища у них не было. Накрапывал мелкий дождик, но они не ускоряли шага. Оба чувствовали, что разговор сложился не совсем так, как хотел каждый из них, за вроде бы незаметными разногласиями скрывалось что-то большее – взгляды на жизнь, характеры, но они не хотели думать об этом, считая, что со временем шероховатости в отношениях сгладятся, что так бывает на первых порах во многих семьях. Да и отступать было некуда – ни Михаилу, ни Любе, особенно Любе: нервозные отношения с Ильей Марковичем превратились во вражду еще в эмиграции. В Москве он выступил с лекцией «Наши за границей», от которой Михаил был в восторге, но рецензия в центральной газете на нее была резко отрицательной, в литературных кругах поговаривали о полном крахе возвращенца Не-Буквы, что печатать его не будут, тем более власти не доверят ему руководство ни одним печатным органом. Когда-то он искренне любил Любу, был способным, активным журналистом, у него были интересные идеи, но воплотить их в жизнь ему помешала революция, в эмиграции – нехватка средств для создания газеты. «Он бесперспективен», – решила Люба и с этого момента стала обращать внимание на других мужчин, пользовалась у них успехом. Илья Маркович тоже не терялся. Но развелись они только в Москве. На этом настояла Люба.

Она поверила в Михаила, в его искрометный талант, который несомненно пробьется, этого надо подождать, и она была настроена ждать, не обращая внимания на многие неудобства – начиная с жилья и кончая скудной едой. «У нас с тобою рай в голубятне!» – ворковала она, присев на его колени. И ее ожидания оправдались. Через несколько лет Художественный театр поставил «Дни Турбиных», потекли авторские отчисления, она купила себе кое-что из новой одежды, а Илья Маркович лишь изредка мелькал на литературных страницах, и в 1938 году его

расстреляли как «врага народа». Люба представила свою незавидную участь, подумав, что было бы с нею, если бы она осталась его женой. А жизнь с Михаилом, хотя и на голубятне, ничем не омрачалась, кроме одного – Люба часто поминала Илью Марковича нелестным словом и поражалась, что ее муж ни разу не вспомнил при ней прежнюю жену… Ведь если они разошлись, то, значит, ругались, что-то, и очень важное, разделило их, – рассуждала Люба, – наверняка она чем-то раздражала Мишу, доставляла ему неприятности, и почему он ничем не выражает свое недовольство ею – кому же излить свои горечь и обиды, как не новой жене? А он молчит… Как будто этой прежней не существовало. Конечно, она, Люба, вторглась в их жизнь, но если бы там была любовь, то даже их с Мишей приход среди ночи не поломал бы крепкую любовь. Она, Люба, за такое устроила бы мужу хорошую взбучку, но разводиться с ним просто глупо.

Люба старалась не думать об этом, но прежняя жена Миши, виденная только раз, совсем ей не знакомая, продолжала раздражать ее, мучить воображение. Люба не знала, как уколоть ее, но заговорить с Мишей о ней не решалась и лишь расставшись с ним, в своих воспоминаниях сделала это грубо и нарочито, придумав, что «в более поздние годы к нам повадилась ходить дальняя родственница М. А. от первой жены, некая девушка Маня, существо во многих отношениях странное, с которым надо было держать ухо востро… Вообще-то она была девка “бросовая”». Написала и еще более разозлилась – этим ничего и никому не доказала.

А нервничала Люба зря. Жизнь с Михаилом на голубятне была очень интересной. Здесь он закончил пьесу «Дни Турбиных», написал повести «Роковые яйца» и посвященное ей «Собачье сердце». А до этого Михаил работал фельетонистом в газете «Гудок», брал маленький чемодан по прозванью «щенок» и уходил в редакцию. Домой приносил в «щенке» читательские письма. Читали и отбирали их для фельетонов вместе. На одном строительстве понадобилась для забивания свай копровая баба. Требование направили в головную организацию, и вскоре оттуда в распоряжение главного инженера строительства прислали жену рабочего Капрова. Читали письмо об этом и смеялись до упаду. Михаил подписывал фельетоны несколькими буквами: ЭМ, Эм, Бе… Последний псевдоним он придумал в честь владикавказского адвоката Беме, вместе с которым отстаивал на литературном диспуте честь и достоинство Пушкина. Как-то вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И решил: «Мака – это я».

Однажды он пришел оживленный, с веселинкой в глазах.

– Зачем пропадать твоему французскому?

– А что?

– Ты сколько времени прожила во Франции?

– Около трех лет.

– Вполне достаточно. Будем вместе писать пьесу из французской жизни. Под названием «Белая глина».

– Это что такое? Зачем она нужна и что из нее делают?

– Мопсов из нее делают, – смеясь, ответил он. Люба обрадовалась и благодарно посмотрела на Михаила, не подозревая, что писать эту пьесу он хочет только для того, чтобы вовлечь жену в литературную работу, чтобы они стали ближе творчески, решился на то, что не догадался сделать с Тасей. Люба ни секунды не сомневалась, что он серьезно относится к работе. Сочиняли действительно вместе и очень веселились. Михаил предлагал сюжет. Она насыщала диалоги французским разговорным языком. «Схема пьесы была незамысловата, – вспоминала Любовь Евгеньевна, – в большом и богатом имении вдовы Дюваль, которая живет там с восемнадцатилетней дочерью, обнаружена белая глина. Эта новость волнует всех окрестных помещиков, никто толком не знает, что это за штука. Мосье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки. И мать, и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Почти одинаковым туалетом они еще более усугубляют это сходство: их забавляют постоянно возникающие недоразумения на этой почве. В ошибку впадает мосье Ив, затем его сын, приехавший на каникулы из Сорбонны, и наконец, инженер-геолог эльзасец фон Трупп, приглашенный для исследования глины и тоже сразу же влюбившийся в мадам Дюваль. Он классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером.

– Проклятое сходство! – кричит он. – Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь…

Тут и объяснения, и погоня, и борьба, и угрозы самоубийства. Когда наконец обманом удается отнять у ревнивца револьвер, он оказывается незаряженным… В третьем действии все должно было кончиться всеобщим благополучием. Поль Ив женится на Дюваль-матери, его сын Жан – на Дюваль-дочери, а фон Трупп – на их экономке».

В пьесе любовь торжествует, сказал Булгаков. Увлеченная работой, радостная Люба не заметила, что эти слова он произнес с каким-то укором. Она мечтала, чтобы эту пьесу поставили в театре Корфа, и даже мысленно распределила роли: мосье Ива

будет играть Радин, фон Труппа Топорков… Булгаков честно отнес первые два действия в театр. Там ему с грубоватой откровенностью сказали:

– Ну подумайте сами, кому сейчас нужна светская комедия?

– Мне это уже говорили, – вздохнул Булгаков, – во Владикавказе. Когда я читал пьесу «Самооборона», члены художественного совета местного театра смеялись до колик, а потом скорчили недовольные лица: «Не пойдет, – сказали они, – салонная!»

Дома Булгаков доложил о случившемся Любе.

– Так что? Третье действие писать не будем? – огорченно заметила Люба. В ответ Булгаков развел руками:

– Поможешь мне писать пьесу о русских беженцах в Константинополе?

– Конечно, помогу! – с радостью согласилась Люба. – А «Белую глину» нигде не примут?

– Увы, – сказал он и однажды незаметно от Любы отнес папку с «Белой глиной» на помойку. Он и «Самооборону» уничтожил. Считал обе пьесы в своем творчестве несовершенными и случайными. Первую писал только для заработка, вторую – для сближения с новой женой.

Любовь Евгеньевна позднее вспоминала: «Михаил сидит у окна, а я стою перед ним и рассказываю все свои злоключения и переживания за несколько лет эмиграции, начиная от пути в Константинополь и далее. Он смотрит внимательным и требовательным глазом. Ему интересно рассказывать: задает вопросы. Вопросы эти писательские:

– Какая толпа? Кто попадается навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза?..

Все вспоминаешь и понемногу начинаешь чувствовать себя писателем. Нахлынули воспоминания, даже запахи.

– Дай мне слово, что будешь все записывать. Это интересно и не должно пропасть. Иначе все развеется, бесследно сотрется.

Пока я говорила, он намечал план будущей книги, которую назвал: “Записки эмигрантки”. Но сесть за нее мне сразу не удалось.

Вся первая часть, посвященная Константинополю, рассказана мной в мельчайших подробностях Михаилу Афанасьевичу Булгакову, и можно смело сказать, что она легла в основу его творческой лаборатории при написании пьесы “Бег”».

Работая над «Бегом», Михаил Афанасьевич вспомнил Киев, как, наверное, должен был вспоминать родной город эмигрант. «Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, Киев – город,

красота… Вот так лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет. Травы, сеном пахнет, склоны, долы…» Подумал о Тасе, и ему показалось, что она осталась в Киеве и он рядом с нею, счастливый, молодой… Но герой пьесы – на чужбине, в Константинополе: «Странная симфония. Поют турецкие напевы, в них вплетается русская шарманочная “Разлука”, стоны уличных торговцев, гудение трамваев, проходят турчанки в чарчафах, турки в красных фесках, иностранные моряки в белом; изредка проводят осликов с корзинами. Лавчонка с кокосовыми орехами. Мелькают русские в военной потрепанной форме». Он мысленно благодарит Любу, без нее он никогда не ощутил бы колорит Константинополя и стремление русских эмигрантов бежать от дикой жары, неустроенности, унизительного положения и голода: «В Париж! Только в Париж!» Однако их предупреждает один из героев пьесы: «Запомните: человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то ни другое в Париже не принято». И эмигранты в пьесе довольно сносно говорят по-французски, лексикона хватает для разговорного обихода, хватает у Любочки, а значит, и у героев пьесы.

– Что ты имеешь в виду под разрушительными лозунгами? – поинтересовалась Люба.

– Красную пропаганду, – значительно произнес Михаил.

– Но ведь ты печатался в берлинской газете «Накануне» с эмигрантскими писателями, лояльно относящимися к большевистской революции, желающими заново найти родину и вернуться в Россию, – возразила Люба. – Чувство родины – у одних ярко выраженное, у других глубоко запрятанное – невытравимо живет в каждом эмигранте.

– Пожалуй, – согласился Михаил, – оно, несомненно, живет в сердце Бунина, его приглашали в советское посольство, просили вернуться на родину, но… но именно чувство родины не позволило ему приехать в Советский Союз. Родина и власть в стране, ее строй – разные понятия. Заманили в Москву Алексея Толстого. Граф живет толсто и денежно. Ему строят дачу, а твоего Илью Марковича не печатают. Толстой – известный писатель, символ русского интеллигента, принявшего советский образ жизни. А Не-Буква – не символ. Не думаю, что он снова обретет здесь родину, к которой стремился.

– Жаль, – вздохнула Люба, – он тяжелый человек, нервный, но деятельный, отличный газетчик.

– Не спорю, – сказал Михаил, – и мне его тоже жаль. И я

очень сожалею, что разлучен со своими братьями, но не советовал бы им приезжать ко мне. Лучше, безопаснее для них будет, если я когда-нибудь приеду во Францию. Навещу родину Мольера… Париж – моя мечта…

Михаил говорил искренне. На первой книге романа «Дни Турбиных» (под таким названием парижское издательство «Конкорд» выпустило «Белую гвардию» в 1927 году) написано:

«Жене моей дорогой Любаше экземпляр, напечатанный в моем недостижимом городе. 3 июля 1928 г.».

Первые годы жизни с Любашей чем-то напоминали ему беспечные времена, по всей видимости – светлым чувством, испытанным тогда. Может, ему казалось, что эти времена вернулись, и в том же году он оставил трогательную надпись на сборнике «Дьяволиада»:

«Моему другу, светлому парню Любочке. М. Булгаков. 27 марта 1928 года. Москва».

Наступали времена сталинского лихолетья. Не в чести у начальства оказался главный редактор журнала «Недра» Николай Семенович Ангарский. Издав «Роковые яйца» Булгакова, он хотел напечатать «Собачье сердце», хлопотал о его издании в самых высоких инстанциях. Возможно, после этого тогдашние силовые организации узнали о существовании остросатирической булгаковской повести. О резком и крутом характере Ангарского Булгаков рассказывал анекдот: «В редакцию пришел автор с рукописью. Ангарский ему издали: “Героиня Нина? Не надо!» (У графоманов или авторов, пишущих трафаретно, главная героиня непременно носила это имя.) Потом Миша и Люба в разных ситуациях варьировали эти слова Ангарского. Он знал и любил литературу, настоящую, далекую от конъюнктуры, поэтому благоволил Булгакову. В конце концов это стоило ему жизни.

Постепенно власть «подминала» под себя многих способных литераторов. Из редких писателей, кто благожелательно относился к Булгакову, был Викентий Викентьевич Вересаев. В прошлом оба работали врачами, это роднило их, что видно из «Записок врача» Вересаева и «Рассказов юного врача» Булгакова. Оба боготворили Пушкина и решили вместе написать пьесу о нем. Название условно звучало: «Пушкин. Последние дни», впоследствии – «Живой Пушкин». Любовь Евгеньевна вспоминала: «Как-то Викентий Викентьевич сказал: “Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность дегенерата”. Я было открыла рот, чтобы справедливости ради сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом Михаила Афанасьевича прикусила язык». Ей нравился Вересаев: «Было что-то добротное во всем его облике старого врача и

революционера. И если впоследствии (так мне говорили) между ними пробежала черная кошка, то об этом можно только сожалеть».

Сначала была договоренность: пушкинист Вересаев – источник всех сведений, консультант, Булгаков – драматург. Отношения между соавторами развивались довольно благополучно, но вот своеобразный подход Булгакова к привычному образу Пушкина тех времен начал раздражать Вересаева. Будучи сам революционером, он хотел придать Пушкину черты борца за свободу. Булгаков, тоже изучивший творчество и жизнь Пушкина, готовясь к литературному диспуту во Владикавказе, считал Пушкина не борцом за свободу, а революционером духа. Вересаев решил вмешаться в область драматурга, но встретил яростное сопротивление. Особым яблоком раздора стал образ Дантеса. Вересаев настаивал на том, что Дантес был тупым исполнителем воли самодержавия, именно оно убило гениального поэта, впрочем, как и впоследствии Лермонтова. Булгаков напомнил Вересаеву, что пьеса называется «Живой Пушкин». Следовательно, главный герой должен быть показан не только как гений литературы, но и человек, обладающий честью, достоинством, человек страстный и ранимый. Живым должен быть и Дантес, ему нельзя запретить любить жену Пушкина. При чем здесь самодержавие, царь? Нельзя укладывать сложные отношения между Пушкиным, Дантесом и женой Пушкина в узкие трафаретные рамки советской семьи. По мнению Любови Евгеньевны, «в конечном итоге Михаил Афанасьевич “отбился” от нападок Викентия Викентьевича: талант драматурга, знание и чувство сцены дали ему преимущество в полемике». Но сама Любовь Евгеньевна видела в Дантесе красивого злодея-убийцу, и Булгаков не спорил с нею:

– Мы тоже живые люди, у нас по тому или иному вопросу могут быть различные мнения.

– Разве это мешает нашей любви? – томно произнесла Люба, обвивая шею Михаила руками.

– Пока не мешает, нисколечки, – улыбался Михаил, вспоминая Тасю, которая называла Любу «нарядной и надушенной» дамой, – увы, наряды обносились и французские духи кончились… «Но Любовь осталась – сидит рядом и когда обнимает меня, я счастлив, но почему-то иногда думаю о Тасе…»

Глава двенадцатая Налет на голубятню

Автор этого повествования прочитал «Собачье сердце» в конце пятидесятых годов, и не в книге, а в перепечатке на машинке, текст получил от друга-студента, с условием никому не показывать и вернуть через пару дней. Я поразился острейшему и глубокому содержанию повести, читал и побаивался, что кто-нибудь чужой заметит меня за этим занятием. Теперь я представляю, какое впечатление произвела эта повесть на апологетов сталинского режима, охраняющих страну от происков Запада и внутренних врагов. Как она попала к чекистам? Можно предположить, что с нею ознакомился кто-то из начальников, которым ее показывал издатель Ангарский в надежде получить разрешение на печатание. Возможно, о ней донес в ГПУ кто-либо из участников чтений у Николая Николаевича Лямина, с которым длительное время дружил Булгаков и в доме которого читал «Белую гвардию», «Роковые яйца», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «“Консультанта” с копытом», легшего в основу романа «Мастер и Маргарита», и, конечно, одно из своих лучших произведений – повесть «Собачье сердце». Сохранился сборник «Дьяволиада» с трогательной надписью:

«Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков, 1925 г. 18 июля, Москва».

Михаил предупредил Любу, что у Лямина его будут слушать люди «высшей квалификации». И Люба действительно оказалась в кругу известного шекспироведа М. М. Морозова, преподавателя римской литературы Ф. А. Петровского, поэта и переводчика С. В. Шервинского, искусствоведов А. А. Губера, Б. В. Шапошникова, А. Г. Габричевского, познакомилась и подружилась с «бесконечно милой» внучкой Льва Толстого Анной Ильиничной Толстой. На слушание приходили актеры: Москвин, Станицын, Яншин, Мансурова… «Читал Михаил Афанасьевич блестяще, – вспоминала Любовь Евгеньевна, – но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно, только глаза смеялись…» Он, разумеется, не подозревал, что среди его замечательных слушателей может затесаться стукач. А Люба вообще не считала произведения своего мужа опасными и вредными для дела революции. Она гордилась Михаилом, видя, какие люди и с каким интересом воспринимают его творчество. Поэтому в дневнике записала: «Время шло, и над повестью “Собачье сердце”

сгущались тучи, о которых мы и не подозревали». Не думаю, что так же беспечен, как жена, был в отношении этой повести Булгаков. Об этом свидетельствуют его немалые силы, приложенные к вызволению «Собачьего сердца» из лап чекистов, приход которых на голубятню Любовь Евгеньевна описывает весьма легковесно: «В один прекрасный вечер, – так начинаются все рассказы, – в один прекрасный вечер на голубятню, где мы продолжали жить, постучали (звонка у нас не было), и на мой вопрос “Кто там?” бодрый голос арендатора ответил: “Это я, гостей к вам привел!”

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек – следователь Славкин, его помощник по обыску. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то он примет приход “гостей”, и просила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти.

Все прошли в комнату и сели… Вдруг знакомый стук. Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:

– Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.

Он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. “Пенсне” стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:

– Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были мною куплены на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 к. за штуку.)

На нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил:

– А почему бы вам, товарищи, не перевести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил… Найдя на полке “Собачье сердце” и дневниковые записи, “гости” тотчас же уехали».

Любовь Евгеньевна пишет, что во время обыска Булгаков вел себя достойно, даже иронично, а может, раньше просто не подавал виду. Он-то, создатель великой повести, гениально сфантазировавший, но совершенно правдиво показавший народившуюся особь примитивного строителя коммунизма, он-то понимал, какая опасность теперь угрожает ему, и занервничал раньше, чем заметила жена. Он давно был на подозрении у чекистов как сменовеховец, представитель вредного, с их точки зрения, литературного течения «Смена вех», которое нарком госбезопасности Ягода решил прикрыть. На самом деле Булгаков не поддерживал сменовеховцев, он печатался у них, потому что больше было негде.

Ягода обратился с секретным письмом в ЦК ВКП(б) к Молотову с просьбой о ликвидации сменовеховского движения, запрещения их рефератов, лекций, изданий, «являющихся ничем не прикрытой пропагандой чуждой нам идеологии». Для этого Ягода предлагает провести обыски без арестов у восьми сменовеховцев, куда был включен и Булгаков, «и по результатам обыска возбудить следствие, и в зависимости от его результатов кое-кого выслать…».

Сохранился протокол обыска квартиры Булгакова (приводится с сокращениями).

«На основании ордера ОГПУ за № 2287 от 7 мая мес. 1926 г. произведен обыск у гр. Булгакова в д. № 9, кв. 4 по ул. Кропоткина, пер. Чистый, сотр. Врачевым.

При обыске присутствовали обыскиваемый Булгаков М. А. и арендатор дома Градов В. В.

Взято для доставления в Объединенное Госполитуправление:

1) Два экземпляра перепечатанных на машинке “Собачье сердце”.

2) Три дневника: за 1921–23 и 25 годы.

3) Один экзем., отпечат. на маш. “чтение мыслей”.

4) Послание Евангелисту Демьяну Бедному.

5) Стихотворение В. Инбер (пародия Есенина). Обыск проводил: Уполн. 5-го отд. СОГПУ Врачев».

В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна, видимо, забыла упомянуть об изъятии дневников, путает фамилию следователя, что менее важно. Как выяснилось позже, дневники писателя читали некоторые члены Политбюро, включая Сталина и Молотова. Имеется расписка «дежурного стола приема почты Адмиоргупр. ОГПУ» от 18 мая 1926 года о приеме от Булгакова «одного заявления в ОГПУ». Через три недели после обыска писатель набрался сил и духа обратиться с протестом против проведенного обыска. Ответа на заявление он не получил.

Булгаков был взвинчен. Понимал, что бороться с ОГПУ бесполезно. Нужно было обращаться в иные, более высокие инстанции.

– Не люблю просить, унижаться, – нервно говорил он Любе.

– Тебе ничего не нужно напечатать? – спокойно интересовалась она, понимая, что продолжение разговора на тему обыска еще более выведет мужа из нарушенного равновесия.

– Нужно! – вдруг вспоминал Михаил Афанасьевич. – Забыл срочно известить дирекцию Художественного театра о том, что я не согласен на удаление петлюровской сцены из моей пьесы «Белая гвардия».

Люба садилась за машинку.

– Может, не стоит писать в ультимативной форме?

– А в какой еще?! – взрывался Булгаков. – Сцена органически связана с пьесой. Я не могу пойти на искажение всего смысла пьесы! Пиши: «В случае, если театр с изложенным в этом письме не согласится, прошу “Белую гвардию” снять в срочном порядке».

Любовь Евгеньевна громко и четко ставила точку:

– Ты хочешь заполучить новых врагов? Пьеса идет. Чего тебе еще надо? Еще один обыск?

– Пожалуйста, пусть проводят! – иронически замечал Михаил Афанасьевич. – Вторую повесть типа «Собачьего сердца» я еще не сотворил. И первую восстановить будет трудно. А «Дневники» пропали… «Дневники» тоже очень жаль… А насчет врагов? Я их не ищу. Они меня сами находят. Перестраиваться, как твой Илья Маркович, я не намерен. Он затеял издание серии книг «Лучшие люди революции». Или что-то в этом роде. Сегодня они лучшие, а завтра? Ничем хорошим это не кончится!

– Я с бывшим мужем не общаюсь, – напомнила Любовь Евгеньевна, – предупреди его. Посоветуй что-нибудь.

– Ладно, – постепенно остыл Михаил Афанасьевич. – Время сложное. И не совсем понятное. Виданное ли дело – не отвечать на письма? ОГПУ молчит. Почему? Я просил возвратить мне «Собачье сердце» и «Дневники», изъятые при обыске, но необходимые мне в срочном порядке для дальнейшей литературной работы. Отмечал, что «Дневники» являются для меня ценным интимным материалом. В ответ ни-че-го!

– Ты знаешь, Миша, может, хорошо, что нет никакого ответа, – осторожно заметила жена, – еще не известно, что замышляет ОГПУ. Но ты, ради бога, не волнуйся преждевременно, может, беда обойдет нас стороной?

Через несколько дней Булгаков вернулся из Художественного театра бодрым и удивленным.

– Люба, меня встретили в театре как родного человека. Лужский сказал в ответ на мое письмо: «Что вы, милый и наш мхатый Михаил Афанасьевич? Кто вас так взвинтил?» Вероятно, ничего не знают об обыске. Обещали уладить трения с Главреперткомом. Неужели чего-нибудь смогут добиться? Но они хотят поставить «Собачье сердце»! Составили со мною договор на инсценировку. Это что-то да значит! Будем писать выше!

– Кому? – спрашивает Любовь Евгеньевна, вставляя в машинку чистый лист.

– «Председателю Совета народных комиссаров от литератора Михаила Афанасьевича Булгакова. Заявление. 7 мая с. г. представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер № 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с

соответствующим занесением в протокол следующие мои, имеющие для меня громадную интимную ценность, рукописи: повесть «Собачье сердце» в двух экземплярах и мой дневник (три тетради). Убедительно прошу о возвращении мне их. 24 июня 1926 года. Михаил Булгаков».

Люба осторожно вынула листок из машинки.

– Спасибо, милая, – склонившись над женой, грустно произнес Михаил Афанасьевич. – Увы, приходится писать не только художественную литературу. – И вдруг улыбнулся. – Я указываю им, что рукописи имеют для меня интимную ценность, только для меня, и только интимную. Думаешь, поверят? Это успокоит их?

– Будем надеяться, – вздохнула Люба и опустила голову на его руку. – Будем надеяться…

Она упоминалась в дневнике мужа еще задолго до их женитьбы, до «официального» знакомства, когда еще работала машинисткой у мелкого, но оборотистого издателя Френкеля: «21 июля. Понедельник. Вечером, по обыкновению, был у Любови Евгеньевны… Сегодня говорили по-русски – и о всякой чепухе. Ушел я под дождем грустный и как бы бездомный». И 25 июля, в пятницу, отмечал: «Поздно, около 12, был у Любови Евгеньевны». Она тогда думала, что интересует его как свободная и неглупая женщина, как бесплатная машинистка, даже более как машинистка.

Тася нервничала, срывалась – и это понятно. По сути, она сама прогнала его к ней. Ему некуда было деваться… У них много общего… Часто совпадают мысли. Она неплохо знает нравы и вкусы писателей, может поддержать разговор о литературе… И твердо внушила себе: для Миши главное в жизни – его работа, пусть так, а она любит светские развлечения, особенно прогулки на лошадях, ипподромы, скачки… Но об этом он пока ничего не должен знать, пока она не почувствует, что он полностью принадлежит ей. Пока не наладятся его литературные дела. Она выписала все упоминания о себе в тетрадях его дневника, даже такое:

«16 августа, 1924 г. Сегодня в издательстве Френкеля, где пишет Любовь Евгеньевна на машинке, даже некий служащий говорил, что брошюрки, затеянные И. М. Василевским («Люди революции»), работа не того…»

Видимо, подспудно ревновал ее к бывшему мужу. Ведь они еще не были разведены, и он знал, что Василевский, несмотря на свои измены, любил ее и не собирался с нею разводиться. Еще запись:

«Сейчас (около 12 ночи) заходила Любовь Евгеньевна.

Говорила, что в пределах России арестован Борис Савинков. 28 августа. Четверг».

Миша дотошен в жизни и литературе до мелочей. Бог с ними, с датами, но зачем указывать время, когда он встречался с нею, – 12 часов ночи? Ушел в 12 ночи, пришел в 12 ночи. Ведь он был тогда еще женат. Любови Евгеньевне не хотелось, чтобы эти дневники были напечатаны с этими фактами. Она бы их почистила… Теперь дневники в ОГПУ. Оттуда мало кто возвращается и мало что…

Любовь Евгеньевна в своих размышлениях была недалека от истины. Лишь по настоятельной просьбе Горького повесть Булгакову вернули, и то через два года. Существует версия, что и дневники были возвращены писателю с условием, что он их уничтожит, и он якобы это сделал. Любовь Евгеньевна в это не поверила, и справедливо. Дневники сохранились в архивах КГБ и были переданы в Центральный государственный архив литературы и искусства.

Любовь Евгеньевна была поражена наивностью мужа, но боялась ему впрямую сказать об этом. Еще в 1922 году в журнале «Новая русская книга» он поместил объявление: «М. А. Булгаков работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами… Просьба ко всем журналам и газетам перепечатать это сообщение». Неужели Миша не подумал тогда, что нужная ему информация и тем более он сам заинтересуют ОГПУ? Зачем злорадствовать над сильными мира сего? Переписал в «Дневник» из какой-то газеты: «В “придворной” конюшне всероссийского старосты Калинина пропала сбруя, только что доставленная из бывшей императорской конюшни…» Староста – большой любитель прокатиться на тройке, и часто его караковая часами стоит перед ярко освещенными окнами «Яра». Умеют «жить и грабить награбленное». Сам «наводил» чекистов на себя.

Отсюда неприятности даже с такой, казалось бы, проходной пьесой, как «Зойкина квартира». Давно хотели ее снять, но оставили как единственный спектакль, приносящий прибыль вахтанговскому театру. Кстати, и Миша и Василевский любили зло поострить по поводу своих коллег. Поэтому Миша не преминул со слов Ильи Марковича занести в свой дневник высказывания Алексея Толстого: «Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов» и слова Демьяна Бедного, сказавшего на выступлении перед красноармейцами: «Моя мать была блядь…» Зачем вызывать ненависть у коллег? Среди них и без этого хватало завистников и недоброжелателей.

Но есть в дневнике несколько записей, которые нравились

Любови Евгеньевне, она бы их оставила: «Записи под диктовку есть не самый высший, но все же акт доверия». Другую запись он предварял словами, что она не для дневника и не для опубликования, но все-таки оставлял в тетради: «Подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я сейчас как раз хворый, а она для меня… Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной, жадно смотрел…» А третья запись, ужасная по форме, по смыслу успокаивала Любовь Евгеньевну. Когда она ее печатала, руки дрожали, не все буквы даже пропечатались: «Как заноза сидит во мне сменовеховство (я при чем?) и то, что чертова баба за… [наверное, затопила] меня, как пушку в болоте… Важный вопрос… Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык».

Любовь Евгеньевна писала: «Привык! Привык! Даже не мыслит свою жизнь без меня! Теперь пусть больше тратит силы не на мое обольщение, а на пробивание своих пьес в театрах! Чтобы я переодевалась при нем в новые наряды. Но как остановить в его произведениях поток нелицеприятной и для автора опасной правдивости? Надо же такое записать в дневнике: “Мельком слышал, что умерла жена Буденного. Потом слух, что самоубийство, а потом оказывается, что он ее убил. Он влюбился, она ему мешала. Остается совершенно безнаказанным. По рассказу – она угрожала ему, что выступит с разоблачениями его жестокости с солдатами в царское время, когда он был вахмистром”. И это сейчас читают в ОГПУ при живом и преуспевающем Буденном! Что будет с Мишей, если об этом узнает славный герой Гражданской войны. Он набросился даже на уже известного писателя Бабеля за то, что тот в своей повести изобразил его Первую конную как полупартизанское соединение».

Основой сюжета «Зойкиной квартиры» для Миши послужил фактический материал из отдела происшествий в вечерней «Красной газете», где он натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Все остальное Булгаков придумал. Зойку прекрасно играла Мансурова, Аметистова – Р. Симонов. Поставил пьесу Алексей Дмитриевич Попов. Состав был блестящий. Публика валом валила. Принимала отлично. Но критики писали, что в пьесе все персонажи отрицательные, и были настолько жестоки к пьесе, что режиссер отрекся от своей постановки. Позднее другой известный режиссер и актриса МХАТа – М. Кнебель – пришли к выводу, что «отречение автора – дань времени». Любовь Евгеньевна справедливо возразила ей: «Она недоговаривает: дань времени –

это остракизм, пока еще не полный, которому подвергнется творчество Михаила Афанасьевича Булгакова».

Опасения ее оправдались. Удар следовал за ударом. Зашатались позиции «Белой гвардии» во МХАТе, встал вопрос о снятии «Зойкиной квартиры» в театре Вахтангова, о значительной переделке пьесы. Булгаков обратился к главному режиссеру Попову: «Ответьте мне, пожалуйста, вы, режиссер, как можно переделать 4-актную пьесу в 3-актную?.. Ну ладно. Я переделываю, потому что, к сожалению, я “Зойкину” очень люблю и хочу, чтобы она шла хорошо… Я болен. Но переделаю…»

И все это время Михаил Афанасьевич ждал ответа на письма в ОГПУ, в Совет народных комиссаров. Обыск в его квартире он расценил как надругательство над своей личностью, унижение достоинства… Кто-то должен был ответить за это издевательство, чтобы оно не осталось безнаказанным. А тем временем следователи ОГПУ вместо ответов на его письма готовили материалы и вопросы для допроса писателя, который провели 22 сентября 1926 года.

Протокол допроса

«Я, уполн. 5 отд. секр. Отдела ОГПУ Гендин: допрашивал в качестве [обвиняемого] свидетеля гражданина Булгакова М. А. и на первоначально предложенные вопросы он показал:

1. Фамилия. Булгаков.

2. Имя, отчество. Михаил Афанасьевич.

3. Возраст (год рождения). 1891 (35).

4. Происхождение. Сын статского советника, профессора Булгакова.

5. Местожительство. М. Левшинский пер. 4, кв. 1.

6. Род занятий. Писатель-беллетрист и драматург.

7. Семейное положение. Женат. Фамилия жены – Белозерская Любовь Евгеньевна – дом. хоз.

8. Образовательный ценз. Киевская гимназия в 1916 г. Университет медфак в 1919 г.

9. Имущественное положение. Нет.

10. Партийность и политические убеждения. Беспартийный. Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически, так и изображаю их в своих произведениях.

11. Где служил и чем занимался.

а) до войны 1914 г.;

б) с 1914 г. до Февральской революции 17 года. Киев, студент

медфака до 16 г., с 16 г. – врач;

в) где был, что делал в Февральскую революцию 17 г., принимал ли активное участие, в чем оно выразилось. Село Никольское Смоленской губернии и гор. Вязьма той же губернии;

г) с Февральской революции 17 г. до Октябрьской революции 17 г. Вязьма, врачом в больнице;

д) где был, что делал в Октябрьскую рев. 17 г. Также участия не принимал;

е) с Октябрьской рев. 17 г. по настоящий день. Киев – до конца августа 19 г. С августа 19 до 1920 г. во Владикавказе, с мая 20 г. в Батуми, из Батуми переехал в Москву, где и проживаю по сие время.

12. Сведения о прежней судимости (до Окт. рев. и после нее). В начале мая с. г. производился обыск».

Затем следователь перешел на своего рода доверительный разговор с писателем, записал его «показания по существу дела».

Перед допросом Булгакова за ним была установлена слежка. Один из осведомителей сообщал в июле 1926 года: «По поводу готовящейся к постановке “Белой гвардии” Булгакова, репетиции которой уже идут в Художественном театре, в литературных кругах высказывается большое удивление, что эта пьеса пропущена реперткомом, так как она имеет определенный и недвусмысленный белогвардейский дух».

На документе резолюция: «Гендин. К делу Булгакова. Славинский».

– Будь осторожен, Миша, – наказывала ему Любовь Евгеньевна перед его уходом на допрос. – Завтра генеральная репетиция «Дней Турбиных» во МХАТе. Я уверена, что допрос за день до репетиции назначен не случайно. Кто-то хочет любым путем провалить пьесу.

– Я не волнуюсь, – неожиданно искренне и без видимого волнения произнес Михаил, – на самом деле спокоен. Почти спокоен. Мне особенно нечего скрывать. У них мои дневники, а там я был весьма откровенен.

– Слишком откровенен, – укорила Люба.

– Ничего уже не изменишь, – сказал Михаил, – давай попрощаемся.

– Что?! – вскрикнула Люба. – Ты можешь не вернуться?!

– Вернусь, – неуверенно сказал Михаил и вдруг улыбнулся, – я просто лишний раз хочу обнять и поцеловать тебя.

Люба не скрывала слезы на глазах.

– Ты ухитряешься шутить… Даже в такие минуты…

Михаил вздохнул:

– Подсказывает мне сердце, что такие минуты не последние в

моей жизни, в нашей жизни. Ты сама выбрала меня. Теперь расхлебывай судьбу. Не плачь, вернусь… Ведь за мною не прислали машину.

В своем разговоре с Булгаковым следователь делал упор на повесть «Собачье сердце». Булгаков был осторожен и решил высказать свое далеко не одобрительное отношение к повести:

«Считаю, что произведение “Повесть о собачьем сердце” вышло гораздо более злостным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения его мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, т. к. попала под влияние фракции. Это произведение я читал на Никитинских субботниках редактору “Недр” т. Ангарскому, в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича и в “Зеленой лампе”… Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, т. к. понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание.

Вопрос. Укажите фамилии лиц, бывающих в «Зеленой лампе».

Ответ. Отказываюсь по соображениям этического порядка.

Вопрос. Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка?

Ответ. Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.

Вопрос. Ведущие к свержению строя?

Ответ. Лишь не во всем согласные с ним».

Самый опасный подводный риф в море вопросов следователя был искусно обойден. Дальше он отвечал легче:

«На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю. Она мне представляется более кулацкой, нежели это принято думать».

Следователь вскинул брови, попавшись на уловку Булгакова, стоявшего по крестьянскому вопросу на более суровых позициях, чем Политбюро и лично товарищ Сталин.

«Из рабочего быта мне писать трудно, – продолжал Булгаков, – знаю его не очень хорошо – занят. Я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги… Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порой, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя

(я – сатирик).

М. Булгаков. 22 сентября 1926 года».

На следующий день репетиция «Дней Турбиных» прошла успешно. Пришлось только расстаться с частью «петлюровской» сцены – избиение и гибель еврея. Оппоненты посчитали ее очень натуралистической и могущей вызвать неприятные воспоминания у зрителей, видевших киевские и другие погромы. Во время репетиции к таким зрителям дважды вызывали «скорую помощь».

После постановки «Дней Турбиных» во МХАТе Булгаков перешел в своего рода наступление на власть – попросил ходатайства народного комиссара просвещения А. В. Луначарского «о возвращении “Дневника”, не предполагающегося для печати, содержащего многочисленные лично мне необходимые и интересные заметки» (30 сентября 1926 г.).

А. В. Луначарский отправил заявление Булгакова в ОГПУ с резолюцией «ОГПУ. т. Ягоде». В ОГПУ на заявлении Булгакова уже появилась своя резолюция: «Т. Гендину. Посмотрите его дневники, заметки, имеющие личный характер можно возвратить. Рутковский 13. *IX* .26 года». Но последнее слово оставалось за наркомом Ягодой. Он не спешил возвращать дневники, необходимые для работы писателю Булгакову – автору повести «Собачье сердце».

«В разгаре лето, – вздыхала Любовь Евгеньевна, – а куда ехать – неизвестно. Хорошо бы уехать на бархатный сезон!» Михаил Афанасьевич подумал, что женат теперь на даме, которую надо непременно вывозить на лето, и не просто на курорт, а туда, где отдыхает светское общество. И он сейчас мог себе это позволить. С каждого спектакля во МХАТе он теперь получал большие авторские отчисления – 180 рублей. В студии им. Вахтангова спешно готовилась к постановке «Зойкина квартира», Камерный театр анонсировал его «Багровый остров». С учетом этого «Моск. общество драм. писателей» выдало ему громадный безвозвратный аванс.

Алексей Толстой сравнил его пьесу с «Вишневым садом» Чехова… Люба торжествовала. Решила записаться в автошколу, хотя в Москве еще не было частных автомобилей. В воскресенье поехала на скачки. Играла на тотализаторе. Проиграла. Ничего, пусть развлечется. Когда есть деньги, не жалко. Вдруг он вспомнил, как тратил последний рубль, чтобы прокатиться с Тасей на лихаче. Как живет она? – возник в голове вопрос. – Надо бы ей принести билет на «Дни Турбиных», сама не достанет, а барышники берут тройную цену. Вспомнил об этом еще раз, когда зашел к Тасе с женой генерала Гаврилова, у которых они с Тасей

жили когда-то… Зашел как раз после спектакля. Посетовал на себя, что не захватил Тасе даже контрамарку. Но она, узнав о том, что они с Гавриловой были в театре, и о том, какой успех имел спектакль, мило улыбнулась. Напоила их чаем.

«Спасибо, Таська!» – уходя, как бывало прежде, поблагодарил он бывшую жену.

– Не за что, – спокойно ответила она, а у него вдруг неизвестно почему сильно кольнуло сердце, от чего он изменился в лице, но, к счастью, Тася быстро закрыла за ними дверь и не увидела этого. Ему показалось, что она закрыла дверь в их прежнюю жизнь, захлопнула навсегда, а ведь эта жизнь была…

Глава тринадцатая Крымские каникулы

«Когда сдают нервы, улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвае сесть нельзя – почему так мало трамваев?.. На службе придираются: секретарь – примазавшаяся личность в треснувшем пенсне – невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха содержать секретарский лик! Сослуживцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах. Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы, и мало того что разворотило двор, но еще требует денег. На общие собрания идти не хочется… Там обязательно кто-то ругнет Булгакова, и так, что спина начинает чувствовать холод стенки, к которой ты приставлен». Комсомольский поэт А. Безыменский в своем «Открытом письме» недвусмысленно говорит о Турбиных: «…Этих людей, благородных и негодяев, мы… расстреливали. Мы расстреливали их на фронтах и здесь могучей рукой ВЧК и руководимой нашим замечательным Феликсом…» Холод по коже. Хочется отогреться. «Быстрей на юг. И забыть список “врагов по Турбиным”», который ты собственноручно составлял («чтобы знали»). Наверное, список готовился для потомков.

Не должны кануть в небытие имена злодеев, ломавших и сокращавших жизнь гения. Вот они: Авербах, Киршон, Пинель, Раскольников Ф. Ф., Кольцов М., Фурер, Сутырин, Пельше, Блюм В. И., Лиров, Горбачев, Орлинский, Придорогин А., Ян Стен, Нусинов, Якубовский, Загорский М., Каплун Б., Рокотов Т., Маллори Д., Кут Я., Алперс Б., Влад Зархин, Вакс Б., Масленников Н., Попов, Дубовский, Гроссман-Рощин, Литовский О., Безыменский, Бачелис… «Целая свора хищников, выбравших себе довольно хилую жертву, обессиленную, но умело и упорно водящую пером и рушащую их подхалимско-просоветскую литературу. Одни из них лают как собаки, другие воют волками, третьи шипят как змеи… Фу, какая пакость! Не только их видеть, даже вспоминать противно. Отводишь взгляд на любезную и милую Любовь Евгеньевну в надежде порадоваться душою, но упираешься в ее тоскливый взгляд. Лето. В Москве душно. И противно. В любое время может раздаться стук пришедших с очередным обыском. Могут, и по нескольку раз в день, позвонить по телефону из театра и потребовать переделать ту или иную сцену или вообще перелопатить всю пьесу, иначе – бросить боксерским ударом на кровать, где ты будешь приходить

в себя несколько часов, после чего поползешь к столу переделывать, переписывать… Жаль пьесы… И жить на что-то надо. Взгляд любезной и милой Любови Евгеньевны из тоскливого переходит в хмурый, недовольный. Ее понять можно. Навидалась турецких и французских пляжей. Ее разморившееся от духоты тело рвется из халатика, еле доходящего до колен, в прохладные воды, если не средиземноморские, то хотя бы черноморские. Она говорит, что безумно хороша после загара на юге. И ей нельзя не верить. Она и сейчас прелестна. Но душа ее требует совершенства. А его – отдыха. Все опротивело. Даже пиво, которое в Москве не охлаждают. Пить в жару теплое пиво – не радость, а сущее наказание. Словом, когда человек в Москве начинает лезть на сцену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был – бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым… В какое именно место Крыма?

– Натурально, в Коктебель, – не задумываясь ответил приятель. – Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни, карагач, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух.

– Я еду в Коктебель, – сказал я второму приятелю.

– Я знаю, что вы человек недалекий, – ответил тот, закуривая мою папиросу, – от ветру сдохнете… Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд!

Ушел я от него.

– Я в Коктебель хочу ехать, – неуверенно сказал я третьему и прибавил: – Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

– Счастливец! Море, солнце, воздух…

– Знаю. Только вот ветер зунд.

– Кто сказал?

– Каташохин.

– Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд – такого и ветра нет.

– Ну хорошо.

Дама сказала:

– Дует, но только в августе. Июль прелесть.

– А, черт вас всех возьми!

– Никого ты не слушай, – сказала Любовь Евгеньевна, – ты издергался, тебе нужен отдых…

– Издергали, – заметил Булгаков, – и ты устала, напереживалась…

– Я во сне вижу море, – мечтательно произнесла Любовь Евгеньевна, – теплое, как вода в кране, только не сероватая, а темно-синяя, бодрящая, я поднимаю ворох брызг!

– Это зачем?

– Чтобы все увидели, что я приехала!

– И без этого заметят.

– Конечно. У меня сохранился французский желтый купальник. С открытой спиной! Я вообще люблю желтый цвет!

– Цвет измены?

– О чем ты, Мака? В России почему-то не красят вещи в этот цвет.

– Краски такой нет.

– Вот и хорошо. Я буду не как все – кумачово-оранжевые.

– Отлично, – решил Булгаков. Он готов ехать именно в Коктебель, потому что там в своем Доме поэта приезжий из России и ставший аборигеном Макс Волошин безвозмездно предоставляет писателям номера. К Булгакову у него интерес особый. Издатель Ангарский познакомил Волошина с первой частью романа «Белая гвардия». Он делится с Ангарским своими впечатлениями о прочитанном:

«…Эта вещь представляется мне крупной и оригинальной, как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого… Мне бы хотелось познакомиться лично с М. Булгаковым… Передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель».

Обрадованный редкой для него похвалой от маститого поэта, возможностью отдохнуть с единомышленником, вдали от врагов, Булгаков с радостью соглашается приехать в Коктебель.

Он писал Волошину 10 мая 1925 года:

«Многоуважаемый Максимилиан Александрович, Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам. Не откажите черкнуть мне, могу ли я с женой у Вас на даче получить отдельную комнату в июле – августе… Примите привет». 28 мая получает ответ: «Дорогой Михаил Афанасьевич, буду очень рад видеть Вас в Коктебеле…

Комната отдельная будет. Очень прошу Вас привезти с собой все вами написанное (напечатанное и ненапечатанное)».

Итак, поездка согласована. Но неожиданно расстраивается жена, читая путеводитель по Крыму, где о Коктебеле буквально сообщается такое: «Причиной отсутствия зелени является “Крымский сирокко”, который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных

больных…» В этом месте Любовь Евгеньевна откровенно расплакалась. Булгаков взял из ее рук путеводитель: «… Отсутствие воды – трагедия курорта, колодезная вода соленая, с резким запахом моря». Булгаков в недоумении.

– Перестань, детка, ты испортишь себе глаза, – говорит он жене.

Но Булгаков не хочет обманывать ни себя, ни ее и читает вслух: «К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобство сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного режима…»

– Довольно! – нервно и резко сказала жена. Дверь открылась.

– Вам письмо. В письме было: «Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.».

10 июня 1925 года Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна погрузились в крымский поезд. До вокзала доехали более-менее благополучно: «Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, подарок Волошину, купленный в магазине “Мюр и Мерилиз”, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я закрыть комнату…»

И вот Булгаковы видят полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем давно погасшим вулканом Карадаг, с другой стороны – невысокими холмами, переходящими в мыс. В бухте – курорт Коктебель. Замечательный пляж… «Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы. На раскаленном песке в теле рассасывается гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные… Сюда нельзя ехать неврастеникам. Ветер раздражает их».

Не обошел этот «зунд» и Булгакова, и он потом писал, что Коктебель все-таки «противненький», а Карадаг сердитый и черный. Но он рад, что здесь счастлива Люба, собирает камни, нашла небольшой камень с изображением профиля мужа. Дивится искусству природы и прячет камень в сумочку. Она загорала голой, впитывая всем телом солнце и воздух. Выглядела прекрасно. С утра укладывалась на песчаном пляже среди обожженных и обветренных мужских и женских тел, читала мужу стихи Волошина:

«Старинным золотом и желчью напитал вечерний свет холмы. Зардели, красны, буры, клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры в огне кустарники, и воды, как металл…»

– Талантливый поэт! – восторгалась Люба.

– Безусловно, – вздыхал Булгаков, – но испугавшийся.

– Кого? – вскинула брови Люба. Михаил хотел сказать, что советской власти, но не решился испортить настроение жене. К тому же неудобно плохо отзываться о человеке, пригласившем их сюда. Пусть Коктебель и его обитатели видятся Любе только в розовом цвете, по смыслу – в ее любимом, желтом. Сам он читал воспоминания Бунина о Волошине. Великий мастер прозы, признавая несомненный талант поэта, глубину мышления, писал, что Волошин после революции «прогнулся» под большевиками, заискивал перед ними, спас от суда предателя Белого движения генерала Маркса, для чего добрался до самого Деникина. И главное – по существу, отрекся от того, что описал: «…был у него другой большой грех, – замечал Бунин. – Слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции». А ведь еще совсем недавно писал страстные стихи о трагедии захвата Крыма венгерскими коммунистами Бела Куна: «Всем нам стоять на последней черте, всем нам валяться на вшивой подстилке, всем быть распластанным с пулей в затылке и со штыком в животе».

Булгаков отложил листок с этими крамольными по тем временам стихами, подаренными ему Волошиным, и прикрыл его камешком, чтобы не унес ветер. На другой стороне листка были другие стихи: «Дверь отперта. Переступи порог. Мой дом открыт навстречу всех дорог». Может, и занялся в Коктебеле Максимилиан Александрович благотворительностью для писателей, чтобы остаться в памяти потомков приличным и добрым. Истинно влюблен в Коктебель. И в душе все-таки остался честным и понимающим происходящее человеком, если ему очень понравилась «Белая гвардия», если просил привезти и показать ему ненапечатанное. Не хочется ему быть распластанным с пулей в затылке да еще со штыком в животе. Булгакова передернуло от этих мыслей: «А кому хочется? Но писать только на потребу властям, проявлять свои способности в описании коктебельских красот – не лучший выбор для такого поэта, каким был Волошин. Был… Жаль, что был. Но осуждать его даже рука не поднимется. Ведь Бунин тоже жалел Волошина, терпевшего большую нужду в деньгах, предупреждал его: “Не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера…” Все-таки побежал. И на другой день в “Известиях”: “К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам…” Теперь об этом забыли, и слава богу. Нельзя от каждого человека требовать подвижнической жизни. Не каждый в силах стать в ней победителем… Волошин любит поесть… Много ходит… По горам… вдоль моря… Набирает аппетит и вес. Полиартрит

мучает. Говорят, что забил вены ног холестерином, в больших количествах поедая шкварки из дельфиньего жира. Кстати, питание в доме поэта весьма сносное. И зря группа отдыхающих во главе с артисткой Малого театра Бутковой обвиняет его и жену в принудительных поборах, называет “благочестивыми чертями”. Нужны деньги на одежду, на ремонт и расширение дома, на краски для акварелей… Неплохо рисует. Мягкие, нежные тона. Нет, он явно незлой и нековарный человек. Люба в восхищении от него. Бродит с ним по горам и долинам. Окрепла. Похудела малость и стала безумно обворожительной, манящей. Женщины косятся на нее, видимо, завидуют ее женской красоте и темпераменту. Стенки келий в доме тонкие, все слышно, особенно ночью. Надо вести себя потише».

– Мака, пойдем погуляем по бережку! – прервал его мысли голос Любы. Отказаться невозможно. Они медленно шагали по прибрежной полосе, и Михаил Афанасьевич невольно выправил плечи, даже немного выпятил грудь, чтобы внешне хотя бы в какой-то мере соответствовать загорелой и помолодевшей жене.

– Я удивляюсь, что тебе здесь все нравится, – заметил Булгаков, – после Ниццы?

– Не все, – ответила Люба, – просто я знала правду о Коктебеле. Волошин не скрывал: «Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придется “ко двору”, становится полноправным членом. Для этого же требуется: радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни». Кстати, тебя просили написать сценарий капустника на местные темы. Внеси свою долю, – улыбнулась Люба.

– Напишу, – кивнул головой Михаил, – только я не понимаю, как можно по заказу иметь «радостное приятие жизни». Для этого как минимум жизнь должна быть радостной.

– Тебе плохо здесь? – грустно спросила Люба.

– С чего ты взяла?! – возразил Михаил. Им обоим весьма не нравился Коктебель, но они скрывали это друг от друга, чтобы не портить себе настроение. Однажды он искренне радовался, шутил, хохотал… Жена Волошина выдала им сачки для ловли бабочек. Любовь Евгеньевна вспоминала:

«Вот мы взбираемся на ближайшие холмы – и начинается потеха. М. А. загорел розовым загаром светлых блондинов. Глаза его кажутся особенно голубыми от яркого света и от голубой шапочки.

Он кричит:

– Держи! Лови! Летит “сатир”!

Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве

скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает М. А. в другую сторону. Мы оба хохочем. А “сатиры” беззаботно порхают вокруг нас».

Вечером Булгаков не пошел на вечернюю прогулку, лицо его было задумчиво. Вспомнилась юность, когда он серьезно увлекался ловлей бабочек и большую коллекцию их подарил университету. Отчего грустно на душе? Ему показалось, что тогда он был счастливее, чем сейчас. Рядом была Тася. Она ловко накрывала бабочек сачком и громко смеялась. Где она сейчас? Как живет? Смеется ли так же громко, весела ли, как тогда на даче в Буче? После ужина у него была назначена встреча с Волошиным, он собирался читать ему еще не напечатанное, наметки нового романа. То ли Максимилиан Александрович в этот день особенно устал, то ли чувствовал себя неважно, но, пытаясь вникнуть в суть содержания, он… задремал. Заметив это, Булгаков тихо вышел из комнаты. Хлопнул дверью, надеясь, что Волошин проснется, но тот даже не пошевелился. Булгаков не обиделся на него. В наметках пока не проглядывал сюжет, который он и сам еще недостаточно точно определил. Поэтому следить за ходом его мыслей было трудно, тем более поэту. Дома его ждала оживленная Люба.

– Ты знаешь, Мака, я только сейчас догадалась, на что похожа застывшая лава в кратере Карадага. Ведь это же химеры парижского Нотр-Дам! Как сладко тянет в эту живописную бездну!

– Не стой у края кратера, – деловито заметил Михаил, – так начинается головокружение. Я не хочу оставаться один.

– Здесь столько прелестных женщин, – кокетливо вымолвила Люба, – один не останешься.

– Я часто бываю один даже в окружении людей, – сказал Михаил, – особенно когда сталкиваюсь с непониманием и злобой. Ты меня понимаешь… Любинька, – подсел он к жене и положил руку на ее плечо, – понимаешь и иногда даже чувствуешь. Я люблю тебя, Любаша.

– Только за это? – загадочно произнесла жена.

– Не только, – таинственно улыбнулся Булгаков. – Покрепче закрой дверь!

Уже тогда гостья Волошина, известная художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева, взялась писать акварельный портрет Булгакова. Он позировал ей в сорочке с голубой оторочкой, на которой были нашиты коктебельские камешки. Любе понравились уже первые эскизы, но Анна Петровна не любила, когда во время работы у нее стоят за спиной. Пришлось уйти. Увидев готовый портрет, Люба удивилась – она никогда не

видела Михаила таким. На фоне голубого неба с прозрачными облаками он, голубоглазый, с наивным, добрым лицом, оттаявший от холода московских литературных баталий, казался ей божественным землянином.

– Личность неординарная, – заметила Анна Петровна, – вроде получилось.

Миша хотел бы иметь портрет у себя, но даже не заикнулся об этом – кончились деньги. Зато Волошин прислал ему в подарок несколько своих акварелей. На голубятне возникла дама в большой черной шляпе, украшенной коктебельскими камнями. Они своей тяжестью клонили ее голову то вправо, то влево, но она держалась молодцом, сохраняя равновесие. Булгаковы сразу поняли, что она посланница Волошина. Привезла его акварели, на одной из которых бисерным почерком Волошина было написано: «Первому, кто запечатлел русскую усобицу». Михаил дважды перечитал посвящение, сочетавшее и мастерское словосложение автора, и похвалу смелости Булгакова, который одним из первых живущих в России писателей правдиво отразил тему Гражданской войны.

– Как сказано здорово: «запечатлел усобицу», – обратил Михаил внимание Любы на посвящение, – пропадает в Коктебеле великий поэт.

– Почему пропадает? Круглый год на воздухе, у моря. К нему приезжают друзья. Он не скучает. Устраивает капустники, регулярные конкурсы на лучшее стихотворение, чтения, живет как ему хочется, – сказала Люба.

– Не как хочется, а как позволяют условия, – уточнил Михаил, словно предрекая грядущую беду Волошина: через несколько лет его фамилию местные колхозные власти внесут в список подлежащих раскулачиванию коктебельцев как владельца двадцати шести комнат. И назначат день высылки в Сибирь.

Беду отведут друзья из Москвы, возможно, сам Горький, однажды заехавший к Волошину в гости и «льстиво им принятый». А затем его жена, Мария Степановна, в прошлом фельдшерица, ухаживавшая за больной матерью Макса и оставшаяся жить у него после ее смерти, будет до боли в сердце переживать репрессивную высылку из поселка сначала болгар, а потом и татар – жуткое измывательство над людьми, с которыми она сроднилась как с добрыми и трудолюбивыми соседями.

С Любой Мария Степановна разговаривала мало, и только по хозяйственным делам. Она завидовала женщинам, живущим с мужьями не только как с друзьями.

Иногда Люба чувствовала, что обитатели Дома поэта, за редким исключением, относятся к ней в лучшем случае

безразлично. Вероятно потому, что считали ее писательской женой – нахлебницей, а зря, она помогала Мише в работе, без ее рассказов об эмиграции он вряд ли бы создал «Бег». В женском обществе волошинцев выделялась художница Наталья Алексеевна Габричевская: броская внешность, кожа гладкая, цвет лица прекрасный, глаза большие, брови выписанные. Умная, общительная женщина. На голове яркая повязка. Любила напевать под гитару пикантные песенки. Из комнаты Габричевских часто раздавался смех многочисленных гостей. К Любе относилась с легким презрением – видимо, потому, что была знакома с первой женой Булгакова или что-то важное знала о ней. Люба не раз осторожно и издалека заводила разговор на эту тему, но Миша избегал его, прекращая в самом начале. Он любил гулять с женой, но беспрепятственно отпускал ее в походы с Волошиным. Оставался в комнате, если давил зной, или шел к морю, гулял по поселку. Считал, что Коктебель из крымских курортов «самый простенький», то есть в нем сравнительно мало нэпманов, хотя они все-таки были. На стене оставшегося от довоенного времени поэтического кафе «Бубны», к счастью закрытого и наполовину превращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись: «Нормальный дачник – друг природы. Стыдитесь, голые уроды!»

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе, при галстуке, пиджаке и брюках с отворотами.

В радости по поводу разрушенного частного кафе сказывалась нелюбовь Булгакова к нэпманам, разбогатевшим неучам и примитивным, но ловким людям. Не таким был бывший владелец кафе «Бубны» грек Синопли. Обаятельный, располагающий к себе человек, он открыл недорогое и, главное, по-настоящему поэтическое кафе, очаг культуры, где по вечерам сдвигались столы, за которыми обитатели Дома поэта беседовали и пили чудесный кофе по-турецки или под виноград медленно тянули из бокалов легкое крымское вино. После беседы и вина читали свои стихи. Здесь звучал наивный голос молодой Марины Цветаевой, влюбленной в бывшего царского офицера Эфрона. Стены кафе расписал блестящий художник Лентулов, талантливый и ироничный мастер. Помогал ему художник Беликов. Подписи к рисункам придумывали посетители кафе: «Стой! Здесь Алексей Толстой!»

Булгаков не знал историю кафе, а она по крайней мере забавна. В 1919 году в бухте бросил якорь французский эсминец – корабль союзнических войск, воевавших с Германией. Несколько красногвардейцев стали палить по нему из ружей. Тогда на эсминце развернули в сторону берега пушку и пальнули из нее по

стрелявшим. В красногвардейцев не попали, но наполовину снесли кафе «Бубны», восстановить которое Синопли был не в состоянии. В оставшемся целым закутке он организовал питейное заведение. Хозяина обложили большим налогом, объявили нэпманом, ему грозил арест, и он вместе с семьей исчез из Коктебеля. Сейчас местный бизнесмен и историк Борис Яремко построил кафе «Бубны» на новом месте, развесил на его стенах уникальные фотоснимки старого Коктебеля, активно занялся просветительной работой по истории курорта.

Вот в наши дни, когда на набережной Коктебеля не стало видно моря из-за сплошного ряда кафе и ресторанов, когда взметнулись вверх громады гостиниц «новых русских» и «украинцев», спускающих пищевые отходы в море, когда горы мусора возникли на пляжах и Борис Яремко за свой счет каждую весну убирает их, чтобы пляжи хотя бы весной были чистыми, – сейчас для острого пера Булгакова негативных материалов о Коктебеле хватило бы на целую повесть, к примеру на «Дьяволиаду-2».

А в 1925 году на террасе Дома поэта Волошина познакомились Михаил Александрович Булгаков и Александр Степанович Грин (Гриневский). По воспоминаниям Любови Евгеньевны Белозерской, как-то в Коктебеле, предварительно согласовав день встречи, появился «бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, в белой фуражке, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были веселые, темные, похожие на глаза Маяковского, да и тяжелыми чертами лица напоминал он поэта. С ним пришла очень привлекательная, вальяжная, русая женщина в светлом кружевном шарфе. Разговор, насколько я помню, не очень-то клеился».

Возможно, это ей казалось, так как Булгакову и Грину, писателям редкого таланта и нелегкой судьбы, не надо было объяснять друг другу, что происходит в стране с ними – правдивыми художниками. И Грин и Булгаков выглядели хмурыми, неулыбчивыми. «Я с любопытством разглядывала загорелого “капитана”, – продолжала воспоминания Белозерская, – разглядывала и думала: вот истинно нет пророка в своем отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далеких фантастических стран. Явление вообще в нашей “оседлой” литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было. Мы пошли проводить эту пару. Они уходили рано, так как шли до Феодосии пешком. На прощание Александр Степанович пригласил нас к себе в гости.

– Мы вас вкусными пирогами угостим!

И вальяжная (жена Грина – Нина Николаевна) подтвердила:

– Обязательно угостим!

Но так мы и уехали, не повидав вторично Грина (о чем я жалею до сих пор)».

Сетование Любови Евгеньевны основательно. Грина не печатали, поскольку его произведения не отражали «победную поступь Страны Советов». Они с женой были вынуждены переехать из Феодосии в Старый Крым, в хибарку с земляным полом. В основном питались репой. Погибая от голода и рака желудка, Александр Степанович отправил в Москву, в Союз писателей, телеграмму: «Умер писатель Грин. Вышлите деньги на похороны». Через две недели после этого он умер, но деньги не прислали и потом. Сейчас для туристов на месте хибарки выстроен солидный особняк. Могила писателя покрыта кафелем. Лживая память о бедном, несчастном писателе, счастливом лишь в своем мужественном творчестве.

«Яд волошинской любви к Коктебелю постепенно начал отравлять меня, – признавалась Любовь Евгеньевна, – я уже находила прелесть в рыжих холмах и с удовольствием слушала стихи Макса:

…Моей мечтой с тех пор напоены Предгорий героические сны И Коктебеля каменная грива; Его полынь хмельна моей тоской, Мой стих плывет в волнах его прилива, И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой».

«Но М. А. оставался непоколебимо стойким в своем нерасположении к Крыму… И все-таки за восемь лет совместной жизни мы три раза ездили в Крым: в Коктебель, Мисхор и Судак, заглядывали в Алупку, Феодосию, Ялту, Севастополь… Дни летели, и надо было уезжать. Маленький корабль качало. Я пошла проведать своего “морского волка”.

– Макочка, – сказала я ласково, опираясь на его плечо, – смотри! Смотри! Мы проезжаем Карадаг!

Он повернул ко мне несчастное лицо и произнес каким-то утробным голосом:

– Не облокачивайся, а то меня тошнит».

Эта фраза в другом варианте впоследствии перешла в уста Лариосика в «Днях Турбиных»: «Не целуйтесь, а то меня тошнит».

Нервная система Михаила Афанасьевича была к тому времени уже настолько расстроена, что Крым лишь подправил его здоровье, но не вылечил. Тем не менее 10 июля 1925 года Любовь Евгеньевна посылает Волошиным благодарственное письмо: «Дорогие Марья Степановна и Максимилиан Александрович, шлем Вам самый сердечный привет. Мы сделали великолепную

прогулку на пароходе, без особых приключений. Качало несильно. В Ялте прожили сутки и ходили в дом Чехова. До Севастополя ехали автомобилем. Мне очень не хочется принимать городской вид. С большим теплом вспоминаю Коктебель. Всем поклон…» Михаил сделал краткую приписку: «На станциях паршиво. Всем мой привет». Мыслями он уже был в Москве, готовый к борьбе за свою литературу, которая была его жизнью.

Глава четырнадцатая Травля продолжается

Один из первых злобных уколов Булгаков получил от писателя Виктора Шкловского, написавшего в книге «Гамбургский счет»: «В Гамбурге – Булгаков у ковра». Это означало, что публику, ведя представление, развлекал клоун. Читая эти строчки, Булгаков вздрогнул и побледнел. Еще несколько дней назад Шкловский обращался к нему за врачебной консультацией. Нервировала бесконечная переделка «Дней Турбиных», и Булгаков соглашался с поправками режиссера. Жаль было хоронить пьесу, имевшую шумный успех у зрителей. Произошел такой случай: шло третье действие. Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. Елена с Лариосиком ждут развития событий. И вдруг слабый стук в дверь. Оба прислушиваются. Неожиданно из зала раздается взволнованный женский голос: «Да открывайте же! Это свои!» Как обрадовался Булгаков, когда ему рассказали об этом случае слияния театра с жизнью, о чем автор и режиссер могли только мечтать.

Иногда он искал повода отвлечься от тревожных мыслей. Принял участие в спиритическом сеансе. Люба слышала разговор двух участников сеанса:

– Зачем же вы, Петька, черт собачий, редиску на стол кидали?

– Да я что под руку попалось, Мака, – оправдывался тот.

Булгаков прятал под пиджак согнутый на конце прут и им в темноте гладил головы сидящих рядом, наводя на них ужас. Позже сказал Любе:

– Если бы у меня были черные перчатки, я бы всех вас с ума свел!

Все это происходило на Малом Левшинском, 4, куда переехали Булгаковы. Здесь Булгаков писал пьесу «Багровый остров». Это было уже в 1927 году. Любовь Евгеньевна вспоминала: «Подвернув под себя ногу калачиком (по семейной привычке), зажегши свечи, пишет чаще всего Булгаков по ночам. А днем иногда читает куски из “Багрового острова” или повторяет полюбившуюся ему фразу: “Ужас, ужас, ужас, ужас”». На фоне борьбы белых арапов и красных туземцев проглядывались судьба молодого писателя и его творческая зависимость от зловещего старика-цензора Саввы Лукича. В эпилоге зловещий Савва обращается к автору:

– В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу… Нельзя все-таки… Пьеска – и вдруг всюду разрешена.

«Багровый остров» поставил в Камерном театре А. Я. Таиров в 1928 году. Пьеса шла на аншлагах, но скоро была снята. Оставались «Зойкина квартира» и «Турбины». Против «Турбиных» буквально ополчились враги и завистники Булгакова. Критик Садко в статье «Начало конца МХАТ» выступил с протестом против возобновления пьесы в театре, называя Булгакова «пророком и апостолом российской обывательщины», а саму пьесу «подлейшей из пьес десятилетия». Грубая критика тяжело ранила писателя и его жену.

Любовь Евгеньевна возмущалась: «Даже тонкий эрудит Луначарский не удержался, чтобы не лягнуть писателя, написав, что в пьесе “Дни Турбиных” – атмосфера собачьей свадьбы. Михаил Афанасьевич мудро и сдержанно (пока!) относится ко всем этим выпадам». Любовь Евгеньевна отмечала: «Никаких писателей у нас в Левшинском переулке не помню, кроме Катаева, который пришел раз за котенком. Больше он никогда у нас не бывал ни в Левшинском, ни на Б. Пироговской. Когда-то они с М. А. дружили, но жизнь развела их в разные стороны».

К травле Булгакова присоединились заметные литераторы: Г. Рыклин, А. Жаров, Вс. Вишневский, Д’Актиль, Арк. Бухов (А. Братский), А. Орлинский, Арго, В. Шкловский, Билль-Белоцерковский, Ермилов, А. Фадеев и многие другие.

В учреждениях политического сыска стали появляться информативные сводки о Булгакове и его пьесе, поставляемые писателями-осведомителями. Вот некоторые из них: «Что представляет Булгаков из себя? Да типичнейшего российского интеллигента, рыхлого, мечтательного и, конечно, в глубине души “оппозиционного”, и пьеса Булгакова никчемна с идеологической стороны. “Дни Турбиных” смело можно назвать апологией белогвардейцев».

18 ноября 1926 года Булгаков вновь был вызван на допрос в ОГПУ к следователю Рутковскому – начальнику 5-го отделения Секретного отдела. Материалы этого допроса до сих пор не рассекречены. 13 января 1927 года осведомитель сообщал начальству, что Булгаков все-таки, несмотря на запрещение, рассказывал о допросе на Лубянке писателю В. В. Вересаеву-Смидовичу, что во время допроса ему казалось, будто сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. Ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то будет выслан из Москвы. «Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мною идут».

Допросы на Лубянке ошеломили и оскорбили писателя и позже послужили творческой лабораторией для описания в романе «Мастер и Маргарита» сцены допроса Пилатом Иисуса.

Михаил Афанасьевич не рассказывал Любови Евгеньевне о последнем допросе на Лубянке, боясь испугать ее и даже потерять. Пойдет ли она за ним на край света в случае его высылки? Тася пошла бы…

Вопрос о Булгакове и его произведениях перешел в политическую плоскость и рассматривался в самых высших инстанциях.

27 сентября 1926 года следует почтотелеграмма А. В. Луначарского А. И. Рыкову о запрещении ГПУ пьесы М. А. Булгакова «Дни Турбиных»:

«На заседании Наркомпроса с участием Реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова только одному Художественному театру и только на этот сезон. В субботу вечером ГПУ известило Наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции либо подтвердить решение коллегии Наркомпроса, ставшее уже известным».

Через три дня в ответ на почтотелеграмму выходит постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных»:

«…а) Не менять постановление Наркомпроса о пьесе Булгакова;

б) Поручить т. Луначарскому установить лиц, виновных в опубликовании сообщения о постановке этой пьесы, и подвергнуть их взысканию».

Нарком просвещения провел расследование и установил, что «Политбюро вздумало изучить текст пьесы тогда, когда Наркомпрос уже дал добро 24 сентября и афиши напечатали по закону».

К счастью, Михаил Афанасьевич не знал об этой полемике, угрожающей его творчеству, и о том, что благодаря нерасторопности Политбюро его пьеса получила еще год жизни.

В начале 1927 года ОГПУ сообщило Политбюро о готовящемся шествии писателей к памятнику Н. В. Гоголя в Москве. И 3 марта 1927 года вышло постановление по «обеспечению нашего влияния в руководящем ядре организуемого писателями шествия и выступления наших ораторов». Писатели, настроенные оппозиционно к действиям большевистской партии, решили использовать митинг у памятника великому сатирику как протест против фактического запрещения сатирической и вообще правдивой литературы об истинном положении дел в стране.

Небольшая группа писателей, в числе которых были Булгаков и Белозерская, собрались у подножия памятника. Каждый третий писатель – осведомитель ГПУ. Булгаков сразу заметил среди них

почти всех своих хулителей. Они задали тон выступлениям, говорили о таланте писателя, бичевавшего порядки царской России, с которыми покончено ныне. Мандельштам пытался доказать, что творчество Гоголя современно и не случайно Николай Васильевич, опустив голову, грустно глядит с подножия памятника на нас с вами, не сумевших пока освободиться от тяжкого наследия прошлого. Булгаков рвался выступить. Глаза его горели. Он уже защищал Гоголя от нападок революционных и безграмотных поэтов во Владикавказе. Гоголь – его любимый писатель, его учитель.

– Стой! – удерживала мужа Любовь Евгеньевна. – Не зли волков!

– «Не зли»? – нервно произнес Булгаков. – Дать им жиреть? Свободно плодиться? Пить нашу кровь? Безнаказанно?!

– Не будешь же ты стрелять по ним из винтовки? – ухмыльнулась жена. – Всех не перестреляешь. Да и винтовки у тебя нету!

– Нету, – согласился Булгаков. Любовь Евгеньевна держала его за рукав, боясь, что он выскочит к памятнику и наговорит такое, после чего его пьесу запретят немедленно. Булгаков догадывался о мыслях жены. – Винтовки у меня нету. И я против физического уничтожения людей, даже подлецов из подлецов. Бог их не трогает. Накажет сатана! – зло, сквозь зубы процедил Булгаков. – Ну не сатана, так дьявол. Почистит ряды в своей семейке. Ведь они своим зверским поведением дискредитируют даже его. У меня есть перо и бумага… – задумчиво произнес Булгаков. – Ведь есть, Любаша?

– Есть, – растерянно ответила она, догадываясь о том, что задумал муж. Зря она разрешила ему пойти на это шествие. А может, было бы лучше разрешить ему выступить здесь? Нет, после этого сразу посыпались бы на него доносы в ГПУ. – Пойдем отсюда. – Она дернула его за рукав, и неожиданно для нее он покорно поплелся в сторону дома, подолгу стоял у светофора, пропуская его мигание, о чем-то напряженно думал. Вернувшись домой, бросился к письменному столу, достал из ящичка бумагу. Любовь Евгеньевна, воспользовавшись удобным моментом, успела просмотреть первую страничку написанного:

…

«Похождения Чичикова
Пролог
Диковинный сон… Будто бы в

царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью “Мертвые души”, шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе, на больших медведях. Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья…

А самым последним тронулся он – Павел Иванович Чичиков – в своей знаменитой бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь…

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

– Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию, да так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнают, что я Чичиков, натурально, в два счета выкинут, к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни Бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне…»

Любовь Евгеньевна приятно улыбалась, видя, что муж прислушался к ней, ведет себя осторожнее, привлек на свою сторону Лубянку: мол, и она карает таких, как Чичиков. Читала дальше:

…

«И, размышляя таким образом, въехал в ворота той гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже не мечтал».

Раздались шаги Михаила. Любовь Евгеньевна отошла от стола.

– Прочитала? – догадался он.

– Только начало. Интересно задумано. А чем кончится?

– Исполнением моей мечты, – улыбнулся Булгаков, – получу гонорар, и у меня появится собрание сочинений Гоголя в золотообрезном переплете, которое мы недавно продали на толчке. Обрадуюсь я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые, бессонные ночи, до того, что рявкну: «Ура!» И конечно, вскоре мой диковинный сон закончится. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева, и главное – ни Гоголя… э-хе-хе…

Любовь Евгеньевна покраснела:

– Ты упрекаешь меня, что отнесла Гоголя на толчок? У нас не было ни копейки…

– Что ты, Любаша, ни в чем я тебя не виню. Просто Гоголь для меня бесценен, дороже фунта масла… Понимаешь? Даже двух фунтов… Э-хе-хе…

Диковинный сон, только другого, совершенно приятного свойства, привиделся Булгакову наяву. То ли дьявол о несчастном писателе позаботился, то ли еще к тому времени не истребили всех честных и умных людей даже среди ответственных работников. 8 октября 1927 года последовала «Записка члена Оргбюро ЦК ВКП(б), наркома земледелия РСФСР А. П. Смирнова в Политбюро ЦК ВКП(б) о снятии запрета на пьесу “Дни Турбиных”». «Просим изменить решение ПБ по вопросу о постановке Московским Художественным театром пьесы “Дни Турбиных”, разрешенной на один год. Опыт показал, что 1) одна из немногих театральных постановок, дающих возможность выработки молодых художественных сил; во 2) вещь художественно выдержанная, полезная.

Разговоры о какой-то контрреволюционности ее абсолютно

неверны. Разрешение на продолжение постановки в дальнейшем "Дней Турбиных" просим провести опросом членов ПБ. С коммунистическим приветом, А. Смирнов». И как в сказке, ровно через день вышло постановление ПБ о снятии запрета на спектакли «Дни Турбиных» во МХАТе и «Дон Кихот» в Большом театре.

Булгаков был потрясен. Все обиды и огорчения, испытанные им, мгновенно всплыли в его сознании. Он был раздавлен, не мог работать. В Художественном театре появился нескоро, задумав «Театральный роман», где сможет хоть и только по-писательски, но достойно ответить обидчикам и завистникам. 12 октября 1927 года Булгаков записал в дневнике: «Воскресение из мертвых… 13-го пьеса поставлена в репертуар».

Он не знал, что в Париже 20 октября 1927 года в газете «Последние новости» вышла обширная рецензия известнейшего писателя Михаила Осоргина о первом томе романа «Дни Турбиных» («Белая гвардия») с таким резюме: «В условиях российских такую простую и естественную честность приходится отметить как некоторый подвиг».

Михаил Афанасьевич после недолгих раздумий пришел к выводу, что столь стремительная и положительная реакция членов Политбюро на разрешение возобновить пьесу не могла быть без согласия на то Сталина, без настоятельного обращения к нему К. С. Станиславского. Сохранилось благодарственное письмо режиссера наркому К. Е. Ворошилову за спасение пьесы, но все знали, что был тот, кто разрешил продлить жизнь пьесы, которую не без удовольствия смотрел более десятка раз. Однако Булгаков слышал, что Ягода негодует по поводу возобновления пьесы и ждет момента, когда можно будет расправиться с реакционным белогвардейским писателем, и это по его «совету» не прекращается печатный поток разгромных рецензий на «Дни Турбиных». Булгаков собирал эти рецензии в специальный альбом.

Любовь Евгеньевна с удивлением наблюдала, как муж аккуратно вклеивал в альбом вырезанные из газет и журналов пасквили и карикатуры на него.

– Зачем ты тратишь на это время, силы и нервы? – спрашивала она.

– Для истории, – мрачно, но серьезно отвечал Булгаков, – чтобы знали!

– Извини, но мне кажется это излишним, – замечала она. – Сегодня прекрасный день. Солнечно. Ясно. Я поеду на ипподром. Можно?

– Конечно, ты долго не можешь прожить без своих лошадок.

Трагические животные. Особенно на войне. Большие мишени для поражения. У них все как у людей. Почитай «Холстомера» Толстого.

– Читала. Но на скачках, на ипподроме, на выездке они прекрасны. Умные, добрые и грациозные животные.

– Не спорю, – улыбался Булгаков, – ты на лошади выглядишь королевой, не менее, в крайнем случае – принцессой. Уверенно и очень элегантно.

– Знаю, – загадочно сказала жена, тихо закрывая за собою дверь, а Михаил возвращался к своей унылой, но, как он считал, необходимой работе. «Честные люди должны знать своих врагов. И враги должны их бояться. Во все времена».

Рядом с очередной вырезкой он делал краткую запись: «1927 год. Ноябрь. Травля продолжается».

Михаил Афанасьевич аккуратно вклеивал в альбом на отдельной странице портрет Ягоды, ставя, как делал сам руководитель ОГПУ, ударение на букве «о», чтобы не путали со словом «ягода». Может возникнуть вопрос – какая? Найдутся шутники, которые решат, что дикая. Булгаков не оставлял Ягоду в покое, писал ему заявления – видимо ждал, когда он созреет, чтобы вернуть ему дневники. Обращался Булгаков за помощью и к Горькому: «Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его увенчалось успехом и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся. Я прошу ОГПУ дать ход моему заявлению и отдать мне мои дневники». «Дожимает» он ОГПУ лишь в начале 1930 года после своего письма А. И. Рыкову.

В 1930 году по дороге в Одессу, где он собирался продать пьесы местному театру, писал Любови Евгеньевне, которой еще в Москве дал ироническое имя одного известного жокея: «18 августа. Конотоп. Дорогой Томпсон. Еду благополучно и доволен, что увижу Украину. Только голодно в этом поезде зверски. Питаюсь чаем и видами. В купе я один и доволен, что можно писать. Привет домашним, в том числе и котам. Надеюсь, что к моему приезду второго (кота) уже не будет (продай его в рабство). Тиш, тиш, тиш». Такими словами (тиш, тиш, тиш) они успокаивали друг друга, если кто-то из них терял выдержку и переходил в разговоре на высокие тона. Любовь Евгеньевна объясняла его нервозность неудачным прохождением пьес, а на самом деле, помимо того, его уже раздражали и ее беготня на скачки, и сюсюканье с котами, и приемы по вечерам друзей-наездников – все то, что отвлекало его от работы, мешало ему сосредоточиться.

Но он еще любил ее и часто называл ласково: «Любаша, Любинька». Заранее знал, что ради его спокойствия она не

продаст ни одного кота, на его предложение сделать это разразится недовольством, и, чтобы утихомирить жену, переходил в письме на принятый ими в таких случаях код. Любовь Евгеньевна умильно вспоминала: «Котенок Аншлаг был нам подарен хорошим знакомым… Он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку». На обложке рукописной книжки Михаил Афанасьевич был изображен в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет “Багровый остров”. Любовь Евгеньевна не обращала на это особого внимания, а зря. Нервы мужа были напряжены до предела. Политбюро ЦК ВКП(б) 14 января 1929 года постановило образовать комиссию для рассмотрения пьесы М. Булгакова “Бег”. 29 января 1929 года К. Е. Ворошилов передал в Политбюро записку:

«По вопросу о пьесе Булгакова “Бег” сообщаю, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку пьесы в театре».

Ягода был доволен. Вокруг крамольного антисоветского писателя кольцо ОГПУ сужалось. Вот-вот Булгакова отдадут на расправу чекистам. И сам писатель был почти что сломлен. На стол Ягоды ложится копия записки начальника Главискусства РСФСР А. И. Свидерского секретарю ЦК ВКП(б) А. П. Смирнову о встрече с М. А. Булгаковым:

«Я имел продолжительную беседу с М. Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного…»

Глава пятнадцатая Почему не арестовали Булгакова. Второй развод

Некоторые люди, не способные объяснить то или иное явление в нашей стране, часто прибегают к ставшему расхожим изречению поэта Тютчева: «Умом Россию не понять… В Россию можно только верить». Верить можно в то, что в России когда-нибудь образуется гражданское общество и начнут действовать законы. Тогда для понимания событий даже не надо будет слишком напрягаться умственно – стоит только заглянуть в свод законов, и многое станет ясно. А в непонятном разберется суд. В нашей стране, еще не полностью сбросившей с себя путы тоталитарного режима, и до сих пор очень трудно многое понять умом, но тем не менее можно. Нужно поглубже вникнуть в жизнь и обстоятельства, породившие те или иные явления, происшествия, поступки. Многих почитателей Булгакова и даже последователей его творчества удивляет, и на первый взгляд вполне обоснованно, почему честный и яркий писатель Булгаков не был репрессирован, когда каждый шаг его был известен Сталину и ОГПУ, когда десятки его менее одаренных, но правдивых коллег были расстреляны или сосланы в лагеря.

Давайте рассмотрим несколько причин этого действительно странного явления. Трудно предположить, что карательные органы не разобрались в смысле повести «Собачье сердце», подрывающей величие главного завоевания революции – диктатуры пролетариата. Но все-таки, возможно, не добрались до главной сути повести. Слишком тонко и мастерски для их примитивного мышления изложил свою концепцию Булгаков. Проще для их понимания была повесть «Белая гвардия» и созданная на ее основе пьеса «Дни Турбиных». Шквал критики обрушился на нее, масса доносов поступила на эту пьесу и ее автора – апологета белогвардейщины – прямо к вождю страны.

Сталин в письме от 1 февраля 1929 года объяснял свое отношение к произведениям Булгакова его ярому противнику – драматургу В. Н. Билль-Белоцерковскому.

«Пишу с большим опозданием. Но лучше поздно, чем никогда», – начинал Сталин. Он не спешил с ответом, раздумывая, как поступить с Булгаковым. Тень вождя, сидевшего в правительственной ложе МХАТа не раз и не два, пугала артистов, играющих «Дни Турбиных». Их игра была настолько

великолепна – всех вместе и каждого в отдельности, – что спектакль, как рассказывали очевидцы, представлялся концертом, состоящим из блестящих номеров. Безусловно, этот «концерт» очень нравился Сталину, и в душе даже такого матерого и жестокого человека, как Сталин, возникало невольное уважение к артистам, мастерам своего дела. Кроме того, белогвардейское движение было уже ослабленным и путей реставрации его в стране не виделось. Другое дело повесть А. П. Платонова «Впрок», поставившая под сомнение развитие колхозного движения – детища вождя. В мае 1931 года он обратился с запиской в редакцию журнала «Красная новь», напечатавшего повесть: «Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.

P. S. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им “впрок”».

Читая повесть, Сталин на ее полях высказывался об авторе: «Дурак», «Пошляк», «Балаганщик», «Беззубый остряк», «Это не русский, а какой-то тарабарский язык», «Болван», «Подлец», «Мерзавец»… Сталин посадил в лагерь пятнадцатилетнего сына Платонова и выпустил, когда он был уже неизлечимо болен туберкулезом.

В адрес Булгакова Сталин подобных реплик не допускал. Он писал Билль-Белоцерковскому: «Пьеса “Бег” Булгакова… есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белое дело. “Бег” в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки “Бега”, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные причины Гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему “честные” Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что сидели на шее народа…

Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает… Что касается собственно пьесы “Дни Турбиных”, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “если даже такие люди, как Турбины”, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, –

значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь. “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере “не повинен” в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»

Через год на встрече с украинскими писателями Сталин повторил свои мысли о пьесах Булгакова «Дни Турбиных» и «Бег», высказанные в письме к драматургу. По мнению украинских писателей, «Дни Турбиных» искажали ход исторических событий на Украине и, как сказал один из писателей, «…стало почти традицией в русском театре выводить украинцев какими-то дураками и бандитами». Уточнил это мнение писатель А. Десняк:

«Когда я смотрел “Дни Турбиных”, мне прежде всего бросилось в глаза то, что большевизм побеждает этих не потому, что он есть большевизм, а потому, что делает единую великую неделимую Россию… И такой победы лучше не надо».

Это признание Сталину очень не понравилось. Он уже определил свой курс на «единую и неделимую», но в виде СССР. Он прежде не говорил, но именно эту булгаковскую концепцию одобрял в «Днях Турбиных» и «Беге». Возможно, поэтому и защищал Булгакова. Украинцам ответил, выведенный из равновесия проявлением ими местного национализма:

«Я против того, чтобы огульно отрицать все в “Турбиных”, чтобы говорить о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что в ней в основном все же больше плюсов, чем минусов… Булгаков чужой человек, безусловно. Однако своими “Турбиными” он привнес все-таки большую пользу».

Присутствовавший на встрече Каганович, видя, что стороны не приходят к взаимопониманию, предложил: «Товарищи, давайте все-таки с “Днями Турбиных” кончим».

И все-таки вокруг Булгакова создалась напряженная ситуация. Запрещения его пьес требовали от Сталина и московские партийцы, и украинские, и ОГПУ. «Бег» он им уже уступил. Был вынужден. Булгаков знал о том, что Сталин под натиском коммунистов защищал его, но во многом соглашался с ними. И вскоре все его пьесы запретили. На эту ситуацию Булгаков откликнулся в романе «Мастер и Маргарита» в сцене Пилата и Иешуа Га-Ноцри:

«Слушай, Иешуа, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другое – помути разум Каиафы, сейчас. Но только не будет, не будет этого. Раскусил он, что такое теория о симпатичных людях, не разожмет когтей. Ты страшен всем! Всем! И один у тебя враг – во рту он у

тебя – твой язык! Благодари его! А объем моей власти ограничен. Ограничен, ограничен, как все на свете! Ограничен!»

Подразумевая под Пилатом Сталина, Булгаков в какой-то мере был точен в определении тогдашних возможностей вождя. Еще были на свободе люди, которые осмеливались перечить ему, высказывать свое мнение, отличное от его. Были живы Горький, Киров, Орджоникидзе, люди, знавшие, кем был Сталин до революции и при Ленине, знавшие о его параноидальной психике. Власть Сталина еще не стала беспрекословной и всемогущей, но ее вполне хватило бы на то, чтобы избавиться от вредного и занозистого писателя. Может, обстоятельства для этого были не вполне подходящие. В 1925 году покончил самоубийством поэт Сергей Есенин, в 1926 году – известный писатель Андрей Соболь, в июле 1929 года к Сталину пришло отчаянное письмо от Булгакова:

«…Силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР вместе с женою моей Л. Е. Булгаковой, которая к этому прошению присоединяется».

Письмо это находилось у Сталина, когда в 1930 году застрелился Владимир Маяковский. Нехорошо получилось бы, если бы в том же году наложил на себя руки и Булгаков. Ведь имя это уже было известно за границей, и смерть его выглядела бы подозрительной, неестественной. К тому же Сталин, не сомневавшийся в таланте Булгакова, знал, что он бедствует, что ему надо содержать жену, и ждал, что он, доведенный до нищеты и отчаяния, откажется от своих буржуазных воззрений, покается перед ним и, если его попросят, а может, и по своему желанию, напишет пьесу о своем любимом вожде, на которую люди будут ходить не по партийному приказу, а по зову души, как на «Дни Турбиных». Поэтому Сталин не собирался ни убивать Булгакова, ни отпускать за границу. А тот не просил его ни о чем, кроме одного – выпустить за пределы страны, и аргументировал свою просьбу:

«По мере того как я писал, критика стала обращать на меня внимание, и я столкнулся со страшным и знаменательным явлением: нигде и никогда в прессе СССР я не получил ни одного одобрительного отзыва о своих работах… Обо мне писали как о проводнике вредных и ложных идей, как о представителе мещанства, произведения мои получали убийственные и оскорбительные характеристики, слышались непрерывные

призывы к снятию и запрещению моих вещей, звучала даже открытая брань.

Я прошу Правительство СССР обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне выехать с женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным…» (из письма начальнику Главискусства А. И. Свидерскому, 30 июля 1929 года).

В том же письме Булгаков замечает:

«Когда мои произведения какие-то лица стали неизвестными путями увозить за границу и там расхищать, я просил разрешения моей жене одной отправиться за границу – получил отказ… В наступающем сезоне ни одна из моих пьес, в том числе и любимая моя работа “Дни Турбиных”, больше существовать не будет… За моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное…»

Булгаков с горечью и стыдом наблюдал за тем, как жена донашивала заграничные тряпки, штопая, перекраивая и перешивая их. На этой почве возникали скандалы.

– Я не могу в одном и том же платье появляться на ипподроме. Все знают, что я жена известного писателя. Я не могу выглядеть оборванкой!

– А ты можешь не ходить на ипподром? – осторожно замечал Михаил Афанасьевич.

– Оставить Лялю? Мою любимую лошадь! Предать ее?! Ты бы видел, как она летит над землею!

– И вправду летит? – сомневался Булгаков.

– Моя птица – Ляля – летит! – уверенно говорила Любовь Евгеньевна. – Бывают моменты, что не видно, как ее ноги касаются дорожки ипподрома. Бросить Лялю выше моих сил!

– Понимаю, – грустно опускал голову Булгаков и вспоминал Тасю, которая ходила в рваных туфлях и продуваемом ветрами, прохудившемся пальтишке и не жаловалась на это. Отдала ему все, что подарили ей родители, лишь бы он мог работать. И ничего не требовала от него. Слезы выступали на его глазах.

– Тебе жаль меня? – смягчалась Любовь Евгеньевна.

– Жаль, – вздыхал Михаил Афанасьевич, – даже твою птицу Лялю.

– Она ест из моих рук, радуется, когда я треплю ее за гриву, расчесываю ее, – хвалилась Любовь Евгеньевна.

– Я тоже могу есть из твоих рук, – шутил Михаил Афанасьевич, – даже овсяную кашу!

– Молодец, Миша, не теряешь духа, даже в нашем буквально драматическом положении. Ты ничего не можешь поделать с этими тупоголовыми людьми, которые преследуют тебя. Ты пиши

Сталину. Он должен войти в твое положение. Он смотрел «Дни Турбиных» чаще, чем я.

– С какой целью? – задавался вопросом Булгаков. – И в конце концов запретил? Ему я уже писал…

Любовь Евгеньевна в растерянности не знала, что сказать мужу, и переводила разговор в другое русло:

– Как было бы здорово, если бы он отпустил нас с тобою в Париж! О Париж, он мне снится ночами. Даже не хочется просыпаться…

– А как же Ляля? – с серьезным видом говорил Булгаков. – Кто будет кормить ее? Расчесывать ей гриву? Я могу подождать. Я не лошадь-рекордсменка и не летаю над землею…

– Нет! Моментами ты бываешь несносен! – взрывалась Любовь Евгеньевна и в раздражении отворачивалась от мужа.

Булгаков садился за письменный стол и доставал чистый лист бумаги: «Секретарю ЦИК Союза СССР Авелю Сафроновичу Енукидзе. 31/IX 1929 года:

«Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собою материальную катастрофу (отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог и невозможность жить, начиная со следующего месяца, при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток…) прошу разрешить мне вместе с женою Любовью Евгеньевной Булгаковой выехать за границу…»

– Пиши! Пиши! Капля точит камень! – оборачивалась к нему жена.

– Кому еще? Кажется, всему начальству отправил свои депеши, – оправдывался Михаил Афанасьевич.

– Подумай! – приказывала Любовь Евгеньевна. Булгаков снова склонялся над столом:

«31. IX 1929 г. А. М. Горькому.

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Я подал Правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть СССР на тот срок, какой будет назначен… Все запрещено, я разорен, раздавлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции отпустить меня».

Склонившаяся над письмом Любовь Евгеньевна читала его и хмурилась:

– Почему ты пишешь, что находишься в полном одиночестве? А я?

Булгаков рвался сказать ей, что у нее есть Ляля, но

сдерживался, избегая очередного скандала, и не отвечал на ее вопрос. Он ждал хотя бы одного ответа на свое письмо и, конечно, не знал, почему они не приходят, пусть даже формальные. Более других лояльный к нему секретарь ЦК ВКП(б) А. П. Смирнов писал Молотову: «Считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление – практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону… можно… Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь. Литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться».

Вопрос о Булгакове по предложению А. П. Смирнова должен был рассматриваться на заседании Политбюро 5 сентября 1929 года, но в протоколе заседания помечено: «п. 26. Слушали о Булгакове. Постановили: снять».

Сталин был в отпуске до ноября, а без него рассматривание вопроса о судьбе Булгакова решили отложить. Все знали, что этим писателем занимается лично Сталин, казнить писателя или помиловать – дело только его компетенции.

Булгаков разрешил жене сделать приписку в своем письме родному брату Николаю в Париже:

«Дорогой Коля! Я сердечно благодарю Вас и младшего брата Ваню за кофточку, чулки и гребешок. Кофточку я ношу изо всех сил. Все остальное произвело большое и приятное впечатление. Очень грустно, что мне технически невозможно (да и нечего) выслать Вам с Ваней. Внимательно просматривала Вашу французскую статью, удивляясь Вашей премудрости… Привет прекраснейшему городу от скромной его поклонницы. Сейчас у Вас сезон мимоз и начинают носить соломенные шляпы. У нас снег, снег и снег… Если не будет нескромно с моей стороны, то я хотела бы спросить – Вы собираетесь жениться на русской или француженке?

Люба».

Михаил Афанасьевич был утомлен, болен, но не сломлен. Пишет большое письмо правительству и ставит перед ним откровенный вопрос: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?»

Вернулся из отпуска Сталин. Но пока ему было не до Булгакова. Вождя обличал Троцкий, и его сторонники в стране внимали каждому слову этого политического изгнанника. Надо было «разобраться» и со всяческими уклонистами от генеральной линии партии. Булгаков сам напомнил Сталину о себе 5 мая 1930 года:

«Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы

меня не заставила сделать это бедность. Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Уважающий Вас Михаил Булгаков».

Письмо отправлено. Надо ждать ответ… В который раз и сколько? Ведь еще 29 марта 1930 года, месяц назад, он обращался к правительству, но безрезультатно, хотя просил о немногом: «Если меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера… который берется поставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены. Если и это невозможно, я прошу Советское правительство поступить со мною, как оно посчитает нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, нищета, улица и гибель… Я обращаюсь к гуманной советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».

Любовь Евгеньевна продолжала вести светский образ жизни: «Я ездила в группе в манеже Осоавиахима на Поварской улице. Наш шеф Н. И. Подвойский иногда приходил к нам в манеж. Ненадолго мы объединились с женой артиста Михаила Александровича Чехова и держали на паях лошадь, существо упрямое, туповатое, часто становившееся на задние ноги. Вскоре Чеховы ускакали за границу, и лошадь была ликвидирована». Интересно, что ранее, до революции, в этом здании находилась конка, а после закрытия школы верховой езды расположился спортивный зал общества «Спартак». На этой же улице, в здании напротив останавливался в Москве у родни жены Иван Алексеевич Бунин. Довольно часто и на долгое время. Но об этом, вероятно, забыли, и вообще первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе только в 2007 году установили памятник.

В 1929 году вышла пьеса Маяковского «Клоп». Любовь Евгеньевна обратила внимание на одну из сцен пьесы. Там героиня Зоя Березкина произносит слово «буза». «Профессор. Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое “буза”? (Ищет в словаре.) Буза… буза… буза… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…» Белозерская вздрагивает: «Рядом с названием рассказа Булгакова “Богема”

стоит его фамилия». Маяковский предсказал ему писательскую смерть. Она отговорила мужа пойти на «Клопа», выбросила на помойку книгу Маяковского с этой пьесой. С компанией мхатовцев вытащила мужа на лыжные прогулки в Сокольники. Близ деревни Гладышево сделали привал. Там была закусочная, где подавали яичницу-глазунью и пиво. Актер Кудрявцев, игравший в «Днях Турбиных» Николку, шутил: «Может, и в раю так не будет».

Булгаков, неумело передвигая лыжи, рассказывал, что он катался в Киеве на бобслейной трассе, ликвидированной после революции как атрибут буржуазного спорта. Подумал про себя: «Ведь я тоже атрибут буржуазной литературы, подлежащий уничтожению».

Генрих Ягода ерзал на кожаном стуле, ожидая распоряжения арестовать Булгакова, писатель надоел ему своими заявлениями в ОГПУ, жалобами на его организацию в правительство. И поскольку сам генсек медлил с решением этого вопроса, сомнения закрадывались в душу наркома чекистов: неужели Сталин не посадит, не расстреляет Булгакова? Не может такого быть. Вернее всего, он собирается устроить над ним большой, показательный судебный процесс. Поэтому и тянет… Вероятно, хочет пристегнуть к процессу над Булгаковым целый ряд писателей, даже Маяковского, этого отъявленного троцкиста… Пока еще живого… Ягода давно знал, что этому поэту долго не жить, ведь он посвятил Троцкому несколько строчек в поэме «Хорошо», которые пришлось заменить. И хотя поэт мечтал о том, чтобы доклады о стихах в Политбюро делал товарищ Сталин, – с кем поэт был и кому на самом деле симпатизирует, – ему, горлопану-главарю, скрыться от ОГПУ не удалось.

Готовясь к процессу над Булгаковым, Ягода жирным карандашом подчеркивал места из письма писателя правительству, высказывания, которые пригодятся для обвинительного заключения. И вдруг его охватила паника, до испарины покраснело лицо. С самого верха поступило распоряжение от самого Сталина, четко продиктовавшего ему резолюцию о Булгакове: «Надо дать возможность работать там, где хочет». И Ягода слово в слово переписал и поставил эту резолюцию на своем распорядительном письме. Только дату сам указал – 12 апреля 1930 г.

Подвели Ягоду сотрудники, не успевшие ему доложить, что Сталин лично позвонил Булгакову. Об этом разговоре по Москве разошлись легенды, даже близкие писателю люди делали его более объемным, чем он был, более драматичным и судьбоносным, возвращающим Булгакова в Художественный

театр. А свидетелем разговора был только один человек – жена писателя: «Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М. А., а сама занялась домашними делами. М. А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: “Любаша!” – что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники). На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом, и себя называл в третьем лице. “Сталин получил. Сталин прочел…” Он предложил Булгакову:

– Может быть, вы хотите уехать за границу? (Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.) Но М. А. предпочел остаться в Союзе.

Прямым результатом беседы со Сталиным было назначение М. А. Булгакова на работу в Театр рабочей молодежи, сокращенно ТРАМ».

Есть предположение, что Булгаков кому-то – возможно, третьей жене, Елене Сергеевне, передал разговор более подробно, чем рассказала о нем Белозерская, или она его подзабыла, а там был такой диалог:

– Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?

– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины? И мне кажется, что не может.

– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

– Да, я хотел бы. Я говорил об этом, но мне отказали.

– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

– Да-да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

– Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».

Не исключено, что Булгаков, для «пущей важности», добавил слова Сталина об обязательности их встречи, чтобы испугать своих хулителей, убавить их злонамеренный пыл. Булгаков и вождь никогда не встречались. О чем они могли бы говорить? О погоде? О других мелочах? Наверняка разговор зашел бы о цензуре и беззаконностях ОГПУ, о работе Главлита и Главреперткома, запретивших произведения писателя, о командировке Булгакова за границу – о вопросах, которые Сталин не хотел бы поднимать.

И конечно, явно надумано Еленой Сергеевной возвращение Булгакова во МХАТ именно на следующий день после телефонного разговора со Сталиным, где его «встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подает заявление…

– Да боже ты мой! Да пожалуйста! Да вот хоть на этом… – И тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М. А. написал заявление. И его зачислили ассистентом-режиссером в МХАТ».

Это возвращение состоялось, но несколько позже. Нет никаких оснований не верить воспоминаниям Любови Евгеньевны Белозерской. «ТРАМ – не Художественный театр, куда жаждал попасть М. А., но капризничать не приходилось. Трамовцы уезжали в Крым и пригласили Булгакова с собой. Он поехал». Далее она приводит письма мужа из Крыма, написанные во время поездки с ТРАМом:

…

«15 июля 1930 г. Под Курском. Ну, Любаня, можешь радоваться. Я уехал. Ты скучаешь без меня, конечно?.. Бурная энергия трамовцев гоняла их по поезду, и они принесли известие, что в мягком вагоне есть место. В Серпухове я доплатил и перешел… Я устроил свое хозяйство на верхней полке. С отвращением любуюсь пейзажами. Солнце. Гуси».

…

«16 июля 1930 г. Под Симферополем. Утро. Дорогая Любаня! Здесь яркое солнце. Крым такой же противненький, как и был. Трамовцы бодры как огурчики. Бабы к поездам выносят огурцы, вишни, булки, лук, молоко… Поезд опаздывает…»

17 июля 1930 г. Крым, Мисхор.

Пансионат “Магнолия”. Дорогая Любинька, устроился хорошо. Погода неописуемо хороша. Я очень жалею, что нет никого из приятелей, все чужие личики. Сейчас еду в Ялту на катере, хочу посмотреть, что там. Привет всем.

Целую, Мак».

Белозерская вспоминала, что роман Булгакова с ТРАМом так и не состоялся. М. А. направили в Художественный театр, чего он в то время пламенно добивался. «Любаня», «Любинька» – так называют только действительно любимую, хотя обращение «Любаня» по простонародности похоже на обращение к первой жене – «Таська», в котором звучит излишнее панибратство, привыкание к женщине, когда к ней утеряны обожание, нежность, глубокие и высокие чувства.

Где-то в конце двадцатых годов Белозерская, будучи в гостях с мужем у четы его друзей М. А. Моисеенко, заметила: «За столом сидела хорошо причесанная, интересная дама – Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой М. А. Булгакова».

В другом месте воспоминаний Любовь Евгеньевна отметила, что «по мере того как росла популярность М. А. как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых проявляли уж чересчур большую настойчивость». Относилась ли к их числу Шиловская – сказать трудно. Любови Евгеньевне было виднее. Елена Сергеевна понравилась ему сразу. Но уйти от жены безосновательно Булгаков не мог. Любовь Евгеньевна оставалась его женой еще долгое время после их знакомства. Решиться на второй развод Михаилу Афанасьевичу было нелегко. Одну близкую по духу и верную ему женщину он уже обидел, о чем сожалел до конца дней. Жизнь с Белозерской складывалась не так просто и без безумной любви, как с первой женой. Умная, интеллигентная женщина, Любовь Евгеньевна жила своей жизнью, куда, без сомнения, входили тревоги и работа мужа, заботы о нем, но не столь безраздельно она отдавала себя ему, как Татьяна Николаевна Лаппа, и некоторые ее увлечения мешали работе мужа, нервировали и раздражали его. Увлечение скачками, выездкой лошадей привело к появлению в его доме незнакомых и чуждых ему людей. Чтобы отстраниться от их бесцеремонного вторжения в свою жизнь,

чтобы заставить Любу понять, как они мешают ему, он даже написал пародию на ее общение с жокеями. Думал, что ирония поможет ему избавиться от этой напасти. Но Любовь Евгеньевна приняла эту пародию как забавную шутку, не более, и даже поместила ее в книге воспоминаний, назвала «сценка-разговор М. А. по телефону с пьяненьким инструктором манежа».

Звонок.

Я. Слушаю вас.

Голос. Любовь Евгеньевна?

Я. Нет. Ее нет, к сожалению.

Голос. Как нет?.. Умница женщина. Я всегда, когда что не так… (икает) ей говорю…

Я. Кто говорит?

Голос. Она в манеж ушла?

Я. Нет, она ушла за…

Голос (строго). Чего?

Я. Кто говорит?

Голос. Это супруг?

Я. Да, скажите, пожалуйста, с кем говорю?

Голос. Кстин Аплоныч (икает) Крам… (икает).

Я. Вы ей позвоните в пять часов, она будет к обеду.

Голос (с досадой). Э… не могу я обедать… Не в том дело! Мерси. Очень приятно… Надеюсь, вы придете?..

Я. Мерси.

Голос. В гости… Я вас приму… В среду? Э? (Часто икает.) Не надо ей ездить! Не надо. Вы меня понимаете?

Я. Гм…

Голос (зловеще). Вы меня понимаете? Не надо ей ездить в манеже! В выходной день, я понимаю, мы ей дадим лошадь… А так не надо! Я гвардейский бывший офицер и говорю: не надо – нехорошо. Сегодня едет. Завтра поскачет. Не надо (таинственно). Вы меня понимаете?

Я. Гм…

Голос (сурово). Ваше мнение?

Я. Я ничего не имею против, чтобы она ездила.

Голос. Все?

Я. Все.

Голос. Гм… (икает). Автомобиль? Молодец. Она в манеж ушла?

Я. Нет, в город.

Голос (раздраженно). В какой город?

Я. Позвоните ей позже.

Голос. Очень приятно. В гости. С Любовь Евгеньевной? Э! Она в манеж ушла?

Я (раздраженно). Нет…

Голос. Это ее переутомляет! Ей нельзя ездить (бурно икает). Ну…

Я. До свидания… (Вешаю трубку.)

Пауза три минуты, звонок.

Я. Я слушаю вас.

Голос (слабо, хрипло, умирая). Попроси. Лю… Бовьгенину.

Я. Она ушла.

Голос. В манеж?

Я. Нет, в город…

Голос. Гм… Ох… Извините… что пабскакоил… (икает).

Вешаю трубку.

Эта сценка писалась, когда все пьесы Булгакова были сняты, и Любовь Евгеньевна не видит в ней укора в свой адрес: «Конечно, все в жизни было по-другому, но так веселей…»

Она искала самовыражения, поэтому разделять повседневно муки и переживания мужа не собиралась: «На шоферских курсах, куда я поступила, я была единственная женщина (тогда автомобиль представлялся чем-то несбыточно сказочным). Ездить по вечерам на курсы на Красную Пресню с двумя пересадками было муторно, но время учения пролетело быстро. Практику – это было самое приятное – проходили весной. Экзамены сдавали в самом начале мая. Было очень трогательно, когда мальчики после экзаменов приехали ко мне рассказать, что спрашивает комиссия, каких ошибок надо избегать, на какой зарубке держать газ. Шоферское свидетельство получила 17 мая. М. А. не преминул поделиться с друзьями: “Иду я как-то по улице с моей элегантной женой, и вдруг с проносящейся мимо грузовой пятитонки раздается крик: “Наше вам с кисточкой!” Это так шоферы приветствуют мою супругу…” Про кисточку, конечно, он сочинил, а что сплошь и рядом водители, проезжая мимо, здоровались, это верно…»

В квартире Булгаковых стали появляться жокеи, инструкторы по выездке лошадей, будущие шоферы…

Им было лестно бывать у известного писателя, общаться с его элегантной женой… Они вели свои разговоры, в то время когда Булгаков пытался работать, включалось подсознание, однако громкий чуждый ему разговор нарушал ход мыслей. «Смычка интеллигенции с рабочим классом состоялась!» – шутил он, хотя ему было совсем не смешно.

Звонком Сталина и последовавшими за этим событиями Булгаков был потрясен и как-то с гордостью подписал краткое письмецо В. В. Вересаеву: «Ваш М. Булгаков (бывший драматург, а ныне режиссер МХТ)». Булгаков был зачислен режиссером в МХАТ

в мае 1930 г. Забитому, затравленному, полуголодному писателю была сохранена жизнь. Об этом «благодеянии» Сталина заговорила вся интеллигентная Москва. Возможно, вождь на это и рассчитывал. Ведь он знал, что кое-кто считает его тупым, озверелым фанатиком, виновником разрухи, который ведет к гибели страну. А теперь стали говорить, что, будучи наркомом по делам национальностей, он был совершенно простым, без всякого чванства, кичливости, говорил со всеми как с равными. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, а теперь Сталин дал им щелчок по носу. Трудно поверить, что еще в 1930 году Сталин задумал репрессии 1937 года, когда стал расправляться с окружающей его «сволочью» – значимыми соратниками по партии, лучшими писателями, композиторами, режиссерами, учеными, военными… Одно несомненно – сохранив жизнь Булгакову, он в какой-то мере тогда обелил себя и поднял свой авторитет. Осведомители распространяли среди народа случай, выдавая его за истинный, во время которого Сталин проявил грубость, но вынудил на это вождя своей бестактностью актер Подгорный.

На премьерном спектакле «Отелло» к сидевшему в театральной ложе товарищу Сталину подошел этот актер и начал говорить, что он очень болен, что за границей хорошо лечат, неплохо бы туда поехать, но как это сделать? Товарищ Сталин хранил молчание. Подгорный смутился и стал говорить, что, в сущности, конечно, и в СССР есть хорошие доктора, лечебницы, что можно, без сомнения, подлечиться в СССР. Сталин не отвечал. Растерявшись, Подгорный дрожащим голосом проговорил:

– Вот вы, товарищ Сталин, кавказец, долго жили на юге, не можете ли вы мне посоветовать, на какой курорт поехать?

Сталин, уставший от приставаний артиста, кратко и отрывисто сказал ему:

– В Туруханский край!

Подгорный как ошарашенный выскочил из ложи.

Люди с улыбкой внимали рассказчикам этого «случая», и лишь единицы знали, что на премьерный спектакль «Отелло» действительно ожидали Сталина и Литвинова, но они не приехали.

Булгаков безумно устал от нервной бесперспективной борьбы с властью, ему хотелось пусть на время, но вырваться из этой опостылевшей обстановки: «Прошу Правительство СССР отпустить меня хотя бы до осени и разрешить моей жене Любови Евгеньевне Белозерской сопровождать меня. О последнем прошу потому, что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому

человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве».

Михаил Афанасьевич невольно проговаривается. Ведь он живет с женою. Значит, даже рядом с нею чувствует себя в одиночестве. Но просит разрешения взять жену с собою, надеясь вырвать ее из среды беговиков и шоферов, вернуть семейную жизнь в приемлемое для себя состояние.

Он безоговорочно доверял брату Николаю и писателю Викентию Викентьевичу Вересаеву. Написал брату Николаю в Загреб:

«7. VIII. 30 г. Дорогой Никол! Вчера получил твое письмо из Загреба. До этого ни одного из твоих писем не получил.

1) МХТ: сообщение о назначении верно…

2) Деньги нужны остро. И вот почему: В МХТ жалованье назначено 150 руб. в месяц, но я их не получаю, т. к. они отданы на погашение последней 1/4 подоходного налога за истекший год. Остается несколько рублей в месяц… денежные раны, нанесенные мне за прошлый год, так тяжелы, так непоправимы, что и 300 трамовских рублей как в пасть валятся на затыкание долгов (паутина). В Москве какие-то сукины сыны распространили слух, что будто бы я получаю по 500 рублей в месяц в каждом театре. Вот уже несколько лет как в Москве и за границей вокруг моей фамилии сплетают замыслы. Большей частью злостные. Но ты, конечно, сам понимаешь, что черпать сведения обо мне можно только из моих писем… Поправляйся… Счастлив, что ты погружен в науку. Будь блестящ в своих исследованиях, смел, бодр и всегда надейся. Люба тебе шлет привет.

Твой Михаил».

В. В. Вересаев на протяжении почти двадцати лет внимательно следил за творчеством и жизнью Булгакова. В 1929 году, когда, по словам Булгакова, ему «по картам выходило одно – поставить точку», в квартире его появился Вересаев.

– Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, – сказал Вересаев своим глухим голосом. – Вот возьмите. Здесь пять тысяч… Отдадите, когда разбогатеете.

И ушел, даже не выслушав благодарности. Благородный поступок друга Булгаков никогда не забывал:

«В. В. Вересаеву. 22. VII. 31 г.

В тот темный год, когда я был раздавлен, Вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность! Не только это. Наши встречи, беседы. Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны! За то, что бремя стеснения с меня снимаете, – спасибо Вам. Дайте совет. Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и черный

гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с ней засыпаю. Ведь он же произнес фразу: “Быть может, Вам действительно нужно уехать за границу?” Он произнес ее! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня?.. Один ум, практический, без пороков и фантазий, подверг мое письмо генсеку экспертизе и остался недоволен: “Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься?” Там, где есть это “кто поверит?” – меня нет, я не живу».

Михаил Афанасьевич в каждом письме Сталину непременно требовал отпустить его за границу вместе с Любовью Евгеньевной, не хотел оставлять ее в России своеобразной заложницей. Хотел послать телеграмму Сталину: «Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на три месяца. Вернусь!» Но послать такое унизительное заверение не решился. Физическое и нервное состояние Булгакова ухудшалось. Любовь Евгеньевна писала: «Вспоминаю, как постепенно разбухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое отношение к ним со стороны М. А., а попутно и истощалась нервная система писателя: он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать плечом и головой (нервный тик). Надо было только удивляться, что творческий запал не иссяк от этих непрерывных груборугательных статей… Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: “Главное – не терять достоинства”. Перебирая в памяти прожитые с ним годы, можно сказать, что эта фраза, произносимая иногда по шутливому поводу, и была кредо всей жизни писателя Булгакова».

Именно это кредо: никогда не терять достоинства, быть честным и правдивым в творчестве и жизни приводило Булгакова к неисчислимым бедам и мукам и… в какой-то мере спасло писателя от гибели, поскольку он считал виновником развала страны не отдельную личность, а систему государства.

Он никогда ни письменно, ни устно не высказывался в поддержку главного оппонента Сталина Льва Троцкого, более культурного и интеллигентного, чем вождь, но тоже ярого апологета советской власти, организовавшего кровавое подавление Кронштадтского мятежа матросов, требовавших выведения большевиков из Советов солдатских депутатов. В то же время гениальный театральный режиссер Всеволод Мейерхольд посвятил свой спектакль «Земля дыбом» «Первому красноармейцу Троцкому» и после этого был обречен на гибель. Великий поэт Осип Мандельштам открыто высмеивал марксистское учение о

базисе и надстройке, с иронией спрашивал у друзей: «Вы знаете, где мы живем? – и сам отвечал: В надстройке!», осмелился назвать Сталина «горцем, не понимавшим Пастернака», и, конечно, не мог ждать пощады от тирана. Булгаков во многом разделял взгляды прекрасных коллег по искусству, но в своей сатире не переходил на персоналии, вел переписку со Сталиным, надеясь на его благорасположение к бедствующему писателю, и главное, что несомненно спасло его жизнь, – не был, в отличие от многих писателей, завербован НКВД и его иностранным отделом. В этом отношении весьма характерна судьба известного писателя Михаила Кольцова, чей брат, маститый карикатурист Борис Ефимов пережил столетний юбилей. Михаилу Кольцову удалось пробраться в штабную квартиру Российского общевоинского союза (РОВСа), расположенную в Париже, на улице Колизе. Он описал РОВС как «Клуб ветеранов», не способный на реальную угрозу Стране Советов. Лицо Сталина перекосила злоба, когда он читал эту статью Кольцова о РОВСе, считавшемся основным противником СССР за рубежом и стремившемся к его ослаблению.

В похищении главы РОВСа генерала Кутепова участвовала группа из 60 агентов НКВД, и потом все они были расстреляны как ненужные и опасные свидетели. Такова была практика ИНО НКВД – уничтожать своих бывших агентов. Для этого им предлагали вернуться в Москву, где ликвидировали без суда и следствия. Первым отказался вернуться в Москву руководитель внешней разведки страны Игнас Рейс (Порецкий), после чего его машина на дороге в Женеву была изрешечена пулями. При странных обстоятельствах скончался в больнице г. Ниццы 47-летний Федор Федорович Раскольников, бывший полпред СССР в Болгарии, тоже не решившийся вернуться на родину. Печальная участь постигла в Москве бывших дипломатов Л. М. Карахана и В. А. Антонова-Овсеенко. «Прозревший» Федор Раскольников в своем открытом письме Сталину называет его «коварным клятвопреступником», нарушившим свои клятвы Ленину: «В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных вами и присвоили себе все их подвиги и заслуги».

Раскольников действительно стал глубже разбираться в хитросплетениях новой жизни и, наверное понял, что в тридцатые годы, руководя Реперткомом, совершенно не обоснованно обрушивался на сатирические произведения Булгакова. Другой хулитель Булгакова – писатель Михаил Кольцов – возвращается из Испании, где пытался вместе с большой группой других агентов провести социалистическую революцию, осуществляя сталинскую мечту о победе коммунизма во всем мире. Сталин

выслушивает его доклад о провале своей затеи с мрачным видом и бросает из-под нахмуренных бровей злой взгляд на Кольцова. Б. Ефимов думает, что судьбу брата решил этот взгляд, неудовольствие вождя книгой брата «Испанская весна», где романтично и наивно описывается непонимание трудовым людом Испании выгод от социалистической революции. В какой-то мере это так. Но уничтожается Кольцов в первую очередь как агент НКВД.

Сталин сделал исключение лишь для одного своего агента – Наума Эйтингона, организовавшего убийство Троцкого, и в присутствии Молотова обещал ему, что «ни один волосок не упадет с его головы». Но и это обещание не сдержал – в конце жизни Эйтингон угодил во Владимирский централ.

Булгаков, наблюдая за тем, как Сталин лихо разделывается с его главными врагами – Раскольниковым, Кольцовым и другими, начинает думать, что вождь пытается навести в стране порядок, хотя бы в области литературы. Поэтому именно на него будет походить один из героев будущего булгаковского романа «Мастер и Маргарита» Воланд, расправившийся с руководителем писательской организации МАССОЛИТ, издающей массовыми тиражами примитивнейшие, устраивающие власть произведения. По радио постоянно звучат стихи Михаила Светлова: «Я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Булгаков думает: у себя в России землю не получил, а собрался сделать это в чужой Испании. «Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»-песню допел до конца» – так заканчивались стихи. Булгаков уже давно написал в «Записках юного врача»: «Проклятие войнам – отныне и навеки!»

Бесконечные суды над «врагами народа», резко меняющиеся взгляды вождя на известных в стране людей, обстановка доносительства и террора, подозрительность к Булгакову самого руководителя НКВД Ягоды несколько отвлекают писателя от семейной жизни.

Как вспоминал племянник Любови Евгеньевны И. В. Белозерский, «Елена Сергеевна Шиловская часто и запросто бывала в доме Булгаковых и даже предложила ему свою помощь, так как хорошо печатала на машинке. Приятельницы советовали Любови Евгеньевне обратить на это внимание, но она говорила, что предотвратить все невозможно, и продолжала к этому относиться как к очередному увлечению мужа…»

В ноябре 1932 года Булгаковы разошлись. Любовь Евгеньевна, как всякая оставленная женщина, была оскорблена и это чувство сохранила надолго: «Не буду рассказывать о тяжелом для нас обоих времени расставания. В знак этого события ставлю черный

крест, как написано в пьесе Булгакова “Мольер”».

Однажды И. В. Белозерский спросил Любовь Евгеньевну: «Ведь не всегда Михаил Афанасьевич был к тебе справедлив, а ты это совершенно обошла в своих воспоминаниях». «Он так много страдал, что я хочу, чтобы мои воспоминания были ему светлым венком», – без колебаний ответила она.

Казалось, она была готова к любым поворотам жизни. После развода Любовь Евгеньевна занималась литературой и художественной деятельностью, работала референтом у академика Тарле, потом устроилась младшим редактором в издательство журнально-газетного объединения, сотрудничала с журналом «Огонек», несколько лет трудилась в редакции «Исторические романы» в издательстве Большой советской энциклопедии. По совету друзей написала воспоминания о Булгакове. Рассказывала о Булгакове всем желающим и в аудиториях, и дома, куда приходили любители творчества великого писателя. Никому не жаловалась на жизнь, в общем-то не очень ласковую к ней и довольно бедную. В 1978 году ее пригласил Орловский драматический театр на премьеру спектакля «Дни Турбиных». Спектакль удался. Скромный банкет затянулся за полночь. Все удивлялись, как легко и изящно танцевала Любовь Евгеньевна, как остроумно шутила, хотя ей было тогда уже восемьдесят три года. Один из артистов на прощание ей сказал: «Вы – отличный парень!» Она скромно улыбнулась: «Вы говорите это второй. Первым меня так назвал Булгаков! В посвящении на сборнике “Дьяволиада”: “Моему другу, светлому парню Любочке…”»

Силы постепенно покидали Любовь Евгеньевну. Ее не стало 27 января 1987 года.

Глава шестнадцатая В погоне за счастьем

Можно подумать, что Булгаков следовал напутствию, сделанному ему в молодости Алексеем Николаевичем Толстым о том, что писатель должен иметь трех жен. И хотя Булгаков забыл о его словах, жизнь привела его к третьему браку.

С Еленой Сергеевной Шиловской Булгаков познакомился в феврале 1929 года. Родилась она 21 октября 1893 года. Ее отец, Сергей Маркович Нюренберг, был учителем, потом податным инспектором, увлекался журналистикой. Мать, Александра Александровна, была дочерью священника. В 1911 году Елена Сергеевна окончила гимназию в Риге. В 1915 году семья переехала в Москву. В декабре 1918 года в возрасте двадцати пяти лет в церкви Симеона Столпника на Поварской она обвенчалась с адъютантом командующего 16-й армией РККА Юрием Мамонтовичем Нееловым – сыном известного артиста Мамонта Дальского. Брак был по-юношески легкомысленным и быстро распался. Вращаясь в обществе военных, Елена Сергеевна познакомилась с Евгением Александровичем Шиловским, человеком красивым и серьезным – помощником начальника Академии Генерального штаба, начальником штаба Московского военного округа, доктором наук, профессором. Они поженились. «Муж ее был молод, красив, добр, честен…» – эти слова из «Мастера и Маргариты» вполне можно отнести к Шиловскому. В момент брака ему шел тридцать второй год, карьера развивалась благополучно, он избежал репрессий среди военного командного состава, стал генерал-лейтенантом. У Шиловских родились два сына: Евгений (1921) и Сергей (1926). Внешне семья выглядела благополучной во всех отношениях. Тем не менее Елена Сергеевна писала сестре Ольге:

«Мне иногда кажется, что мне еще чего-то надо. Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так: иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мною делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-либо неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто я думаю, что во мне просыпается мое прежнее “Я”. С любовью к жизни, веселью, шуму, к людям, к встречам и т. д. и т. д. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы

моя личная жизнь осталась при мне и, кроме того, было бы еще что-нибудь в жизни, как у тебя театр».

Эти мысли не покидали Елену Сергеевну, мучили ее сознание, терзали душу, и через месяц она отправила сестре второе письмо:

«Мне чего-то недостает, хочется больше в жизни света, движения. Я думаю, что мне просто надо заняться чем-нибудь… Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, фантазиями, неистраченными силами…»

Значительно позднее Елена Сергеевна возвращалась к этим письмам: «Откуда были эти мысли? И чувства? И, читая их, я понимала, почему у меня была такая смелость, такая решительность, что я порвала эту налаженную, внешне такую беспечную, счастливую жизнь и ушла к Михаилу Афанасьевичу на бедность, на риск, на неизвестность».

Героизм был относительный, с долей эгоцентризма, ведь она рушила две семьи, отбивала мужа у подруги, да и имя Булгакова в культурных кругах было уже достаточно известно. Точнее было бы объяснить свой столь решительный поступок любовью к Михаилу Афанасьевичу, чувственной и сострадательной, желанием сделать имя гения литературы всемирно известным, помочь ему обрести счастье истинной любви и самой обрести высокое чувство.

Где они познакомились – для истории не столь важно. Елена Сергеевна приводила несколько мест:

«Это было в 1929 г. в феврале, на Масленую. Какие-то знакомые устроили блины… В общем, мы встретились и были рядом».

По другому варианту познакомились они у Уборевичей – в доме крупного военачальника, где часто проводились музыкально-артистические вечера. Булгаков был в ударе, много шутил, фантазировал, танцевал. Елена Сергеевна «забывала» встречу с Михаилом Афанасьевичем годом ранее в доме подруги – Белозерской. Елене Сергеевне, видимо, неприятно вспоминать об этом. В 1961 году она писала брату:

«На днях будет еще один 32-летний юбилей – день моего знакомства с Мишей. Это было на Масленой, у одних общих знакомых… Сидели мы рядом… у меня развязались какие-то завязочки на рукаве… я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь… Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж – генеральная пьесы “Блокада”, после этого – актерский клуб, где он играл с

Маяковским на бильярде… Словом, мы встречались каждый день, и наконец я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в 9 часов. Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону.

Я подошла. “Оденьтесь и выйдите на крыльцо”, – загадочно сказал Миша и, не объясняя ничего, только повторял эти слова. Жил он в это время на Большой Пироговской, а мы на Бол. Садовой, угол Мал. Бронной, в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами, с кухней внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием, словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга. А он повторяет – выходите на крыльцо. Под Оленькино ворчание я оделась… и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко. Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех – прикладывает палец ко рту и молчит… Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. И опять палец у рта, опять молчание. Потом пришла весна, за ней лето, я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши, в одном была засохшая розочка и вместо фотографии – только глаза, вырезанные из карточки… С осени 1929 года, когда я вернулась, мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку, он в это время писал книгу…»

Возможно, речь идет о первом варианте романа «Мастер и Маргарита» – «Консультант с копытом». Елена Сергеевна, несмотря на вспыхнувшие чувства, не могла форсировать отношения с Булгаковым. Есть муж, с которым она никогда не ссорилась, маленькие дети… И Михаил Афанасьевич еще официально женат, и к сожалению, на ее подруге. Но будучи женщиной целеустремленной, она постепенно шла навстречу своей любови, впрочем, как и Булгаков. Для характера Елены Сергеевны показателен случай распределения квартир для военных в прекрасном доме в Большом Ржевском переулке в Москве. Елене Сергеевне сразу понравилась квартира № 1 на первом этаже. Муж попытался остановить ее: мол, неудобно, лучшая квартира в доме должна принадлежать командующему округом Иерониму Петровичу Уборевичу. Но Елену Сергеевну не смутили слова мужа. Она стояла на своем. Глядя на самоуверенную и хорошенькую молодую женщину, тридцатидвухлетний Уборевич согласился отдать эту квартиру Шиловским, заняв другую, на третьем этаже. «Хваткая у тебя жена! Молодец!» – похвалил Елену Сергеевну Уборевич, обращаясь к своему начальнику штаба. Как отмечала одна из

биографов Булгакова, Лидия Яновская, у Елены Сергеевны было природное, а после знакомства с Михаилом Афанасьевичем «обострившееся художественное восприятие событий жизни, стремление сохранить образ, а не точность явления». Отсюда в ее воспоминаниях возникали путаница дат, противоречивость рассказов, недосказанности, оставляющие ощущение тайны, а может, это объяснялось просто обыкновенным состоянием влюбленного человека, потерявшего ход и нить явлений. В дневниковой записи 4 января 1956 года указано: «Когда я с ними познакомилась (28 февраля 1929 года)». С ними, то есть с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной, – единственный раз упомянута Белозерская, но не приведено место встречи, а есть только дата – 28 февраля. Но в 1929 году последний день Масленой, или Прощеное воскресенье, выпал на 17 марта (!). Ясно одно – Елена Сергеевна была настолько влюблена в Булгакова, что потеряла голову, даты и место их встреч перемешались в ее сознании. И тем не менее она не могла в одночасье переменить судьбу, проверяла долговечность своих чувств и заодно Михаила Афанасьевича.

В 1930 году он телеграфировал ей из Крыма: «Ведомство, полагаю, найдет место одном из пансионатов протяжении Мисхор – Ялта. Как здоровье? Привет вашему семейству. Телеграфируйте Крым Мисхор пансионат Магнолия». В ответ Елена Сергеевна телеграфировала: «Здравствуйте, друг мой, Мишенька. Очень вас вспоминаю, и очень вы милы моему сердцу. Поправляйтесь, отдыхайте. Хочется вас увидеть веселым, бодрым, жутким симпатягой. Ваша Мадлена – Трусикова – Ненадежная». Этот псевдоним, по-видимому, имел свою расшифровку. «Мадлена» – Елена на французский манер, женщина свободных нравов, способная и желающая полюбить человека, независимо от его финансового положения, пусть он даже будет бедным художником. «Трусикова» – своеобразное женское кокетство. Она намекает Михаилу, что, как и большинство женщин, трусиха, боится резко поменять жизнь. «Ненадежная» – продолжение мысли о своей трусости, внушение о том, что надеяться на нее ему особенно не следует. Но, по сути, этот псевдоним выглядит шуткой на фоне фразы: «Очень вас вспоминаю, и очень вы милы моему сердцу» и начинается словом «ваша».

Булгаковы, оба, стали бывать у Шиловских, Шиловские заходили в гости к Булгаковым. Любовь Михаила и Елены внешне походила на хорошие дружеские отношения и до поры до времени скрывалась семейными людьми. В то же время Елена Сергеевна призналась своей подруге Матюшиной: «Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае с моей

стороны, любовь на всю жизнь». Вероятно, не меньший накал чувств испытывал и Булгаков. Он почувствовал в Елене Сергеевне женщину умную, страстную, готовую разделить с ним беды и радости, понимающую литературу, что было для него весьма немаловажно. Поэтому, не щадя времени и сил, он упорно шел за своим счастьем. Он подарил Елене Сергеевне два томика «Белой гвардии», изданной в 1927–1929 годах в Париже на русском языке. На форзаце первого томика написал: «Милой Елене Сергеевне, тонкой и снисходительной ценительнице. Михаил Булгаков. 7.XII.1929 г. Москва». И рядом: «“…Мама очень любит и уважает вас…” “Дни Турбиных” 1 акт».

Когда пришел второй томик, он кратко выразил на его форзаце свои укрепившиеся чувства: «Милая, милая Лена Сергеевна. Ваш М. Булгаков. Москва 1930 год 27 сентября». Вскоре на странице первого тома добавил: «Это – не рядовое явление».

В сентябре 1929 года, когда Елена Сергеевна уехала на юг, он, делая наброски повести «Тайному другу» – предвестницы «Театрального романа», начинал так: «Бесценный друг мой! Итак, вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом». Вероятно, он приводил просьбу Елены Сергеевны побольше рассказывать о себе и обращался, несомненно, к ней – «тайному другу». Позднее, уже женившись на Елене Сергеевне, он надписал ее любимый сборник «Дьяволиада»: «Тайному другу, ставшему явным, – жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет».

Будучи врачом, он трезво оценивал свое здоровье, болезнь почек и приблизительно подсчитал оставшееся ему время жизни, время на «последний полет».

«Годом катастрофы» Булгаков назвал 1929 год – год великого перелома в истории сталинского правления, – но для него он стал воистину катастрофическим: были сняты со сцены все его пьесы. Казалось, что на любовь Елены Сергеевны это не действовало негативно, она по-прежнему любила Булгакова, присутствовала при рождении его новых гениальных замыслов. Перевезла на Пироговку свою машинку «Ундервуд» и под его диктовку печатала рождавшуюся на ее глазах пьесу «Кабала святош».

18 марта 1930 года пришло сообщение из Главреперткома: «Пьеса “Кабала святош” к представлению запрещена».

В отчаянии Булгаков написал письмо Сталину, прося выслать его за границу вместе с женой – Любовью Евгеньевной Белозерской. А с кем еще, как не с официальной женой. Но перепечатывала письмо Елена Сергеевна, и отправлять его они ходили вдвоем. Они не знали, как порвать цепи, удерживающие

их в разных семьях. Конечно, нужно было развестись – и спешно. Но на «спешно» у них не хватало ни сил, ни решительности.

Любовь Евгеньевна догадывалась об их близости, но надеялась, что это очередное увлечение мужа, и в отместку ему придумывала роман для себя.

Наконец о серьезности их отношений узнал Шиловский. Обычно спокойный и выдержанный, Шиловский потерял самообладание и выхватил пистолет, вызывая Булгакова на дуэль. Но второго пистолета не было. Шиловский был разъярен. Для него поведение жены – полная неожиданность. Он не мог даже предположить развала своей счастливой семейной жизни. Булгаков чувствовал себя неловко, нервничал. Шиловский ожидал от него объяснений, но тщетно. Ободренный молчанием Булгакова, он потребовал от него и жены прекращения свиданий, переписки, даже телефонных разговоров. Хотя и молча, они кивком головы эти условия приняли. Елена Сергеевна что-то говорила мужу, но Булгаков не слышал ее слов, понимая, что счастье, столь ожидаемое и выстраданное, ушло от него.

Впоследствии Елена Сергеевна доверилась подруге:

«Мне было трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушничала и осталась…»

Возможно, если бы Булгаков признался в любви к ней перед мужем, решительно позвал за собою, она набралась бы духа и мужества уйти с ним. Но он не позвал, хотя не испугался Шиловского, даже дуэли. Он был знако́м с военным делом и постоял бы за себя. Он вообще старался – и успешно – изжить в себе чувство страха перед кем-либо и чем-либо. Но в ту секунду он не осознал, что Елена Сергеевна это поймет. После разговора со Сталиным он получил работу, с очень скромным заработком. А пьесы его по-прежнему не шли, его прозу не печатали. Вместе с режиссером Сахновским он стал готовить инсценировку «Мертвых душ», но до ее постановки было еще далеко. Он чувствовал себя затравленным и усталым. В таком состоянии отрывать женщину от обеспеченного и любящего мужа, от детей, устроенного быта, сваливать свои писательские и финансовые беды на ее плечи он посчитал неудобным. Хотя до объяснения с Шиловским Булгаков так не думал. К тому же он чувствовал себя перед Шиловским виноватым.

Булгаков и Елена Сергеевна не виделись полтора года. За это время его дела несколько улучшились. Главрепертком разрешил пьесу «Кабала святош», правда, под названием «Мольер», были возобновлены «Дни Турбиных» во МХАТе, шли репетиции «Мертвых душ» (но без пролога о Риме, где Гоголь писал свою

повесть). Встретились они около 1 сентября 1932 года, точную дату установить трудно, а может, и не нужно. Главное – встретились снова, и навсегда. Елена Сергеевна признавалась подруге:

«Я не видела Булгакова двадцать месяцев, давили слова, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: “Я не могу без тебя жить”. Я ответила: “И я тоже!”»

Не исключено, что Булгаков караулил ее у выхода из дома или где-то поблизости, сделал все, чтобы его счастье не ускользнуло от него навеки, чтобы не испарились чувства за давностью времени.

Сын Уборевича говорил:

«Она вышла и вдруг встретила Булгакова. Помните, как Мастер встретил Маргариту в переулке? Мне всегда кажется, что это описана их вторая встреча…»

В начале шестидесятых Елена Сергеевна рассказывала молодой аспирантке ГИТИСа Н. Ю. Голиковой, что, узнав о выходе угрожавшей Булгакову статьи, она бросилась к нему. Возможно, что это была отнюдь не вторая их встреча. 3 января 1931 года Михаил отправил ей письмо: «Мой друг! Извини, что я так часто приезжал. Но сегодня…» Здесь письмо обрывалось. Очевидно, оно написано Елене Сергеевне, когда она находилась в подмосковном доме отдыха, куда несколько раз приезжал Булгаков, нарушая обещание Шиловскому прекратить всякое общение с его женой.

6 сентября 1932 года Булгаков писал Шиловскому:

«Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею, мы любим друг друга, как любили раньше. И мы хотим по…»

Несмотря на утерю следующей части письма, последнее слово не вызывает сомнения, звучит оно: «пожениться».

О том, как разрешились семейные дела Булгакова, закончившиеся женитьбой на Елене Сергеевне, можно судить по письму Е. А. Шиловского родителям Елены Сергеевны от 3 сентября 1932 года:

«Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович! Когда Вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы Вы правильно поняли, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу.

Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен, и в дальнейшем (даже если бы не разыгралась вся эта история) была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к ее продолжению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство к другому человеку – она поступила правильно, что не пожертвовала им. Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она дала мне в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями. Вам же я хочу сказать на прощание, что я искренне и горячо любил Вас как родителей Люси, которая перестала быть мне женой, но осталась близким и дорогим мне человеком».

В этом письме проглядывала горечь сильного и благородного человека. Сохранилась записка Булгакова режиссеру МХАТа В. Г. Сахновскому:

«Секретно. Срочно. В 3 ¾ дня я венчаюсь в загсе. Отпустите меня через 10 минут».

Елена Сергеевна оставила пояснение к записке:

«Эту записку передал на заседании в МХАТе В. Г. Сахновскому Михаил Афанасьевич. Сахновский сохранил ее, а потом передал мне».

По другим сведениям, они поженились 4 октября 1932 года, но для истории в данном случае путаница дат не играет особой роли. Главное свершилось. Свадебным путешествием стала поездка в Ленинград по театральным и деловым вопросам, наиболее важным для них, так как любовные, к радости обеих сторон, были наконец-то разрешены.

В новую квартиру переехали 18 февраля 1934 года. По этому поводу Булгаков написал Вересаеву:

«Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку… Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

Глава семнадцатая Будни счастья

Первая запись в дневнике Елены Сергеевны была сделана в день годовщины ее встречи с Булгаковым после разлуки. Очередная путаница с датой. Видимо, оба пребывали в эйфории счастья. Миша настаивал, чтобы дневник вела именно Елена Сергеевна:

«Сам он, после того как у него в 1926 году взяли при обыске его дневники, – дал себе слово никогда не вести дневника. Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран».

Взаимопонимание между супругами удивительное, что придавало им силы, уверенность в действиях. Михаил Афанасьевич написал доверенность на имя жены:

«Настоящей доверяю жене моей Елене Сергеевне Булгаковой производить заключение и подписание договоров с театрами и издательствами на постановки или печатание моих произведений как в СССР, так и за границей, а также получение причитающихся по этим договорам сумм и авторского гонорара за идущие уже мои произведения или напечатанные» (14 марта 1933 года).

Елена Сергеевна отважно взялась вести непростые дела мужа. Не сразу все получалось. Михаил Афанасьевич тактично поправлял ее, иногда с улыбкой, иногда иронично, но всегда доброжелательно. Непременно читал ей только что написанное, а она дивилась, насколько слепы люди, или задавлены бытом, или вообще привыкли к примитивному единомыслию, что не замечают, что рядом с ними живет и творит человек-чудо.

14 января 1933 года Михаил отправил письмо в Париж брату Николаю, на мой взгляд, заслуживающему отдельной книги. Сам по себе интересный человек, пытливый ученый, преданнейший брат. Вот фрагменты из этого письма:

«Сейчас я заканчиваю большую работу – биографию Мольера… Мне нужно краткое, но точное описание его [Мольера] памятника… Если бы ты исполнил просьбу, ты облегчил бы мне тяжелую мою работу. Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской. Ее сын, шестилетний Сергей, живет с нами… Силы мои истощились. Оставлю только репетиции в театре. Тогда мой верный друг Елена Сергеевна поможет мне разобраться в моей переписке. Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее. Письмо диктую жене, так как мне легче так работать,

чем писать рукой. Итак, обнимаю тебя и Ивана. Желаю, чтобы ваша судьба была хороша».

Николай Афанасьевич аккуратно и тщательно выполнил просьбу брата. Он выслал ему фотографию памятника Мольеру, подробный план улиц и зданий вокруг памятника, скопировал надпись на нем. Елена Сергеевна, работая над текстом романа при подготовке его к изданию, сообщала Николаю Афанасьевичу (14 сентября 1961 года):

«Мишина книга начинается и кончается с памятника Мольеру, и поэтому мне непременно хочется поместить фото памятника. Я должна сказать, что действительно это стоило больших трудов – добиться согласия на издание. Ведь я бьюсь над этим двадцать один год. Бывало, что совсем-совсем, казалось, добилась. И опять все летело вниз, как сизифов камень. В этом – моя жизнь. Мне выпало на долю – невероятное, непонятное счастье – встретить Мишу. Гениального, потрясающего писателя, изумительного человека. Не думайте, что я это пишу, потому что я – жена его, человек, обожающий его. Нет – все (и очень большие и очень разнообразные люди), все, кто смог познакомиться полностью с его творчеством (я не всем даю эту возможность), все употребляют именно это выражение – гениальный. Мне попала в руки совершенно случайно рецензия в Союзе писателей [!] о Мише, и там под его именем стояли: год рождения, год смерти и слова, начинающие текст: Великий драматург. И ведь они не знают (только слышат) – какая у него проза. Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя…»

Повезло не только Елене Сергеевне, повезло и Михаилу Афанасьевичу с женой, с человеком, достойно оценившим его и героически добивавшимся признания его творчества во всем мире, хотя даже на родине это было сделать весьма нелегко, впрочем, труднее, чем за границей, где впервые вышло полное собрание его сочинений.

Рукопись «Мольера» прочитал Горький и сказал А. Н. Тихонову: «Что и говорить, конечно, талантливо, но если мы будем печатать такие книги, то нам попадет». Булгакову было предложено переделать книгу о Мольере, но он решительно отказался: «Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уже никак не могу переписать ее наизнанку. Помилуйте!» «Мольер» вышел в 1962 году в серии «Жизнь замечательных людей» благодаря невероятным усилиям Елены Сергеевны.

После пресного существования в прошлом году к Булгакову пришло второе дыхание: он ходит с женой в театры, на вечера, в гости. Вот ее запись в дневнике:

«17 ноября 1933 г. Вечером – на открытии театра Рубена

Симонова в новом помещении на Большой Дмитровке – “Таланты и поклонники”. Свежий, молодой спектакль. Рубен Николаевич принимал М. А. очаровательно, пригласил на банкет после спектакля. Было много вахтанговцев, все милы. Была потом и концертная программа. Среди номеров Вера Духовская… Перед тем как запеть, она по записке прочитала об угнетении артистов в прежнее время и о положении их теперь… Чей-то голос позади явственно произнес: “Вот сволочь! Пришибить бы ее на месте!”…»

«4 декабря. У Миши внезапные боли в груди. Горячие ножные ванны…»

«11 декабря. Приходила сестра М. А. – Надежда… Звонок Оли и рассказы о делах театра:

– Кажется, шестого был звонок в Театр – из Литературной энциклопедии. Женский голос: “Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную. Но нам интересно знать, перестроился ли он после “Дней Турбиных”.

Миша:

– Жаль, что не подошел к телефону курьер, он бы ответил: так точно, перестроился вчера в 11 часов…»

Приводится еще один рассказ Надежды Афанасьевны: «… какой-то ее дальний родственник по мужу, коммунист, сказал про М. А. – послать бы его на три месяца на Днепрострой да не кормить, тогда бы он переродился.

Миша:

– Есть еще способ – кормить селедками и не давать пить…»

«8 января, 1934 года. Днем я обнаружила в архиве нашем, что договор на “Турбиных” с Фишером закончился и М. А., при бешеном ликовании Жуховицкого, подписал соглашение на «Турбиных» с Лайонсом.

– Вот поедете за границу, – возбужденно стал говорить Жуховицкий. – Только без Елены Сергеевны!..

– Вот крест, – тут Миша неистово перекрестился – почему-то католическим крестом, – что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне в руки вложат паспорт.

– Но почему?!

– Потому что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложника за себя.

– Вы – несовременный человек, Михаил Афанасьевич…»

«18 января. М. А. рассказывал, что в театре местком вывесил объявление: “Товарищи, которые хотят ликвидировать свою неграмотность или повысить таковую, пусть обращаются к т. Петровой”…»

Второй случай:

«Н. В. Егоров, по своей невытравимой скупости, нашел, что за собак, которые лают в “Мертвых душах”, платят слишком дорого, и нанял собак за дешевую цену, – и дешевые собаки не издали на сцене ни одного звука…»

«20 января. В театре Немировича – генеральная “Леди Макбет”. Музыка Шостаковича – очень талантлива, своеобразна, неожиданна – в сцене у старика, полька у священника, вальс у полицейских…

Василенко в антракте говорил:

– Шостакович зарезал себя слишком шумной музыкой…»

«Сегодня днем заходила в МХАТ за М. А. Пока ждала его, подошел Ник. Вас. Егоров. Сказал, что несколько дней назад в Театре был Сталин, спрашивал, между прочим, о Булгакове – работает ли в Театре?

– Я вам, Е. С., ручаюсь, что среди членов Правительства считают, что лучшая пьеса – это “Дни Турбиных”.

Вообще держался так, что можно думать (при его подлости), что было сказано что-то очень хорошее о Булгакове. Я рассказала о новой комедии, что Сатира ее берет.

– Это что же, плевок Художественному театру?

– Да вы что, коллекционируете булгаковские пьесы? У вас лежат “Бег”, “Мольер”, “Война и мир”… “Мольера” репетируете четвертый год. Теперь хотите сгноить новую комедию в портфеле? Что за жадность такая?..»

«В адрес МХАТа письмо из Америки: Йельская университетская драматическая труппа запрашивает оригинал “Турбиных”…»

«Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать за Мандельштама – он в ссылке. Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого…»

«Хлеб подорожал вдвое…»

«Вчера было созвано собрание актеров с Судаковым и Станиславским. М. А. не пошел. Ему рассказывали, что Судаков разразился укоризнами по поводу того, что актеры раньше времени съедают закуску, которую подают в “Мертвых душах”…

– Если бы еще был восемнадцатый год, тогда!.. Тут попросила слова Хамотина и произнесла следующее:

– Да как же им не есть, когда они голодные!

– Никаких голодных сейчас нет! Но если даже есть актеры и голодные, то нельзя же есть реквизит!..»

«19 ноября. После гипноза у М. А. начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь – если бы он мог еще ходить один по

улице…»

«В “Известиях” напечатано, что убийца Кирова – Николаев Леонид Васильевич, бывший служащий Ленинградской РКИ. Ему тридцать лет.

Не знаю, был ли в Ленинграде Киров в театре, – возможно, что последняя пьеса, которую он видел, были “Дни Турбиных”…»

«Оказывается, что Анатолий Каменский, который года четыре назад уехал за границу, стал невозвращенцем, шельмовал СССР, – теперь находится в Москве.

– Ну, это уже мистика, товарищи! – сказал М. А.…»

«28 декабря. М. А. перегружен мыслями, мучительными. Вчера он, вместе с некоторыми актерами, играл в Радиоцентре отрывки из “Пиквикского клуба”…»

«Спускают воду из труб. Батареи холодные. Боюсь, что мы будем мерзнуть. Сегодня на улице больше двадцати градусов…»

«В девять часов вечера Вересаевы. М. А. рассказывал свои мысли о пьесе. Она уже ясно вырисовывается…»

«31 декабря. Кончается год. Господи, как бы и дальше было так!..»

«18 февраля 1935 года. М. А. играл судью в “Пиквике”…»

«26 марта. М. А. продиктовал мне девятую картину, набережная Мойки. Концовка – из темной подворотни показываются огоньки – свечки в руках жандармов, хор поет “Святый Боже…”»

«7 апреля. М. А. приходит с репетиций у К. С. Измученный. К. С. занимается с актерами педагогическими этюдами. М. А. взбешен – никакой системы нет и быть не может. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо…»

«13 апреля. М. А. ходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштамов. Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим выбором. Жена Мандельштама вспоминала, как видела М. А. в Батуми лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре».

«Станиславский, услышав, что Булгаков не пришел на репетицию из-за невралгии, спросил:

– Это у него, может быть, оттого невралгия, что пьесу надо переделывать?..»

«23 апреля. Бал у американского посла. М. А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее, с бледно-розовыми цветами… Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков. Афиногенов в пиджаке, почему-то с палкой. Берсенев с Гиацинтовой. Мейерхольд и Райх. Вл. Ив. с Котиком. Таиров с Коонен. Буденный, Тухачевский, Бухарин в

старомодном сюртуке, под руку с женой, тоже старомодной. Радек в каком-то туристическом костюме. Бубнов в защитной форме… В зале с колоннами танцуют, с хор – прожектора разноцветные. За сеткой – птицы – масса – порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера – до пят.

Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углах столовой – выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата. По стенкам – клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники, запели петухи. Стиль рюсс. Масса тюльпанов, роз – из Голландии…

Привезла домой громадный букет тюльпанов…»

«30 октября. Приехала Ахматова. Ужасное лицо. У нее – в одну ночь – арестовали сына [Гумилева] и мужа [Н. И. Пунина]. Приехала подавать письмо Иос. Вис. В явном расстройстве, бормочет что-то про себя…»

«31 октября. Отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пильняку…»

Анна Андреевна показывала Булгакову свое письмо Сталину. Писатель давно считался «специалистом» по составлению писем вождю. Ведь Сталин не арестовал его за крамольные произведения. Даже разрешил работать. В те времена случай исключительный. Отреагировал на письма писателя – и в общем-то положительно. 10 июня 1934 года Булгаков написал Сталину очередное письмо с просьбой разрешить ему и Елене Сергеевне двухмесячную поездку за границу с целью сочинить книгу о путешествии по Западной Европе: «Отправив заявление, я стал ожидать один из двух ответов, то есть разрешение или отказ нам в ней, считая, что третьего ответа быть не может. Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье. ИНО исполкома продолжали откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день, к чему я относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут».

20 мая Елена Сергеевна записала в дневнике: «Шли пешком возбужденные. Жаркий день. Яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.

– Неужели не арестуют? Значит, я не узник! Значит, увижу свет!»

Последующие записи в дневнике: «Ответ переложили на завтра. 23 мая. Ответ переложили на 25-е. 25 мая. Опять нет паспортов. Решили больше не ходить…»

4 июня был подписан официальный отказ, о котором

Булгаковы узнали 7-го: «У М. А. очень плохое состояние. Опять страх смерти, одиночества, пространства. Дня через три М. А. написал обо всем этом Сталину, я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было». Письмо заканчивалось так: «Обида, нанесенная мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я прошу Вас о заступничестве». Булгаков умышленно сваливал вину на произвол чиновников ниже рангом, чем Сталин, который, конечно же, знал о двух братьях-белогвардейцах Булгакова в Париже и о том, кем он был во время Гражданской войны, только ему было подвластно решить судьбу писателя. Это было его очередным психологическим давлением на вольнодумца в надежде, что он «сломается» и начнет писать «правильные» произведения. Булгаков вынужден принять игру вождя. Елена Сергеевна отмечает в дневнике 24 мая 1935 г.: «Были на премьере “Аристократов” в Вахтанговском. Пьеса – гимн ГПУ. В театре были: Каганович, Ягода, Фирин (нач. Беломорского канала), много военных, ГПУ, Афиногенов, Киршон, Погодин».

Булгаков в конце концов принял решение писать пьесу о Сталине, думая, что, узнав об этом, вождь переменит к нему отношение, что вдруг случится чудо и оживут запрещенные его произведения.

«9 сентября. Из МХАТа М. А. хочет уходить. После гибели “Мольера” М. А. там тяжело.

– Кладбище моих пьес. Иногда М. А. тоскует, что бросил роль в “Пиквике”.

Думает, что лучше было бы остаться в актерском цехе, чтобы избавиться от всех измывательств…»

«14 сентября. Приезжали совсем простуженный Самосуд, Шарашидзе и Потоцкий… М. А. в разговоре сказал, что, может быть, он расстанется со МХАТом.

Самосуд:

– Мы вас возьмем на любую должность. Хотите тенором?

Хороша мысль Самосуда:

– В опере важен не текст, а идея текста. Тенор может петь длинную арию: “Люблю тебя… люблю тебя…” – и так без конца, варьируя два-три слова».

Булгакова «сватают» в либреттисты Большого театра.

«15 сентября. М. А. говорит, что не может оставаться в безвоздушном пространстве, что ему нужна окружающая среда, лучше всего – театральная. И что в Большом его привлекает музыка. Но что касается сюжета либретто… Такого ясного сюжета, на который можно было бы написать оперу, касающегося Перекопа, у него нет. А это, по-видимому, единственная тема,

которая сейчас интересует Самосуда…»

«3 октября. Шапорин играл у нас свою оперу “Декабристы”, рассказывал злоключения, связанные с либретто, которое писал Алексей Толстой. Шапорин приехал просить М. А. исправить либретто. М. А. отказался входить в чужую работу, но сказал, что как консультант Большого театра он поможет советом…»

«Сегодня десять лет со дня премьеры “Турбиных”. Они пошли 5 октября 1926 года. М. А. настроен тяжело. Нечего и говорить, что в театре даже не подумали отметить этот день. Мучительные мысли у М. А. – ему нельзя работать…»

«14 ноября. В газете – постановление Комитета по делам искусств: “Богатыри” снимаются. “За глумление над крещением Руси…”, в частности… В прессе скандал с Таировым и “Богатырями”. Не обошлось без Булгакова. Тут же вспомнили “Багровый остров…”»

«26 ноября. Вечером у нас: Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские… Ильф и Петров – они не только прекрасные писатели. Но и прекрасные люди. Порядочны, доброжелательны, писательски да, наверно, и жизненно – честны, умны и остроумны…»

Мысли и думы Булгакова – в работе. И во многом они связаны с его любовью. Он пишет своей знакомой (13 сентября 1935 года):

«Люся теперь азартно стучит на машинке, переписывая. Кладу Люсе руку на плечо, сдерживаю. Она извелась, делила со мною все волнения, вместе со мною рылась в книжных полках и бледнела, когда я читал актерам».

1 октября 1935 года Булгаков обращается в Союз писателей:

«Проживая в настоящее время с женой и пасынком 9 лет в надстроенном доме, известном на всю Москву дурным качеством своей стройки, в частности, чудовищной слышимостью из этажа в этаж… я не имею возможности работать нормально, так как у меня нет отдельной комнаты.

Ввиду этого, а также потому, что у моей жены порок сердца (а живем мы слишком высоко), прошу, чтобы мне вместо теперешней квартиры предоставили четырехкомнатную во вновь строящемся доме в Лаврушинском переулке, по возможности невысоко».

Дневник Елены Сергеевны об этом письме Булгакова умолчал – возможно, потому, что в нем идет речь о ее болезни, а возможно, потому, что на положительный ответ она не рассчитывала. Так и вышло – ответа не последовало.

Вот одно из писем жене того периода. «29.XI–36. Утро, где-то под Ленинградом. Целую тебя крепко, крепко. Твой М.»

Булгаков работал тогда с композитором Асафьевым над оперой «Минин», писал либретто, в котором посадский сын Илья Пахомов взывает к патриарху Гермогену:

«– Пришла к нам смертная погибель! Остался наш народ с одной душой и телом, терпеть не в силах больше он. В селеньях люди умирают. Отчизна кровью залита. Нам тяжко вражеское иго. Отец, взгляни, мы погибаем. Меня к тебе за грамотой послали…

Гермоген:

– Мне цепи не дают писать, но мыслить не мешают… И если не поднимете народ, погибнем под ярмом, погибнем!»

В эти строчки Булгаков вложил свой смысл. Писатель может бороться со злом и угнетением только пером, пусть иносказательно, но эта борьба облегчает его душу и отзывается в сердцах единомышленников. Композитор Асафьев отвечал Булгакову в письме:

«Приезд Ваш и Мелика вспоминаю с радостью. Это было единственно яркое происшествие за последние месяцы в моем существовании: все остальное стерлось. При свидании нашем я, волнуясь, ощутил, что я человек, и художник, и артист, а не просто какая-то бездонная лохань знаний и соображений к услугам многих, не замечающих во мне измученного небрежением человека… Привет Вашей супруге».

Внимание Булгакова к людям очень ценилось ими. Сам он с 1934 года ни разу не обращался к Сталину. Теперь же решил заступиться за Николая Робертовича Эрдмана, написавшего в 1928 году знаменитую пьесу «Самоубийца», о которой Сталин сказал Горькому, хлопотавшему за разрешение поставить эту пьесу: «Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!»

До Булгакова дошли эти слова вождя, но он знал цену его похвалам – чем они больше, тем опаснее. Булгаков дружил с Эрдманом с начала тридцатых годов, числил его, как и писателя Евгения Замятина, в небольшой когорте авторов, критикующих режим. Поводом для ареста и осуждения Н. Эрдмана и В. Масса – его соавтора – послужили несколько их сатирических басен, признанных вредными и «искажающими действительность».

Булгаков понимал, что рискует, защищая Эрдмана. В 1938 году арестов стало немного меньше, но обстановка в стране по-прежнему оставалась тревожной. Вот текст письма Булгакова Сталину от 4 февраля 1938 года: «Разрешите мне обратиться к Вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью срок своей ссылки в городах

Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу. Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».

Булгаков одновременно писал об Эрдмане и о себе, находясь, и уже давно, в состоянии «душевного угнетения».

5 февраля 1938 года Елена Сергеевна записала в дневнике:

«Сегодня отвезла и сдала в ЦК партии на имя Сталина письмо о смягчении участи Николая Эрдмана. Хотела сдать лично в секретариат, но меня не пустили, и я отдала письмо в окно, где принимается почта ЦК».

Ответа на это письмо Булгакова, впрочем, как и на другие, не поступило.

В конце мая 1938 года Елена Сергеевна вместе с младшим сыном Сергеем уехала на отдых в Лебедянь. Это была первая длительная разлука с мужем, которую он переносил тяжело, очень скучая без жены. Отдых для Елены Сергеевны был необходим, поскольку постоянные потрясения привели ее к морально-психологическому кризису – сильным головным болям и бессоннице. Вдали от Елены Сергеевны Булгаков, как никогда остро, ощутил, какой важной и твердой опорой она является в его жизни. Он тоже нуждался в отдыхе, но остался в Москве, загруженный работой в Большом театре, желая непременно закончить роман «Мастер и Маргарита».

«27. V.38. Из Москвы в Лебедянь. Е. С. Булгаковой. Дорогая Люсенька, целую тебя крепко… Жива ли, здорова ли после этого поезда?.. Умоляю, отдыхай! Не думай ни о театрах, ни о Немировиче, ни о драматургах, ничего не читай, кроме засаленных и растрепанных переводных романов… Пусть Лебедянское солнце над тобой будет как подсолнух, а подсолнух (если есть в Лебедяни!) как солнце. Твой М.».

«14. VI.38. Дорогая моя!.. Целую тебя крепко. Лю! Три раза в день тебе купаться нельзя! Сиди в тени и не изнуряй себя базаром! Яйца купят и без тебя. Любуйся круглым пейзажем, вспоминай меня. Много не расхаживай. Значит, здоровье твое в порядке? Ответь!»

«15. VI.38. Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное – корректура (авторская)… “Что будет?” Ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь роман в бюро или шкаф, где лежат убогие мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего… Суд свой над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму жизни. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».

«19. VIII.38. Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в “Мастере и Маргарите”. Ты понимаешь, что стоит это сознание – я прав!»

Глава восемнадцатая Неродившийся шедевр

Согласно ныне уже хрестоматийному выражению Михаила Булгакова о том, что «рукописи не горят», где-то в архиве Большого театра среди запылившихся тетрадок с нотами и текстами должно сохраниться написанное им либретто оперы «Рашель».

Молодой композитор из Ленинграда Вячеслав Павлович Соловьев-Седой буквально атаковал Булгакова с просьбой написать либретто к его опере «Дружба». Об этом вспоминала в своем дневнике Елена Сергеевна: «Сегодня удружил Самосуд. Прислал композитора Соловьева с началом оперы. Очень талантливая музыка, но никакого либретто нету. Какие-то обрывки, начала из колхозно-пограничной жизни…» И хотя музыка, предложенная композитором, была замечательной и сам Соловьев «чисто по-человечески» нравился Булгакову, но тема оперы была неприемлемой для него, и он, уже сильно больной и работающий над романом «Мастер и Маргарита», искал для Соловьева другого либреттиста.

«Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» – писал Булгаков жене. И тем не менее он горел желанием найти оперу с сюжетом на общечеловеческую тему, понятную во всем мире, и для этого выбрал рассказ Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи». Елена Сергеевна была в восторге от его задумки, даже пожалела, что не она нашла этот рассказ, хотя читала его дважды. «Просто мне не пришло в голову, что его можно превратить в оперу, – оправдывалась она. – Впрочем, ты – гений, а не я». – «Ты больше чем гений, – улыбался Булгаков, – ты даешь мне жизнь, я серьезно говорю».

В первых картинах оперы Михаил Афанасьевич предполагал изобразить изнывающих от безделья немецких офицеров. Они расположились в захваченном ими старинном французском замке. Самым молодым из них был маркиз Вильгельм фон Эйрик – «миниатюрный блондин, чванливый, грубый с солдатами, жестокий к побежденным, готовый вспыхнуть как порох по любому поводу»… Товарищи называли его не иначе как «мадемуазель Фифи». Этим прозвищем он был обязан жеманному виду, тонкой талии, словно затянутой в корсет, бледному лицу с еле пробивающимися усиками, а главное – усвоенной им привычке в знак величайшего презрения ко всем одушевленным и неодушевленным предметам произносить с присвистом: «фи-фи!»

Булгаков представлял себе выходную арию этого офицера в виде сатирической песенки. На последнем настаивала Елена Сергеевна: «Для такого типа, как этот самоуверенный глуповатый офицер, ария будет выглядеть чересчур громоздко и даже нелепо». – «Вот и хорошо, – не соглашался Булгаков, – ария будет контрастировать с его характером и даже видом… Ладно, решим, когда появится музыка».

Мадемуазель Фифи развлекался очень своеобразно, взрывая при помощи пороха ценные сосуды и скульптуры хозяина замка, не успевшего вывезти и спасти от немцев свой незаурядный музей. Каждый взрыв вызывал у офицеров восторг. Они хлопали при виде «терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова». Неожиданно мадемуазель Фифи бросил взгляд на портрет дамы с усами и вынул револьвер.

– Тебе незачем это видеть, – сказал он и, не вставая со стула, выстрелами пробил оба глаза на портрете.

Елена Сергеевна задумалась: «Может быть, тут герой должен громко рассмеяться, а его смех поддержат другие офицеры?» – «Не исключено», – сказал Булгаков, продолжая чтение рассказа и мгновенно переделывая прозу в драматические сценки.

Три месяца вынужденного воздержания от встреч с женщинами побудили офицеров на устройство пирушки, для чего собирались пригласить проституток из Руана.

– Разрешите, господин майор, ведь здесь такая тоска! – умоляли они командира. В конце концов командир уступил офицерам и послал в Руан за девушками исполнительного фельдфебеля «Чего-Изволите».

Михаилу Афанасьевичу эта опера в первом акте виделась комической, близкой к оперетте. И поведение офицеров, и готового выполнить любое поручение начальства неулыбчивого фельдфебеля, и даже местного кюре, взявшего на постой и кормившего немецких солдат, не раз распивавшего пиво с победителями и выражавшего протест против оккупации лишь молчанием колокольни, – все это выглядело если не смешно, то трагикомично. «Командир и офицеры смеялись над столь безобидным проявлением отваги, и так как все местные жители держали себя услужливо и покорно, немцы терпели их немой патриотизм», – иронически замечал Мопассан.

Во втором акте в замке появились пять красивых женщин. Заместитель командира – капитан, заядлый бабник, начал их распределять. «Что поделаешь – ремесло…» – поют девушки, садясь на колени к развязным и беспардонным захватчикам.

«Кто может написать музыку к этой опере?» – думал Михаил Афанасьевич, и хотя далее опера принимала патриотическое,

доходящее до трагизма звучание, в его мыслях автором музыки все отчетливее возникал композитор Дунаевский, песни которого были очень разнообразными по характеру: и веселыми, и сатирическими, и оптимистическими, и глубоко лиричными, а его прелюдия к фильму «Дети капитана Гранта» была глубоким и оригинальным, более симфоническим, чем эстрадным, произведением. К тому же ему, создателю оперетт, было по силам создание большой музыкальной формы. Дунаевский загорелся желанием написать оперу – ее условное название было «Рашель», его безоговорочно устраивал сюжет, он даже обговорил срок показа музыки первого акта. Елена Сергеевна радовалась созданию такого творческого дуэта: «Популярность музыки Дунаевского в народе наверняка привлечет внимание зрителей к его первой опере».

1 декабря 1937 года Булгаков пишет Дунаевскому:

«Дорогой Исаак Осипович! Что же Вы не подаете о себе никакой вести? Я отделываю “Рашель” и надеюсь, что на днях она будет готова. Очень хочется с Вами повидаться. Как только будете в Москве, прошу Вас, позвоните мне. И “Рашель”, и я соскучились по Вам.

Ваш М. Булгаков».

Он пишет либретто легко и с удовольствием, надеясь, что его работа либреттистом привнесет новое веяние в репертуар Большого театра. Ему надоело возиться со скучными, в основном с явно пропагандистскими сюжетами. Либретто «Рашели» выглядит для кое-кого из Реперткома легковесно. Сюжет рассказа Мопассана высокопатриотичен, но не по советским меркам, а по общечеловеческим. И Булгаков был доволен, когда в «Ленинградской правде» 26 декабря 1938 года Дунаевский рассказывает в интервью о своих творческих планах: «Прекрасное либретто написал М. Булгаков… Эта опера задумана нами как гимн патриотизму народных масс, национальному и неугасимому народному духу и величию!» Булгаков и Елена Сергеевна понимают, что Исаак Осипович тоже думал о цензурной «проходимости» оперы, наверное, отсюда его громкие слова о сюжете оперы, даже отсутствие фамилии французского писателя, по мотивам рассказа которого она создавалась.

Булгаков рассказывал Елене Сергеевне сюжет оперы, состоящий из пяти картин.

Капитан разделил женщин между офицерами по их чинам, чтобы ни на йоту не нарушить иерархии… Самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик капитан отдал самую маленькую – Рашель, юную брюнетку с глазами, словно чернильные пятна, еврейку, чей вздернутый носик был

исключением из правила…

Булгаков, творящий роман о Воланде, находит время для работы над «Рашелью» и пишет либретто с удовольствием.

Елена Сергеевна отмечала в дневнике: «23 сентября. Вечером тихо. Миша сидит над Мопассаном… 24 сентября. Миша днем работал над “Фифи”».

7 октября к Булгаковым приехал Дунаевский. «Либретто “Рашели”» чрезвычайно понравилось. Дунаевский зажегся. Играл, импровизируя, веселые вещи, польку, взяв за основу Мишины первые такты, которые тот в шутку выдумал, сочиняя слова польки. Ужинали весело», – записала Елена Сергеевна в дневнике.

Потом лица у авторов стали серьезными. Сюжет либретто постепенно, по мере развития действия, приобретал трагический характер.

«Один из немецких офицеров в порыве пьяного патриотизма, поднимая бокал с вином, рявкнул:

– За наши победы над Францией!

Как ни были пьяны женщины, они умолкли, а Рашель, вся задрожав, обернулась:

– Послушай-ка, есть французы, при которых ты это не посмел бы сказать.

Но юный маркиз, повеселевший от вина, захохотал, не спуская ее с колен.

– Ого-го! Я таких пока не видел. Стоит нам появиться, как они удирают!

Девушка вспыхнула и крикнула ему в лицо:

– Врешь, гадина!

Тогда юный маркиз поставил на голову еврейки вновь наполненный бокал шампанского, выкрикнув:

– И все женщины наши!

– Что я? Я не женщина, а шлюха, а других пруссакам не видать!

Не успела она договорить, как он наотмашь ударил ее по щеке; но когда он вторично занес руку, она, обезумев от гнева, схватила со стола десертный ножичек и внезапно, так что другие ничего не заметили, вонзила ему серебряное лезвие у самой шеи, туда, где начинается грудь… Слово застряло у него в горле, он застыл, раскрыв рот, страшно выкатил глаза. После удара мадемуазель Фифи, маркиз, почти сразу испустил дух… Рашель швырнула стул под ноги поручику Отто, тот растянулся во весь рост, а она бросилась к окну, распахнула его, прежде чем ее успели настичь, и прыгнула во мрак, под дождь… Рашель найти не удалось…»

И тут в действие либретто вступал местный кюре. Булгаков

волновался. Об этом есть запись в дневнике Елены Сергеевны:

«14 окт. Тут же, конечно, возник вопрос о том, как же в опере показывать кюре. Боже, до чего же будет нехудожественно, если придется его, по цензурным соображениям, заменить кем-либо другим».

Несколькими днями назад Булгаков претерпел еще одно потрясение, связанное с этой оперой, о чем Елена Сергеевна вспоминала с негодованием:

«8 окт. Сегодня целый день посвящен чудовищному фокусу, который Самосуд собирается учинить с Дунаевским. Он хочет теперь его отставить во что бы то ни стало и заменить Кабалевским! Что за беспринципность невероятная, или легкомыслие, или то и другое вместе!.. Сам же пригласил Дунаевского на работу, и теперь такое вероломство!»

К счастью, Булгаков проявил свойственное ему упорство в том, чему верил, и доказал начальству, что именно Дунаевский нужен для этого либретто и его музыкального воспроизведения.

24 декабря 1938 года наконец-то пришел долгожданный ответ от Дунаевского:

«Дорогой Михаил Афанасьевич! Проклятая мотня со всякими делами лишает меня возможности держать с Вами тот творческий контакт, который порождается не только нашим общим делом, но и чувством глубочайшей симпатии, которую я к Вам питаю с первого дня нашего знакомства… Я счастлив, что Вы подходите к концу работы, и не сомневаюсь, что дадите мне подлинного вдохновения блестящей талантливостью Вашего либретто. Не сердитесь на меня и не обращайте никакого внимания на кажущееся мое безразличие. Я днем и ночью думаю о нашей чудесной “Рашели”. Крепко жму Вашу руку и желаю здоровья и благополучия. Ваш И. Дунаевский».

Это письмо было написано Булгакову после очередных нападок на его творчество, сотен отрицательных и злых рецензий. Теплое письмо Дунаевского, истинно творческого человека, полное уважения к трудам Михаила Афанасьевича, действительно стало для него источником вдохновения в работе над либретто и, несомненно, над последним и главным романом в его жизни.

22 января 1939 года Булгаков ответил Дунаевскому:

«Получил Ваше письмо, дорогой Исаак Осипович! Оно вселяет бодрость и надежду… Извините, что пишу коротко и как-то хрипло, отрывисто – нездоровится. Колючий озноб, и мысли разбегаются. Руку жму крепко, лучшие пожелания посылаю. Ваш М. Булгаков».

Обычно в болезненном и усталом состоянии Булгаков диктовал письма жене, а тут ввиду важности вопроса и

особенного уважительного отношения к композитору сам взялся за перо, написал коротко, но сам.

Михаил Афанасьевич скрупулезно трудился над рассказом Мопассана, не упуская в либретто даже деталей сюжета, так же, как и над инсценировкой «Мертвых душ», без страха перед цензурой. Была сохранена и роль кюре.

«Не делайте большие глаза!» – говорил он оппонентам, упрекавшим его в переделке «Мертвых душ» из повести в пьесу, рассказа Мопассана – в оперу.

Композитор, получив первый акт, писал Булгакову (18 января 1938 года):

«…Считаю первый акт нашей оперы с текстуальной и драматической стороны шедевром. Надо и мне теперь подтягиваться к Вам… Пусть отсутствие музыки не мешает Вашему прекрасному вдохновению… Друг мой дорогой и талантливый! Ни секунды не думайте обо мне иначе, как о человеке, беспредельно любящем свое будущее детище. Я уже говорил Вам, что мне шутить в мои 39 лет поздновато. Скидок себе не допускаю, а потому товар хочу показать самого высокого класса. Имею я право на длительную подготовку “станка”? Мне кажется, что да… Крепко жму Вашу руку и желаю действовать и дальше, как в первой картине. Я ее много раз читал среди друзей. Фурор! Знай наших!»

Письмо от композитора весьма обнадеживало Булгакова, и Елена Сергеевна записала в дневнике 24 января 1939 года: «И сегодня, и вообще последние дни Миша диктует “Рашель”».

Но будучи человеком «битым» и проницательным, Булгаков все-таки побаивался, что на Дунаевского, обласканного властями, может повлиять политическая конъюнктура, он побоится потерять славу, добиться которой было очень нелегко.

Конец тридцатых годов был самым счастливым в судьбе композитора. Всюду пели его песни из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»… Первым из советских композиторов он был награжден орденом, по Волге начал курсировать пароход «Композитор Дунаевский»… Булгаков писал соавтору:

«Дорогой Исаак Осипович! При этом письме третья картина “Рашели”. На днях, во время бессонницы, было мне видение. А именно – появился Петр I и многозначительно сказал:

– Время подобно железу, которое, ежели остынет… Пишите! Пишите!»

Однако все попытки и старания Булгакова зажечь Дуню, как ласково прозвали его друзья с подачи Леонида Утесова, не давали ощутимого результата. Лишь через месяц Дунаевский заехал к

Булгакову, который, однако, к их работе уже был настроен пессимистически, поэтому встретил композитора хмуро. В голосе Михаила Афанасьевича звучали недоумение и печаль, особенно после слов Дунаевского о том, что, судя по газетам, «Франция ведет себя плохо». Булгаков понял эти слова так, что, по мнению Дунаевского, их опера не пройдет цензуру. А Дунаевскому было стыдно за свое поведение, ведь он еще ничего не написал. Елена Сергеевна делала вид, что не замечает разлада между соавторами, шутила, накрывала на стол. Для успокоения Михаила Афанасьевича Дунаевский в его присутствии начал работать над тремя картинами «Рашели», но было видно, что делал он это через силу и вяло. Играет наметку канкана и вдруг оживает – музыка ему нравится, и в это время Булгаковым кажется, что он забыл о газетных выпадах против Франции. Елена Сергеевна записала: «Миша охотно принимает те поправки, что предлагает Дунаевский, чтобы не стеснять и не затруднять музыкальную сторону… но все же было ясно, что настоящей совместной работы не будет».

Дунаевский вновь надолго исчез. Булгаков приступил к правке романа «Мастер и Маргарита».

По сути, в работе с Дунаевским была поставлена точка, но Булгаков, связанный договором с Большим театром, нашел силы и время закончить либретто оперы и послал Дунаевскому краткое письмо: «Дорогой Исаак Осипович! Посылаю при этом 4 и 5 картины “Рашели”. Привет! М. Булгаков». Елена Сергеевна приложила к письму свою приписку: «…Неужели и “Рашель” будет лишь рукописью, погребенной в красной шифоньерке? Неужели и Вы будете очередной фигурой, исчезнувшей, как тень, из нашей жизни? У нас уже было много таких случаев. Но почему-то в Вас я поверила. Я ошиблась?»

Интересно, что письмо с припиской отправлено 7 апреля, в тот день, когда Булгакову позвонил журналист Долгополов с просьбой рассказать ему содержание «Рашели». Сделать это ему посоветовал Дунаевский, по его словам, интенсивно работающий над оперой.

Через два месяца, 7 июня, Дунаевский в интервью «Вечерней Москве» заявил, что «с большим увлечением работает над своей первой оперой “Рашель”».

Елена Сергеевна заметила по поводу этих слов: «Убеждена, что ни одной ноты он не написал, так как пишет оперетту и музыку к киносценарию». Сказала уверенно и твердо, чтобы не обнадеживать мужа.

Чем же объяснить упорные заявления композитора о работе над оперой? Он понимал, что опера – одна из вершин

музыкального творчества, что именно «Рашель» с отличным сюжетом может стать шедевром, способным обогатить классический оперный репертуар, как «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, что его имя, советского композитора-песенника, после создания оперы станет известным во всем мире, и поэтому выдавал желаемое за действительное. Дунаевский растерялся, реально осознав, что он сочиняет музыку для сюжета из иностранной жизни; он отчетливо понимал, как к этому может отнестись Сталин, доведший талантливейшего композитора Шостаковича до нервного потрясения. Дунаевский противоречил словам одной из своих лучших песен: «Сердце, тебе не хочется покоя…» Захотелось жить спокойно…

И все-таки он нашел в себе мужество признаться Булгакову и его жене в причинах того, почему он не написал оперу:

«Уважаемая и милая Елена Сергеевна! Нет, нет и нет! Никогда и ничто не собьет меня с намеченной цели, кроме моего собственного бессилия. Я прошу Вас верить мне, моему внутреннему нутру, верить моему глубокому уважению и величайшей симпатии, которую я питаю к Михаилу Афанасьевичу как человеку и писателю. Наконец, Вы, Елена Сергеевна, добрейшая и удивительная, стоящая у колыбели нашей оперы, несомненно, будете и первым “приемщиком” готового произведения. Что нужно для этого? Покой! Собраться с силами нужно! А я еще до сих пор плаваю в море депутатских бумаг. Но мною предпринимаются героические меры к устранению моих бытовых неполадок. Сейчас я работаю над опереттой, которую должен сдать к лету, а потом – сразу за оперу».

Далее в письме приводились другие заверения композитора в том, что «мы скоро будем слушать первые картины нашей обаятельной “Рашели”», заверения, увы, больше похожие на мечты и самоуспокоение. Дунаевский чувствовал, что встреча с таким драматургом, как Булгаков, больше в его жизни не состоится. «Собраться с силами нужно!» – повторял он слова из письма Булгакову, но сделать этого не мог.

Вскоре на передовых полосах газет была помещена фотография наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова, сходящего со ступенек поезда в Берлине, а 23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен пакт о ненападении и в то же время секретный пакт Молотова – Риббентропа о разделе Европы. В 1940 году немецкие войска оккупировали Францию. После этого о постановке «Рашели» не могло быть и речи. Но спустя два года, во время войны России с Германией, эта опера была бы очень злободневной. Могла бы звучать и сегодня, когда большинство народа в самой Германии и

во всем мире осуждает милитаризм.

Позднее его либретто в корне переделала поэтесса Маргарита Алигер, возможно, даже изменила название «Рашель» на «Зою» или «Нину», музыку написал композитор Глиэр, но опера не увидела света, хотя в прессе отмечалось, что она имеет «оборонное значение».

Несмотря на неудачи, Булгаков не сдавался. Елена Сергеевна записывала 5 апреля 1939 года: «Днем вдруг охватил прилив сил – надо что-то делать, куда-то идти…

Миша согласился пойти вместе со мной в репертком с “Пушкиным”.

Там, когда по телефону узнали, что придет М. А., испугались: “А что с ним случилось?” – Ничего, просто пьесу вам принесет. – А-а! Очень приятно!

Но эта радость там мгновенно исчезла, когда увидели “Пушкина”.

– Что это вам вздумалось? (Замечательный вопрос.)

– Да это не мне, это жене моей вздумалось. Устроили такой фортель – оказывается, просто от автора пьесу принять не могут. Нужно или через театр, или через отдел распространения.

Ну что же, получат через отдел распространения!»

7 апреля Булгакову поступило сообщение о заседании художественного совета при Комитете по делам искусств. Доселе недолюбливавший Булгакова Немирович выступал и много говорил о нем: «Самый талантливый мастер драматургии и т. п. Почему вы не используете такого талантливого драматурга, какой у нас есть, – Булгакова?

Голос из собравшихся:

– Он не наш!

Немирович:

– Откуда вы знаете? Что вы читали из его произведений? Знаете ли вы “Мольера”, “Пушкина”? Он написал замечательные пьесы, а они не идут. Над “Мольером” я работал, эта пьеса шла бы и сейчас. Если в ней надо что-нибудь изменить, по мнению критики, это одно. Но почему снять?»

Елена Сергеевна считала выступление Немировича полезным. Миша не соглашался: «Да и кому он говорит и зачем? Если он считает хорошей пьесу “Пушкин”, то почему не репетирует?»

Булгаков безмерно устал от театральной и реперткомовской волокиты с его пьесами. Елена Сергеевна старалась помочь ему, занималась его вопросами сама: «13 апреля 1939 года. Была сегодня в Реперткоме. Они вызывали М. А., но он, конечно, не пошел. Говорила с политредактором Евстратовым – по поводу “Мертвых душ”. Он считает, что М. А. надо пересмотреть пьесу в

связи с изменением отношения к Гоголю – с 30-го года и вставить туда что-то. Я сказала, что ни пересматривать, ни вписывать М. А. не будет. Что это его не интересует. Что я просто оттого подняла вопрос с этой пьесой и буду поднимать о других, чтобы выяснить положение М. А., которого явственно не пускают на периферию и вообще запрещают…»

«15 мая. Вчера у нас было чтение – окончание романа… Файко оба, Марков, Виленкин, Ольга… Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. В коридоре меня испуганно уверяли, что ни в коем случае подавать нельзя. Могут быть ужасные последствия…»

«22 мая “решено отказать… в выписывании пишущей машинки из Америки… на деньги от “Мертвых душ” через Литературное агентство.

Это – не жизнь! Это мука! Что ни начнем, все не выходит! Будь то пьеса, квартира, машинка, все равно».

Глава девятнадцатая Смелое решение. Последние и последующие дни

«6 января. Сегодня на рассвете, в шесть часов утра, когда мы ложились спать, засидевшись в длительной, как всегда, беседе с Николаем Робертовичем Эрдманом, Миша сказал мне очень хорошие вещи, и я очень счастлива… Вчера, когда Николай Робертович стал советовать Мише, очень дружелюбно, писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует как “местный протоиерей”. Вообще их разговоры, по своему уму и остроте, доставляют мне бесконечное удовольствие…»

Очень жаль, что Елена Сергеевна не отразила в дневнике хотя бы некоторые их разговоры, лишив современных читателей пиршества ума и остроумия. Любовь четы Булгаковых не угасает: «Миша очарователен. Обожаю его!.. Миша видел, что я пишу дневник, и говорит: напиши, что я очарователен и ты меня любишь. Я и написала».

21 мая Елена Сергеевна заметила в дневнике, как бы вскользь: «Миша сидит сейчас (десять часов вечера) над пьесой о Сталине», а 22-го выделяет отдельной строчкой: «Миша пишет пьесу о Сталине».

Вероятно, мысль о написании этой пьесы зародилась у Булгакова в начале апреля после увиденной в Большом театре оперы «Иван Сусанин» (с новым патриотическим эпилогом): «… Перед эпилогом правительство перешло из обычной Правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина, Пожарского – овации. Это все усиливалось и наконец превратилось в грандиозные овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена – по адресу Правительства, а публика – и туда, и сюда». На следующий день Елена Сергеевна узнала, что спектакль вызвал в зале необыкновенный подъем и какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот, увидела все-таки!» Что люди вставали ногами на кресла!

Сначала Булгаков пошутил насчет нового бога, а потом

сказал, что появился не новый бог, а тиран, очень ловкий и хитрый тиран, превративший людей в рабов и заставивший их поклоняться ему, как богу.

– Буду писать пьесу о Сталине! – решительно заявил он жене.

– Что?! – изумилась Елена Сергеевна. – Неужели сможешь, Миша?!

– Он – единственный в стране, кто может повелевать судьбами людей. Я напишу пьесу о молодом Сталине, о годах его учения в семинарии, когда он еще не успел стать тираном. Кстати, говорят, что арестован Бабель.

– Слышала.

– Я устал от борьбы с новоявленным богом, с его слугами, их много, и они очень опасны. Не всякий из них поднимет руку на писателя, создающего пьесу об их боге.

Я должен закончить свой роман. Я работал в Подотделе искусств Владикавказа. Меня щипали местные журналисты, особенно один – недоучка под псевдонимом Вокс, но Подотдел существовал при местном ревкоме, и я все-таки смог работать над своим первым романом; пять пьес, пусть неважных, но написал. Меня щипали, нервировали, но не уничтожили. В нынешних условиях только Сталин может обезопасить меня от бесконечной травли. Я, как волк, огрызаюсь, но я загнан, “он – не наш, – кричат обо мне, – он – враг…” А если враг не сдается… Я не сдаюсь. Я пишу “Мастера и Маргариту”, я обязан отделать роман… Но времени для этого осталось немного, и не больше сил. Смело говори, что твой муж пишет пьесу о Сталине. Не стесняйся и не стыдись этого. Или ты считаешь, что игра не стоит свеч?

– Стоит, – опустила голову Елена Сергеевна, – я тоже не вижу иного выхода, Мака.

Не минуло и двух недель, как «3-го июня пришла Ольга – знаменитый разговор о Мишином положении и о пьесе о Сталине. Театр, ясно, встревожен этим вопросом и жадно заинтересован пьесой о Сталине, которую Миша уже набрасывает, – не без удовольствия заносит в дневник Елена Сергеевна. – Миша сидит, пишет пьесу. Я еще одну сцену прочла – новую для меня. Выйдет!»

Но, наверное, нелегко давалась Булгакову эта пьеса. Елена Сергеевна наряду с хвалебными отзывами друзей о прочитанных им отрывках из пьесы вынуждена была занести в дневник: «Лишь немного прочитал из пьесы. Весь вечер – о ней. Миша рассказывал, как будет делать сцену расстрела демонстрации… Настроение у Миши убийственное… Миша сказал Симонову о пьесе. Задохнулся, как говорит Настасья».

Но новый роман, который Булгаков доделывал, оттачивая каждую фразу, менял его настроение.

«23 июня. Миша уехал в Серебряный Бор купаться. Я – хлопотать о покупке заграничной машинки. Будто бы арестован Мейерхольд…»

«27 июня. Вчера у Ольги Качалов, Виленкин… Миша прочитал первые три главы из “Мастера”. Мне понравился Качалов и то, как он слушал, – и живо и значительно».

Булгакова торопили с окончанием пьесы, достали ему справку о книгах Тифлисской семинарии, которые, возможно, читал юный Сталин.

«24 июля. Пьеса закончена! Проделана была совершенно невероятная работа – за 10 дней Миша написал девятую картину и вычитал, отредактировал всю пьесу – со значительными изменениями…»

«27 июля. В Театре в новом репетиционном помещении – райком, театральные партийцы и несколько актеров… Слушали замечательно, после чтения очень долго стоя аплодировали. Потом высказыванья. Все очень хорошо…»

«29 июля. Ездили купаться в Серебряный Бор…»

«3 августа. Звонил инспектор по репертуару некий Лобачев – нельзя ли прочитать пьесу о Сталине, периферийные театры хотят ее ставить к 21 декабря… Немировичу пьеса очень понравилась: обаятельная, умная, виртуозное знание сцены. Потрясающий драматург. Не знаю, сколько здесь правды, сколько вранья… Немирович звонил в Секретариат, по-видимому, Сталина, узнать о пьесе, ему ответили, что пьеса еще не возвращалась…»

«7 августа. Утром, проснувшись, Миша сказал, что, передумав после бессонной ночи, пришел к выводу – ехать сейчас в Батуми не надо… “Советское искусство” просит М. А. дать информацию о своей новой пьесе… Я сказала, что М. А. никакой информации дать не может, пьеса еще не разрешена…

– Знаете что, пусть он напишет и даст… Если будет разрешение, напечатаем. Если нет – возвратим вам.

Я говорю – это что-то похожее, как писать некролог на тяжело заболевшего человека, но живого. Неужели едем завтра?..»

«14 августа. Восемь часов утра. Последняя укладка. В одиннадцать часов машина. И тогда – вагон!..»

«15 августа. В Серпухове, когда мы завтракали, вошла в купе почтальонша и, не разобрав фамилию, спросила: “Где здесь бухгалтер?” – и протянула телеграмму-молнию. Миша прочитал (читал долго) и сказал – дальше ехать не надо.

В телеграмме было: “Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву”. Сошли в Туле. Через три часа бешеной

езды были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил – покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса?..»

«17 августа. Вчера в третьем часу дня – Сахновский и Виленкин. Речь Сахновского сводилась к тому, что Театр ни в коем случае не меняет своего отношения ни к М. А., ни своего мнения о пьесе… Потом стал сообщать: пьеса получила наверху (в ЦК, наверно) резко отрицательный отзыв».

Елена Сергеевна осторожно замечала:

– Ты забыл, что Бунин предупреждал Макса Волошина о том, чтобы он не связывался с большевиками. «Все равно они знают, с кем вы были вчера».

– Они не понимают, что я был с людьми всегда, что не могу в их обществе не быть сатириком.

«18 августа. Сегодня днем Сергей Ермолинский, почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал. Попросил Мишу прочитать пьесу. После прочтения крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять…»

Булгаков после нескольких минут раздумья впервые за последние дни улыбнулся:

– Перестарался. Начальство предлагает мне писать пьесу о советских людях. Успеть к первому января. Напишу – начнут сравнивать с «Собачьим сердцем». Ведь эту пьесу мне не возвратили, а она тоже о советских людях. Неужели им нужна еще одна такая?

«22 августа. Звонили из Театра. Убеждали, что фраза о “мосте” не была сказана. Просили дать “Бег”, хотя тут же предупредили, что надежд на ее постановку сейчас никаких нет.

У Миши после этого разговора настроение испортилось. О деньгах и квартире – ни слова.

Сегодня в газетах сообщение о переговорах с Германией и приезде Риббентропа…»

«26 августа. Сегодня сбор труппы в Большом театре… Миша был. Слова Самосуда (о “Батуми”): а нельзя ли из этого оперу сделать? Ведь опера должна быть романтической…»

«27 августа. Сегодня без конца телефонные звонки. Из Союздетфильма, чтобы Миша сделал сценарий из пьесы “Батум” и, несмотря на мое сообщение – запрещена, – все-таки непременное желание увидеться…»

Многие режиссеры спрашивали Елену Сергеевну: «Пьеса запрещена “пока или совсем?”»

«28 августа. У Миши состояние раздавленное. Он говорит –

выбит из строя окончательно. Так никогда не было».

Булгаков понимал, что рухнули все его надежды на свободное творчество и то, что написано им, но не напечатано, не увидит свет. Станет еще хуже, чем было. Хотя он честно и в меру сил старался написать хорошую пьесу о вожде. Наверное, нужно было предварительно встретиться с ним, обговорить сюжет пьесы и место действия, вплоть до деталей, но добиться встречи со Сталиным ему никогда не удавалось, и не в характере Михаила Афанасьевича было творить под чью-то диктовку. Он писал так, как думал, не желая специально очернить вождя, наоборот, стремился показать его истинным революционером, с юных лет. О том, насколько удалось Булгакову воплотить свои желания в жизнь, можно судить сегодня, так как пьеса «Батум» сохранилась. Нигде не напечатанная, замурованная в папку с грифом «секретно», она лежала в архиве Реперткома, потом Ленинской библиотеки и наконец недавно попала в Российский центральный архив искусства и литературы, и мне, видимо одному из первых, удалось прочитать ее. Конечно, не саму бумажную рукопись, изрядно потрепанную, с почерневшими краями страниц, а переснятую на пленку. Действие пролога пьесы развертывается в 1898 году, потом в 1901–1904 годах.

Большой зал Тифлисской духовной семинарии. На стене писанное маслом изображение Николая II. В зале никого нет. В семинарской церкви кончается обедня. Входит Сталин – молодой человек 19 лет, в семинарской форме, садится, прислушивается. Слышится церковный хор, исполняющий заключительное многолетие. Служитель Варсонофий, всегда немного выпивший, распахивает дверь церкви. Входят инспектор семинарии, ректор, преподаватели и воспитанники. Инспектор выстраивает их. Сталин встает со стула и становится отдельно.

Ректор. Престрашное дело свершилось в нашей родной семинарии. В то время как все верноподданные сыны родины прильнули к подножию монаршего престола царя-помазанника, неустанно пекущегося о благе нашей обширной державы, нашлись среди разноплеменных обитателей нашей родины преступники, сеющие злые семена, народные развратители и лжепророки, распространяющие повсюду ядовитые мнимонаучные социал-демократические теории, стремясь подорвать мощь нашего государства. Эти очумелые люди со звенящим накалом своих пустых идей заражают своим антигосударственным учением многих окружающих. И вот один из таких преступников оказался среди воспитанников нашей семинарии. Как поступить с ним? Подобно тому, как хирург соглашается на отнятие зараженной части тела, даже если это

была драгоценная нога или бесценная рука. Общество человеческое анафемствует опасного развратителя и говорит: да изыдет этот человек! Постановлением правления Тифлисской духовной семинарии воспитанник 6-го класса Иосиф Джугашвили исключается из нее за принадлежность к противоправительственным кружкам, без права поступления в иное учебное заведение. Нам как христианам остается только помолиться о возвращении его на истинный путь!

Сталин. Аминь!

Ректор. Что это такое?!

Сталин. Я сказал «аминь» машинально, потому что привык, что всякая речь кончается этим словом.

Ректор. Мы ожидали от него сердечного сокрушения и духовного раскаяния, а вместо этого неприятная выходка!

Все покидают зал, кроме Сталина и инспектора.

Инспектор. Получите ваш билет и распишитесь.

Сталин. Он называется волчий, если не ошибаюсь.

Инспектор. Оставьте ваши выходки. Лучше подумали бы о том, что вас ждет в будущем. Дадут знать полиции…

Сталин (оставаясь один, закуривает).

Что вызвало гнев вождя? Возможно, уже начало пьесы не понравилось Сталину. Ведь он указывается Сталиным, а еще юноша Сосо, шутка автора со словом «аминь» явно не в его характере. К тому же он, семинарист, курит? И факты, за которые его выгнали из семинарии, упрятаны в общих фразах.

Далее в пьесе к Сталину подходит одноклассник.

Одноклассник. Жаль мне тебя.

Сталин. Как-нибудь проживем.

Одноклассник. А деньги-то у тебя есть?

Сталин (хлопая по карманам). Не понимаю, куда рубль делся? А… Ведь я только что истратил его с большой пользой. Пошел купить папирос. Возвращаюсь на эту церемонию, а под самыми колоннами цыганка встречается: «Дай, говорит, погадаю!» Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, что я задумал. Решительно сбудется все. Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала: «Большой ты будешь человек! Очень большой!» Безусловно стоило заплатить рубль!

Булгаков старается этим эпизодом оживить пьесу. А Сталин? Как он отреагировал на это? Ведь он увидел пьесу в 1949 году и с высоты того времени, возможно, считал, что славное будущее ему должен был предрекать если не народ, то какой-нибудь старый пролетарий, а не легкомысленная гадалка.

Сталин просит одноклассника передать от него письмо

рабочему Арчилу. Одноклассник, просмотрев письмо, отказывается.

Одноклассник (просмотрев письмо). Это же прокламация. За нее в Сибирь угодишь. Да ну тебя совсем. Я, брат, в университет собираюсь.

Сталин. Ты порядочный, развитой и начитанный человек. И неужели при всех этих качествах не понимаешь, что долг каждого человека бороться с этим гнусным явлением, благодаря которому под гнетом и бесправием живет многомиллионная страна. Имя этому – самодержавие. В конце моего письма Арчилу стоят простые, но значительные слова: «Долой самодержавие!»

В конце концов, хваля ум одноклассника, Сталин уговаривает его передать письмо Арчилу. Входит служитель семинарии Варсонофий.

Варсонофий. Позвольте получить ваше пальто, господин Джугашвили. В кармане – карандаш. Надо бы выпить. Вы теперь вольный казак.

Сталин. С удовольствием бы, но понимаете, такой курьез… ни копейки денег. Папироску – пожалуйста.

Варсонофий. Куда же вы теперь с волчьим билетом сунетесь?

Сталин (вынув билет). Стало быть, это вредоносная бумага. В таком случае надо ее немедленно разорвать. (Рвет на мелкие кусочки.)

Варсонофий. От греха подальше. (Удаляется.)

Сталин, оставшись один, окидывает ненавистным взглядом стены, с размаху швыряет клочки билета на пол и уходит.

Эпизод перекликается с известной сценой из биографии гимназиста Ленина, который в присутствии одноклассников бросил нательный крестик в мусорное ведро.

Прошло три года. Батум. Ненастный ноябрьский вечер. Комната в доме рабочего Сильвестра. В печке огонь.

У огня дочка Сильвестра Наташа. Слышится условный стук: три раза раздельно, потом мелкой дробью. Входит отец.

Сильвестр. Ты одна?

Наташа. Пока одна. Еще не приходил.

Сильвестр. Я ему вполне доверяю. Но он горячий, как тигр. И неопытный. Но всем обещал говорить, что не было его у нас и не будет. Днем из дома выходить не станет. Только ночью. Пока дожидается меня в садике. Дверь не закрывай. Я его сейчас приведу.

Появляется Сталин. Голова его обмотана башлыком, башлык надвинут на лицо.

Сталин. Не хочется вас стеснять, но понимаете, на первых шагах в Батуми неудача. В дом Канделаки, где я находился,

поселился околоточный. Боюсь, что мы с ним будем мешать друг другу.

Наташа. Вы нас не стесните.

Входят другие рабочие. Среди них Порфирий – сын Сильвестра.

Порфирий. Вчера механик оштрафовал меня на пять рублей. Хочу убить его. Зубилом.

Сталин. Оставьте это, убьете – его сменит другой механик.

Порфирий. А как вас зовут?

Сталин. Сосо меня зовут. А кроме того, ваши батумские прозвали меня Пастырем. А за что – не знаю. Может, потому, что учился в духовной семинарии, а может, по каким-то другим причинам. Ты хочешь убить механика. Этим ничего не добьешься. Тут надо менять весь порядок, старый – уничтожить.

Порфирий. Вы революционер?

Сталин. Конечно. И не я один революционер на свете. А твой отец? Наташа?

Порфирий. Предупреждаю, что в наш двор стал захаживать городовой. У царя полиция, жандармы, войска…

Сталин. Прокуроры, министры, гвардия… И все это будет сметено. Ты еще доживешь до этого!

Рабочие садятся за стол, беззаботно пьют вино, изображая безобидную компанию.

Сильвестр. Ну, Сосо, начинай.

Сталин. Товарищи! Я послан тифлисским Комитетом

Российской социал-демократической рабочей партии для того, чтобы организовать и поднять рабочих на борьбу…

Сцена темнеет.

Та же комната. Рабочие встречают Новый год.

Сталин. Привет всем!

Порфирий (поднимая бокал). Твое здоровье, Сосо!

Сталин. Мы организуем Комитет ленинского направления.

Канделаки. Товарищи, предлагаю, чтобы Комитет возглавил товарищ Сосо.

Все пьют за здоровье Сосо. Потом бросаются к окну. Пламенем охвачен завод Ротшильда.

Порфирий. Горит кровопийское гнездо. Туда ему и дорога.

Климов (другой рабочий). Что ты плетешь? Что же мы потом есть будем? Надо тушить.

Сталин. Конечно, тушить. Только надо потребовать у управляющего вознаграждение за тушение огня.

Занавес. Конец первого действия.

В книге четыре действия. Я сокращаю некоторые сценки, диалоги, но стараюсь сохранить сюжет пьесы, чтобы было

возможно определить, за что Сталин возненавидел эту пьесу и запретил ставить в театрах, многие из которых с радостью готовы были включить ее в свой репертуар. Наверное, Репертком дал на эту пьесу свое добро и Сталин прочитал ее перед премьерой в Ленинграде. Дата приемки пьесы Реперткомом 24 июля 1939 года.

Действие второе

Прошло два месяца. Кабинет кутаисского военного губернатора. Он читает газету. Чем-то недоволен.

Губернатор. Небывалые беспокойства на заводе Ротшильда в Батуми. У меня и телеграмма об этом имеется. Уволены 376 человек. Зачинщики арестованы.

Трейниц (жандармский полковник). По моим сведениям в Батуми сейчас работает целая группа агитаторов во главе с Пастырем. Это некий Иосиф Джугашвили. Три года назад его за неблагонадежность выгнали из духовной семинарии. Некоторое время он работал в обсерватории. Организовал социал-демократический кружок на заводе Карапетова, провел забастовку, первомайскую демонстрацию.

Губернатор. Я не понимаю, почему сразу не уничтожили этого музыканта?

Трейниц. Он служил не в консерватории, а в обсерватории.

Губернатор. Это безразлично. Почему не обезвредили?

Трейниц. Полиция потеряла его из вида. Он ушел в подполье. Надо его разыскать. (Читает.) Иосиф Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. На левом ухе родинка, наружность никакого впечатления не производит.

Интересно, как Сталин, читающий эту пьесу, отреагировал на свое описание? Не хватило ли одного этого факта, чтобы разозлиться?

Губернатор выходит к столпившимся у военных казарм рабочим, требующим восстановить на работе уволенных, выпустить арестованных.

Губернатор. Вы у меня в Сибири отсидитесь!

Трейниц. Сколько же их?

Полицмейстер. Тысяч пять, а может, шесть.

Трейниц. Да, многовато. Но среди них есть чужие. Не разберешь. Кто впереди?

Полицмейстер. С флагом, кажется, ротшильдовский смутьян.

Трейниц. Когда приблизятся, передних нужно будет взять!

Губернатор. Это что же, бунт?

Сталин. Мы пришли освобождать арестованных рабочих!

Губернатор. Убрать флаги! Разойтись!

Сталин. Товарищи! Нельзя бежать! Стойте теснее, стеной!

На рабочих идет рота военных с песней: «Как за речкой, камышом видел милку нагишом. Шел я с милкою в лесу. Держал милку за косу!»

Сталин. Не смейте стрелять! (Разрывает на себе рубашку, делает несколько шагов вперед.) Собаки! Негодяи!

Действие третье

Батум. Апрельская ночь. В квартире рабочего Дереспана за столом сидит Сталин.

Дереспан. Надо усилить конспирацию. Они теперь не успокоятся, они за тобой как за зверем ходить будут.

К Сталину приходит рабочий Реджеб, разговор которого со Сталиным очень важен для понимания оценки Булгаковым происходящего в пьесе и, разумеется, в стране, объясняет настроения простого человека.

Сталин. Ты так, старик, вздыхаешь, что я заплакать могу. Ты для чего пришел? Какое горе тебя терзает?

Реджеб. Я вчера важный сон видел. Будто бы к нам в Зеленый мыс приезжал Николай.

Сталин. На свою дачу?

Реджеб. Конечно, на дачу. И, понимаешь, стал ругаться. Снял мундир, сапоги, все положил на берегу и полез в море. А мы с тобою сидим на берегу и смотрим. Ты говоришь: «А он хорошо плавает». А я говорю: «Как он голый пойдет, если кто-нибудь его мундир унесет? Солдат нету!» А царь, понимаешь, пошел и утонул. Тогда мы с тобой побежали к людям и кричим всем: «Царь потонул! Царь потонул!» А весь народ обрадовался.

Сталин. Хороший сон. Ты для этого приехал в Батуми, чтобы мне этот сон рассказать?

Реджеб. Нарочно для этого.

Сталин. Хороший сон, но что бы он значил, я не понимаю.

Реджеб. Значит, что царя не будет, а ты освободишь всю Абхазию. (Молчание.) Я тебе скажу, что такого сна не видел.

Сталин. Я знаю, что не видел.

Реджеб. А потому сон рассказывать стал, что не знаю, что тебе сказать. Сижу, а выговорить не могу. Меня к тебе наши старики послали, чтобы ты одну тайну открыл.

Сталин. Какую?

Реджеб. Слушай меня, Сосо. Я старик, и ты на меня не можешь обижаться. Все тебя уважают. Мы, абхазцы, люди бедные и знаем, что ты хочешь нам помочь. Но мы узнали, что ты по ночам печатаешь. Ведь печатаешь?

Сталин. Да.

Реджеб. А когда ты их в ход пустишь?

Сталин. Что?

Реджеб. Фальшивые деньги. Наши старики долго ломали головы: что это человек ночью печатает? Один старик, самый умный, догадался – фальшивые деньги. И мы смутились. Говорят, ты хороший человек, но мы тебе не можем помочь печатать фальшивые деньги. Мы это не понимаем. Меня послали к тебе. Говорят: узнай, зачем печатает. Когда будет раздавать народу? Где? И по скольку?

Сталин. Да… дела. (Входит рабочий Канделаки.) При тебе есть хоть одна прокламация?

Канделаки. Одна есть.

Сталин. Дай мне ее. (Обращается к Реджебу.) Вот видишь: эти листки печатаем. Это не деньги. А печатаем вот для чего. Народу живется очень худо, а чтобы его поднять против царя, нужно, чтобы все знали, что живется худо. Но если я буду ходить по дворам и говорить – худо живете, худо живете, меня, понимаешь, закуют в цепи. А эти листки мы раздаем. Все всё узнают. А деньги мы не печатаем, это народу не поможет.

Реджеб (внезапно поднимаясь). До свидания. Прости, что я тебе заниматься помешал.

Сталин. Нет. Погоди. Ты, пожалуйста, покажи мою бумажку вашим и объясни.

Реджеб. Хорошо. Хорошо.

Сталин. Только осторожно.

Реджеб. Да, понимаю. (Идет к двери.) Аллах! Аллах! (Останавливается.) Одно жалко, что ты не мусульманин.

Сталин. А почему?

Реджеб. Ты прими нашу веру. Обязательно, я тебе советую. Примешь – и мы тебе выдадим семь красавиц. Ты человек бедный, ты даже таких не видел – одна лучше другой. Семь звезд!

Сталин. Как мне жениться, когда у меня даже квартиры нет?

Реджеб. Потом, когда все устроишь, тогда женим. Прими мусульманство!

Сталин. Подумать надо.

Реджеб. Обязательно подумай. Прощай! (Идет.) У… У… Фальшивые деньги… ай, как неприятно! (Выходит.)

Сцена темнеет.

У Сталина проводят обыск. Находят книги: «Философия природы» и «Сочинения» Гегеля.

Булгаков делал запрос в Батуми, откуда ему сообщили, какие книги брал Иосиф Джугашвили в семинарской библиотеке. Выступая на съезде партии, через десятки лет, Сталин путал Гоголя с Гегелем.

Прошло более года. Жаркий летний день. Часть тюремного двора, в который выходят окна двух одиночек. Вход в

канцелярию. Во дворе появляется несколько уголовных с метлами.

Надзиратель. Подметайте, сволочи!

Уголовный. Как паркет будет. (Уголовные курят, передавая друг другу папиросу.)

Сталин (появляясь в окне за решеткой). Здорово получается!

Уголовный. А, это ты, мое почтение!

Сталин. Какие новости?

Уголовный. Губернатор сегодня здесь будет.

Сталин. Уже знаю.

Уголовный. Ишь ты как! Политический, а ловчее нас.

Сталин. Просьба есть.

Уголовный. Беспокойные вы, господа политические, не можете просто сидеть. То у вас просьбы, то протесты, то газеты вам подавай. А у нас привал: сел – сиди.

Сталин. За что сидишь?

Уголовный (декламируя). «А скажи-ка мне, голубчик, кто за что у вас сидит? Это, барин, вспомнить трудно. Есть и вор здесь и бандит».

Сталин. Письмо на волю передать надо.

Уголовный. Сегодня такой хохот у нас в камере стоял. Хватились, а папиросы кончились. До того смешно – курить хочется, а нечего!

Сталин. Лови! (Бросает уголовнику пачку сигарет.)

Уголовный. Данке зер. Письмо в пачке?

Сталин. Ну, конечно.

Уголовный. Мария. Штемпель! Пошлем ваше письмо. Есть еще вопрос?

Сталин. В женском отделении находится одна… По имени Наташа. Из Батума недавно переведена. Волосы такие пышные. Требуется узнать, как она себя чувствует.

Уголовный. Видел ее. Плакать стала.

Сталин. Плакать? Жаль… Сейчас женщин выведут на прогулку, так ты бы научил ее, чтобы прошлась здесь, а то все как назло вдалеке ходит. А ты чем-нибудь займи надзирателя.

Наташа (подойдя к Сталину). Сосо… Ты здесь. А я думала, что ты уже в Сибири. Ты, Сосо…

Сталин. Второй год уже здесь сижу. А ты, говорят люди, плачешь…

Наташа. В одиночке сижу. Плачу…

Сталин. Перестань. Что хочешь делай, только не плачь. Сама хочешь отдать им свою жизнь?

Надзиратель (Сталину). Долой с окна!

Другой надзиратель хватает Наташу за руку.

Сталин. Оставь руку, собака! (Бросает в надзирателя свою кружку.)

Надзиратель. Слезай с окна! Стрелять буду!

Сталин. Стреляй!

Надзиратель стреляет в воздух. Тюрьма наполняется криками.

Губернатор (выходит из канцелярии во двор). Что такое здесь?

Адъютант. Действительно расшумелись. Губернатор. Телеграфируй в Ховринский полк. Вызывай сотню!

Во двор двое конвоиров выводят Сталина.

Губернатор. Это кто такой?

Начальник тюрьмы. Иосиф Джугашвили. Из-за него все разгорелось.

Губернатор. Перевести его в другую тюрьму.

Сталин. Прощайте, товарищи!

Трейниц. Опять демонстрируете?

Сталин. Это – не демонстрация. Мы попрощались. А с вами еще увидимся.

Начальник тюрьмы. У, демон проклятый!

Надзиратель ударяет Сталина ножнами. Сталин вздрагивает, но идет дальше.

Сталин. Мы еще со всеми вами встретимся!

Действие четвертое

Кабинет Николая II в Петергофе. В кабинет заходит министр юстиции.

Николай II. Что у вас в портфеле?

Министр. Дело о государственном преступлении, совершенном крестьянином Горийского уезда Тифлисской губернии Иосифом Виссарионовичем Джугашвили.

Николай II. Крестьянин? Как посмел?!

Министр. Он проходил курс в духовной семинарии в Тифлисе.

Николай II. Срам! Другого слова не найду. Срам!

Министр. Обвиняется в подстрекательстве батумских рабочих к стачкам и участию в демонстрации. Подлежит высылке в Восточную Сибирь на три года, под гласный надзор полиции.

Николай II. Утверждаю.

В конце действия на квартире, где собираются рабочие-подпольщики, появляется небритый, заросший щетиной молодой мужчина в пропылившейся одежде, сбитых сапогах. Говорит о том, что он проделал немалый путь. Он настолько промерз, что не может много говорить. Мужчина бросается к печке, где горит огонь, и буквально прилипает к ней телом. Дрожащей рукой

хватает с печи сухарь и жадно грызет его. Он измотан до предела, но бросает радостный взгляд на присутствующих.

Порфирий и Наташа. Он вернулся!

24 июля 1939 года

Так заканчивается пьеса «Батум», без всяких объяснений запрещенная к постановке Сталиным, что стало самым сильным и трагическим ударом в жизни Булгакова. Он пытался оправиться от него, но тщетно. Какие сцены или даже отдельные фразы из пьесы заставили Сталина запретить ее? Может, слова о том, что его наружность не производит особого впечатления? Даже сказанные противником? Его запанибратские разговоры с уголовниками в тюрьме? Уверенность рабочего Реджеба, что жизнь можно улучшить только при помощи денег? Недоверие к силе воздействия на людей прокламации? Церковное прозвище «Пастырь»? Усталый, измотанный вид после побега из Сибири? Малое количество фактов, показывающих его стальной характер?

Наиболее вероятная версия запрета пьесы видится в другом. До недавнего времени, а может, и сейчас, в Батуми на одной улице, почти друг против друга, открыты два музея: Сталина и Краеведческий музей, где на центральном стенде располагались фотографии и краткие биографии членов первого горкома партии, уничтоженных по указанию Сталина в годы репрессий (1937–1938 годы), то есть перед самым чтением вождя пьесы Булгакова. Не исключено, что среди них были соратники молодого Сталина, и хотя автор пьесы давал рабочим редкие имена: Сильвестр, Порфирий, Дереспан, Реджеб, образы их легко угадывались Сталиным и вызвали его негодование.

Прочитав пьесу «Батум», вождь пришел в ярость. Потом высказался о ней довольно мягко: «Пьеса хорошая, но показывать ее нельзя». По каким причинам – не объяснил. Возможно, по вышеприведенным. Не исключено, что и по другим. Вспомните сцену из пьесы, где молодой Сталин встречается с абхазцем Реджебом, который говорит, что тот печатает по ночам фальшивые деньги, и спрашивает, когда он будет раздавать их людям. Сталин отрицает это, утверждает, что по ночам печатает прокламации, в них рассказывается о том, как можно улучшить жизнь людей без денег. Реджеб слушает Сталина недоверчиво. Кажется, что в этом разговоре нет ничего криминального для будущего вождя большевистской партии, если бы большевики для пополнения партийной кассы уже не занимались подделкой денег, о чем на основе известных фактов рассказывает крупный писатель русского зарубежья Марк Алданов: «Первоначально была сделана попытка организовать печатанье фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих Экспедиции

изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил, в величайшем от всех секрете, “Никитичу” (Красину). Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы Сименс, оказался не на высоте своей репутации. На высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума». Булгаков очень тонко и умело напоминает об этом деле в своей пьесе, говорит словами абхазца Реджеба о том, что иначе, чем деньгами, нельзя улучшить жизнь людей, но эта крамольная для большевиков мысль, наверное, и привела Сталина в ярость. Не могло удовлетворить и то, что Булгаков не возвеличивал его заслуги в революции, приводит те факты, что были известны. Они нисколько не расходятся с биографией вождя, с иронией описываемой Марком Алдановым: «Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему вменяли какую-то “маевку”, устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильда, что-то еще в таком же роде. Эти “тяжкие” преступления должны были вызвать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина. Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья. И прославился среди них жестокими и кровавыми грабежами государственных банков для нужд партии».

Булгаков мог узнать об этом, прибыв в Батуми и Тифлис. Поэтому и был срочно снят с поезда, направлявшегося на юг.

В любом случае Булгаков не хотел умышленно обвинять Сталина в чем-то плохом, писал пьесу с присущими ему честностью и искренностью.

Глава двадцатая Почерк дьявола

Как бы ранее печально ни складывалась жизнь Булгакова, даже при самом плохом самочувствии, даже в моменты отчаяния, когда ему казалось, что звезда его творчества угасает, он не говорил, что «выбит из строя окончательно». И прежде временами его охватывало уныние, терзала тоска, но гениальное, сильно развитое подсознание рождало новые яркие интересные образы, мысли, сюжеты… А это означало, что он вернется к литературной жизни – для него единственно настоящей жизни, снова сядет за письменный стол и строчки, поначалу корявые, стилистически невыдержанные, потом более ровные и уверенные, начнут плыть по бумаге, как волны, перебегая с одного листка на другой. И вдруг он впервые выносит себе самый суровый приговор – с литературой, читай – с жизнью – покончено окончательно. «Так никогда не было», – замечает он. А что было? Кроме бесконечных сражений едва ли не за каждое свое произведение с парткомами, критиками и органами, курирующими искусство, была окрыляющая и восполняющая его силы любовь. Были обращения к Сталину, другим партийным начальникам с просьбами улучшить условия для жизни и работы. Сталин отмалчивался. Не ответил ни на одно его письмо, исполненное боли. Лишь однажды позвонил, пообещал подыскать какую-нибудь «простецкую» должность. Тем не менее Михаил Афанасьевич интуитивно чувствовал, что Сталин проявляет интерес к его творениям. Казалось бы, вождю в принципе ничего не стоило расправиться с вольнодумным писателем, отделаться от него навсегда – сослать в лагеря, наконец, инсценировать автокатастрофу. Почему же он ничего этого не сделал? Были причины, о которых уже говорилось. Но по всей вероятности, еще и потому, что он уважал Булгакова как писателя, считая поначалу невозможным для себя пустить в расход человека, доставлявшего ему своей пьесой искренне удовольствие. Кем был Сталин вне полученных им званий генералиссимуса, Вождя народов, Учителя и Отца всех народов? Он всю жизнь был и оставался обычным бандитом. Он привечал артистов, которые тешили его неприхотливую душу, безропотно выполняли все его заказы, не раздражали его критическими замечаниями. Понятно, Булгаков никак не мог принадлежать к их числу. Но были «Дни Турбинных». Современники писателя утверждали, что эта булгаковская пьеса, поставленная в Московском художественном театре, стала самым ярким событием в театральной жизни того времени. Она игралась на одном дыхании и представляла собой

удачнейший сплав блестящих театральных сцен и концертных номеров. К тому же в ней участвовал изумительный актер и своего рода клоун – Михаил Яншин в роли Лариосика. Бандит, волею судеб оказавшийся во главе Страны Советов, млел от удовольствия, просматривая сцены с Яншиным – он посетил спектакль более двадцати раз.

Согласно воровскому закону, Сталин не мог поднять руку на Булгакова – человека, придумавшего эти ублажающие его душу сценки с Лариосиком.

Но так было до поры до времени.

Сталин любил приглашать на концерты в Кремль особо нравящихся ему артистов. Дважды – Леонида Осиповича Утесова. Приглашал бы этого великолепного певца и комического актера он и чаще, если бы тот не был от рождения Лазарем Вайсбейном и не исполнял на своих концертах еврейские песни – пусть всего две, но пел именно их, а не «Сулико». Леонид Осипович вспоминал, что распорядитель кремлевского концерта однажды передал ему пожелание Сталина услышать в его исполнении блатную песню «С одесского кичмана бежали два уркана». Утесов испугался, побледнел, посчитав это провокацией, переспросил у распорядителя концерта – не ошибка ли это, но тот упорно настаивал на своем. Собрав волю в кулак и решив – пусть будет что будет, Утесов спел эту песню. В зале поначалу воцарилось гробовое молчание. Выдержав паузу, Сталин пальцем поманил певца к себе. С дрожью в коленях, с замирающим от страха сердцем Утесов приблизился к вождю и услышал неожиданное: «Спой еще раз! На бис!» Сталин заулыбался и захлопал, а вслед за ним оживилось и зааплодировало все высокое партийное окружение.

Сталин не раз приглашал в Кремль и популярного исполнителя песен о любви Вадима Козина. Вождь терпеливо выслушивал в его исполнении две-три лирические песни и потом подзывал певца к роялю. «А теперь – мои!» – небрежно бросал он ему. Это означало, что Сталин будет петь свои любимые частушки под аккомпанемент Козина. Подбоченясь, притоптывая ногами, вождь изображал развеселого русского удальца: «Ритатухи, еду к Нюхе. Нюха глупая была и ребенка родила. Ритатухи, ритату, больше к Нюхе не пойду!»

Как получилось так, что этому, мягко выражаясь, малокультурному человеку с уголовными замашками удалось прийти к власти в громадной, не обделенной талантами и умами России? Во многом помог Ленин, обещавший измученному войной и разрухой народу райское будущее. Он разрешил «грабить награбленное», чем с энтузиазмом воспользовались

самые невежественные слои народа, те, кто был ничем и желал стать всем. С ужасом и тревогой наблюдал за всем происходящим в России великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин: «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят – благодетель он человечества или нет?.. Как приобресть власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гомору, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей… Образовалась целая армия профессионалов по этому делу… из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови».

Сталин ни в коей мере не избежал бунинского «рецепта» восхождения к власти в революционной России. Но как ему удалось стать первым лицом среди жаждущих того же и не менее кровожадных и жестоких большевистских коллег? Чем он превзошел их? Большей чем у них кровожадностью и жестокостью? Возможно, этим. И все-таки непонятно, как он смог стать главой грузинских боевиков в совсем юном возрасте и даже заслужить у них почетную кличку «Пастырь». Ему внимали как молодому богу люди значительно старше и умнее его. Как он, заняв скромную секретарскую должность в Центральном Комитете большевистской партии, за короткое время проложил себе путь на самый верх, став центральной и главной фигурой ВКП(б). Не добавил ли он на своем пути к власти какие-либо важные личностные компоненты к «рецепту», изложенному Буниным, о которых великий писатель даже не подозревал? Не исключено, что добавил, использовав для этого опыт других карьеристов и мошенников. Нет документов, подтверждающих это. Как не доказано, что в стремительном восхождении Сталина к власти и его тридцатилетнем самодержавном правлении не обошлось без влияния каких-то таинственных паранормальных сил…

Много странного в отношениях Сталин – Булгаков. Писатель никогда не заигрывал с властью и всегда критически относился к ней. Но что же тогда подтолкнуло его на создание пьесы «Батум» о молодом Сталине, где тот предстает явно положительным

героем? Никто из современников, включая жену и близких друзей, не дает ответа на этот вопрос, даже не касаются причины появления у Михаила Афанасьевича замысла написания этой пьесы. Без каких-либо комментариев констатирует Елена Сергеевна: «Миша в этот вечер писал пьесу о Сталине». И сам писатель нигде не разу не обмолвился о том, что натолкнуло его на мысль о создании пьесы о вожде, с которым у него складывались неровные и явно нелицеприятные отношения. Наваждение? Потусторонние силы?

Странно, что ни у кого из историков или литературоведов не возник вопрос о том, почему после написания пьесы «Батум» и передачи ее в Главрепетком и лично Сталину писателя срочно по указанию вождя направили на юг и через пару часов так же неожиданно вернули обратно с ближайшей к Москве станции Серпухов. Затем Булгакова обвинили в том, что он своей пьесой «пытался навести мосты с правительством», лично со Сталиным, что оскорбляло Булгакова, задевало честь писателя, даже не помышлявшего о подобном. Странная прерванная поездка чуть не довела его до нервного срыва. А тут еще обвинения в заигрывании с властями!

Все это можно объяснить только желанием вождя окончательно добить больного писателя…

Сталин знал от своих приближенных, общавшихся с Булгаковым, что тот нервно истощен, испытывает материальную нужду. Ему докладывали, что бесконечные отказы выпустить писателя даже на короткое время для работы за границу морально унижают его, что он буквально задыхается в атмосфере бесконечных критических нападок на его творчество, не видит перспектив для литературной деятельности в своей стране. Сталину доносит нарком госбезопасности Ягода, что Булгаков недоволен своим положением, существующими порядками и как сатирик считает своим долгом писать о нелепостях и глупостях, творимых властями. Сталин задумывается: «Наверное, этот Булгаков уже никогда не создаст что-либо подобное образу наивного, неуклюжего и бестолкового Лариосика, который так когда-то меня забавлял… Так есть ли смысл дальше возиться с этим непокорным писателем? Пройдет время, и его забудут. Непременно забудут. Ведь если не печатать произведения писателя, не напоминать о нем, то кто его вспомнит? Никто. Забудут и этого Булгакова. Молчал бы себе в тряпочку. Чего высовывается? У него нервное истощение… Долго не протянет… Но мне нервы еще может попортить… Жаль только, что друг недомогает в последнее время… Но с такой пустяшной просьбой, уверен, справится без особых усилий… Где он сейчас? В Берлине

или Париже? Впрочем, расстояние для его фокусов не играет никакого значения. Как хорошо, что судьба свела меня с ним. Как хорошо!»

Думал так Сталин или немного иначе, но вероятно, что он решил прибегнуть к помощи старого друга. Это было проще всего и незаметнее для других.

Нет причин сомневаться, что при возвышении Иосифа Джугашвили от рядового боевика до партийного пастыря, главы всех грузинских боевиков, а затем и до полубожественного руководителя Советского государства немалую роль сыграл его бывший соученик по Тифлисской духовной семинарии. Как и Сталин, он отличался необузданным, диким нравом и безудержным стремлением возвеличиться среди простых людей. Возвеличиться любым способом, во что бы то ни стало.

Георгий Иванович Гурджиев был и остается одной из самых загадочных фигур XX века. Ему приписывают тайную власть над вождями политических диктатур Сталиным и Гитлером, изобретение техники психического воздействия на массы, которая стала мощным инструментом в руках этих деспотов и тиранов.

Георгий Гурджиев родился в Гюмри в 1872 году в семье малоазийского грека и армянки. Как и у Джугашвили-Сталина, его отец был бедным сапожником. Это сходство в происхождении, несомненно, сыграло свою роль в их сближении с будущим Вождем народов. Интересно, что «Гурджиев» по-турецки означает «грузин».

С Иосифом Джугашвили они не только вместе учились в семинарии (на разных курсах), но и некоторое время молодой Сталин жил в доме Гурджиева в Тифлисе. Вероятно, будущего вождя и уволили из духовного учебного заведения не из-за его увлечения марксизмом (в те годы тот вовсе не был таким гонимым учением, как это пытались представить советские историки), а за интерес и занятия оккультизмом – известны ранние стихи Джугашвили-Сталина с апологией демонизму.

Потом они встречались как раз перед отъездом Гурджиева из Советской России. По некоторым предположениям, Сталин ему и помог выехать.

Официальной биографии Георгия Гурджиева не существует.

Известно, что русский период его жизни длился с 1912 по 1918 год. Но не исключены его приезды в СССР и в более поздний период. Несомненно, контакты Сталина с бывшим соучеником не прекращались. После 1919 года связь могла поддерживаться по десяткам (если не сотням) разных каналов. Известно также, что именно при Сталине НКВД активно занимался разными оккультными исследованиями (Александр Барченко и другие). К

1938 году Барченко и его команда накопили столько информации, что стали опасны и их ликвидировали.

Даже и не важно, происходили ли личные встречи вождя и Гурджиева. Сталин не мог не поддерживать контакты с самым прославленным оккультистом тех лет, не мог пренебрегать его теорией и методами подавления человеческой личности.

Одно из свидетельств использования Сталиным советов оккультистов – это то, что 26 марта 1922 года (во время работы XI съезда РКП(б) он своей рукой исправил свои прежние анкетные данные (дату рождения 6/18 декабря 1878 г. – по всем прежним документам) заменил на 9/21 декабря 1879 года – и в дальнейшем эта дата везде и значится в его биографии. Астрологи утверждают, что гороскоп на 21 декабря 1879 г. – это гороскоп вождя, предводителя народов, а прежний – человека «второго-третьего уровня», у которого нет шансов стать лидером. Можно как угодно относиться к астрологии, но именно после 1922 года Сталин резко пошел наверх и вскоре встал у руля большевистского государства.

В Советской России активно действовали группы почитателей Гурджиева, готовые на все ради своего духовного гуру. Сталин не только не препятствовал их существованию, но и, возможно, оказывал им тайную поддержку. Однако по понятным причинам Учитель и Вождь народов не афишировал свою симпатию к сатанисту Гурджиеву.

Конечно, Сталин ловко использовал оккультную доктрину своего учителя (теория тоталитаризма, манипулирования народом с помощью средств массовой информации – это разработки Гурджиева, называвшего себя «внуком Вельзевула»).

Умер Гурджиев в 1949 году, то есть в процессах «врагов народа» 1937–38 годов, борьбе с космополитизмом, в Деле еврейского антифашистского комитета, Деле врачей мог принимать участие и не только советами, а физическим телепатическим воздействием на определенных лиц. Таким же образом он мог сыграть свою зловещую роль и в судьбе Михаила Булгакова, поспособствовав стремительному угасанию писателя.

Талантами и оккультными знаниями Гурджиев для этого обладал в достатке, что неоднократно доказано фактически. В молодые годы он исколесил весь Ближний Восток и Центральную Азию, вступал в контакты с представителями древних эзотерических школ, перенимая у них методы подчинения массы людей воле избранных единиц, обладающих сильным гипнотизмом и высокоразвитой нервной системой. Бывал Гурджиев на Тибете, где по некоторым сведениям встретился с Карлом Хаусхофером, основоположником геополитики и одним

из духовных отцов Третьего рейха. Встречи эти нигде не зафиксированы, но они, несомненно, имели место. Если символы Третьего рейха, полностью совпадающие с эмблемами и гербами фашисткой партии, были привезены Хаусхофером из Тибета, то умение вождей фашизма и особенно Гитлера гипнотически овладевать вниманием толпы и полностью подчинять ее своей воле вряд ли обошлось без уроков Гурджиева. Тот не раз посещал Германию и особенно часто – Берлин. В отличие от своих учеников, Гурджиев не занимался своими опытами с толпами на стадионах, а экспериментировал, и весьма удачно, с маленькими группами избранных.

Благодаря дружбе с личным лейб-медиком Николая II Иваном Бадмаевым Гурджиев владел секретами изготовления различных травяных настоев, включая наркотические, возбуждающие организм, парализующие волю, отравляющие. Он не раз демонстрировал свои познания на практике. Гурджиев хорошо был знаком с молитвенной практикой различных орденов дервишей, прежде всего с методами психофизических тренировок братства Накшьбанди. Но если подлинный дервишеский «зикр», то есть медитация, подкрепленная сакральными танцами, преследовала своей целью полное слияние с божеством, то «балетмейстерская» деятельность Гурджиева впитала лишь внешние приемы этих танцев, не имея ничего общего с их космологической сутью. Происходящее в «зикре» сладостное растворение в божестве и вечности подменялось в гурджиевском балете «физикой»: точным воздействием на двигательные центры, искусным отключением отдельных групп мышц, расслаблением поочередно правой и левой частей тела. Гурджиев просто-напросто превращал своих последователей (учеников) в строй сомнамбул, движущихся взад-вперед, вправо-влево, совершающих повороты совершенно синхронно, как единое тело. Очень часто в работе с учениками Гурджиев использовал упражнение «кифф», когда учитель неожиданно восклицает «Стоп!» – и ученики должны мгновенно замереть, прекратив свои движения до тех пор, пока им не разрешат расслабиться. Это упражнение в истолковании и практике Гурджиева стало средством подавления воли учеников, превращения их в живых марионеток, послушных воле оккультного кукловода. Гурджиев терпеливо выжидал, когда большинство танцоров окажутся в наиболее неудобных, напряженных позах, и давал команду: «Стоп!», не скрывая удовлетворения от их беспомощного вида. Особенно он радовался, когда ученики валились на пол, не в силах удержать равновесие.

Гурджиев становится знатоком темных закоулков

человеческой души, опытным и могущественным гипнотизером и «дрессировщиком», сумевшим подчинить своей воле десятки, сотни людей разных национальностей, сословий и культур. При этом он был далеко не бескорыстен и говорил кандидатам в свои ученики: «Придет день, когда стоит только мне захотеть, вы с радостью отдадите мне все, что у вас есть».

На протяжении всей жизни Гурджиев настойчиво занимался шлифовкой своих врожденных парапсихологических способностей. Иначе он остался бы в лучшем случае деревенским колдуном, умеющим разве что наводить порчу да составлять рецепты приворотных зелий. Объективные свидетельства авторитетных людей, в частности ученика Гурджиева, известного философа Петра Успенского, говорят о том, что тот мог не только общаться и контактировать с нужным ему человеком на расстоянии, внушать ему те или иные идеи или чувства, но и вызывать у людей чисто физиологические ощущения, приятные и неприятные. Еще в молодости Гурджиев заметил, что стоило ему внимательно посмотреть на понравившуюся ему женщину, внушить ей, что она желает его, и постепенно усиливать силу суггестии, как она теряла контроль над собой. Тренируя эти способности, он, находясь на любом расстоянии, мог доводить приглянувшуюся ему женщину до оргазма. При этом Гурджиев и сам испытывал удовлетворение, у него радостно вспыхивали глаза, блаженное тепло разливалось по всему телу.

Но еще большее удовлетворение приносило ему причинение страданий другому. Он мог вызывать на любом расстоянии у человека боль, как физическую, так и душевную. Этим умением Гурджиева с лихвой воспользовался его соученик по Тифлисской семинарии Иосиф Джугашвили-Сталин. Особенно он прослыл мастаком по части выбивания показаний из своих врагов во время судебного следствия над ними. К болевым воздействиям Гурджиева на расстоянии он добавил инквизиторские пытки, несколько даже усовершенствовав их на свой дьявольский манер: например, ввел «маникюр» (сдирание ногтей с пальцев) и «смирилку» (подсудимого плотно завертывали в мокрую смирительную рубашку из суровой ткани, которая, высыхая, доставляла человеку неимоверные муки). Пытки в сталинских застенках проводились в присутствии тюремного врача, но это не было актом гуманности. Просто эскулап время от времени приводил в сознание истязаемого, теряющего сознание от боли, чтобы тот мог давать показания.

Сталин явно симпатизировал идее «расчеловечивания» человека, которую проповедовал Гурджиев в своей книге «Четвертый путь».

Пророк заявлял, что люди в действительности живут во сне, во сне рождаются и умирают, и нет у них никакой души, а следовательно и надежды на загробную жизнь. Человек должен выработать в себе новое «Я» посредством психосоматических упражнений под руководством «гуру» – духовного наставника, уже сумевшего сбросить с себя оковы сна. Необходимое условие при этой работе – самоотречение, отказ от призрачной собственной воли, размышлений, чувств и эмоций, превращение в пассивную машину, полностью подчиненную воле наставника.

Быт и производственная практика в Авиньонском аббатстве близ Парижа, где окончательно обосновался Гурджиев со своими учениками, может служить прообразом тех зловещих перемен в жизни России, которыми закончилась проводимая Сталиным в деревне коллективизация и обобществление средств производства на фабриках и заводах. По сути дела, Авиньонское аббатство послужило опытным участком для внедрения гурджиевских форм правления в нашей огромной стране. Тяжелый и бессмысленный труд по 14 и более часов в сутки, добровольная передача учителю все своих сбережений и полный отказ от личной собственности – вот что такое гурджиевский рай. Одурманенные им люди свидетельствовали: «Перед нами стояла единственная задача – преодолеть немыслимые трудности, совершить огромное усилие… Нередко после заката солнца Гурджиев опять направлял нас на строительные работы, и мы трудились до 2–3 часов утра при свете прожекторов, прикрепленных к балкам. Мы никогда заранее не знали, когда нас отпустят спать. Дни напролет приходилось копать, рыхлить землю, возить тачки с песком, пилить и рубить деревья, при этом считая себя членами провозглашенного Гурджиевым Института гармоничного развития человека». Невольно возникает сравнение со строительством сталинского Беломорканала – тот же тяжелый невыносимый труд, то же «расчеловечивание» человека.

Почерк Гурджиева, почерк дьявола и сатаниста проявлялся во многих поступках и действиях его однокашника по Тифлисской семинарии. Разделываясь со своими врагами, точнее – соперниками по власти, объявленными им врагами народа, он добивался от них удивительной покорности и признания чудовищной вины, обрекавшее их на неминуемую смертную казнь.

Прокурор Вышинский в открытом суде, в присутствии иностранных корреспондентов, обращается к Каменеву:

– Как оценить ваши статьи и заявления, в которых вы выражали преданность партии? Обман?

Каменев. Хуже обмана.

Вышинский. Вероломство?

Каменев. Хуже вероломства.

Вышинский. Хуже обмана, хуже вероломства – найдите это слово… Измена?

Каменев. Вы его назвали!

Вышинский. Подсудимый Каменев, вы подтверждаете свою измену?

Каменев. Да! Да!

Присутствующие на процессе иностранцы были изумлены тем, с каким неподдельным раскаянием подсудимые давали показания, обрекая себя на смерть. А Сталин относился ко всему происходящему спокойно, иногда даже довольно усмехался в усы.

Рецепт Гурджиева действовал за редчайшим исключением безотказно. Несомненно, что учитель передал своему кремлевскому ученику секреты настоев наркотических трав, записанные им у знатока тибетской фитотерапии Бадмаева. Капли отравы, добавленные в пищу подсудимых, полностью лишали их собственного «я», подавляли волю, «расчеловечивали», после чего они могли говорить только то, что предлагал им их «гуру», в данном случае прокурор Вышинский.

(Кстати, известно, что еще на процессе Главтопа в мае 1921 года подсудимая Макровская жаловалась, что ее на следствии подпаивали каким то наркотическим зельем, о чем пишет А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».)

И не исключено, что когда Сталин решил окончательно избавиться от непокорного писателя Булгакова, он обратился за помощью к Гурджиеву. Франция, где жил оккультист и куда переместилось большинство белоэмигрантов, была наводнена чекистами. Один из агентов мог легко пробраться в Авиньонское аббатство, в келью, где лежит прохворавший в то время Гурджиев, передать ему фотографию Булгакова и просьбу вождя.

«Этот человек болен, страдает неврозом, – поглядев на снимок, замечает Гурджиев. – Я его достану отсюда!» – зловеще улыбается он, наверное обладающий телепатическими способностями. Расстояние его не смущает. Несмотря на недомогание, он немедленно принимается за предложенное ему дело. По просьбе Сталина внушает писателю мысль о необходимости написания пьесы, посвященной вождю. Внушение, как мы знаем, достигает цели. «Первый шаг сделан, – удовлетворен Сталин. – Работа над пьесой отнимет у него последние силы и прославит меня». Но когда пьеса ложится на его стол, он даже не спешит с ней ознакомиться. Он ждет развязки, надеясь на разрушительную силу воздействия Гурджиева. Но проходит день, два, неделя, и Сталин получает

неутешительное известие от Фадеева, посетившего Булгакова: «Писатель болен, но говорит связно, не теряет нить разговора, еще способен здраво мыслить»

«Значит, он сможет работать дальше? – интересуется Сталин, зная, что раньше Гурджиев настолько опустошал души писателей, что они умирали как творческие личности. Так его ученица, великолепная канадская писательница Кэтрин Менсфильд успела перед гибелью отослать из гурджиевского лагеря письмо мужу: «Результатом моего пребывания здесь стало то, что я утратила способность писать. Я совершенно духовно истощена».

«Неужели Булгаков вырвется из цепких лап гуру?» – нервничает Сталин. Он читает «Батум» и еще больше расстраивается, ему кажется, что Булгаков изобразил его не великим, а обычным, рядовым революционером. Не таким бы он хотел войти в историю! Скрежеща зубами, Сталин посылает в Главрепетком отрицательную рецензию на пьесу, фактически ставящую крест на ее судьбе.

Недобрая весть надломила Булгакова, и только сердечное участие жены и друзей кое-как смягчает удар. Одно лишь тревожит писателя – идеи и замыслы новых произведений больше не заполняют, как прежде, его сознание, оно замутнено. И все последние силы он отдает на правку и шлифовку глав «Мастера и Маргариты».

Сталин решает окончательно измотать Булгакова. Он посылает его на Кавказ, якобы для ознакомления с фактическими материалами для пьесы. А затем на ближайшей станции снимает с поезда. Неизвестно зачем посылал, когда сам запретил пьесу к постановке?! Сказал даже Немировичу-Данченко: «Пьеса неплохая, но ставить ее нигде и ни в каком случае нельзя». Теперь известно, зачем посылал – чтобы еще раз поиздеваться над больным Булгаковым, нанести ему чувствительный удар по самолюбию. Затем Сталин обвиняет писателя в попытке «навести мосты» с ним, в заигрывании с властью… Стойкость и здоровье Булгакова не беспредельны. Его воля уже не может противостоять могучему жестокому давлению Сталина, использующему гурджиевскую методику подавления личности. Булгаков признается жене, что так скверно ему еще никогда не было.

Повторим запись Елены Сергеевны в ее дневнике 28 августа: «У Миши состояние раздавленное. Он говорит – выбит из строя окончательно. Так никогда не было.

Я убеждала его, что во МХАТе многие говорят о нем с нежностью, что это очень ценно, что за это время видела столько участия, любви и уважения к нему, что никак не думала получить…

У Вильямсов – как всегда – очень хорошее отношение… Вечером ободренный моими словами Миша пошел пройтись до Сергея Ермолинского, я – в ванну».

«29 сентября. Сегодня звонил Виленкин. Были Файко, вели себя серьезно, тепло. К вечеру Мише легче с головой. Заключен договор с Германией о дружбе. Головные боли – главный бич… Вчера большое кровопускание… Сегодня днем несколько легче, но приходится принимать порошки…»

«18 октября. Сегодня два звонка интересных. Первый – от Фадеева, что завтра он придет навестить Мишу, второй – что во МХАТе было правительство, причем Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу “Батум” он считает очень хорошей, но пьесу ставить нельзя…»

Булгаков оказался прав. В нашей стране судьбами людей мог править только один человек. Стоило ему хорошо высказаться о пьесе, и это вызвало «град звонков» от мхатовцев…

Может быть, обещанный приход писательского секретаря Фадеева тоже объяснялся этим разговором?

«1 января. Ушел самый тяжелый в моей жизни 1939 год, и дай Бог, чтобы 1940-й не был таким… Мы вчетвером – Миша, Сережа, Сергей Ермолинский и я – тихо, при свечах, встретили Новый год: Ермолинский – с рюмкой водки в руках, мы с Сережей – с белым вином, а Миша – с мензуркой микстуры…»

«13 января. Лютый мороз, попали на Поварскую в Союз. Миша хотел повидать Фадеева, того не было. Добрались до ресторана писательского, поели… Я – котлеты из дичи, чудовищная гадость, после которой тошнило. Бедствие столовки этой, что кто-нибудь подсядет непременно. Назойливые расспросы о болезни, Барвихе и т. д.»

11 февраля Булгаков подарил Елене Сергеевне свою фотографию с подписью: «Жене моей Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, подписываю я этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза (в темных очках): они всегда обладали способностью отличать правду от неправды».

Булгаков безмерно верил жене, но о зоркости и прозорливости своих глаз напоминает после появления в доме Фадеева, видя его неравнодушие к Елене Сергеевне.

Имя Александра Фадеева сравнительно недавно исчезло с фронтона Дома литераторов, настолько велика была сила инерции этого писательского властелина, гордо правившего в литературе в сталинские годы. Его настоящая фамилия – Булыга, видимо, казалась ему несозвучной с псевдонимами большевистских лидеров, и он выбрал себе более благозвучную – Фадеев. Случилось это после выхода в свет романа «Разгром»,

имевшего немалый успех у читателей и благожелательно встреченного критикой. В центре его произведения был образ командира партизанского отряда Левинсона, подавляющего в себе слабости и обладающего несокрушимой силой воли. Ему противостоит другой командир – Мечик, раб своих слабостей, соединяющий в себе революционную фразеологию с мелкобуржуазной идеологией. Фадеев, как покажет жизнь, станет Левинсоном и Мечиком в одном лице. Родившись в городе Кимры, в фельдшерской семье, он провел детство в Южно-Уссурийском крае, где его отец владел земельным наделом. Учился во Владивостоке, в коммерческом училище, из 8-го класса которого ушел в революционное подполье. Участвовал в партизанском движении, затем воевал с Колчаком и далее, учась в Горной академии, был на партийной работе. Удачные опыты в литературе позволили ему стать большевистским руководителем писателей. Он возглавил Президиум писательского Союза, а затем стал его первым секретарем. Неуклонно стоял на страже интересов партии в борьбе с троцкистами и прочими уклонистами от линии партии, без колебаний визировал поступающие из НКВД ордера на аресты писателей. Малоизвестный в народе драматург Михаил Булгаков не вызывал у него особой неприязни, ордер на его арест от Ягоды не приходил, и Фадеев отдал молодого писателя на растерзание его завистливым коллегам.

В 1939 году Александра Фадеева наградили орденом Ленина, и он уже не боялся проявлять свои слабости. Он стал пить, увиваться за женщинами, следует один запой, другой, одна любовница сменяла другую. Отрезвев, напрашивается на прием к Сталину, жалуется ему на пьянство и другие пороки некоторых писателей. Сталин не сочувствует ему, говорит, что у него нет других писателей, «работайте, товарищ Фадеев, с теми, что есть». Пьянки продолжаются. В окружении подхалимов, которые докладывают ему, что вождь хорошо отозвался о пьесе Булгакова «Батум», хотя и запретил ее постановку, Фадеев решает поближе познакомиться с ее автором. Сегодня Сталин запретил, а завтра… Тем более пьеса о его революционной юности. Один из подхалимов с ухмылкой говорит Фадееву, что, в общем-то, дни Булгакова сочтены и у него весьма интересная и красивая жена, стоит приударить за ней.

У Фадеева с женой, актрисой МХАТа Ангелиной Степановой, жизнь сложилась не очень удачно. До Фадеева она была влюблена в драматурга Николая Эрдмана, даже ездила к нему в ссылку, чего Фадеев простить ей не мог и при каждом удобном случае изменял супруге. Позвонил Булгакову, чтобы навестить больного,

но в последний момент ехать не решился, на разведку послал близкого ему писателя Константина Федина. О его приходе вспоминала Елена Сергеевна:

«Когда Миша уже был очень болен и все понимали, что близок конец, стали приходить кое-кто из писателей, кто никогда не бывал… Так, помню приход Федина. Это – холодный человек, холодный, как собачий нос.

Пришел, сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. Как будто по обязанности службы, быстро ушел. Разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь все видел и понимал. После его ухода сказал: “Никогда больше не пускай его ко мне”. Другое дело – Пастернак. Вошел с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: “Все будет хорошо”, – Миша потом сказал: “А этого всегда пускай, я буду рад”».

15 февраля 1940 года, за месяц до смерти Булгакова…

«…позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и позвонит». Но не позвонил. После его прихода у Булгакова резко ухудшилось состояние, «углублен в свои мысли, смотрит на окружающих отчужденными глазами. Ему сейчас неприятен внешний…» – ставит многоточие Елена Сергеевна.

Судя по всему, недостает слова «вид». Но чей? По всей вероятности – Фадеева. У него правильные черты лица, он внешне выглядит привлекательно, но злой характер, коварство выдают равнодушные, жестокие глаза. Елена Сергеевна не уточняет имя неприятного Мише посетителя. От него зависит выход книг мужа. А издать их – цель ее жизни. Булгаков расстроен, видя, от какого человека зависит судьба его и других писателей. Самочувствие ухудшалось.

И болезнь довершала свое черное дело. Осенью 1939 года Булгаков с женою вернулся из Ленинграда, и врачи немедленно уложили его в постель. Он рассказал Сергею Ермолинскому, как будет развиваться болезнь:

«Он называл недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному».

Пожалуй, лишь Сергей Ермолинский, жена и сестры Булгакова подробно и доподлинно знали о тех страшных муках, которые он испытывал в последнее время.

Он страдал и оттого, что не успел попросить прощения у своей первой жены – Татьяны Николаевны Лаппы.

«Все, что сделала для меня Таська, не поддается учету», – вспоминал он свои слова. Однажды, когда мозг его был ясен, он вызвал к себе младшую сестру Лелю и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила Тасю заехать к нему. Через неделю сестра сообщила ему, что Татьяны Николаевны в Москве нет. Она, по всей видимости, давно покинула столицу, и где живет сейчас – неизвестно. Он слушал Лелю напряженно, лицо его казалось окаменевшим. Сергей Ермолинский так описал эту сцену: «Он знал, что где-то рядом стоит Лена, и невидящий взгляд его был виноватый, извиняющийся, выражал муку.

Лена спросила его с печальной укоризной:

– Миша, почему ты не сказал, что хочешь повидать ее?

Он ничего не ответил. Отвернулся к стене».

Утонченная Елена Сергеевна догадывалась – где-то в глубине его сердца оставалась другая женщина, его первая жена. Он никогда не вспоминал ее, и она ни разу нигде не возникла как бывшая жена Булгакова. Только после его ухода из жизни, когда ее разыскали журналисты и литературоведы, она стала давать интервью, отвечать на письма. Ермолинскому она написала:

«О том, что Миша хотел меня видеть, я знаю. Но узнала об этом слишком поздно. А так бы приехала… Я у него была первая, сильная и настоящая любовь (на склоне лет уже можно все сказать). Нас с ним связывала удивительная юность…»

Видимо, испытывая чувство вины перед первой женой, он в своем последнем романе дал героине – Маргарите – ее отчество Николаевна. Память о матери – в строчках «Белой гвардии», о Тасе – в отчестве героини и эпизодах романа «Мастер и Маргарита». И наверное, не случайно Елена Сергеевна не пришла на поминки мужа, устроенные его сестрами.

«Там были все свои… Лены не было», – вспоминала Татьяна Николаевна. Она переживала, что не услышала его «прости», но зная, что он собирался просить у нее прощения, простила его и думала о нем с нежностью и любовью, порою счастливой, иногда тревожной, а в конце – трагичной, но с любовью.

Впоследствии над Ермолинским немало посмеивались, говоря, что он сотворил легенду о Елене Сергеевне. Но он возражал: «Она была рядом с ним – самозабвенно. Поэтому имя ее (и без моих рассказов) окутано таким уважением… Но я понимаю боль своего друга». И через абзац Ермолинский обращается к своему умирающему другу с восклицанием о Тасе:

– Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?!

Затем были такие слова: «Передо мною его фотография. На ней написано: “Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа”. Фотография подарена 25 октября 1935 года. Он был еще здоров,

озабочен делами театральными, много работал, и его не покидали мысли о Воланде, о Мастере и Маргарите. Я не обратил тогда внимания на эту подпись, схожую с заклинанием: “Вспоминай, вспоминай”. Понял позже – сидя у его постели. И думал: непоправимо, что о многом мне не удалось договорить с ним. Может быть, о самом главном!

– Миша, почему ты мне не сказал, что хочешь повидать ее?»

После смерти Булгакова немало народу перебывало в его квартире. Приходили проститься с писателем, выразить соболезнование его жене. Меньше всего было литераторов. Не пришел и Фадеев. Но он написал письмо Елене Сергеевне, помеченное 15 марта 1940 года, где объяснял, что лишь неотложные дела помешали ему зайти к ней и в Союз, подчеркивал свое бесконечное уважение к Елене Сергеевне, обещал, что все «связанное с Булгаковым мы сохраним и поднимем, и люди будут знать его лучше по сравнению с тем временем, когда он жил», что «он – человек, не обременявший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, путь его был искренен и органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом не было ничего удивительного, хуже было бы, если бы он фальшивил». Обещал поместить свое мнение о Булгакове в газете. Но увы, единственной читательницей этого письма долгие годы была лишь Елена Сергеевна. Впервые оно увидело свет в «Новом мире» в 1966 году.

Сестра Булгакова, Леля, заметила, что во время прихода к умирающему писателю Фадеев часто бросал маслянистый взгляд на Елену, чего не мог не увидеть Михаил Афанасьевич и не переживать, предвидя, что ухаживание Фадеева за Еленой Сергеевной будет продолжаться. В знак особого расположения к ней Фадеев похоронит опального и непризнанного писателя на самом престижном Новодевичьем кладбище. Фадеев упорно добивается своего, хотя догадывается, что Елена Сергеевна собирается всю оставшуюся жизнь положить на издание произведений мужа.

Она любила Булгакова нежно, страстно и самозабвенно. Только однажды он в предсмертные дни спросил:

«Любила ли ты меня?» – все остальное время Булгаков признавался ей в любви: «Ты для меня все, ты заменила весь земной шар. Видел во сне, что мы с тобою на земном шаре».

«8 марта (за день до смерти): “О мое золото” (в минуту страшных болей – с силой). Потом раздельно и с трудом разжимая рот: го-луб-ка… ми-ла-я…» В минуты облегчения (записано по памяти):

«Пойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай… Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной… Когда я слышал стук твоих каблучков… Ты была самой лучшей женщиной в мире… Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя. И если мне будет суждено жить еще, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни! Ты любила мои вещи, я писал их для тебя… Любовь моя, моя жена, моя жизнь».

Елена Сергеевна записывает:

«10 марта 1940 года, 16 часов 39 минут. Миша умер».

В эту трагическую минуту она сказала всего два слова: «Миша умер». Все… Конец счастья… Боль во всем теле. Спазмы в горле. Приходили люди. Соболезновали. Но почему-то никто не говорил, даже на панихиде, что умер гений. То ли боялись, то ли отчетливо не понимали это. Она им докажет, донесет до них, до всего света, что мировая литература потеряла великого писателя. Но нашелся человек, поэт, возможно, не менее великий творец, чем Булгаков, приславший ей письмо из Ленинграда. До Елены Сергеевны донесся трепетный голос Анны Андреевны Ахматовой, полный боли и сопереживания.

Вот это я тебе взамен
могильных роз,
Взамен кадильного куренья.
Ты так сурово жил и до конца
донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты, как никто,
шутил,
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к
себе впустил,
И с ней наедине остался.

И нет тебя, и все вокруг молчит О скорбной и высокой жизни, Лишь голос мой, как флейта, прозвучит И на твоей безмолвной тризне.

О, кто подумать мог, что
полоумной мне,
Мне – плакальщице дней не
бывших,
Мне – тлеющей на медленном
огне

Все переживших, всех забывших,
Придется понимать того, кто полный сил
И светлых замыслов и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь в смертельной боли.

Елену Сергеевну поразило удивительно точное понимание Ахматовой судьбы Булгакова. Она решила, что только такой же великий страдалец может так остро и глубоко почувствовать муки другого. Потом подумала, что немало в России людей, чьи жизни покорежены тоталитарным режимом. Булгакова поймут сотни тысяч, миллионы честных людей, он станет их любимым писателем. Ведь живы его произведения. Всю оставшуюся жизнь она посвятит тому, чтобы они были напечатаны. Об этом косвенно сообщалось даже в постановлении Политбюро.

…Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о наказании А. А. Фадеева. 23 сентября 1941 года:

«По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия Партийного Контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКП(б) т. Фадееве А. А. и установила, что т. Фадеев А. А., приехав из командировки с фронта, получив поручение из Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда т. Фадеев по нескольку дней пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках т. Фадеева широко известны писательской среде.

Бюро КПК при ЦК ВКП(б) постановляет: считая поведение А. А. Фадеева не достойным члена ВКП(б) и особенно члена ЦК ВКП(б), объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании» (впервые опубликовано в книге «Литературный фронт». – М., 1994. С. 67).

Елена Сергеевна для пьянок предоставляла Фадееву свою квартиру, надеясь, что он как-то повлияет на издание произведений мужа. Были ли у нее близкие отношения с Фадеевым? Неизвестно. Он добивался их, а она любила Булгакова.

Это постановление рассекречено сравнительно недавно, и вероятнее всего, Елена Сергеевна не знала о его существовании. В том, что она объявлена артисткой, нет ничего странного. Шел 1941 год. Война. Голод. Один из друзей Булгакова зачислил ее в труппу своего театра, чтобы она могла получать продуктовую карточку, положенную работникам тыла.

Но не Фадеев, а совсем другие люди, и в первую очередь Константин Симонов, напечатали роман «Мастер и Маргарита» в популярном тогда художественном журнале «Москва». Успех романа, даже с конъюнктурными сокращениями, был феноменален. Первое издание книги, включавшей кроме «Мастера» еще роман «Белая гвардия», продавалось в магазинах «Березка» только за валюту или обеспеченные валютой чеки. Елена Сергеевна в буквальном смысле слова выстрадала это издание.

Постепенно произведения Булгакова обретали жизнь. Последней вышла повесть «Собачье сердце», первая реквизированная у писателя рукопись. Позднее люди вспомнят о Булгакове не только как о писателе, но и человеке, который не мог творить без любви, одухотворяющей его, вспомнят, что еще живы избранницы его сердца, без которых не было бы этого гениального писателя и великой личности. И Елена Сергеевна подумает, открывая «Мастера и Маргариту»: «Я его не отдала. Я вырвала его для жизни».

Глава двадцать первая Вечная любовь

Из воспоминаний С. А. Ермолинского: «На следующее утро – а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, – позвонил телефон. Подошел я. Звонили из секретариата Сталина. Голос спросил:

– Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

– Да, он умер.

Трубку молча положили».

Отношение Сталина к Булгакову во многом осталось загадочным. Ни один диктатор не уделял столько внимания писателям и другим деятелям культуры, как он. Он, безусловно, жаждал бессмертия, но не в виде мумии, даже не в памятниках и бюстах своих, которыми услужливые ваятели заполонили страну, а в самом вечном – слове. Акыны, поэты, прозаики и драматурги бесконечно славили вождя, поднимая его величие до небес, он щедро оплачивал их труд, одаривая наиболее рьяных из них Сталинскими премиями. В кинофильме «Пархоменко» его роль играл артист театра, а позднее эстрадный конферансье Семен Львович Гольдштаб. Сталину показалось, что в роли, сыгранной Гольдштабом, чего-то не хватало, хотя был сохранен его акцент и внешне артист, отлично загримированный, очень походил на него. Сталин приказал в дальнейшем занимать в его киноролях только грузинских артистов. Но и этого ему показалось мало для того, чтобы остаться навечно в кино. Пленка в конце концов может истлеть, может сгореть, подожженная его врагами, последующим за ним властителем, тоже, как и он, пожелавшим сохраниться в истории. «Рукописи не горят», – донесли ему выражение Булгакова, и он мысленно согласился с ним. Он смотрел его «Дни Турбиных» десятки раз и пришел к выводу, что только Булгаков может достойно обессмертить его. Он, долго и упорно травя писателя, в конце концов добился того, о чем мечтал, – Булгаков решил написать пьесу о нем. Но прочитав ее, Сталин сначала растерялся, а потом разгневался – в пьесе он был не такой, каким уже десятки лет показывался народу, не бесконечно уверенный в себе, жесткий руководитель, очищающий страну от врагов народа, а какой-то романтический, мечтательный, местами даже размазня, короче – слишком похожий на других людей, а он был Сталин – сделанный из стали, твердый и непоколебимый, как сталь, со стальным характером. Таким его изображали писатели, но в пьесе Булгакова он был

показан как человек, увлеченный революцией, а он ею не увлекался, он ее делал – стальными руками, стальным рассудком.

Грозен был тиран, неустанно и строго следил за литературой и последний роман писателя «Мастер и Маргарита» упрятал в спецхран с секретным замком, а если прочитал бы, то, возможно, узнал бы о том, что приводит человека к вечности и что бывает вечным в жизни. Но вряд ли бы понял истинный смысл произведения.

«За мной, читатель! – начинал Булгаков вторую часть романа. – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»

Елена Сергеевна не могла забыть последние минуты его жизни и среди отдельных слов «Ну!.. Что дальше… Измучен… Отдохнуть бы… Тяжело…» он жалобно протянул: «Мама», прощался со своей «белой королевой». Искал Люсину руку, когда она сидела рядом. На ее ласковые слова утвердительно кивал головой… Когда она его поцеловала, почувствовал это, попытался улыбнуться губами… «После смерти лицо приняло спокойное и величественное выражение… Во время панихиды и кремации музыки не было, по его предсмертному желанию… Словно боялся, что музыка разбудит его и снова начнутся судороги, дикие боли… В жизни его были огонь, вода, но не было медных труб… Он не хотел, чтобы они звучали в траурные минуты…»

Насчет места своего вечного упокоения Булгаков не оставил завещания. Елена Сергеевна захоронила его прах в вишневом саду старого участка Новодевичьего кладбища, вблизи могил Гоголя, Чехова, Станиславского… На могиле установлен большой черный камень, но появился он там не сразу. Елена Сергеевна писала брату Булгакова Николаю:

«Мишина могила часто вызывает такое восхищение, что мне звонят незнакомые и говорят об этом. Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мною четыре грушевых дерева, которые выросли за это время в чудесные высокие деревья, образующие зеленый свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши, – достойного его. И вот однажды, когда я, по обыкновению, зашла в мастерскую при Новодевичьем кладбище, я увидела глубоко запрятанную в яму какую-то гранитную глыбу. Директор мастерской на мой вопрос объяснил, что это – голгофа с могилы Гоголя, снятая, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе при помощи экскаватора подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили… Вы сами понимаете, как это подходит к Мише – голгофа с могилы его

любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумительный густой ковер, на нем голгофа, над ней купол из густых зеленых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как необычен и весь Миша – человек и художник…»

Елене Сергеевне казалось, что он уснул, точнее – ушел на время, чтобы вернуться умным, нежным и бесконечно талантливым. Вспомнились его строчки: «Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается Театр… И потом были июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май».

В ожидании его возвращения она писала ему письма, озаглавив их «Письма на тот свет». В них она разговаривала с ним как с живым:

«Ташкент. 17 февраля 1943 года. Все так, как ты любил, как хотел всегда. Бедная обстановка, простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка. Кругом тишина, одна. Это так редко бывает…»

«Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне: громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже еще больше и еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе белый докторский халат, ты был доктором и принимал больных. А я ушла из дома после размолвки с тобой. Уже в коридоре я поняла, что мне будет очень грустно и что надо скорей вернуться к тебе. Я вызвала тебя, и где-то в уголке между шкафами, прячась от больных (пациентов), мы помирились. Ты ласково гладил меня. Я сказала: “Как же я буду жить без тебя?” – понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: “Ничего, иди, тебе будет теперь легче”».

Елена Сергеевна, вспомнив этот сон, удивилась, что встретилась там с Булгаковым-доктором, фантазия завела ее в годы, когда женой его была другая женщина и с этой женщиной у него была тоже счастливая жизнь. Она завидовала ей, обладавшей молодым и искрометным Булгаковым, той, о которой он почему-то не хотел говорить с нею, ни разу не отозвался о ней дурно. Елена Сергеевна могла увидеть ее на поминках по Мише, но не решилась на эту встречу. Сергей Ермолинский, драматург и мемуарист, едва ли не самый близкий друг Булгакова, записал: «Она (Л. Е. Белозерская. – *В. С.)* не имела никакого отношения к его жизни на Садовой, скорее всего, даже не видела “максудовской комнаты” (Максудов – главный герой

«Театрального романа». – *В. С*). До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле, в Обуховском переулке. И уже никак не участвовала в его скитаниях в годы Гражданской войны, была в эмиграции. Тем не менее роман “Белая гвардия” посвящен ей!.. Лена не колеблясь сохранила это посвящение, хотя понимала его случайность. Она понимала, что роман написан о том времени, когда спутником Булгакова была Татьяна Николаевна Лаппа. Нет, это не “Бег”, это не работа над французскими переводами для пьесы и повести о Мольере, в которой могла помочь и помогала Любовь Евгеньевна. Роман этот – живой кусок его жизни, связанный с другой женщиной – его первой женой.

Он расстался с ней, когда дела его пошли в гору. Возникли шумные “Дни Турбиных”. И молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен нэпа предлагала ему некую мнимую роскошь жизни. Ведь это нетрудно понять – после стольких лет тягостных будней. Но дело, конечно, не в этом. Случилось то, что Герцен назвал “кружением сердца”, когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. Можно было еще найти искренние, сердечные слова, обращенные к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было – надо было! И еще это “посвящение”! Подведена черта. Конец. Мой бедный Миша! Не потому ли он всегда уклонялся от моих расспросов о Татьяне Николаевне? Не продолжала ли она жить в нем потаенно – где-то в глубине, на дне его совести, и как ушедшая первая жена, и как вина перед ней. В предсмертные дни это не могло не прорваться. Стыдясь и мучаясь, он попросил Лелю найти ее, чтобы сказать ей, выдохнуть прощальное «прости». Он ждал ее прихода. Ему надо было очиститься от гнетущей вины перед женщиной, чья обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость – выше тщеславия. Никакие годы не стерли памяти об этом. Она не пришла. Ни единым словом не напомнив о себе, она исчезла, и он так и не узнал, где она. И потом, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее… Нет, это не писательская вдова!»

Судьба забросила Татьяну Николаевну в далекое угольное сибирское Черемхово. Узнав о смерти Булгакова, она села на ближайший московский поезд, злилась на себя, ведь собиралась в Москву в марте, но из-за ужасных холодов перенесла поездку на апрель. Прямо с вокзала поехала к Леле:

«Она мне все рассказала, и что он звал меня перед смертью… Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила. Потом мы собрались у Лели. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У нее с Надей какие-то

трения происходили. Надя считала, что Миша занялся Сталиным ради Лены, ранее привыкшей к богатой жизни. Брата по-мужски оправдывала, а Лену не одобряла. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала, совершенно на него не похожая…»

Не похожая на того, каким она знала Мишу, потом уже постаревшего, измученного и истерзанного. Леля сказала, что он собирался завещать ей гонорар за все свои произведения, написанные до 1925 года, но, видимо, смертельно больной, ослабевшей рукой до последних дней правивший свой бессмертный роман, просто физически не смог, не успел сделать этого.

У каждого человека своя судьба, которую он выбирает иногда вне здравого смысла, вне логики. И пусть они с Мишей разошлись глупо, но то недолгое счастье, которым одарил Михаил Тасю, победило в ней обиду на него и продлевало ее жизнь.

Татьяна Николаевна последние годы жила в Туапсе. Она вышла замуж за адвоката Давида Александровича Кисельгофа, с которым была знакома давно и встречалась в одних компаниях, где бывала с Мишей. Из Москвы они переехали к матери Давида в Туапсе. Он работал юристом на машзаводе. При нем она никогда не вспоминала о Михаиле, пусть он остается в ее сердце. И лишь однажды заговорила о нем, когда Давид привез из Москвы устный рассказ Булгакова, записанный, вероятно, Еленой Сергеевной и напечатанный на тонкой папиросной бумаге. Давид читал его и смеялся вместе с Тасей.

Один из главных гонителей Булгакова – Федор Федорович Раскольников, будучи начальником Главреперткома, решил на одном из Никитинских субботников обсудить свою пьесу «Робеспьер».

«Раскольников кончил чтение и сказал после весьма продолжительных оваций:

– Теперь будет обсуждение? Ну что же, товарищи, давайте, давайте… – Сказал это начальственно-снисходительно.

Начал Берсенев:

– Так вот, товарищи, мы только что выслушали замечательное произведение нашего дорогого Федора Федоровича! (Несколько подхалимов воспользовались случаем и опять зааплодировали.) Скажу прямо, скажу коротко. Я слышал в своей жизни много потрясающих пьес, но такой необычайно воздействовавшей на меня, такой… я бы сказал, перевернувшей меня, мою душу, мое сознание… – нет, такой я еще не слышал! Я сидел как завороженный, я не мог опомниться все время… мне трудно говорить… так я взволнован! Это событие, товарищи! Мы

присутствуем при событии! Чувства меня… мне… мешают говорить! Что я могу сказать? Спасибо, низкий поклон вам, Федор Федорович! (И Берсенев низко поклонился Раскольникову под бурные овации зала.)

Таиров начал, слегка заикаясь:

– Да, товарищи, нелегкая задача – выступать с оценкой такого произведения, какое нам выпала честь слушать сейчас! За свою жизнь я бывал много раз на обсуждении пьес Шекспира, Мольера, древних – Софокла, Еврипида… Но, товарищи, пьесы эти, при всем том, что они написаны, конечно, великолепно, – все же как-то далеки от нее! (Гул в зале! Пьеса-то тоже несовременная!) Да, товарищи!!! Да! Пьеса несовременная, но! Наш дорогой Федор Федорович именно гениально сделал то, что, взяв несовременную тему, он разрешает ее таким неожиданным способом, что она становится нам необыкновенно близкой, мы как бы живем во время Робеспьера, во время Французской революции! (Гул, но слов разобрать невозможно.) Товарищи! Товарищи! Пьеса нашего любимого Федора Федоровича – это такая пьеса, поставить которую будет величайшим счастьем для всякого театра, для всякого режиссера! (И тут Таиров, сложив руки крестом на груди, а потом беспомощно разведя руками, пошел на свое место под еще более бурные овации подхалимов.)

Затем выступил кто-то третий и сказал:

– Я, конечно, вполне присоединяюсь к предыдущим ораторам и их высокой оценке нашего многоуважаемого Федора Федоровича! Я только поражен, каким образом выступившие ораторы не заметили главного в этом удивительном произведении?! Языка! Я много читал в своей жизни замечательных писателей, я очень ценю, люблю язык Тургенева, Толстого! Но то, что мы слышали сегодня, меня потрясло! Какое богатство языка! Какое разнообразие! Какое – я бы сказал – своеобразие! Эта пьеса войдет в золотой фонд нашей литературы хотя бы по своему языковому богатству! Ура! (Кто-то подхватил, поднялись аплодисменты.)

– Кто у нас теперь? – сказал председатель. – Ах, товарищ Булгаков. Прошу.

Миша встал, но не сошел со своего места, а начал говорить, глядя на Раскольникова, сидящего перед ним:

– Д-да… Я внимательно слушал выступления предыдущих ораторов… Очень внимательно… (Раскольников вздрогнул.) Иван Николаевич Берсенев сказал, что ни одна пьеса в жизни его так не взволновала, как пьеса товарища Раскольникова. Может быть, может быть… Я только скажу, что мне искренне жаль Ивана Николаевича, ведь он работает в театре актером, режиссером,

художественным руководителем, наконец, уже много лет. И вот, оказывается, ему всегда приходилось работать на материале, оставлявшем его холодным. И только сегодня… Жаль, жаль… Точно так же я не совсем понял Александра Яковлевича Таирова. Он сравнивал пьесу товарища Раскольникова с Шекспиром и Мольером. Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы его пьес, за характер его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обоснованно, интрига закручена так, что звена выкинуть нельзя. Здесь же, в пьесе т. Раскольникова (шея у Раскольникова покраснела), ничего не поймешь – что к чему, почему на сцену выходит это действующее лицо, а не другое. Почему оно уходит? Первый акт можно свободно выбросить, второй перенести… Как на даче в любительском спектакле!

Что же касается языка, его своеобразия… Вот, позвольте, я записал несколько выражений, особенно поразивших меня: «Он всосал с молоком матери этот революционный пыл…» Да… Ну, что же, бывает. Не удалась пьеса, не удалась…

После этих слов произошло то, что бывает на базаре, когда кто-нибудь первый бросит кирпич в стену.

Начался бедлам. Следующие ораторы предлагали действительно выкинуть какие-то сцены, действующих лиц…

Шея у Раскольникова стала темно-синей, налилась.

Я поднялся и направился к выходу. Почувствовав на спине холодок, обернулся и увидел ненавидящие глаза Раскольникова. Рука его тянулась к карману. «Выстрелит в спину»…»

Давид Александрович аккуратно сложил папиросные листочки: «Мне рассказывали, что драматург Всеволод Вишневский, прежде чем положить на стол редактора рукопись, доставал из кармана револьвер. Я уверен, что этот устный рассказ взят с натуры». Давид был любителем хорошей литературы. Он рассказал Тасе, что в журнале «Москва» напечатан последний роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Приехавшие к ним на отдых старые друзья Таси Каморские подтвердили это, говорили, что этот роман – явление мирового значения. Сердце Татьяны Николаевны наполнялось радостью и гордостью за Мишу, и пусть никто не знает, что она сделала для него, ее это не волнует. Она спасала мужа, выполняла долг жены, не заслуживающий никакой общественной награды. А Миша ценил ее, не хотел уходить, забыв, что у нее есть своя гордость, что она не хотела, не могла делить его с другой женщиной.

Давид Александрович умер на девяностом году жизни.

Татьяна Николаевна осталась одна с ничтожной пенсией в 28

рублей, положенной ей за потерю кормильца. Как-то пропившийся отдыхающий за бутылку водки отдал ей роман «Мастер и Маргарита». Она сразу же открыла книгу на последних страницах, интуитивно чувствуя, что здесь что-то написано про нее. Миша не мог уйти из жизни, не оставив ей прощального привета. Первая страница второй части романа заставила биться ее сердце: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?»

«Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил, что она забыла его. Этого не могло быть. Она его, конечно, не забыла… Возлюбленную звали Маргаритой Николаевной. Она была красива, умна… Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах… Могла купить все, что ей понравится… Никогда не прикасалась к примусу… Не знала ужасов житья в совместной квартире…»

Да, так было, когда она вышла замуж за Мишу… Дочь действительного статского советника… Отчество – Николаевна… У Миши ничего не бывает случайно. Она лихорадочно прочитывала страницу за страницей, мысленно отбрасывая места, связанные с необычным сюжетом, возможно, с подробностями жизни Елены Сергеевны. В главном Миша был прав – она не забыла его. «Она любила его, она говорила правду», – писал Миша о своей героине, и, как думала Татьяна Николаевна, именно о ней, в этом она не сомневалась, все более и более углубляясь в чтение романа.

«Я верую, – шептала Маргарита торжественно. – Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же мне послана пожизненная мука?» И вот он объявился, пусть в романе, но вернулся, пришел к ней. Героине снится «местность – безнадежная, унылая, под нахмуренным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей, какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные нищие полуголые деревья, одинокая осина, а далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое здание, не то отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика… Вот адское место для живого человека!»

Татьяна Николаевна заложила страницу листочком и воскликнула:

– Это же Никольское! Он описывает Никольское точно таким, как оно было! Даже не забыл осину у мостика!

И вот появился он, после наркотического запоя: «Оборван он, не разберешь, во что одет. Волосы всклокочены, небрит. Захлебываясь в неживом восторге, Маргарита по кочкам побежала

к нему…»

– Мастер! – нежно улыбнулась Татьяна Николаевна, и вновь глаза ее ловят близкие сердцу строчки: «Если он поманил меня, то это значит, что он приходил за мною и я скоро умру. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро». Бедный Миша, он был уверен, что Леля разыщет меня… Не вини ее… Я была очень далеко… Меня согревает даже мысль, что ты желал увидеть меня… Ты вспоминаешь, как я плавала в Волге! Я знала, как тебе нравилось, что я не боюсь воды, дружу с нею, с моей веселой и озорной подругой: «Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз головой, и столб воды выбросил ее почти до самой луны». Ты всегда был фантазером, Миша. Высоко ты поднял меня, до самых небес. Ты любил меня, очень. Я помню это. А вот я стою у квартиры номер 50. Помнишь свои стихи об этом доме? Я помню, как и все веселое, что было в нашей молодости:

…

«На Большой Садовой дом стоит здоровый. Живет в доме наш брат организованный пролетариат.

И я затерялся между пролетариатом

как какой-нибудь, извините за выражение, атом…

Питаемся понемножку: сахарин и картошка.

Свет электрический странной марки,

то потухнет, то опять ни с того ни с сего разгорится ярко…

За левой стеной женский голос выводит: “Бедная чайка…”,

а за правой играют на балалайке».

Я пела эти стихи как песенку, а иногда как городской романс. Смешно получалось…

Татьяну Николаевну настолько взбудоражили эти воспоминания, что она не могла оторваться от книги, и ей казалось, что она погрузилась в молодость и останется там

благодаря волшебству Мастера. А вот она борется за него: «После того как Мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.

– Ну вот, это другое дело, – сказал Воланд, прищуриваясь, – теперь поговорим. Кто вы такой?

– Я теперь никто, – ответил Мастер, и улыбка искривила его рот.

– Откуда вы сейчас?

– Из дома скорби. Я душевнобольной, – ответил пришелец.

Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала:

– Ужасные слова! Ужасные слова! Он Мастер, Мастер, я предупреждаю вас об этом. Вылечите его. Он стоит этого. Позвольте мне пошептаться с ним.

Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху Мастера, что-то шептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:

– Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя… – Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал шептать ей: “Бедная, бедная…”»

Слезы возникли на ресницах Татьяны Николаевны.

– Я на самом деле бедная, Миша. У меня подагра. Скрючены пальцы правой руки, но я сама подметаю полы, вытираю пыль, стираю, хожу за продуктами. Питаюсь не намного лучше, чем во Владикавказе, шесть раз в неделю ем картошку, по воскресеньям добавляю к ней кусок морской рыбы. Мало ем. Может быть, поэтому долго задержалась на земле и еще потому, что ты живешь в моем сердце. Но я знаю, что жизнь вечной быть не может, в отличие от того вечного, что ты написал. Спасибо, что не забыл меня. Никто не догадается, что ты дал своей героине мое отчество – Николаевна. За твоим необычным сюжетом скрылись подробности нашей жизни, и меня это не волнует. Ты написал роман, который обессмертил нас. Жаль, конечно, что мне не удалось увидеться с тобой. Я должна была подумать, что ты захочешь этого, и не удаляться от Москвы. Но мне приятно думать, что я не мешала твоей работе, а в юности даже вдохновляла тебя, мы поровну делили трудности… я была счастлива с тобою, Миша!

Татьяна Николаевна открыла книгу на главе «Прощание и вечный приют». Она внимала Мишиным мыслям, каждое его слово поселялось в ее душе: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы

земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

И стиль бунинский без тени пошлости. И фантазия прежняя, но серьезнее… Мой Миша…

Татьяна Николаевна с трудом поднялась со стула, преодолевая боль в суставах, и поставила эту книгу рядом с томом Литературной энциклопедии, где всячески ругали Мишу, приписывали ему пребывание за границей и прочие «грехи».

«Вы правильно сделали, что включили его в энциклопедию, – мысленно обратилась она к ее составителям. – Надеюсь, он оправдал ваши ожидания? Что бы вы сейчас написали о нем? Вы… Он устал, проходя вашу голгофу. Оставьте его в покое. Я еще жива и тоже умру достойно, без ваших подачек…»

Эпилог

В жизни мне кое в чем повезло. Со своими авторскими вечерами я объездил почти всю страну, точнее, бывший Советский Союз, почти все республики, ныне ставшие заграницей. Побывал во многих местах, связанных с главными героями этой книги: в Киеве, в Ленинграде, во Владикавказе, когда еще он назывался городом Орджоникидзе, в Пятигорске, неоднократно в Коктебеле, Ялте, Симферополе, Смоленске, Саратове, Туапсе…

Соседи Татьяны Николаевны по Туапсе рассказывали мне, что от своей нищенской пенсии она ухитрялась откладывать деньги на похороны, собрала сто пятьдесят рублей (старых). После 1970 года, когда ушла из жизни Елена Сергеевна, в Туапсе стали приезжать журналисты и литературоведы из Москвы, Харькова… Она дружелюбно встречала их, угощала обедами… Выручала единственная оставшаяся у нее ценная вещь – браслетка, память о родителях. Она сдала ее в комиссионный магазин. Вероятно, поэтому интервьюеры, отобедав у нее с непременным сухим вином, даже не подозревали, что она нищенствует. К тому же выглядела она горделиво, старалась ходить без палочки, волосы собирала в пучок, губы покрывала тонким слоем помады… Морщинистая женщина.

При жизни мужа разговоры о Булгакове возникали у них случайно, а после его смерти он не сходил с ее уст: «Миша сказал, Миша сделал, Миша, Миша…» Она даже цитировала его: «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной и вечной любви?» И, грустно опустив голову, добавляла: «Настоящая любовь всегда бывает единственной…»

Соседи по дому уважали Татьяну Николаевну за скромность, прямоту, честность и чуткость. Она не отходила от соседки, когда у той умер муж. К ней приезжали отдыхать старые друзья из Москвы, харьковская племянница Тамара с сыном… В последний ее приезд она позволила Тамаре забрать оставшиеся документы о ней и Михаиле. Словно предчувствуя свой уход из жизни.

Однажды из-под двери ее квартиры повалил дым. Открыли дверь – что-то пригорало на плите, так как в кастрюле выкипела вода.

У Татьяны Николаевны, наверное, закружилась голова; падая, она ударилась о батарею отопления и лежала под столиком в лужице крови.

Племянница на похороны не приехала. Хоронили Татьяну Николаевну две соседки по дому. Одна из них, Галина Петровна Никольская, рассказала мне, что на могилу положили камни, но

вскоре они заросли бурьяном. Тогда она на кладбищенской стене отметила крестиком место захоронения. Она и отвела меня на кладбище. Ярко горело южное солнце на безоблачном небе, и день, даже на кладбище, не показался мне бесконечно траурным. Грустное и светлое чувство охватило душу. Судя по поверьям, где-то поблизости летала первая любовь Михаила Афанасьевича Булгакова, а может быть, его любовь вообще была единственной, только у нее были разные имена? Может быть, парила она сейчас под облаками или еще выше – в космосе, под самой крупной звездой. Она сама, как звезда, светила ему в трудные времена, согревала добрым светом его душу, рождая в его гениальном сознании выстраданное и незабываемое. Поэтому под обложкой каждой его книги – Вечность.